

НОВЫЙ МИР

5

МОСКВА

1941

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1941 г.

№ 5

Год издания XVII

★ ★ ★

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении тов. Молотова В. М. от обязанностей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР	3
Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении тов. И. В. Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров СССР	3
Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении тов. В. М. Молотова заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР	3
А. Недогонов — Фронтовые стихи	4
Иван Арамилев — Юность Матвея, роман	5
Ф. Белкин — Кузнецы, стихи	103
Л. Топчий — Письмо, стихи	103
А. Коптелов — На-гора, роман, окончание	104
Илья Эренбург — Стихотворения	147
Иван Франко — Рассказы	149
<hr/>	
М. Розенфельд — Генерал Кравченко	170
В. Г. Федоров — Наша винтовка	195
В. Крамер, В. Линецкий — Рейдеры	204
<hr/>	
В. Щербина — Франко-поэт	210
Ф. Левин — О поэзии Веры Инбер	223
А. Дерман — Мемуары генерал-майора А. А. Игнатьева	229

БИБЛИОГРАФИЯ

О. Резник — Повесть о трудовой доблести (Б. Полевой. «Горячий цех»)	234
Д. Еремин — Удача Гайдара (А. Гайдар. «Тимур и его команда»)	236
Л. Шапиро — Поэтизация наивности (И. Меньшиков. «Друзья из далекого стойбища»)	238
Е. Сикар — Поэзия армянского народа («Антология армянской поэзии»)	240
М. Левидов — Пьеса и сказка (Ю. Гай. «Индюшечий король»)	245
Л. Озеров — В мире подробностей (Н. Ушаков. «Путешествия»)	247
Я. Лебедев — Стиль великого сатирика (Я. Эльсберг. «Стиль Щедрина»)	249
Коротко о книгах	252
<hr/>	
У нас в редакции	255

★



У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
**Об освобождении тов. Молотова В. М. от обязанностей
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР**

Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В. М. о том, что ему трудно исполнять обязанности Председателя Совнаркома СССР наряду с выполнением обязанностей Народного Комиссара Иностранных Дел, удовлетворить просьбу тов. Молотова В. М. об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

★

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
**О назначении тов. И. В. Сталина Председателем Совета
Народных Комиссаров СССР**

Назначить тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

★

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
**О назначении тов. В. М. Молотова заместителем
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР**

Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел тов. МОЛОТОВА Вячеслава Михайловича заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ

А. НЕДОГОНОВ

★

ТЕПЛО

Погода не сыра
и не простудна.
Она, как жизнь,
вошла и в кровь,
и в плоть.
Стоял такой мороз,
что было трудно
штыком
буханку хлеба расколоть.

Кто был на фронте,
тот видал не раз,

как следом за трассирующим блеском —
в знобящей мгле над мрачным
перелеском —

летел щегол,
от счастья пучеглаз.

Что нужно птице, пули вслед летящей?
Тепла на миг?

Ей нужен прочный кров.

А мне довольно пары теплых слов,
чтобы согреться в стуже ледящей.

★

ТИШИНА

Мы до того привыкли к орудийным
раскатам,
потрясающим леса,
что в этом громе наши голоса
порхали мотыльками по долинам.

Суровый голос северной войны —
стодневный гул железного обвала.
Казалось мне, что не существовало
от сотворенья мира тишины.

Да, так и было:
мы в покое зыбком
пропахших потом будней фронтовых
друг друга понимали по улыбкам

усталых глаз —
бессменных часовых.
Но есть в бою мгновенье тишины.
Оно внезапно,
кратко и сурово.
Умолкнет лес,
застынут валуны,
траншеи вымрут, завистью полны...
Так громы останавливает слово!

То имя человека из Кремля.
Произнеси его в минуты боя —
и ринутся рядами за тобою
бойцы,
а если мало, —
вся земля!

Юность Матвея

Роман

ИВАН АРАМИЛЕВ

★

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

За деревню, в небольшой овражек, укрытый со всех сторон лозняком, вывезли спутанного ремнями, в наморднике, трехгодовалого медведя. Зверь этот был пойман маленьким в тайге и воспитывался в конюшне дяди Нифонта для притравы собак. Его уже травляли в прошлом году, но он был молод, не опасен и потому после притравы очутился опять в конюшне.

Мы с двоюродным братом Колюнькой носили ему кости, требуху, вареную картошку.

— Здорово, Мишутка! — кричали мы. — Здравствуй, Михайло Иванович!

Он мотал головою, протягивал сквозь дверную решетку лапу, встречал нас тихим ласковым ворчаньем. Осмелев, мы забирались в конюшню, садились на Мишутку верхом, гладили его по голове, чесали ему бока. Он был совсем не злой. Я целовал Мишутку в верхнюю губу между ноздрями. Мы подставляли ему щеки, чуть-чуть намазанные медом, и он, сладко чмокая, облизывал нас шершавым языком.

Накануне травли мы долго обсуждали, как бы нам спасти Мишутку от беды. Я хотел ночью открыть конюшню, выпустить зверя: к утру, когда проснутся охотники, он будет далеко в тайге. Колюнька вскинул на меня испуганные глаза:

— Что ты! Что ты! Нас обоих...

Он не договорил, но я хорошо понял: если мы сделаем это, нам придется отвечать своими боками.

— Ну, и шут с ним, пускай травят, — помолчав немного, сказал Колюнька. — Он ишь какой лешачина вырос, в дверь не пройдет. Нам другого из тайги приведут, маленького.

Я не стал спорить. Мне казалось: Колюнька говорит это, чтобы оправдать взрослых, обмануть себя и меня. Втайне мы оба надеялись, что, может быть, Мишутке удастся отбиться от лаек, убежать невредимым.

Утро холодное. Сосны в редящем тумане кажутся легкими, будто плывут по воздуху. Огромное солнце встает над притихшей, задумчивой землей. Капельки росы сверкают на оголенных кустах. Лишайники покрыты голубым инеем.

В полуверсте от оврага начинается тайга. На опушке спрятались охотники с молодыми собаками. Развязанный Мишутка, словно не веря тому, что его пустили на волю, вразвалку идет к лесу. Пройдя шагов полсотни, он останавливается, фыркает, потягивает ноздрями воздух, пробует сорвать намордник. Ремни крепки. Он понял это и тем же спокойным шагом движется дальше по желтой некости, тронутой первым морозом.

Притравой распоряжается мой дед Спиридон, первый охотник деревни. Он взмахивает рукой, подавая сигнал, и тотчас спущенные с поводков собаки с

визгом бросаются навстречу зверю. Я сжимаю зубы, и сердце часто-часто колотится в груди. Впереди несется похожий на волка Серко дяди Нифонта, старый кобель, которого пустили в стаю молодых, чтобы он показывал, как надо «сажать» зверя. Медведь увидел собаку — остановился. Может быть, он прикидывает в уме: стоит ли ему связываться с такой остервенелой оравой? Расстояние между зверем и собаками сокращается. Мишутка, не выдержав, протяжно рывкнул и огромными скачками бежит по пригорку. Серко рвет его за гачи, заставляет оборачиваться, подниматься на дыбы. Молодые собаки дружно наваливаются на зверя, и только два труса, Лыско и Тузик, вертятся и тявкают поодаль, не решаясь кинуться в свалку. Охотники выбегают из кустов, подзадоривают собак. Трусов пинают ногами, колотят хворостинами. Я не узнаю себя. Во мне проснулось что-то холодное, злобное, страшное. И так трудно дышать от горячих толчков сердца. Мы с Колюнькой тоже мчемся в толпе, покрикиваем: «Ату его, ату!»

Медведь окружен лающими собаками. Они не дают ему стронуться с места. Рассвирепев, он старается схватить особенно назойливых и ярых. Белая сучонка Муська, не увернувшись от удара косматой лапы, падает с переломленным хребтом, жалостно взвизгивает. Сердито крикает хозяин Муськи, Никита Шорнев. Еще одна собака ползет в сторону с вырванным боком. Мишутка делает последнее усилие прорваться к тайге. Собаки по очереди хватают его за гачи. Он повертывается, брызгая слюной сквозь намордник. Собаки, как подхваченные ветром, отскакивают в стороны.

Травля удалась. Дед подает команду: «Кончай».

Кто-то стреляет медведю в ухо. Зверь повалился. Большое тело его вздрагивает, задние ноги скребут землю. Он еще пробует подняться, встает на передние лапы, выпрямив шею, и опять тяжело рушится на бок. Мне жаль Мишутку. Но меня радует, что все слушаются деда, что он тут вроде начальника и такой высокий и важный в своей

пестрядиной рубахе, с черной седеющей бородою. У меня одно желание: поскорее стать взрослым, сделаться первым охотником и вот так же ловко распорядиться притравой.

С гор подул ветер. Низкие дымные облака ползут над лесом. День потемнел, и краски на земле потухли.

Мужики спорят, чей пес работал лучше, чей хуже. Лайки облизывают кровь на траве. Шерсть дыбом стоит у них на спинах, на загривках, глаза все еще злобно горят. Порванных медведем собак прикалывают рогатиной, а Лыска и Тузика, не осмелившихся подступить к зверю, дед убивает из ружья.

Это были ручные, веселые и умные собачонки, доставлявшие мне с Колюнькой много радости. Кому они мешали?

Сжав кулаки, я подбегаю к деду:

— У, какой ты! За что их так?

— Как за что? — удивляется он. — Нешто из ублюдков прок выйдет?

Строгое лицо его грустно и насмешливо. Он деловито продувает ружье, шутит с мужиками. Мое сердце ноет от жестокости деда. Не дожидаясь, когда за медведем придет телега, я один отправляюсь домой. Все кругом стало чужое, непонятное: и земля, и люди. Я ненавижу колючую траву под ногами, серые облака и солнечный блеск в пойме реки.

Бабушка встречает меня у крыльца.

— Что невеселый такой? — спрашивает она. — Обидели тебя?

Всхлипывая, рассказываю ей про Мишутку и про собак.

Мы входим в избу.

— Ну, не плачь, — говорит бабушка, вытирая передником мои щеки. — Я уж деда отчитаю. Ишь, разошелся, злыдень. Выпей-ко, давай, молочка да послушай: я бывальщины сказывать стану.

Она цедит в кружку парное молоко, садится к окну, прищуривает глаза, встряхивает головой.

— Я ведь не здесь родилась, Матвешко. Дед меня с Белых Ключей привез. Там у нас народ на золоте помещанный. Есть рыбаки, есть охотники, а больше металлом промышляют. Ну, он

не всякому дается, металл. Другой до самой смерти золотую жилу ищет в таежных речках, да так и не найдет. Потому все в Белых Ключах — голь перекатная. Грибом да ягодой круглый год питаются. Спиридон как-то шатался с ружьем, забрел к нам, приглянулась я ему. Поедем, говорит, Наталья, в Кочеты. В соболях будешь ходить. Вот и сосватал, греховодник, улестил. Родители благословили. Я и поехала. Белье Ключи тоже в глухом урмане стоят. В девках я всяких страстей нагляделась. Иду один раз по ягоды. Далеко в рямьне забралась. Вдруг, откуда ни возьмишь, выбегает белый волк. Да большущий-пребольшущий. С быка ростом. Я лукошко с брусникой из рук выронила. Он стоит, смотрит. Пасть открыл. Зубы, как долота. Из ушей дым столбом. Другая на моем месте пропала бы, а я смышленная была: меня бог спас. Подняла еловую шишку, сотворила молитву, да и кинула в белого волка. Шишка ему прямо в лоб угодила. Он так и заплясал. Потом лег на брюхо. На моих глазах стал худеть и худеть. Гляжу — батюшки! Волк человеком обернулся: на голове рога, хвост длинный. «Не на ту, видно, напал!» Проговорил он эти слова и скрылся в можжевелнике. По лесу так и загудело. Будто туча пронеслась. Подхватила я лукошко, и — домой. А то еще случай был. Заплутала осенью в тайге. Дело к вечеру. Перепугалась, ужас как. Неужто, думаю, ночевать в лесу доведется? А у меня и спичек с собой не было, костер зажечь нечем. Повстречался тут старик. Высокий, борода белая. На святого угодника похож. В одной руке палка, в другой — корзинка с клюквой. Пойдем, говорит, деваха, на тропу выведу. Я обрадовалась живому человеку. Иду за ним вслед. Я молчу, и он молчит. Завел он меня в такую гущеру, где и звери не ходят. Екнуло мое сердце-вещун. Я возьми, да и перекрести ему спину. Он завизжал, будто кипятком его ошпарили. Обернулся свиной, пустился наутек. Я из тех мест едва выбралась.

— Кто же это был? — спрашиваю я.
— Известно кто... Он сам и был.

Она рассказывает мне один случай страшнее другого. Лес, по ее словам, кишит нечистой силой. Человеку в тайге шагу ступить нельзя без молитвы. Мне становится зябко.

— Хватит, — прошу я. — Ты, наверно, устала рассказывать.

Мать кричит что-то из огорода. Бабушка, спохватившись, шепчет скороговоркой:

— Ложись-ко, дитенок, сосни маленько. Я пойду картошку рыть. Мать одна там валандается.

Я залезаю на полати, накрываюсь одеялом и скоро засыпаю. Вижу во сне: мужики стреляют собак, белый волк пожирает Лыска и Тузика. Пытаюсь ударить волка хворостиной, а она тяжелая, как железный лом, и я не могу замахнуться.

Вечером бабушка толкает меня в бок, зовет ужинать. Я отказываюсь. Дед поднимается ко мне.

— Ты что? — спрашивает он. — Все еще сердиться?

Я молчу. Такая боль в груди и так трудно ее высказать.

— Экой глупыш, — говорит старик. — Ты думал мне легко убивать собаку? А как быть? Ежели собак начнем жалеть, сами с голоду подохнем. Наши лайки на всю округу славятся. По всякому зверю идут, боровую дичь подлаивают, уток с воды подают, стада от волков охраняют, зимой в упряжке ходят. А почему? Сотни годов блюдем породу в чистоте, истребляем слабых, бесчутых, вислоухих.

— Не буду охотником, — говорю я упрямо. — Не буду и не буду.

Его поразили мои слова. Он тяжело дышит, склонившись надо мной, и смотрит на меня пристальными глазами. О чем он думает? Может быть, вспоминает свои детские годы, когда ему, так же, как и мне, трудно было привыкать к тому, что приходится делать человеку в наших краях.

— Не спеши зарок давать, — тихо говорит он. — Там видно будет.

— Не хочу, — повторяю я, и голос мой дрожит.

— Твое дело, — отвечает старик. — Разве тебя кто неволит? Сажай на

усадыбе капусту, морковь, свеклу. Бабьим помощником будешь. Охотой займутся другие.

Он берет меня на руки, спускает с полатей, усаживает за стол.

В эту ночь я долго не могу заснуть. Кем же мне быть: огородником или охотником?

Я вырубаю в поле кустарник.

С горы, от села Ивановки, неторопливо спускаются два человека. Я вижу, как один растягивает гармонь. Медные угольки сияют на солнце. Ветер доносит песню:

Шел я лесом чортом-бесом,
Не боялся никого.

Это возвращается отец. Я с младенческих лет помню его как-то смутно. Он всегда в отлучке. Летом гоняет плоты, спускает в низовья купеческие баржи, беляны. Зимой рубит бревна в дальних местах, добывает мрамор в каменоломнях. Приходит домой только к праздникам. Последние годы он «завлекся» золотом. Накопит немного денег, снарядит ботник и уезжает куда-то искать «жилу». Приезжает злой, с пустыми руками. В дни его приезда в семье — ссоры, попреки, всегда наводящие на меня тоску. Но все-таки я радуюсь встрече с отцом. Он так занимательно рассказывает о своих поездках, что хочется самому побывать в тех краях, где плавал его ботник.

Я бросаю топор, бегу навстречу отцу. Он ставит гармонь на землю и, растопырив руки, кричит:

— Здорово, сынок.

На нем стоптанные, обтертые яловые сапоги, короткое пальто из бобрика, на голове смятая, синего цвета, фуражка. Высокий, широкоплечий, как дед, с русой бородкой и загорелым лицом, он кажется мне очень красивым и статным. Рядом с ним стоит пожилой мужик, в рваном чекмене и юхтовых бахилах.

Отец прижимает меня к груди, целует. От него пахнет вином и табаком:

— Как там у нас? Все живы-здоровы?

— Живы-здоровы.

— Ну, слава богу. И я жив, иду попроведать вас.

В одном кармане его пальто торчит бутылка водки. Из другого он достает связку баранок.

— На-ко, пожуй гостинец. Да не все уплетай: матери с бабушкой оставь.

Затем он подмигивает своему спутнику:

— Гляди, Данило, какой у меня шиш растет. Весь в отца. Скулы, глаза, нос, — все мое.

— Хороший малец, — отвечает Данило и гладит меня по голове. — Старатель из него выйдет первый сорт.

Отец берет гармонь, играет «прохожую». Данило запекает частушку, и так, с песней, мы входим во двор. В избе отец крестится на образа, целуется с матерью, бабушкой и дедом. Потом снимает пальто и пиджак, садится в передний угол. Бабушка ставит самовар. Дед спрашивает отца, где он был, как поработал. Данило сидит на лавке, молча курит трубку. Мать обшаривает карманы отцовской одежды. Кроме водки и кисета с махоркою, там нет ничего.

— Алексей, деньги где? — спрашивает мать, и лицо ее становится багровым. — Может, за подкладку завалились?

Отец виновато моргает:

— Деньги что... Ты не беспокойся, Степаха. Только бы дал бог здоровья, деньги мы достанем. Верно говорю.

— Опять все пропил да в карты просадил, — визгливо кричит мать. — Ну и муженек. Ну и работничек.

— Молчи, стрекуха, — перебивает отец. — Я тебе кто? Не твое дело.

— А, дело не мое! — еще злее и громче выкрикивает мать. — Все лето в отходе шатался, пришел домой зимовать с пустым карманом, и ему слова сказать нельзя?

Бабушка подбегает к матери.

— Уймись-ко, Степанида. Мужик у дороги отдохнуть надо, а ты его сердись. У кого прорухи не бывает. Завтра поговорим о делах. Уймись, желанная.

Мать не унимается. Всклипывая, она выговаривает отцу, что он уж который год ничего не приносит в дом, что хо-

зайство держится на старике и что дальше так жить невозможно. Дед, нахмурившись, сидит возле Данилы, набивает трубку табаком. Я думаю о том, как бы помирить отца с матерью, посадить их рядом за стол, самому сесть между ними, всем вместе хлебать из чашки праздничные щи, которые бабушка сегодня приготовит, да слушать песни, веселые шутки.

— Мамка, — тихо говорю я. — Да, мамка же, перестань.

Она шлепает меня по спине ладонью, и, захлебываясь, кричит:

— Отойди прочь. Что ты понимаешь? Я ему вальком всю башку изломаю. По миру пустить семью ладит. С гармошкой ходит, как некрут. Ох, стыдобушка моя. Ох, пропащая душа!

Отец подскакивает к ней, бьет кулаком в подбородок. Она падает навзничь. Он пинает ее ногою. Дед и бабушка хватают отца за руки, оттаскивают к окну.

Мать, сидя на полу, жалобно голосит.

— Вот что, Лексей, — сухо говорит дед. — Я с Натальей сколь годов прожил, пальцем ее не тронул. И тебе жёну бить не позволяю. Распоследнее это дело — баб увечить.

— Ее словами не образумишь, — отвечает отец. — Сама на кулаки лезет, кликуша.

— А ты держи себя, как следует, жена перечить не станет, — говорит бабушка. — Степанида не на обновки денег просит. С этаким непутевым-то мужем ангельское терпенье лопнет.

Мать, чувствуя защиту, выкрикивает злые и обидные для отца слова. Он еще раз пытается ударить ее ногою. Дед, рассердившись, толкает его в грудь, сажает на лавку:

— Остепенись, дурак. Из дому выгнано, на порог не пушу.

Мне становится страшно. Я выбегаю в сени, иду в огород. Из избы доносится неясный шум. Он то стихает, то вновь поднимается, как ветер в лесу. Там все еще бранятся. Мне до слез жаль отца, мать, бабушку. Почему из-за денег такая ссора?

— Погодите уж, — шепчу я, закрыв глаза. — Вырасту большой, начну зарабатывать много, много, все стану отдавать матери, всем хватит...

Когда я вхожу в избу, все сидят за столом и мирно беседуют. Мать успела переодеться: на ней широкая фланелевая юбка, новая, желтая, с красными цветочками, кофта. На столе пыхтит самовар. Дымится вареная картошка. Отец наливает в рюмки вино. Дед чокается с бабушкой, матерью, отцом и Данилой.

— С веселым прибытием, — говорит дед, лукаво усмехаясь. — Первая колома, вторая соколом.

Я подсаживаюсь к матери. Она гладит под столом мою ногу, ласково угощает меня. Данило потешает всех прибаутками.

Чаепитие кончилось. Отец берет гармонь, разводит меха, наигрывает «Русскую». Задорно взвизгивает «Венка». С перебором льются тревожные, беспешные звуки. Отец умел играть.

— Спяшем, что ли? — спрашивает Данило, подбочениваясь и поглаживая белесую бородачку.

Мать, пристукивая каблуками, выплывает на середину избы. Строгое лицо ее потемнело, губы сжаты. Данило вначале мелко семенит ногами, раскачивая свое тяжелое, кряжистое тело. Потом он все убыстряет и убыстряет движения, волчком ходит вокруг матери, падает на колени, пускается в присядку, вскидывает руки, улыбается. Мать сняла с головы платок, помахивает им, перехватывая его из руки в руку, как бы поддразнивая Данилу. Дед подзадоривает танцоров какими-то гортанными криками, хлопает в ладоши. Бабушка стоит у печки, вся зардевшись от счастья: она любит веселье и лад в семье.

— Ну, хватит, спасибо. — Мать улыбается Даниле и, тяжело дыша, садится на скамью. — Тебя не перепляшешь, видно.

Данило выходит на двор.

— Это чей такой мужик приволокся с тобой, Алеха? — спрашивает дед. — Веселый, шут его дери. Кому хошь нос утрет.

— Старатель, — говорит отец, пряча глаза. — На пристани мы подружались. Пойдем в тайгу. Песок мыть. Отдохнем денек и двинемся.

Тихо становится в избе. Мать переглядывается с бабушкой. Дед выколачивает трубку: Входит Данило. Садится возле отца.

— Пора на боковую, Алексей Спиридоныч, — говорит он, зевая. — Завтра в поход.

— Да куда вы собрались, на зиму глядя, сердешные мои? — отговаривает бабушка. — Реки скоро мерзнуть начнут. Снега да метели-крутели. Охота вам горе мыкать понапрасну?

— Ерунда, — хвастливо говорит подвыпивший отец. — Стужа нам нипочем. Данило человек практикованной. Нападём на жилу, в день разбогатеём.

— Верно, — заплетающимся языком поддерживает Данило. — Самородки ныне по четыре с полтиною золотник принимают. Только давай. А в фунте девяносто шесть золотников. Смекаете ай нет? Только бы найти местечко. А уж взять, — мы с Алексеем возьмем.

Мать сидит с поблекшим лицом. Кажется, слезы вот-вот брызнут из ее глаз, и она опять закричит, застонет.

— Думать об этом не смей, Алеха, — запальчиво говорит дед. — Не впервой слышим твою погудку. Обжегся раз, обжегся два. Хватит. Где не положено, искать нечего.

— Не тебе наставлять других, — отвечает отец. — Ты на охоте тоже иной раз месяц попусту ходишь.

— Сравнил! — Дед взмахивает рукой, словно отгоняя кого-то. — Зверь да птица для того и созданы богом, чтобы человек ими пользовался.

— А золото? — спрашивает Данило.

— Золото от беса, — упрямо говорит дед. — Бес его посеял в земле на соблазн, на лихоимство. Песок промывать во сто раз хуже, чем в карты играть да водку пить безо времени.

— Не согласен, — стучит кулаком по столу Данило. — Кому фартнет, тот живо из грязи в князи попадет. Про себя скажу. Годов пять назад бил я дудку на Пышме. Два месяца копал. Надоло. Бросил. А после меня Игнат Му-

косеев на том же месте какую россыпь открыл! Встретились мы. Он мне и говорит: «Ты, Данило, на одну сажень до своего счастья не докопался. После тебя мы часок поработали — золото пошло». Вот как бывает. Стоило одну сажень породы поднять, и жизнь моя повернулась бы иначе. Терпенья нехватило. До сей поры волосы рву на голове.

Дед подает Даниле чекмень, шапку, мешок с инструментами:

— Вольному воля: иди, куда хошь, а других сомущать нечего.

Данило уходит ночевать к дяде Нифонту.

У нас в избе кипит ссора. Все ругают отца. Он упорствует.

— О семье печалуюсь, папаша, — говорит он деду. — Мне-то много ли надо? Вас озолотить хочу. Довольно, пожили в бедности.

Утром отец набивает в котомку сушари, берет кайло, железную лопату и бежит к дяде Нифонту. Данило ушел в тайгу на рассвете, не дождавшись отца. Я радуюсь. Но отец, постояв немного в раздумье, быстрым шагом идет за околицу — догонять Данилу.

— Прощай, Матюха, — кричит он мне. — Я его найду. Он берегом реки подался. Без золота меня домой не ждите.

В избе тоскливо, как после покойника.

— Это что же такое? — всхлипывает мать. — Унесла ведь нелегкая. Здоровье потеряет совсем.

— Да, — вздыхает дед. — Не наделил господь разумом сына. Втемяшилась дурь в башку, оглоблей не вышибешь.

Вернулся отец месяца через два, до того исхудалый, что на него страшно было смотреть. Золото еще раз подвело.

— Догнал Данилу-то? — спросил я. Отец сплюнул и лениво сказал:

— Ну его к чертям, пустобреха.

II

Я решил стать охотником и привязался к деду. У него тяжелая фузея кустарной работы. Соседи, экономя припасы, покупают легкие ружья, при охо-

те на мелкого зверя и птицу кладут крохотные заряды. Дед насыпает дробь и порох горстями.

— Как пальну, душа возрадуется,— смеется он, поглаживая граненый ствол фузеи.

Мужики, услышав его выстрел в лесу, говорят:

— Спиридон кого-то жарехнул.

В Кочетах не знают законов об охране дичи. Зверя и птицу всякий бьет, кому когда вздумается. Дед не стреляет тетеревиных и глухариних маток, не гоняется за самкой лося, не ловит нелетных уток, не собирает гусиных яиц в камышах, и как он ненавидит охотников, хлопающих без разбора, без срока!

— Шкурятники! — с презрением говорит он о них.

Зимой старик подкармливает на гумне голодных серых куропаток, отпускает на волю. Соседи высмеивают причуды старика, говорят, что он из ума выжил. Я им не верю. Нежадный и мудрый, дед кажется мне добрым колдуном, которому подвластны звери, птицы и травы. На дальние и трудные зимние охоты он не берет меня с собою, но летом и осенью я хожу с ним в окрестных угодьях. Бывало, пойдем белковать. Дед прицелится, курок шлепнет, из-под капсюля вьется дымок, ружье качается. Дед стоит неподвижно, как пень, а у меня горят щеки, и весь я трепещу, не чувствую земли под ногами. Долго нет выстрела. Но уж потом бабахнет — держись. Фузея сильно отдаст. Правое плечо у деда всегда в багрово-синих кровоподтеках, на щеке и на шее — темные подпалины от прорыва газов в казенник.

Старик почти не знает промахов. Поднимается из папоротника глухарь: дед нацелится, спустит курок, выстрела нет, глухарь бьет могучим крылом над лесом, дедушкин ствол передвигается за ним, птица ушла далеко — не достать. Однако гремит выстрел, и глухарь падает.

— От меня не уйдешь, божья тварь, — бормочет довольный старик, а я в припрыжку бегу поднимать добычу.

Уложив тяжелую птицу в пестерь,

дед садится на кочку, раскуривает трубку. Синий дымок вьется над ним. Я втягиваю ноздрями острый запах махорки.

— Хорошо бить лисиц в феврале, когда у них баловство начинается, — говорит дед, медленно растягивая слова, — становись рано утром на легкие лыжи, сослеживай лисью свадьбу. За самкой бегают два, три, а то и пять кобелей. Самка завсегда передом идет. Ее легко опознать. Как заметишь свадьбу, подходи по ветру, не таясь, кати прямо на перестриг. Они тебя увидят, смешаются. Остановятся, будут глядеть. Самка первая станет убежать. Потом кобели в одиночку разбегаются, кто куда. А ты самку все гони, гони, подалее отшибай от кобелей. На след не выходи. Держись стороной, шагах в двадцати. Отожмешь версты на две, садись в засаду, жди. Кобели не утерпят, обязательно вернуться на след своей подружки. Наскочит первый — ты его хлоп, наскочит другой — ты его хлоп. Так всех перебьешь. Самку не бей. Это наш хлеб. Пусть дураки жадничают. Надо думать и о тех людях, которым после нас жить доведется. Ежели мы ничего не оставим, каким словом они нас помянут? Запоминай все, как я рассказываю. Умру, некому тебя учить будет. А охотничье дело хитрое. Без толку — неделю ходи по тайге, ничего не возьмешь.

Он любит песни и всегда готов петь.

Наохотившись, мы разводим костер, отдыхаем, пьем чай из прокопченного медного котелка. Старик неожиданно говорит:

— А петь сегодня будем?

Я соглашаюсь. Дед служил когда-то в коннице, был на войне и знает много солдатских песен.

Чаще всего мы поем походную песню уральских казаков. Дед расстегивает ворот рубахи, начинает ровным голосом:

Как на Черном Ярике, как на Черном
Ярике
Ехали татары — сорок тысяч лошадей.

Наши голоса сливаются:

И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей.

Идет жестокая сеча. Раненый казак умирает. Горька его судьба:

Тело мое смуглое, кости мои белые
Вороны да волки вдоль по степи разнесут.
Очи мои карие, кудри мои русые
Ковылем-травкою да бурьяном прорастут.

У меня по спине пробегает холод, когда дед высоко выводит:

Жена погорюет, жена потоскует,
Выйдет за товарища, забудет про меня.
Жаль мне только волюшку, во широком
полошке,
Матушку-старушку да буланого коня.

Это очень страшная песня. Но удивителен веселый припев, который я подхватываю с особенной лихостью:

Любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом не приходится тужить.
Казак!
Эх, нечего тужить!

Дед выбивает пепел из трубки, поднимается, встряхивает пестерь за плечами:

— Пошли, Матвейко.

Я прошу:

— Посидим, дедко. Ты еще про куницу не сказал.

— Не все сразу, — наставительно говорит он. — Придет черед, до куницы доберемся. Экой ты любопытной. Чистая заноза.

Как-то, великим постом, дед пошел на лыжах с фузейей осматривать лисьи капканы и не вернулся. Хлеба у него с собою не было. Мы беспокоимся. Бабушка часто подбегает к окну, глядит на темнеющую в синей изморози тайгу:

— На берлогу наткнулся старик невзначай. Поломал косопалый Топтыгин, и волки косточки по логам растащили.

Случаи, когда кто-нибудь погибал на охоте, были нередки. Рассказывали, что мой прадед Филимон, погнавшись за сободем, свалился с крутика в каменную падь, сломал себе ногу, замерз. Игнатия Панкова в прошлом году убил копытом раненый лось. И никто не удивился, что дед пропал.

Дядя Нифонт собирает мужиков на розыски. Они выходят за околицу. Дед — навстречу: тащит огромного лося.

Оказывается, он случайно встретил рогача и загнал его. Сделал топором из сушины широкие сани, положил добычу и повез. Деревня стояла на склоне хребта, тащить сани под гору по насту было не так трудно. Однако днем снег оттаивал, проваливался. Старик сидел до полуночи, дожидая заморозков. К нему подбирались волки, а у него не осталось зарядов. Он смешно рассказывает, как отпугивал их головешками из костра и как они до самой опушки шли за ним следом, не решаясь напасть, только клацали зубами да повизгивали.

Дед завалился на полати, проспал целые сутки. Дядя Нифонт свежует лося. Шкура продается тунгуснику¹ за две четверти водки. Тушу разрубают на куски. Часть мяса идет в засол, остальное на другой день варят и жарят в печке. Встав затемно, бабушка суетится, хлопочет, чтобы все блюда были приготовлены наславу. Очень уж она любит стряпать и принимать гостей.

На обед приходят родственники, соседи. За столом нехватает места. Чашки с дымящимся мясом стоят прямо на лавках. Соседи пришли каждый со своей ложкой. Многие обедают стоя. Дед подносит гостям вино в деревянной кружке. Пьют мужчины и женщины. В избе весело, шумно. Обед затягивается до позднего вечера. Все хвалят деда за удачную охоту, желают ему прожить до ста лет, носить и не переносить из тайги добычу.

Проводив гостей, бабушка убирает посуду. Она счастлива. Лицо ее ласково светится. Дед сидит в переднем углу возле пустых бутылей и дремлет, тоже очень довольный. Мать сердито говорит, что соседи пожрали все и теперь мы сами будем голодать, что мы не умеем жить. Лицо у нее перекошенное и лоб почему-то красный.

— Исстари так заведено, — спокойно отвечает дед. — Послала тайга фарт, — должен я поделиться со всеми. Другой достанет, поделится с нами. А иначе как?

¹ Так называли в старое время на Урале и в Сибири торговцев, скупавших пушнину.

Мать сцепилась с дедом. Ругаясь, она доказывает, что соседи утаивают добычу, не делятся, а дураки готовы последний кусок чужой собаке бросить, потому и живут бедно. В этом споре я на стороне деда. И мать кажется мне скучной, чужой и непонятной. Я подхожу к деду. Сажусь к нему на колени, запускаю пальцы в его бороду. Хочется приласкать старика, сказать что-нибудь особенное. Но у меня нет на языке нужных слов.

III

Я беру вогульский лук с одной стрелой, отправляюсь в поле. Сжатые полосы кажутся розовыми в нежарком осеннем блеске. Певчие птицы замолкли. Полет ворон и галок стал тяжелее. Они подолгу сидят на вершинах деревьев, нахохлившись, неподвижные. Гуси улети в теплые края. И такая тишина в горах и на озерах. Изредка в небе протянет запоздалая стайка хохлатой чернети. Эти проворные утки летят молчаливо, не останавливаются на жировку в протоках. Я провожаю их взглядом, начинаю кружить в поле. Куропатки поднимаются всей стайей:

— Фыр, фыр-фыр.

Я опоздал приготовить лук. Стрела падает в стороне, глубоко уходит в землю. Птицы рассыпались в воздухе, как зерна, брошенные из лукошка рукой деда. Самец сидит в борозде, повернув ко мне голову, подпрыгивает, стрекочет:

«Кто такой? Кто такой? Не боюсь».

Ах, почему нет другой стрелы?! Иль будь у меня ружье, я бы показал этому стрекуну. Пытаюсь накрыть птицу шапкой. Она взвивается в воздух, легко догоняет стаю.

Пересекая поле, вхожу в лес. В сумрачной тишине даже осины, на которых кое-где остался желтый лист, стоят, не шелохнутся. Пихты и лиственницы мягко зеленеют на склонах горы. Я иду, осторожно ступая по мшистой полянке. Молчаливый лес немножко пугает. Под каждым кустом затаились звери и птицы. Они слышат и видят меня, наблюдают за мной.

Вспоминаются бабушкины сказки про

колдунов, леших, оборотней, белых волков и медведей, говорящих человеческим языком. Я так много наслушался этих сказок, что они стали былью. Черный валун, обросший мхом, кажется мне чародеем, отдыхающим на таежной тропе. Вот он поднимется, отряхнет плесень, сверкнет глазами:

«Стой, парень! Куда идешь?»

Я останавливаюсь возле валуна, долго смотрю на него. В глазах рябит. И кажется мне: он шевелится, земля кругом качается от его могучих движений. На березе тревожно стрекочет сорока. Она тоже заметила непорядок, спешит рассказать об этом другим птицам. Я сжимаю в руках стрелу. От страха подгибаются колени. Холодок обжигает спину. А надо итти. Охотник должен быть смелым.

Дед вчера сказал, что хвоя лиственницы закисает и глухари вылетают на кормежку к берегу реки. В тихий день глухаря слышно далеко. Он с шумом трясет дерево, обдирает ветки. Но какие это строгие птицы! Сколько раз я подбирался к жирующим глухарям. Они снимались, не подпуская меня на выстрел.

— Недотепа ты, недотепа, — укорял я себя. — Ничего-то не умеешь.

Но я помню, как дед учил меня: «Охотник может упустить девять случаев, а на десятом отыграется».

Я затаился и жду. Будто вымерло кругом. Только чайки проносятся над рекой, печально покрикивают. Их уже мало, и эти скоро улетят в дальние края. Я начинаю дремать. И тут, как во сне, — знакомое хлоптанье, хлопанье крыльев. Старка и два молодых петуха рассаживаются на том дереве, под которым я схоронился. Я лежу на спине в густом папоротнике, и мне видно каждое перышко птиц. Некоторое время они сидят неподвижно, к чему-то прислушиваясь. Потом глухарка подает голос, и все начинают расхаживать по сучьям. Натянув до отказа тетиву, я пускаю стрелу под крыло птицы. Глухарь упал к моим ногам. Он даже не бьется на земле, а только вытягивает раза два шею и затихает неподвижным комом. Остальные, как ни в чем не бы-

вало, шелушат хвою. Я стараюсь вытащить стрелу из убитого, как можно тише, чтобы снять еще одного, но, должно быть, делаю неловкое движение. Глухарь улегают.

Рядом плещет волной задумчивая река, и чайки рассказывают друг другу о моей удаче.

«Молодой охотник убил глухаря, — кричат они, оповещая тайгу. — Завтра он убьет еще одного».

И я соглашаюсь с ними. Правда ведь: сколько дней впереди.

По дороге к дому ошупываю глухаря в сумке. Он тяжелый.

Лес молчит, слушает мои шаги. Думается — деревья и камни завидуют мне. Я хожу, — они навсегда прикованы к земле. Я могу подняться на гору, спуститься к реке, долго смотреть в спокойную синюю воду, где плавают хариузы. Могу петь. А что они могут?

Мысли легкие, радостные.

Вот я положу птицу на стол, доброе лицо бабушки расцветет ласковой улыбкою и старуха скажет:

«А Матвейко-то у нас взрослый стал, добытчик».

Я отвечаю:

«Погоди, бабуся, завтра двух принесу».

Но в доме такая кутерьма, что на глухаря никто и не взглянул. У нас была корова Красулька. В лесу она нередко отбивалась от стада, уходила одна далеко. Бабушка и мать разыскивали ее целые дни. Дед хотел продать непутевую корову, купить другую. Бабушка не соглашалась.

— Такой молочной коровы я не помню, — говорила бабушка.

В этот день Красульку задрал в Крутом логу медведь. Мать плачет. Бабушка собирается ехать на лошади за остатками мяса: зверь порвал Красульке шею, выел бок, а туша вся цела.

— Не ездить! — строго говорит дед. — Он еще придет на то место, я его враз накрою, мошенника.

Бабушка не стала перечить. Дед заряжает пулей фузею, берет с собою доски, топор и уходит в Крутой лог. Я было тоже направляюсь за ним, он прогоняет меня с дороги:

— Отвяжись, мешать только будешь, помощничек.

Ночью мы долго не спим. Бабушка беспокоится: кабы дед не сплосал при встрече с медведем. Говорит, что надо было взять на подмогу дядю Нифонта, а старик упрям, все хочет сделать один.

Утром дед вернулся ни с чем. Медведь не пришел доедать корову. То ли запах деда учуял, то ли сыт был и поленился.

Дед с нами не разговаривает. Неудача, видно, обозлила его. Бабушка опять начинает говорить, что корову надо увезти, окропить святой водой и послать — чего же пропадать добру? Медведь может совсем не притти. Мать соглашается с бабушкой. Вдвоем они насаждают на старика.

— Как мною сказано, так и будет, — говорит дед. — Ваши умы известные. Помолчите, сороки.

Вечером дед снова пойдет в засаду. Мне хочется быть с ним. Не сказав никому ни слова, я потихоньку выбегаю на улицу, задворками иду в лес. Разыскать Крутой лог нетрудно: я хорошо знаю окрестности.

Красулька лежит на боку. Трава кругом смята. Валяются клочья содранной шкуры, обрывки требухи. На ветвистой елке — полати, устроенные дедом: три доски, положенные на сучья. Забравшись на полати, я присаживаюсь на корточки, смотрю по сторонам.

С полатей видно далеко. За рекою белым пламенем сверкают базальтовые горы. На увалах по-осеннему желтеют кустарники. В лучах догорающего солнца ярко вспыхивают кусты рябины: безлистые деревья, сгибая ветви под тяжестью гроздьев, возвышаются в молодом ельнике огненными шатрами. Недалеке бьется о камни, бурлит и звенит ручей. Птицы, накричавшиеся за день, молчат.

Лес полон вечерней тишины и смолистых запахов. Дерево, на котором я сижу, очень старое. Когда налетает ветер, оно поворачивается, скрипит. Сухие иглы хвои сыплются мне за воротник. На рябину, в десяти шагах от меня, слетается выводок рябков. Они бойко

кляют и крошат на землю спелые ягоды. Я негромко кашляю. Самка тревожно свистнула. Молодые, с красными бровками, наклонили темные хохолки вниз и так застывают с плотно прижатыми крыльями. Они смотрят, слушают. Старуха еще раз свистнула, и выводок разом снимается. Рассевшись на деревьях, рябки долго пересвистываются. Я слушаю их, думаю о встрече с дедом. Неужели прогонит меня старик?

Дед приходит перед закатом. Поднялся на дерево, увидел меня. Хмуриет косматые брови:

— Ах ты, поганец, — говорит он злым шопотом. — И зачем тебя черти принесли?

Я молчу, прижавшись к стволу, боясь пошевелиться.

— Ну-ка, слазь, — командует дед. — Чтоб духу твоего не было.

— Дедушко, я буду тихо, тихо сидеть, — шепчу я. — Больно хочется посмотреть, как ты его жарехнешь.

Он берет меня за шиворот, чтобы стащить с полатей. В это время хрустит что-то в лесу. Старик, наверно, подумал, что подходит медведь, вздрагивает, и пальцы его, державшие мой ворот, разжимаются. Рука тянется к ружью. Мы прислушались. Тихо было кругом. То, наверно, рысь ловила в кустах рябков. Дед больше не ругается, не трогает меня. Ветер к ночи совсем утих, молчит тайга. Мы сидим, поживаясь от холода.

Зверь приходит под утро. Я слышу внизу громкое чавканье. На поляну падает густая тень от деревьев, ничего нельзя разглядеть. Дед взводит курок, кладет ствол фузею на сук. Я замираю: «Вот сейчас, вот сейчас». Выстрела нет. Дед, оказывается, ждал, когда луна выйдет из облаков и осветит полянку, чтобы ударить без промаха по убойному месту. А зверь в темноте все чавкает да рвет мясо. Красулькины кости похрустывают в его зубах.

Немеют поджатые ноги, щекочет в носу. Я боюсь чихнуть: медведь убежит, и дед непременно поколотит меня. Да и как мы вернемся с пустыми руками? Мать и бабушка изведут деда. К счастью, чуть-чуть забрезжило, и полян-

ка под нами светлеет. Медведь, как черная копна, шевелится, пыхтит.

Выстрел оглушает меня. Полати окутало дымом. Медведь с хрипением и ревом катается по земле. Дым рассеивается: я вижу, как зверь поднялся на ноги, подскочил к нашему дереву. Он рывкает под полатами, царапает кору.

— Лезь на вершину, он тебя не тронет, — отрывисто кричит дед, — и приготавливает топор.

От испуга я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Зверь лезет по стволу. Мне кажется, что мы пропали. Вот мелькает сквозь ветки бурая голова с прижатыми ушами.

Дед одним взмахом топора отрубает медведю лапу, вторым — бьет его по черепу. Рычанье, от которого сжималось мое сердце, смолкает. Медведь, обламывая сучья, катится вниз. Дед заряжает фузею и для верности посылает еще пулю в голову зверя. И нас опять обступает тишина. Над лесом синееет далекое небо. Звезды, мигая, затухают. Рассвет катится с гор в долину. В ельнике посвистывают и перепархивают рябки.

Мы долго молчим. Дед набивает трубку махоркой, руки его дрожат. Светлеет. Видны на траве росинки, сосновые шишки.

Тут проглянуло меж деревьев солнышко. Все заиграло под косыми его лучами, и сразу стало весело.

— Второй раз за всю жизнь такой случай, чтобы он после выстрела на полати кидался, — говорит дед. — Бывало, промахнешься или ранишь, — без оглядки бежит в крепь, а этот вон какой вояка. Не будь топора, он бы нас, как Красульку, освежевал.

Мы спускаемся с полатей. Я прыгаю, стараясь согреться и размять ноги.

Медведь лежит у корневища, земля вокруг него — красна от крови. Дед трогает ногою вздувшийся бок зверя:

— Ишь, налопался, разбойник. Ну, погулял, попиrowал в тайге, пора и честь знать, Михайло Иваныч.

Старик разговаривает с медведем очень серьезно, как с живым. Я посмеиваюсь. Дед гладит меня по голове.

— Испужался, небось? Больше тебя на такую охоту калачом не заманишь, а?

— Нет, — лгу я. — И ничуть-то не страшно. В другой раз ты уж без меня не ходи. Вдвоем лучше.

Дед остается около медведя, а меня посылает за лошадью.

Туман клубится над зарослями. Я бегу, спотыкаясь о гладкие валуны и коренья. Сердце тяжело стучит в груди.

Придя домой, я важно говорю бабушке:

— Запрягай Буланка в телегу. Мы убили медведя-то.

Старуха крестится, моргает:

— Отлились злодею красулькины слезы.

IV

Возле нашей избы на полянке сходка. Мужики и бабы обсуждают, кому и где в этом году ловить рыбу. Я сижу рядом с дедом на завалинке и слушаю, что говорят взрослые.

Верхом на каурой лошади подъезжает рыжебородый незнакомый человек.

Деревня на отшибе. Чужие заглядывают к нам редко, проезд их всегда необычен, оставляет много воспоминаний. Мужики оглядывают незнакомца. Он спрыгнул с седла, отпустил подругу, привязывает лошадь к тыну.

— Здорово, мужички, — весело говорит приезжий.

Все снимают шапки, кланяются.

— Вот вы где, черти не нашего бога, живете. — У него звонкий, веселый голос. — Насилу отыскал. В земстве сказали: «Есть деревня Кочеты». Ищу на карте, а вы и на карту не занесены. Как дикари, без учета существуете.

Мужики переглядываются. Упоминание карты не сулит ничего хорошего. Карт, планов, переписей в Кочетах боятся, как огня. От земских статистиков половина деревни убегает в тайгу, угоняя с собою скот. Всякая бумага, присланная из города, таит подвох, приносит беду.

— Какая у тебя до нас нужда? — спрашивает дед.

— А такая, — отвечает незнако-

мец, — что я буду уполномоченный главной конторы его сиятельства графа Сергея Александровича Строганова. Деревня ваша стоит на графской земле. Тайга, реки, озера — все кругом графское.

Мужики вздыхают, шепчутся.

— Стало быть, нам теперечи выслать прикажете? — бормочет Тарас Кожин.

— Нет, — бойко отвечает уполномоченный. — Бог с вами, как жили, так и живите. Мы не злодеи. Но порядок такой будет: установим плату за выгон скота, ловлю рыбы, за билет на право охоты. Кому дрова потребуются, хворост или строевые бревна для избы, — особая плата. Самовольно трогать ничего нельзя. Даже лыки драть в лесу бесплатно воспрещается. Его сиятельство сами живут в Париже, а нам приказали неукоснительно собирать с вас деньги. Я человек добрый. Обижать зря не стану. Однако, ежели вы заартачитесь, — прибегну к закону, и уж тогда... Поняли?

— Как не понять, — уныло говорит дядя Нифонт.

Мужики тоскливо переглядываются.

Деды и прадеды жили в этой глухой дыре, рыбачили, охотничали, рубили бревна, считали всю окрестную тайгу своей, и вдруг объявился хозяин, проживающий в Париже, и он предъявляет «права».

А человек его сиятельства отстегивает сумку, садится на бревно.

— Ну, давай подходи по очереди, — выкрикивает он. — Охотничий билет стоит пять рублей, куб дров из валежника — шесть рублей. У кого денег нет, можно платить шкурками.

— Нет нашего согласия, — упрямо говорит Емеля Мизгирь. — Как, значит, было до сих пор, так и останется.

— Не ершитесь, мужики, — грозит уполномоченный, — хуже себе сделаете.

— За все платить? — спрашивает Тарас Кожин.

— За все.

Кто-то негромко рассмеялся.

— Погоди, еще водичку на замок запрут, сторожа поставят.

— Помолчите, мужики, — говорит дед, и вдруг становится тихо. — Откуда взялся граф? Что он, сеял здесь траву, сажал деревья, разводил зверей и рыбу?

— Разводил ложкой в чашке, — кричат мужики. — На это графья мастаки.

— Кто староста? — спрашивает уполномоченный.

Семен Потапыч Бородулин выступает вперед, поглаживая бороду.

— Я ничего, — чуть слышно произносит он. — Как мир, так и я. Али вы народ не знаете, ваше благородие? У мужика язык не на привязи. Погалдим немного и согласимся. Не обесудьте.

— Ну, гляди, — сухо говорит уполномоченный. — Ты первый в ответе.

Он поднимается с бревна и объясняет, что здешняя земля была когда-то казенная, а потом, в отдаленные времена, царь подарил ее их сиятельствам графам Строгановым, и, если мужики не подчинятся добровольно, силой заставят да еще за пятьдесят годов недоимку взыщут.

Тарас Кожин, выдернув из тына кол, бросается на уполномоченного. Тот прыгает в седло, нахлестывает ремненным темляком лошадь. И в тишине долго слышен цокот копыт да пыль клубится по дороге.

Мужики дотемна не расходятся.

— И откуда его чорт нанес? — говорит дядя Нифонт. — Сто годов, а может, и больше, стоит деревня, ничего такого не слыхали, а теперь пожалуйте — платить. Дураков нашли.

— Не будем платить, — горячится Тарас Кожин.

— Это как так? — поправляет его Семен Потапыч. — От власти все одно, что от бога, никуда не уйдешь.

Дней через десять опять приехал уполномоченный со стражниками. Мужиков выпороли нагайками. Тараса Кожина и дядю Нифонта стражники увезли с собой. Через неделю, правда, их отпустили. Вернулись они присмиревшие.

Дед ходит сумрачный, с насупленными бровями, улыбка исчезла с его лица. Сидит на лавке, положив на голову ру-

ки, думает. Часто я слышу, как он, крупно шагая по усадьбе, разговаривает сам с собою:

— Графья завелись. Тоже начальники. Раньше купчишки обдирали. Соболь в юродах по катеринке идет, а они за него двадцатку суют. Теперь еще графьев ублажать надо. Один с сошкой, семеро с ложкой. Врете, нечистые. Мужик терпит, терпит да как возьмет-ся вас утюжить.

Однажды к нам заходит Всеволод Евгеньевич. Дед просит учителя подать жалобу губернатору:

— Напиши: несправедливость над мужиками учинили. Испокон веков наше все было. Сам видишь: и без захребетников тяжко жить. А нам еще гирию на шею привесили.

— Написать могу, только пользы не будет, — отвечает Всеволод Евгеньевич. — Губернатор с графом — одного поля ягодки. Закон ведь на их стороне.

— Закон! — вскипает дед. — Какой это к чертям закон! А ежели царю донесенье послать? Зря, мол, утесняют мужиков. Может, он бы одернул кого следует. Мы опора державы, а нас режут под корень.

Всеволод Евгеньевич мотает головою:

— Царь — первый помещик в государстве. Что он, против себя пойдет?

— Стало быть, не от кого милости ждать? — спрашивает дед, нахохлившись и поджимая губы. — Грабят, давят, — молчи.

Всеволод Евгеньевич запахивает полы сюртука, выходит на улицу. Дед вздыхает:

— Эх, взять бы колье да всех, кто пишет законы, по шеям, по шеям...

Деревня согласилась признать графа Строганова хозяином. Староста Семен Потапыч живо переметнулся на сторону графа. Собирает с мужиков, для передачи уполномоченному, беличьи шкурки, птицу. Говорят, что он получает за это процент, а что такое процент — никому не известно.

Дед перестал здороваться с Семеном Потапычем.

— Кому беда и слезы, а тебе прибыль, — говорит он старосте. — Не по правде живешь, Семен.

Староста усмехается, напоминает про закон.

В деревне идут всякие пересуды. Мужики ждут новой беды. Дошел слух, будто царь затевает с кем-то войну. Молодых заберут в солдаты, а на стариков наложат военный налог: сто беличьих и десять лисьих шкурок.

V

Взрослые ушли на охоту в дальние урочища и вернутся не раньше масленицы. Дед мой тоже ушел. В деревне остались только бабы, совсем дряхлые старики да подростки, мои погодки.

Я просился с дедом. Отшучиваясь, старик говорил:

— Рановато. Каши мало ел. Кончишь вот школу, — тогда поглядим. Учись прилежно. Грамота тебе сгодится.

В деревне тихо. Я не нахожу себе места. Скучно слушать бабьи песни, обидно сознавать себя маленьким, неспособным распорядиться собою.

Ношу воду из ключа, кормлю скот, обребаю ворота от снега и хожу в школу. Ученье движается плохо. Школу лет пять назад открыли в нежилом доме старосты Семена Потапыча. Прислали старика-учителя Всеволода Евгеньевича. Через год земство почему-то раздумало содержать школу. Учителю не высылают жалованья, но он все-таки не уезжает. Кормится тем, что добровольно принесут ему матери учеников. Все оборудование школы — маленький глобус и десятка два книг. Всеволод Евгеньевич часто болеет, неделями лежит в постели. Мы, ученики, заходим его проведать.

— Милые вы мои, — говорит он, сдерживая мучительный кашель, — я виноват перед вами. Тяжко мне. Ежели не умру, — наверстаем.

Мои одноклассники уходят. Я остаюсь. У Всеволода Евгеньевича измятое лицо с густыми тенями около глаз. Очки в железной оправе забавно сползают на нос. В комнате грязно.

— Может, печку истопить? — спрашиваю я. Учитель кивает головою.

— Не плохо бы, братец мой.

Я бегу за дровами. Долго растапливаю. Труба засорилась. Комната наполняется дымом. Но все-таки становится теплее. Учитель надрывно кашляет. Я боюсь, что вот сейчас он свалится на моих глазах и умрет.

— Эх, библиотеку бы сюда двинуть, — вздыхает он. — Глушь тмуготараканская, и читать вам, милые мои, нечего.

Я ухожу от него в смутной тревоге. Что такое земство? Почему оно забыло о нашей школе? Не заботится о Всеволоде Евгеньевиче?

Почему нельзя сделать так, чтобы в каждой деревне было много книг?

В двадцати верстах от Кочетов — село Ивановка. Там офеня продает дешевые книжки. Я как-то побывал с бабушкой на ивановском базаре. Книги притягивали меня.

— Бабушка, купи, — несмело попросил я.

Она скосила удивленные глаза:

— Еще придумаешь! На керосин денег нехватает, а он книжек захотел.

Больше я не заикался о книгах. Тайком нагреб в подклети пудовый мешок ржаной муки, привязал к лыжам и целиною, чтобы не встретиться на дороге с соседями, везу в Ивановку. Лавочник взвешивает муку на весах, пробует на язык.

— Полтинник дам.

— Да ведь цена рубль двадцать за пуд.

Он лукаво щурится.

— Кому рубль, а кому поменьше. У тебя, кажись, краденая мука-то, малый?..

Молча беру деньги.

— Давай, привози еще, — кричит лавочник. — Будем знакомы. За различные покупаю, продаю в кредит.

Я — у ларька офени. Маленький толстяк с бабьим лицом ловко разворачивает передо мною свой товар.

От книжек рябит в глазах. Чего только нет на обложках: охотник, убивающий полосатого тигра, толстый генерал на белом коне и много иных со-

блзнительных картинок. Мне нравится книжица «Япанча — татарский наездник». По голубому полю на статном коне скачет молодой человек, одетый в кольчугу. Кривая сабля сверкает в его руке.

— Сколько стоит?

— Двадцать копеек.

Я бывал с дедом в мануфактурных и коженых лавках. Вспоминаю: взрослые торгуются и, якобы пугаясь высокой цены, идут к двери. Приказчики возвращают их к прилавку, сбавляют цену. Это повторяется много раз. Потом бьют по рукам. Ну, конечно, офеня запрашивает. Все они, торговцы, из одного теста.

— Окончательная цена какова?

Офеня сердится.

— Это тебе пенька или что? — кричит он, надув щеки. — Книга есть умственный товар, и его продают без запросу, как вино в казенной лавке. Понимать надо.

Не торгуясь больше, я трачу деньги на умственный товар.

Это были первые книги, приобретенные мною, и, если бы не холод да не встречный ветер, я прочел бы их по дороге к дому. Правда, не все книги оказались интересными. Некоторые уступают бабушкиным сказкам, и не все в них ясно. Однако они доставили немало радости в зимние вечера. Я перечитываю их много раз. Если встречается что-нибудь непонятное, иду к Всеволоду Евгеньевичу, и он охотно объясняет.

Досадно, когда бабушка гасит ночник, укладывает спать.

— Нечего керосин палить, — ворчит она. — Ему цена нынче пятак за фунт. Не господа какие-нибудь — полуночники-то. Для баловства день есть.

Покорно залезаю на полаты, накрываюсь дерюгой. Сон долго не приходит. Мать и бабушка всхрапывают на печке, по стенам шуршат тараканы. Над печкой тягуче скрипит сверчок. Зажигаю коптилку, принимаюсь за чтение. Изба наполняется голубым туманом. В тумане, как видения, двигаются книжные герои. Я вижу их лица, улыбки, слышу смех, смутные голоса и песни.

Бабушка среди ночи просыпается.

— Ах ты, распроклятуший паренек, — шипит она. — Я вот тебе уши надеру...

Я закрываю книгу.

Утром мать будит чуть свет.

— Вставай, книжник, овец кормить надо.

Неохотно поднимаюсь я с постели. После бессонной ночи болит голова.

В устах матери и бабушки слово «книжник» звучит ругательно: отпечетый человек. Но я иногда улавливаю в нем и другое. Кажется, ругая меня при соседях, они втайне гордятся мною.

— И в кого уродился он такой, книжная голова? — удивляется бабушка. — Уткнет нос и сидит, как сыч. Ну, прямо не оторвешь.

Книги прочитаны и перечитаны. Слова офени о новой партии товара не дают покоя. И вот я опять везу на базар муку. На вопросы бабушки, откуда книги, отвечаю:

— Всеволод Евгеньевич дает.

Мать однажды вбегает в избу с перекошенным от испуга лицом.

— У нас муки на доньшке осталось, — тихо говорит она. — Прямо диву далась, как глянула.

— На доньшке? — переспрашивает дед. — Не может того быть.

— И я примечать стала, — добавляет бабушка. — Тает и тает мука.

— Хомяки, небось, дыру проели, — говорит отец. — Мука и ссыпалась под пол. Это бывает.

Они все идут в амбар. Дверь в избу приоткрыта. Я слышу тревожные голоса, спор. Отец залезает под амбар.

— Пол целехонек, — кричит он. — Тут двуногий хомяк работал.

Возвращаются растерянные. Воронет в деревне. Амбары, клетки, завозни не запираются на замок. Объяснить пропажу муки трудно.

— Чудеса, — бормочет дед. — Ну и чудеса.

На другой день всем соседям известно: у Соломиных в амбаре «пошаливают». Дядя Нифонт едет на базар в Ивановку. Рассказывает о нашей беде. Над ним смеются: «Соломинская мука на книжки пошла».

Приехав с базара, дядя заходит к нам. Долго молчит. Я догадываюсь: ему жаль меня, и невозможно удержаться. Он привез тайну, которая давит его, мучает. Я выхожу в сенцы. Прислушиваюсь. За дверями шум. Выходит мать с красными щеками:

— Матвей, поди-ко сюда. Нечего прятаться. Все уж известно.

Я вхожу в избу. Все смотрят на меня.

— Твое дело, парень, с мукой? — спрашивает отец.

— Мое.

Дед опускает глаза, выколачивает о подоконник трубку. Мать всхлипывает, словно ее ударили.

— Околдовал кто-нибудь парня, — говорит бабушка. — Разве в своем уме человек на такое решится?

Отец снимает с гвоздя чересседельник, хватая меня за шиворот.

— А ну, ложись на лавку...

Книги сожжены в печке. Стало пусто в избе и скучно. И я не могу ходить на охоту. Весною стрельнул из лука по стае пролетных лебедей. Стрела попала не в убойное место, и лебедь улетел с нею. Новую стрелу можно достать только зимой у вогулов. Совершаю множество необъяснимых поступков, за которые мне дерут уши родители и соседи.

— Матвейко, в кого ты уродился такой прощелыга? — спрашивает мать.

VI

Просыпаюсь от звона посуды. Мать и бабушка суетятся у шестка. В печке пылают основные поленья. Ослепленный вспышками огня, я приподнимаюсь и зеваю: вечером легли поздно, и так хочется еще поспать.

— Подымайся, именинник, — говорит бабушка и ласково смотрит на меня карими глазами. А мать добавляет:

— Вставай, пролежень, тебе сегодня исполнится тринадцать годов.

Сбрасываю дедовский зилун, служивший мне одеялом, поднимаюсь, бегу к умывальнику. Холодный пол обжигает подошвы.

Мать достает новые, пестрядинные

штаны, голубую ситцевую рубашу, пахнущую краской.

— Одевайся, Матвейко, да башку причеши.

Я старательно причесываю перед зеркальцем жесткие волосы. Мать и бабушка, покончив со стряпней, наряжаются в праздничные платья. Даже дед напяливает на себя старый солдатский мундир, в котором он щеголяет в рождество и на пасху, чистит мелом позеленевшие от плесени пуговицы. Иссеченное морщинами лицо деда строго, а бабушка посмеивается добродушным смешком.

Испечен мясной пирог. К обеду приглашены родичи и соседи. Торжественно звучит старинная застольная песня. Гости неторопливо едят, попивают хмельную брагу, и каждый говорит мне что-нибудь ласковое. Все, что я натворил дурного в этом году, забыто.

Отец гвоздем на пиле играет камаринского. Дядя Нифонт, тяжелый бородатый мужик с задумчивыми глазами, лихо кружится по избе, и половицы скрипят под его ногами. Подконец дед не утерпел, пускается в пляс. Все завидуют старику: он выделяет такие коленца, что молодому впору.

Потом дед подсаживается ко мне, рассказывает, что в дремучей тайге, куда редко заходит человек, живет жар-птица, ростом не велика, не съедобная, но дивной красоты. Все охотники стремятся поймать ее в силоч, и никому не удается — из-под носа улетает.

Я не понимаю, зачем ее ловить, раз она не съедобная.

— Э, внучек, не шути с жар-птицей, — говорит дед. — Великая в ей заложена сила и волшебство: кто ее словит, будет хозяином лесов, озер и болот. Самолучшие птицы, звери и рыбы потянутся к тому человеку, отдадут ему себя: на, что хошь с нами делай, — и станет он богаче всех царей-королей в мире.

— Я ее поймаю, дедушко.

Старик мотает бороною:

— Трудно, Матюха, не хвались.

Вечером гости с песнями расходятся по домам, и тогда дед приносит в избу шомполку двадцатого калибра. Ока-

зывается, накануне он выменял ее в Ивановке на лисью шкуру и помалкивал, старый хитрец. Он лукаво улыбается. Правда, шомполка, видимо, побывала в десятках рук, и хозяева не очень берегли ее. На стволе тускло поблескивают оловянные заплатки, в ложе зияет трещина, замазанная пихтовой смолой, но все-таки лучшего подарка я не мог ожидать.

Я обнимаю деда за шею, целую в колечие щеки:

— Дедушко, больше всех тебя любить буду.

Он отстраняет меня, грозит крючковатым пальцем:

— Ах ты, плут эдакий. Ах ты, плут.

VII

Весна.

Поля очистились от снега, звенят по оврагам ручьи. Распрямляется рыжий папоротник. Ночью летят с юга караваны гусей, лебедей. Скоро появятся утки.

Мы идем строить шалаши на тетеревином току. Птицы пугливы и капризны. Они каждый год выбирают новые места для своих любовных игр и боев. Нужно все обдумать. Дед оглядывает лесные полянки, вымеряет шагами расстояние:

— Давай тут начнем.

Мы делаем из молодого пихтарника скрадок, потом другой. В один день на моховом болоте, покрытом редкими кустами, и на опушке березника вырастает до десятка шалашей.

До рассвета мы забираемся в скрадки. Мрак сковывает дымящийся лес. Тихо и морозно. Дед наставляет меня:

— Оставайся здесь, я пойду в другой скрадок. Сиди тихо, будто тебя и нет совсем. Палить не спеши, твое не уйдет. В току есть главный петух-токовик, его не бей. Он всему делу голова. Убьешь — ток пропал, разлетятся по одиночке. За убитой птицей из шалаша не вылазь, жди другую, третью. Потом всех зараз соберешь.

И он уходит, неслышно ступая по влажной земле. Тьма рассеивается. Небо стало темносиним. Отблески утра

сверкают в лужах. Из темной глубины леса прорвалась ни с чем не сравнимая глухаринная песня. Коротко бормотнул первый косач, замолчал, выжидая, опять бормотнул, и тотчас ему откликнулся другой. Воздух гудит от нежных захлебывающихся звуков. Косачи бормочут и чуфыкают все ближе и ближе, слышны взлеты, негромкое хлопанье крыльев. Где-то на земле откликаются тетерки:

— Ко-ко-ко.

Голоса весны звучат наперебой. И кажется — никогда не кончится это звенящее утро. Вглядываюсь в редяющий сумрак. На голой березе поет петух, приседает, вытягивает раздувшуюся шею, выбрасывая резкие торопливые звуки. Прикидываю глазом: пятьдесят шагов — верное дело. Можно бы стрелнуть, но вспоминается строгий наказ деда: нельзя!..

Надо ждать, когда птицы слетятся на полянку. В стороне, куда пошел дед, — выстрел, второй. Я вздрагиваю:

— Началось!

Утро гонит тьму в глубь леса. По земле стелется туман. Первый луч скользит по вершинам сосен, угловатые тени падают на поляну, все горит в золотых отблесках. В небе трубные звуки пролетных лебедей.

Начинается день.

Косач теперь виден, как на ладони. Его шея переливается радужно-зеленоватым цветом. Черно-синее, в белых крапинках, подхвостье качается перед моими глазами. Появляются две серо-рыжие, все в рябинках, курочки. У них на крыльях поперечный белый пояс, хвост рыже-бурый, короткий, вилообразно-раздвоенный, в черных поясках. Они охорашиваются, чистят клювиками перья.

— Ко-ко-ко.

Петухи камнем падают с деревьев, окружают курочек, и разгорается бой. Птицы клювами хватают друг друга за черные зобы, катаются по земле, царапаются. Летят перья, льется кровь.

Курочки отбегают в сторону.

Я поднимаю ружье. Мушка легла на черный комок. Выстрел взрывает воздух. Петух бьется на земле, вытянув

взломаченную шею. Насыпаю в дымящийся ствол порох, кладу пыж. Как неудобно заряжать ружье в тесном и низком шалаше! Вздрагивают руки, дробь сыплется мимо. На поляне с неослабной силой идет бой. Старая тетерка с клохтаньем бежит в кусты. Токовик, шипя, поднимается над битвой, летит в чашу, за ним срываются остальные. И опять тишина, будто ничего и не было. Я огорчен.

— Не могли подождать.

Надо мною тихо шумят сосны, изредка пролетит с карканьем ворон. От земли — холодок. Я смотрю на высокое звонкое небо, думаю о зиме, когда начнется настоящая охота по зверю. И сосны тоже о чем-то думают, шепчутся с ветром. И так хорошо кругом. Может быть, сегодня меня ожидает удача, я обстреляю деда? Даже, наверное, обстреляю. Если не сегодня, то завтра или в будущем году. У меня молодые глаза, сильные руки и ноги, у меня все впереди. Я долго, долго буду бродить с ружьем, буду смотреть, как меняется листва на березах и осинах.

На деревьях перекликаются дрозды, пролетные рябинники. Шилоклювка садится возле меня на кочку и ковыряет длинным носом землю. Воздух так мягок и нежен, что хочется лечь на землю, лежать вверх лицом. Скоро поднимется трава, и я целые дни буду ходить по этой цветущей земле, охотиться, ловить рыбу в протоках.

Появляется дед с четырьмя косачами в сетке, добродушно-ворчливо пробирает меня:

— Вспугнул, небось, петухов? Теперь долго не прилетят. Эх ты, зююка.

— Спугнул, видно, — говорю я. — Только стал загонять пыж, они, шальные, ка-ак взовьются.

— Ну, ладно. Я, гляди, сколь запоевал. Пошли домой, Матвешко.

Легко сказать: домой. Ему, дедушке, не стыдно на печку отправиться отдохнуть, а куда торопиться мне с одним косачом? Ток продолжается, и петухи могут прилететь. Неохотно вскидываю ружье на ремень.

По дороге дед отдает мне двух косачей.

— На-ко, заткни за опояску, а то неловко деревней итти. Соседи скажут: старик больше молодого несет.

Глаза его искрятся весельем. Я беру теплых птиц. Хочется сказать:

— Милый, милый дедушко.

Но я молчу. Дед вполголоса рассказывает какие-то охотничьи истории. Мы шагаем по деревне. Бабы выглядывают в окна, и, видя меня, обвешанного птицами, кивают головами:

— Молодец парень!

Мы дома. Семейный совет решает: двух косачей в суп, остальных заморозить для продажи. Мать и бабушка обдирают перо, потрошат дичь для варки. Бабушка крестится на образ:

— Слава тебе, господи, сподобил нас, грешных, мяска поесть. Слава тебе, всепетая мати, за щедроты твои, не оставь рабов недостойных на будущее время.

Я не могу понять. Старались, старались мы с дедом, и, оказывается, охотники ни при чем: бог послал. Все во мне кипит. Я говорю обиженно:

— Косачей мы сами достали.

Как сердится бабушка! Как строго сверкают ее кроткие глаза!

— Молчи, охальник, все от бога. Он за такие слова, знаешь, что может сделать?

Я немножко пугаюсь: а вдруг бог в самом деле злой, всемогущий? Но теперь нельзя отступать. Скороговоркой выкрикиваю:

— Не боюсь бога, не боюсь.

Мать роняет на пол кухонный нож. У бабушки краснеет лицо, дрожат губы, и она, страшная в гневе, кричит деду:

— Что глядишь, старик? Поучи его, окаянного сморчка.

Дед сидит на лавке, вытянув кряжистые, обутые в бахилы ноги. Брови его нахмурены, глаз не видно. Лениво попыхивает трубкой.

Бабушка дергает меня за волосы:

— Вот тебе, вот тебе, змееныш! Еще раз учую, места живого на горбу не оставляю.

Мне совсем не больно. Она ведь добрая, бабушка, и треплет меня для острстки. Я готов просить прощенья, но

тут вмешивается мать, хватает бабушку за руки:

— Строгости какие: побаловать дитенку нельзя.

Мать похожа на клушку, оберегающую цыпленка от ястреба. Бабушка говорит:

— Ежели теперь его на ум не ставить, то когда? Этаки слова про бога можно?

Они спорят долго и, постепенно остывая, смолкают. Так всегда. Если мать вздумает поучить меня, бабушка сердится:

— Не смей, изувечишь ребенка. Что ты, в своем уме али нет?

Однажды летом я колол во дворе есиновые дрова. Рядом стояла телега. Я неловко махнул топором, пересек новый ременный тяж. Отец сгреб меня за шиворот, стал стегать сложенным вдвое чересседельником. Дед налетел на отца, чуть не свалил его с ног:

— Пока жив, не дам колотить Матвейку, руки всем обломаю, — кричал старик. — Не смей до него касаться.

Отец топтался возле телеги, бормотал:

— Тяж восемь гривен стоит.

Дед, как петух, носился по двору с отнятым у отца чересседельником.

— Хоть бы восемь рублей, — не дозволю колотить ребенка. Да, не дозволю.

А через неделю я снял со стены дедушкину фузею, стал ее рассматривать, нечаянно спустил курок. Заряд полетел в окно: стекла, звеня, рассыпались на подоконник. Дед здорово прибил меня. Лицо его было в тот день чужое и страшное. Он тупо, с озлоблением, повторил:

— Не балуй с оружием.

Взрослых понять трудно.

VIII

Слух о войне стали уж забывать, как война в самом деле началась. Одни говорили воюем с японцем, другие — с Китаем. Но толком никто ничего не знал. Даже учитель Всеволод Евгеньевич не мог объяснить. Деревня газет не получала. Вести доходили с большим опозданием. Отца моего забрали в сол-

даты. Он уехал и как в воду канул. Писем нет. Первое время это нас беспокоило, потом привыкли, ждать перестали. Только бабушка вспоминает отца в молитвах.

Осень.

По утрам все застывает в крепком холодном сне, лужи покрываются серебрястой коркой, лед хрустит под ногой. Еще вчера пожелтевшие березы, черемуха и рябина стояли, облитые нежарким солнцем, как огромные пылающие свечи, а сегодня ветер лишил их золотого убранства. Просторно и гулко в лесу. Все реже встречаются зимородки в пойме реки.

На зорях дед выходит под окно, подолгу глядит в верховья, где синеют в тумане горы. С наступлением первых морозов он не может спокойно сидеть на месте. По тому, на какой высоте, с какой скоростью летит свиязь, шилохвость, чернеть, кряковая утка, дед предсказывает, когда выпадет первый снег, когда станет река.

Охотники мастерят скрадки на берегах озер, в протоках, у заводей рек — ждут пролетную дичь. У каждой семьи с незапамятных времен облюбовано свое место.

В стрельбе из лука со мною не может потягаться никто из деревенских мальчишек. К ружью я тоже привык — сбиваю на лету любую птицу.

Взрослые все-таки не признают меня за охотника. Настоящим охотником считается тот, кто убил медведя, лося, соболя, куницу. Дороже всех соболя, и мне хочется начать с этого зверя.

С первым снегом взрослые опять уйдут в тайгу за сотни верст от жилья. Там непуганый зверь, настоящая охота, а мне еще коротать зиму дома, с бабами.

Зима пришла неожиданно. В одну ночь землю засыпало мягким пушистым снегом. На реке — шуга. Дед чинит на дворе сани, напевая солдатскую песню.

Я подхожу к нему:

— На соболевку собираешься?

— А то как же, — откликается он, не разгибая спины. — Самая пора настает.

— За жар-птицей?

— Коли попадется, и жар-птицу пымаю. В этот раз, думаю, не уйдет плутовка.

— Ежели меня не возьмешь, один на лыжах уйду, истинный бог, — говорю я, с дрожью в голосе. — Или в прорубь утоплюсь.

Старик отбрасывает топор, выпрямляется и долго стоит, отвернувшись, согнув плечи.

— Весь в меня! — тихо говорит он.

Дед с этого дня стал относиться ко мне по-другому. На улице оглядывает меня из-под руки, любовно шепчет:

— Растет бесенок!

Я жожу с тревогою в сердце. Дня через два, вечером, бабушка говорит, что дед решил взять меня в тайгу. Я целую ее в сухие губы, обхватываю руками шею. Она отбивается, и теплые глаза ее горят не по-старушечьи ярко.

— Только боюсь за тебя, Матвеюшко, — шепчет старуха. — Баловливый ты, страсть господняя. Испортишь деду охоту.

Я клянусь и божусь, что никакого баловства не будет, что во всем стану слушаться деда.

Дед подходит ко мне на рассвете, трогает рукою:

— Ну, соболятник, едем. Погляжу, каков ты на промысле.

Я вскакиваю с постели. Как стучит мое сердце! Кажется, оно хочет выпрыгнуть из груди. Одеваясь, ношусь по избе, опрокидываю скамьи, табуретки. Бабушка, посмеиваясь, собирает нас в дорогу. Сборы недолги. Дед все подготовил заранее. Мы берем с собою двух собак: старую Урму и годовалого кобеля Пестрю.

Урма — лучшая собака в деревне. Я не помню, чтобы дед кричал на нее. Она понимает каждый взмах его руки, исполняет приказания, отданные вполголоса. Пестря молод и дурашлив. На соболевку, как и меня, его взяли впервые.

Садимся в легкие розвальни. Бабушка стегает Буланка вожжой. Сытый мерин берет с места крупной рысью и, екая селезенкой, мчит нас в тайгу. И так долго едем в тишине, как на праздник. Морозное утро. Голубые снега.

На свежей пороше — стежки белок, зайцев, горностаев. Следы горячат собак. Урма вытягивает острую точеную морду и тонко взвизгивает, будто приглашая нас остановиться. Пестря ошалело кидается в сторону. Дед строго кричит:

— Назад! — И кобель возвращается в санную колею.

Чем дальше проникаем в лес, тем больше звериных следов. Даже Урма начинает баловать. Дед сажает собак в розвальни.

В полдень останавливаемся на привал. Разводим костер, кипятим чайник. Меня тянет вперед. Дед долго кормит Буланка, и я боюсь, что соседи, уехавшие на соболевку накануне, забредут в дедово урочище, перебьют «своего» и «чужого» зверя. В том, что у каждого охотника в тайге бродит «свой» зверь, я убежден твердо.

— Давай запрягать, дедко, — молю я. — Нечего прохлаждаться. И так опоздали.

Дед хлопает рукавицами, отогревая руки, сдержанно говорит:

— Не на пожар едем.

Тайга становится гуще и темнее. Встречаются крутобокие сопки, груды валежника. Трудно продвигаться на лошади. Мы слезаем с саней, привязываем к опояскам лыжи. Бабушка крепится.

— Ни духа, ни пера вам, охотнички! Бога не забывайте.

Бабушка поворачивает Буланка, уезжает обратно.

Дед вскидывает на плечи пестерь с сухарями и охотничьим припасом.

— Пошли, — говорит он новым, помолодевшим голосом.

— Айда! — радостно отзывается я.

Вечереет. В лесу тихо, мягкий голубовато-розовый свет разливается в темноте. Склоны гор охвачены широкими мягкими тенями. Поскрипывает под лыжами снег.

IX

Располагаемся в избушке, построенной когда-то дедом. Кругом стеной стоят лохматые ели и пихты. На всю жизнь запомнится эта первая ночь в ста-

новье. В камельке потрескивают дрова. Пламя бросает на стены светлые отблески. Дед готовит ужин, рассказывает о повадках красного зверя, открывает мне охотничьи секреты.

Утром, чуть свет, выходим на промысел. Дед ставит капканы и поставушки. Я иду за ним по пятам — присматриваюсь. В лесу щелкает мороз. Снег на полянах лежит голубыми озерами.

Старик бормочет:

— Встану я, раб божий Спиридон, перекрестясь, пойду, благословясь, из ворот в ворота, из дверей во двери, на восток, на запад, ставлю я капкан на лисицу рыжую, на лисицу чернуюбурю...

Покончив с наговором, он натирает капкан пихтовыми лапками:

— Запоминай мою науку. Голой рукой железо трогать — упаси бог. Зверь хитер, нюх у него здоровый. Он, поди-ко, нас за версту чувствует. Самое любезное дело — пихта: отшибает человеческий дух.

Он ловко срезает деревянную лопаткою снег, опускает в яму капкан, засыпает его сверху:

— Господи, благослови.

После обеда берем ружья, спускаем собак.

Лыжи легко скользят по мягкому снегу. На поляне, почти из-под лыж, разбрызгивая снег, поднимается теребинная стая. Птиц до полусотни. Они взлетают разом, и треск их крыльев пугает меня: останавливаюсь с разинутым ртом. Дед вскидывает фузею, стреляет: два матерых черныша падают в снег.

— Знатную похлебку сварганим, — говорит дед и, весело ухмыляясь, спрашивает: — А ты что не стрелял? Особо приглашенья ждешь?

— Прозевал, — говорю я, не поднимая глаз.

И так досадно за свою оплошность.

— В лесу зевать не полагается: гляди в оба, зри в три, — наставительно бормочет старик. — Зеваки лапти плетут да с бабами на полатах лежат. Такто, внучек.

В первые дни нам не везет. Крупный зверь куда-то переместился: стреляем белок. Дед, пальнув из фузеи, говорит:

— Ком на пол!

Белка падает. Урма подхватывает ее. Старик отрезает пазанки, бросает собаке.

У Пестри широкий поиск, он работает самостоятельно. Но когда Урма первой находит зверя и подает голос, кобель бешеным скоком летит к ней, помогает облаивать. Раненых белок Пестря хватает поперек тушки. Зверек, изогнувшись, вонзает шилообразные резцы в ноздри собаки. Пестря визжит, катается по снегу, не выпуская из зубов добычи. Дед спокойно стоит в стороне.

— Помоги, дедко! — прошу я. — Она порвет ему ноздри.

— Пусть привывает, — говорит дед. — Урма по первому году тоже брала зверя, как попало, и ей доставалось.

Я помогаю Пестре освободиться от белки. Дед ворчливо наставляет кобеля:

— Учись, учись, дурак! Бери за горло, и она тебя не укусит. Не научишься брать бельчонок, не возьмешь кунюцу, не возьмешь соболя. А ежели раненую рысь схватишь за бок, она те кишки выпустит.

И он показывает, как надо брать: кладет белку в пасть кобелю, сжимает его челюсти. Пестря, фыркая, трясет головою. Дед посмеивается:

— Вот так, вот так.

Валит снег, дуют жгучие ветры. В такие дни белка хоронится в гайне, сидит крепко. Собаки облаивают дерево. Дед щелкает волосяным кнутом. Зверек не шевелится. Дед стучит топором по стволу. Я оглядываю запушенное снегом дерево.

— Не видно? — спрашивает дед.

— Нет.

Потом я остукиваю дерево, дед высматривает. Но и он ничего не видит.

— Ну-ко, полезай на дерево, — командует старик. — Непогодь не переждешь.

Я поднимаюсь по скользким обледенелым сучьям. Стынут руки, колючий снег набивается за воротник. Я сержусь, трясусь дерево, гикаю, взбираюсь к самой вершине. И белка оказывает себя.

— Стой, вижу, — покрикивает дед.

Один раз я, приспособившись, стреляю и после сильной отдачи срываюсь

с большой высоты. — На счастье — под деревом мягкий снежный сугроб.

— Я в твои годы падал с деревьев — счету нет, и живу до сей поры, — успокаивает меня дед. — Когда падаешь, норови на ноги стать. Ноги пружинят.

Пестря попал в поставленный дедом капкан. Ему сильно помяло ногу, и он отлеживается в избушке. Когда мы собираемся на охоту, кобель взвизгивает, порываясь бежать за нами.

— Непутевая образина, — говорит дед, склонившись над больною собакой. — Ну, как есть, дурак. Мысленное ли дело — в капкан лезть? Ты еще в поставуху сунь нос, тебя так хлопнет — не встанешь.

В глубокой лади мы поднимаем куницу. Она уводит собак в непроходимую гущеру, вскакивает на дерево, уходит «грядой». Темнота мешает нам взять зверя. Я вздыхаю. Дед, к удивлению, не сокрушается.

— Унесла ноги божья тварь, — стало быть, не наша. Каждый зверь свой срок имеет. Без срока его не возьмешь: на капкан ступит — пружина не щелкнет, на дерево пальнешь — осечка али бо еще что приключится, — так и упустишь.

И он принимается рассказывать случаи, когда уходил не «тот» зверь.

— В позапрошлом годе попалась в капкан чернобурая лиса, и что ты думал: отгрызла ущемленную лапу и ушла. Двое суток гонялся на лыжах, — не поймал.

— Жар-птицу не выдал? — спрашиваю я.

— Да ведь как сказать, — отвечает старик. — Она, поди, не всякому себя оказывает. Ты к ней подошел, ан, глядь, она роньжей обернулась или черным дятлом. Вот и раскуси ее, божью тварь. Одним словом, волшебная птаха. Да погоди уж, мы с тобою доберемся до нее.

— А что будем делать, когда поймем жар-птицу? — спрашиваю я как-то деда. — Разбогатеем, поди-ко, на охоту не пойдем.

Мои слова пугают его.

— Придумаешь тоже, — бурчит он под нос. — О богатстве думать не моги.

От него всякая скверна по земле пошла. Как это на охоту не ходить? Человеку руки-ноги даны, чтобы он трудился. Без работы скиснешь, завянешь, как трава без дождя. Вот на золото многих тоже тянет. Разбогатеть ладят. Другой вобьет себе в башку этакую блажь, охоту бросит, пашню запустит. Все ходит и ходит по таежным речкам, золотой песок ищет. Жалко глядеть на человека. Вроде помешанным становится.

— Находят?

— Редко, — отвечает, посмеиваясь, дед. — Больше впустую шляются. Знал я одного старателя, Миколой звали. Он тысячи штолен в горах пробил, а песку перемыл на решетке — не счастье сколько. И ничего. От своей дурости и кончину принял. Пробил дудку на Желтой косе, спустился туда песок черпать, а земля обвалилась, засыпала его. Наверху-то девчонка осталась, дочь Миколая. Ворот крутила. Она как завоет на весь лес. Я охотился тут. Прибежал на крик. Пособлял откапывать ей отца-то. Выкопали — он мертвый. Возле дудки похоронить пришлось.

— Ну, а если кто найдет?

— Бывает, находят, — сдержанно отвечает старик. — Только это к беде. Старатель осатанеет с радости, почнет пить, гулять, куралесить. Его либо ограбят, либо пьяного в драке убьют. Коли нашел, не сдобровать человеку. Тут, как голодное коршунье на падаль, купчишки из города налетят, всякие жулики, прощельги, зубы разгорятся у всех на легкую жизнь, и пойдет потеха. Ножамы друг друга тычут, зельем травят, в дудки сталкивают.

Помолчав немного, он говорит мне очень серьезно, веско:

— Бойся золота, Матюха. Ежели невзначай натолкнешься где на россыпь или самородки в реке увидишь, — никому не говори, сам в те места больше не ходи. Золото — кровь людская, горе вселенское. Дотронешься до него рукою, — пропал. С отца пример не бери. Его песня сгета.

Я спрашиваю деда, случалось ли ему находить самородки.

— Было такое дело, внучек. На притоке Иньвы-реки годов двадцать тому

назад. Переходил я вброд перекат. Поднял кусок желтенькой, величиной с голубиное яйцо. Осмотрел: чистое золото. Бросил его в воду, перекрестился и говорю: «Господи владыка, не искушай меня понапрасну. Не хочу я лежебокой стать». И ушел, затесок по дороге не сделал. Будь оно проклято, поганое место. И тебе наказываю, Матвейко: не гонись за легкой поживой. Веди себя справедливо. Увидишь в чужом капкане горностаю, лису или кого другого, не бери. Хозяин придет, сам возьмет. Чужая собака гонит зверя, стрелять не смей. У нас в роду этого не было — чужим корыстоваться. У кого совесть не замарана, он по ночам крепко спит, все ему дружки да приятели. Так-то, брат. Запомнишь, что говорю, ай нет?

— Запомню, дедушко, — отвечаю я.

Х

Исколесив на лыжах десятки верст, к вечеру мы возвращаемся в становье. Дед снимает шкурки, вытягивает их на правило. Мелкота меня не радует. Я думаю о соболе. Каждую ночь засыпаю с надеждою: завтра повезет.

Зимнее солнце мягко освещает посеребренную снегом тайгу. Над вершинами деревьев бежит ветер. Со звоном падают сосульки. На расстоянии часа ходьбы от избушки собаки круто сворачивают с лыжницы, с лаем несутся по увалу. Дед останавливается, снимает шапку.

— По красному, — тихо говорит он, поглаживая бороду. — Ну, Матвейко, гляди.

Мы стоим, прислушиваемся. Выходим на собачий след. У деда за плечами висят пудовые тенета, но он летит впереди меня, как на крыльях. Переваливаемся через толстые валежины, скатываемся в лога и пади, взбираемся по голым обледенелым кручам. А впереди, удаляясь, изредка взлаивая, бегут собаки.

Я задыхаюсь, качаются деревья, качается впереди в сугробах согнутая спина деда, и мне кажется, что мы никогда не догоним красного зверя. Насилу переводя дух, окликаю деда:

— Дедушка, наверно, не «тот» попал? Здорово как чешет.

Старик оборачивает ко мне сердитое лицо:

— Провались ты, бесенок, пустая голова.

Я выдохся, начинаю отставать. Но тут собаки «сажают» зверя. Лай становится спокойнее. Можно различить тонкий голос Урмы и глухой — Пестри.

Зверь обосновался на высокой пихте. Собаки сидят, подняв морды, отрывисто тявкают. Мы осторожно подходим к дереву. Дед взводит курок. Я вытягиваю шею, но глаза мои ничего не видят в косматых ветвях. Дед вскидывает фузею к плечу, целится в середину дерева. У меня сжимается сердце: «Он убьет. А я?»

В эти горячие секунды я ненавижу зоркие глаза деда и с завистью слежу за ним. Курок фузеи шлепнул. Сейчас грянет гром, и зверь упадет на снег, как падали сотни других зверей и птиц. Но выстрела нет.

«Осечка» — соображаю я, и мне становится легче.

Дед, шепотком ругаясь, подсыпает в капсюль порох, насаживает новый пистон. Всегда спокойный, уверенный в себе, он на этот раз торопится. Рядом со мной повизгивает Пестря. Задрал голову вверх, я замечаю черный пушистый комок возле ствола.

«Вот он где, — мелькает мысль. — Только бы опередить деда, соболю будет мой. Он упадет к моим ногам, и я первый возьму его в руки».

Сколько раз я это видел во сне. Холодок проходит по моей спине, и какое-то новое чувство потрясает меня с головы до ног. Я вскидываю ружье и, не целясь, стреляю. Соболю фыркает, срывается с пихты, несется «грядую». Собаки бросаются в угон. Горечь давит мне грудь: «Все пропало». Дед сжимает кулаки. Лицо у него растерянное, глаза сверкают. Я жду: старик прибьет меня, — и готов принять самые страшные удары.

— Фефела! — кричит старик. — Дьяволенок поганый, взял тебя на свою шею.

Я заряжаю ружье. И опять мы стремительно скользим по скрипучему снегу.

Позднее я исколесил с ружьем и собакой уральскую и сибирскую тайгу. Немало прошло через мои руки зверя и птицы. Опыт научил многому. Я выработал в себе сдержанность и мудрость, необходимые таежнику. Знаю—не дрогнет моя рука, не обманет глаз, не подведет испытанное ружье. Но и до сих пор меня волнует встреча с красным зверем. А в тот памятный день, когда решалась моя судьба охотника и промышленника, я был охвачен такой горячкой, что не чувствовал земли под ногами.

Соболю надоело скакать по деревьям: он прыгает на землю, хоронится в халуй¹. Собаки роют передними лапами снег, рычат, взвизгивают, но не могут добраться до зверя. Дед ставит фузую к дереву, разворачивает тенета.

— Давай! Давай! — шопотом подгоняет он меня, а сам ловко и бесшумно прыгает промеж валежин. Растягиваем тенета со всех сторон халуя, через каждые три шага ставим подпорку, нижний край втаптываем в снег, чтобы соболю не ушел низом. Тенета сомкнулись. Становится веселее. Дело идет на поправку.

Если зверь убит, лайка бережно схватит его, подаст хозяину. Но подранок и живой сопротивляется, собака рвет дорожную шкурку. Дед, боясь, что Урма и Пестря порвут соболя, выводит их из круга, отдает мне.

— Держи за ошейник, один управляюсь.

Старик с шестом идет к халую. Тычет в щели, ворочает сваленные крестнакрест валежины.

— Кыш, божья тварь. Выходи, выходи.

Собаки рычат, рвутся, и мне трудно укрощать их. Соболю выскакивает из халуя, попадает в тенета. Дед ударил его шестом, но промахнулся. Я весь дрожу. Зверь носится по кругу. Дед снова кидается к нему, падает, споткнувшись о корень. Тут приходит не-

ожиданное: Пестря опрокидывает меня, бросается в обнесенный тенетами круг. Тенета валятся, открывая соболю выход. И зверь, как подброшенный пружиной, несется по снегу, взбегает на дерево.

— Пускай собаку, фефела! — кричит дед.

Я спускаю Урму. Дед освобождает Пестрю, и кобель тоже бросается в угон зверю.

— Ну, распроклятущая собачонка, — бранится дед. — В капканы попадает, тенета рвет. Вот и соболя через нее упустили.

Мы встаем на лыжи. Дед обгоняет меня, скрывается из виду. Я изнемогаю. Кажется, стоит споткнуться, я упаду и больше не встану. Собаки тявкают чуть слышно вдали. Но и соболю, видимо, устал. Мне удастся догнать деда. Я вижу обеих собак и прыгающего «грядую» зверя. Ход его замедляется, прыжки стали тяжелее. Один раз на склоне горы, в редколесье, он срывается и чуть не попадает в зубы Урме. Скоро мы опять тенетим его в халую.

Короткий зимний день кончился. Небо гаснет, надвигается ночь. От деревьев на снег падают косые тени.

— Будем сторожить... — говорит дед. — Ночью брать его неподручно, да и ухамазгались мы здорово. Еще упустим, не дай бог.

— Ну, понятное дело, — поддерживаю я старика. — Утром в самый раз возьмем.

XI

В сотне шагов от халуя мы рубим сухостойную ель. Разводим огонь: сухое бревно знойко пылает, шипит подтаявший снег, огненные языки поднимаются в небо. Собак тянет к огню. Они голодны и устали, но что-то более сильное, чем голод и мороз, удерживает их около зверя. Они зарываются в снег, чтобы согреться, и тотчас вскакивают, беспокойно возятся. Я подзываю их. Они хватают из моих рук мерзлый хлеб, взвизгивают, возвращаются к халую. Дед, озаренный отблеском огня, забавно фыркает.

¹ Груда валежника.

— Эх, Тереха-воха, чайку бы испить, — выдает он свое желание. Чайника нет: дед не рассчитывал на ночевку в лесу.

— В другой раз поьем, — говорю я, — ради такого случая потерпеть можно.

— Ну, уж ладно, перебьемся как-нибудь... — соглашается дед. — Я тебе сказки баять стану, а ты — послухай. — Он смеется и хлопчет над костром.

Мысли мои заняты соболем. Неужели уйдет?

— Вот мы уснем, — начинаю я. — Он подроет дыру под тенетами.

— Без нас не стронется, — говорит дед, — он ведь чует: мы гоношимся, и притих, ждет, чтобы люди и собаки ушли. А и стронется, Урма его почует, нас предупредит. Она свое дело знает. Ты послухай, я вот сказку про медведя скажу. В дальних краях, в темных лесах дремучих, на Сибирском тракту проезжем, задумал один старичок со старухой постоялый двор выстроить, ямщиков обогреть, поить, кормить. Сказано — сделано. Ямщики валом повалили. От того старику перепадет копейка, от другого семишник. Разбогатели старик со старухой. Сот пять денег накопили. Прознали об этом разбойники. Вздумали ограбить старика...

Дед ровно тянет нить знакомой сказки. В деревне сладко было дремать под мягкий его говор. Но теперь я не могу заснуть. Один бок невыносимо жжет, другой — застывает. Да и как можно спать, если рядом соболь? Дед хитрит, притворяясь спокойным. Близость зверя тоже горячит его. Он ненадолго забывается, внезапно встает, протирает глаза:

— Что? Никак Урма тьякала?

Я говорю, как старший младшему:

— Ничего, спи, я слушаю.

— Ежели ненароком я того, — неожиданно бормочет дед, — Пестрю береги, никому не отдавай. Из него собака выйдет, каких мало. Урма сдавать начинает, а Пестря еще десять годов тебе служить будет. С ним без добычи не останешься.

Чудной старик. Вчера он ругал кобеля последними словами.

На рассвете мы привязываем собак к дереву, с шестами в руках входим в халуй. Дед ломает валежник.

— Э-г-е-ей! Кыш!..

Соболь взметнулся над валежником, как черный мяч, подброшенный ударом, и в двух шагах от меня попал в тенета. Я наваливаюсь на него всем телом.

— Держи, держи! — кричит дед, взмахивая надо мною шестом.

Я хватаю соболя за шею. Лапы зверя запутываются в ячейках тенет, но все же он царапает мне руки. Дед бьет его шестом в переносицу.

И все кончено.

Я беру соболя за хвост, поднимаю над заалевшим от крови снегом. До чего же хорош зверь!

Темная ость с дымчато-бурым подшерстком на горбу отливает золотистой искрой. Невозможно оторвать глаз от его головы с большими ушами. Ноги у него толще, чем у куницы, мех мягкий, как шелк. Морда черная в серой пестринке, шея и бока рыжеватого цвета, брюшко — желточно-желтое.

Дед треплет меня по плечу.

— С полем, Матвеюшко!

У меня кружится голова. Теперь я заправский охотник. Я взрослый. Пусть даже умрет дед, — один найду дорогу к этим заветным местам, буду гонять соболей. И жар-птица не уйдет от меня, как уходила от деда.

Заря играет над лесом. Догорают последние звезды. Черный большеголовый дятел стучит на сушине.

Дед берет из моих рук вздрагивающего соболя:

— Аскырь¹!.. — тихо говорит он и, подумав, добавляет: — Матерый, язви его. Кабы не ты, он, гляди-ко, опять бы на дерево сиганул. Староват я, видно, стал, твердости в руках нет. Вот уж заявимся домой, фунт пряников тебе куплю. Знаешь, розовые, с завитушками?

Пряники! Как это обидело меня. Ведь я хотел стать первым охотником, думал о жар-птице, а меня угощают пряниками.

¹ Самец.

Дед стоит передо мною, тяжелый, кряжистый, с лиловым носом, замшелозеленоватой от мороза бородой и морщинами вокруг живых, умных глаз. Снимает трюх, пятернею чешет голову, сладко зевает. Он доволен, старик.

ХII

Не успели мы отдохнуть, вернувшись с соболевки, к нам пришел на лыжах брат деда Максим. Он жил где-то на заимке, верстах в пятидесяти от нашей деревни. За столом поговорили об охоте, о ценах на пушнину.

— А по реке, в деревнях что творится, господи боже мой, — начинает Максим. — Мужики бунтуются. Урядников в холодную посажали, у старшин бляхи с груди посрывали, податей, налогов не платят, а в городах царю забастовку народ объявил. Все начальство перебито, красные флаги на домах повешены.

— Солдаты что смотрят? — спрашивает бабушка.

— Солдаты? — усмешается Максим. — Они почище мужиков бунтуют. Губернатора вывели на колокольню, да и столкнули вниз головой. Вот как они, солдаты, действуют! От присяги царю отказались.

Дед сразу повеселел. Долго расспрашивает о том, что делается в низовьях реки. Наговорившись, Максим уходит. Дед посылает меня собирать соседей.

— Говори — важное дело. Пусть немедля идут. Семена Потапыча Бородулина не зови, без него обойдемся.

Я собрал сходку. Мужики чинно рассаживаются по лавкам. Кому нехватает места, тот садится на пол.

— Вот что, православные, — говорит дед. — Вся Россия на царя поднялась. Губернаторов, помещиков бьют. Народ в свои руки все берет. И солдаты многие, слышать, на царскую власть ружья поворачивают. Я так думаю, что и нам пора. Мы тут великое утешение терпим от графских людишек. Моду взяли — драть за всякую мелочь деньги. Что в тайге да в воде добудешь, — все им подавай. Побаловали псов — хватит: для себя стараться начнем.

Одним слова деда пришлось по душе. Одни говорят, что граф Строганов грабит деревню и пора выгнать графских доверенных. Другие боязливо слушают, помалкивают. Потом завязывается горячий спор.

Харитон Вахонин стучит костылем по полу:

— Царь — помазанник божий. Как можно супротив царской власти итти? Кто бунтует, у того руки-ноги отсохнут.

Дед обзывает Харитона заячьей душой. Харитон, обиженный, надевает шапку и, не простившись, уходит. За ним — человек пять. В избе остаются те, кто согласен с дедом.

— На трусов надея плохая, — бормочет дед, когда захлопнулись двери. — Придется нам, мужики, без них управиться.

— Управимся, — отвечает Тарас Кожин. — Только с чего начинать?

— Первым делом старосте Семену Бородулину бока намать, — вставляет дядя Нифонт. — Из кожи лезет, помогает графским обирать мужиков. Свои, а хуже чужих.

— Не мешает поучить Семена, — соглашается Емеля Мизгирь. — Укоротить ему руки маленько. Я первым начну, а вы подсобите.

Потолковав, мужики ушли.

Сходка собирается каждый день. Емелю Мизгиря посылают куда-то на лыжах в дальнюю деревню — поразузнать. Он вернулся с такими новостями, что у мужиков дух захватывает.

Семен Потапыч пронюхал, что его хотят поучить, не показывается. Баба говорит соседям:

— Занедужил мой Семен. Лихоманка, что ли, его схватила: не пьет, не ест. Боюсь, как бы совсем не умер.

Дед посмеивается:

— Хитер Сенька, шкуру свою бережет.

Мужики отказались платить уполномоченному графа Строганова поборы. Рубят в лесу бревна. Только Харитон Вахонин да еще два-три домохозяина в стороне. Они стоят за Семена Потапыча. Вахонин каждый день ругается у

водопоя с Емелей Мизгирем и Тарасом Кожиным.

— Вам петли не миновать, — говорит он. — Погодите ужю, кончится бунт, покажут всем.

Я помню деда в этот год помолодевшим, задорным. На сходках его голос звенит густо, уверенно:

— Наша возьмет, братцы! Силушка подымается несметная. Не оглядывайтесь на Харитона Вахонина. Он своей бабы боится, не то ли что. С такими кашу не сварить.

Я от бабушки знаю много сказок о разбойниках, которые грабили богатеев, раздавали деньги бедноте, и дед кажется мне атаманом ватаги, поднявшейся отстаивать правду, наказывать богатых и злых людей.

Однажды вечером к нам заходит староста. Дед встречает его холодно. Но староста гость в нашей избе, и дед не поднимает на него руки. Семен Потапыч уговаривает деда не рушить порядок, остепениться, уговорить соседей.

Дед сердито отчитывает Семена Потапыча, называя его мироедом и пауком.

— Не туда гнешь, Спиридон, — говорит староста. — Гляди, кабы тебе хребет не сломали. Вам, лапотникам, отродь царя с губернаторами не свалить. Напрасно смуту сеешь. Жалко мне тебя. Хороший охотник, а с дураками связался.

Дед поднимается с лавки:

— Я тебя выслушал, Семен. И вот тебе бог, а вот и порог. Уходи, пока цел. Хворай на полатах. А то ненароком увидят мужики, что ты выздоровел, — березовой кашей накормят.

Староста уходит, сердито хлопнув дверью.

— Шеромыжник проклятый! — кричит дед вдогонку Семену Потапычу.

Тут на деда набрасывается бабушка:

— Ох, старик, сомнут тебя и нас заодно с тобой. Род Соломинской погибнет. Сын на войне: придет ли домой, — богу известно. Ты бы хоть о внуке подумал, коли себя не жаль.

Дед огрызается:

— Молчи, ворона. Люди этот праздник сто годов ждали. По-новому жить

начнем. Не бабьего ума дело. Помалкивай.

Вскоре снова появляется у нас в гостях Максим. В этот раз он остается ночевать. Всю ночь они говорят о чем-то с дедом. Утром, проводив гостя, дед запрягает собак в нарты. К Пестре и Урме припряжены два кобеля дяди Нифонта и рыжая тарасова Нельма. Дед усаживается в нарты с хореем в руках, с фузеей за плечами, приглашает меня занять место рядом с ним.

Я сажусь без разговоров.

Мы трогаемся вверх по реке. Снег затвердел, ехать легко. Собаки дружно тащат легкие санки. Снежная пыль вьется за нами. Поскрипывают полозья.

Дед рассказывает мне по дороге:

— К вогулам еду, в паул¹ Яргунь. Вогулов в тайге много, люди они храбрые. Ежели поднимутся, большая помощь нашему делу будет. Надо, чтобы со всех сторон пожар запылал. Царь испугается и, куда посылать войско с усмиреньем, не сообразит.

Я уже слышал об охотниках-вогулах. Однажды мы встретили с дедом в тайге двух вогулов, молодого и старика. Они бежали на лыжах, с кремневыми ружьями, по следу раненого лося. Головы их были повязаны красными платками. Мы поговорили немного.

— Как живете, манси? — спросил дед.

— Живем, — ответил старик. — Лось бьем, куницу ловим. Тетерьку, бог пошлет, ловим, куропать ловим. Только шайтан многа пакостит манси. Подкрался к зверю, стрелять пора, шайтан пугнет, и зверь убежал. Шибко худой шайтан водится тайга. Да купцы еще хуже шайтан. Рухлядь² отбирают за долги. Совсем невозможна другой раз жить.

Вогулы пожелали нам удачи и скрылись в кедровнике.

Дед ласков со мною. Шутит, смеется, весело покрикивает на собак.

За день мы сделали около сотни верст. Вечером с гор налетает буря.

¹ Селение.

² Пушнина.

Крутятся снежные вихри. В двух шагах ничего не видать.

Ехать невозможно. Сворачиваем в сторону, укрываемся в ельнике. Ветер настолько силен, что нам даже не удастся развести огня. Ночь проводим без сна. На другой день погода улеглась. Дед кормит собак, и опять мелькают крутые увалы, сосны и лиственницы. В полдень на левом берегу показывается дымок.

— Вот и Яргунь, — говорит дед. — Приехали. Только ты, мотри, не ошибись, парень, не зови их вогулами: обидятся. Они прозывают себя манси. Прозвище «вогулы» дано им чиновниками.

Первыми нас встречают вогульские лайки. Целая свора бежит навстречу. Они с ворчаньем прыгают вокруг санок. Пестря и Урма, путая построжки, рвутся в бой. Дед кричит на собак, взмахивает хореем. К нам подбегают мужчины с курчавыми черными волосами, заплетенными в две длинных косы и перевитыми красными шнурками, с украшениями из медных пуговиц на затылке. Несмотря на холод, манси без шапок, в коротких меховых курточках нараспашку. Они приветствуют нас.

— Пайся, пайся, рума ойка¹.

Дед отвечал им так же. Паул — в сосновом бору. Манси распрягают собак, ведут их куда-то кормить. Нас окружают женщины, дети. Все радуются, будто в самом деле к ним приехали званые гости.

— Кто понимает по-русски? — спрашивает дед.

— Я понимаю русски, — отвечает высокий смуглолицый манси. — Куда путь держите?

— К вам.

— Какой начальник будешь?

— Я не начальник, — говорит, смеясь, дед. — Я буду русский охотник, приехал к манси, как друг, привез хорошие новости.

— Как звать русски охотник?

— Спиридон Соломин, а тебя как?

— Моя — Тосман.

Тосман говорит что-то манси на род-

ном языке, и все опять громко кричат.

— Пайся, рума ойка!

Манси хлопают деда по спине.

— Давайте об деле поговорим, — начинает дед, обращаясь к Тосману.

— А хорош, — отвечает манси. — Дело после будем сказывать. Теперь у манси праздник.

Нас ведут по узкой тропинке, мимо амбаров на столбах, в самую большую юрту паула, усаживают. В чувале горит огонь. Жарко и душно. На нарах лежит огромный лось.

Нас обступает толпа. Манси переговариваются между собой, причмокивая губами.

Тосман выпроваживает лишних людей. Остается несколько мужчин, две женщины — жена и мать хозяина. Мы садимся в передний угол на нары. Старуха угощает нас мороженой рыбой, лепешками, вяленным мясом. Тосман кивает мужчинам. Они стаскивают лося с нар. Четверо берут за ноги рогаца, поворачивают его кверху брюхом. Пятый манси, низенький, коренастый крепыш, всаживает в горло животного нож, распарывает кожу от головы до задних ног. Остальные, взяв ножи, помогают. Лось разделан. В юрте пахнет кровью. Приносят котлы. В один котел кладут внутренности, в другой сливают кровь. Два котла, набитые доверху мясом, закипают на огне чувала. Старуха помещивает в котлах деревянную ложкой, снимает пену. Мужчины принимаются за голову лося. Отпиливают рога, вскрывают череп, достают мозг, отрезают губы, выполаскивают их с языком и почками в чистой воде, бросают в особый медный котелок.

— Это для вас, почетных гостей, — смеется старуха, кивая деду. Она хорошо говорит по-русски.

Тосман наливает в деревянную чашку с золочеными краями немного крови, кладет туда кусочек легкого, часть губы, ухо лося и тихонько ставит чашку на полку в передний угол: это жертва шайтану Чохрын-Ойка — покровителю охоты и промысла. Рядом со священным ящичком на стене висит потемневший образ Николая чудотворца. Чтобы русский святой не обиделся,

¹ Здравствуй, друг.

Тосман мажет кровью лицо и бороду Николая чудотворца.

В юрту собираются гости. Тосман выкатил из-под нар бочонок. Выбивает из него втулку, наполняет водкой кружку. Первую кружку он выплескивает в пылающий чувал, где на секунду вспыхивает синий огонек. Затем кружка идет по рукам. Гости берут мясо из котла. Нам с дедом тоже подкладывают куски дымящейся лосины. Мы сыты, но отказываться нельзя, и, чтобы не обижать хозяина, едим через силу.

Дед, выпив с морозу кружку водки, охмелел и сидит неподвижно, приклонившись спиной к стене. Старуха подносит мне чашечку, наполненную кровью. В крови — кусочки печени и сырого уха лося. Я боюсь, что меня стошнит, не знаю, как быть. Хозяин берет из чашки печень, сует ее мне в рот. Захлебываясь, я глотаю. На хряще лосинового уха шерсть. Я морщусь. Дед покрикивает:

— Ешь, Матвейко, ешь. Гляди, они какие хорошие. Это у них самым сладким считается, а они тебе дают.

В юрту входит пожилой манси в расшитой цветными узорами оленьей малице, и хозяева, забыв про нас, угощают его. Он держит себя, как начальник. Когда говорит, все смолкают, поворачивают к нему лица. Дед спрашивает Тосмана, кто такой новый гость.

— Это Лобсинья, — отвечает Тосман. — Шибко богатый человек. У него триста оленей. Старшина и русские купцы с ним за руку здороваются.

Лобсинья ест неторопливо и мало. Он совсем не голоден и пришел, только чтобы почтить счастливого охотника, убившего сохатого.

Манси подходят к Лобсинье, о чем-то разговаривают с ним. Он отвечает, и все улыбаются, будто он принес неожиданную радость. Но мне кажется, манси притворяются: без Лобсиньи было куда веселее.

Посидев немного за общим столом, Лобсинья прощается, выходит из юрты. Хозяин провожает его за дверь.

Манси просят о чем-то большеголового старика в потертой малице. Они называют его Саввой и шунгур, что зна-

чит — музыкант. Старик уходит из юрты, скоро возвращается с «лебедем»¹. Его усаживают на нары. Шунгур трогает рукой струны. Юрта наполняется глухими звуками. Савва вполголоса подпевает струнам. В песне — голоса тайги, переκληки птиц и зверей, вся эта жизнь, которую я вижу впервые. Манси покачивают головами в лад с песней.

Тосман просит шунгура спеть для гостей по-русски. Старик долго отказывается, но все-таки уступает. Перебирая струны, он поет о битве вогулов с белым царем, о славном богатыре Мадур-Ваза, который сражался с начальником русских.

— Эмас, эмас!² — кричат манси.

И дед тоже хвалит:

— Темный народ, а ты гляди, какие песни складывает.

Шунгур вешает «лебедя» на стену. Начинается представление — охота на диких оленей.

Два подростка, одетые в вывороченные оленьи шкуры, изображают важенку с детенышем. Взрослый манси — в охотничьей одежде, в пимах, с лыжами, с луком и колчаном стрел — играет охотника. Он, стоя на одном месте, «идет» по тайге, высматривает добычу. Кажется, он отстраняет ветви кедров, прислушивается к шуму ветра, поправляя колчан, привязанный у пояса.

Олени стоят, прижавшись друг к другу, вздрагивая от шороха лыж по снегу. Они все видят и ждут смерти. Детеныш припадает к груди матери.

Я оглядываю манси. Они притихли, не дышат. В глазах детей и женщин слезы. Все уже успели полюбить важенку с детенышем. Охотник поднимает лук, встает на колени; натягивает тетиву, долго целится, и мы видим, как самка взвизгивает на дыбы со стрелой в боку и, сделав предсмертный скачок, падает на снег. Вторая стрела прорезает воздух и мягко втыкается в лопатку детеныша, который валится рядом с матерью.

Вздых проносится по юрте. Тихо

¹ Музыкальный инструмент, имеющий форму птицы.

² Хорошо.

звонят струны «лебеда» под рукою шунгура. Дед трогает меня за плечо:

— А ведь здорово они, Матюша. Я прослезился, понимаешь, до того хорошо.

Гости уходят. Хозяин стелет для нас с дедом на нарах оленьи шкуры. Мы ложимся и засыпаем.

Утром опять собираются манси.

— Мы хотим узнать новости, которые привез охотник Спиридон.

— Братья манси, — говорит дед, — я волю вам привез. Мы не признаем губернаторов, земских, станowych, урядников, подати не платим.

— Хорошо, — улыбается Тосман и переводит слова деда.

Манси долго молчат. Шунгур Савва обнимает деда.

— Кому теперь будут манси платить ясак? — спрашивает Тосман.

— Никому, — отвечает дед. — Все, что добыто на охоте, — ваше. Несите эту весть по всем паулам. Пусть знают манси, от края и до края, и делают так, как я сказал.

— Очень хорош, — говорит Тосман. — Мы давно ждали этого. Спасибо тебе, Спиридон.

Дед кланяется. Мы собираемся домой. Тосман загораживает дорогу:

— Ты не сказал о долгах, Спиридон. Манси задолжали много купцам. Одолели нас купцы.

Подумав, дед решительно говорит:

— Маленькие долги платить, а большие не платить...

— Так делать будем, — отвечает Тосман. — В соседнем пауле Салбантал начальники ясак собирают. Не пособит ли нам Спиридон прогнать начальников из Салбантала?

Узнав, что до этого паула верст сорок, дед говорит:

— Запрягай своих оленей, поедем.

Манси идут снаряжать упряжку. В это время к Тосману подходит Лобсинья. Он страшно бранится. Толпа возле упряжки редет. Одни разбегаются по юртам, другие стоят поодаль, прислушиваясь к перебранке и выжидавая. Тосман говорит что-то, останавливает людей взмахом руки. Его не слушают. У Тосмана сердитое лицо. Лоб-

синья грозит Тосману кулаком, повсрачивается к деду.

— Твоя худой человек, — говорит он по-русски. — Пошто к нам ехал? Пошто уговаривал манси на дурные дела? Царь осердится. Бунтовать нельзя.

— Знамо, тебе нельзя, — усмеяется дед. — Ты олесек сколь имеешь?

Лобсинья обиделся: оленей он сам наживал, никого не грабил, и пусть никто не смеет его попрекать богатством. Он велит манси связать деда и везти на оленях к уряднику. Тосман бросается на Лобсинью с поленом. Тогда Лобсинья, подобрав полы малицы, быстро убегает к своей юрте, стоящей особняком. Упряжка готова. Тосман садится в передок, мы с дедом — в заднее сиденье, и олени мчат нас в Салбантал.

XIII

Юрта похожа на ту, в которой мы провели ночь. В чувале горят поленья, на столе зажженные свечи. За столом сидят несколько человек русских и двое манси: один в меховом халате, другой в новых штанах из лосевой кожи и матерчатом пиджаке, подбитом горностаем, — оба с большими косами, заплетенными красным шнурком и перевязанными медной цепочкой. Вокруг стола толпятся мужчины и женщины с белыми шкурками в руках. Дед шепчется с Тосманом. Мы отходим в угол. Красноносый русский поднимается над столом, читает бумагу, в которой сказано, что требуется от вогулов в кабинет государя, что нужно по раскладке на жалованье фельдшеру, на отопление волостного правления, на расходы по провиантскому магазину, на рассылок, гоньку, на повивальную бабку, оспопрививателя и другие расходы. Выходит по двенадцать рублей с плательщика и, кроме того, предлагается сдавать все, что припасли верноподданные вогулы на ясак государю. У кого нет денег, можно платить мехами.

— Это писарь читает, — шепчет мне дед. — Рядом, с бляхой на груди, — старшина, а те двое — русские купцы. Их пригласили для оценки мехов. Уж они оценят, песьи души.

На столе перед старшиной лежит что-то, похожее на короткоствольный пистолет с барабаном. Я спрашиваю деда, что это такое.

— Револьвер, — отвечает он, — семь патронов с пулями закладывается. Семерых можно убить раз за разом. Во, какая штука.

Старшина замечает деда:

— Кто такой будешь? — хриплым голосом спрашивает он. — Зачем сюда явился?

— По торговым делам ежду.

— А, — мычит старшина. — Пока ясак собираем, ничего покупать у вогулов нельзя. Слышите? Ежели что, — этапным порядком отправлю на родину.

— Подожду, — отвечает дед, усмехаясь в бороду. — Мне ведь не к спеху. Может, после вас перепадет что-нибудь.

Начинается сбор ясака.

Писарь глядит на бумагу.

— Сопр Пакин.

В толпе движение. К столу подходит пожилой манси в пестрой собачьей шубе, кланяется начальству.

— Плати ясак, — говорит старшина.

Сопр долго рвется за пазухой, вытаскивает связку белок, встряхивает ее и кидает на стол. Купцы осматривают шкурки, называют цену.

— Мало, давай еще, — приказывает писарь.

— Нету больше, — глухо отвечает Сопр. — Спина болел всю осень: в лес редко ходил.

— Ты лентяй, — говорит старшина. — Придется тебя высечь. Кончим сбор, приготовься.

Вызывают старика Тимофея Хадсбова. Он кладет на стол чернобурую лису. По юрте пробегает шопот. Манси разглядывают богатое подношение царю. Старшина и купцы мнут шкурку в руках, вытягивают хвост, дергают через колено, глядят и ерошат ворс. От шкурки летит шерсть и пыль. Писарь чихает и бранится. Пошептавшись, купцы объявляют цену лисицы: двадцать пять рублей.

Дед подсказывает с места:

— Вот жулики, — шипит он, — в

городе за нее двести дадут, а то и дороже.

— Молчи, твоя молчи надо, — шепчет Тосман.

Старшина благодарит Тимофея, обещает ему царскую грамоту за редкий ясак.

Помолчав, дед спрашивает Тосмана, почему двое манси уселись за столом, потакают старшине и купцам. Тосман говорит, что одного звать Елбын, другого Шома — у Елбына пятьсот оленей, у Шомы четыреста — и что они всегда помогают русскому начальству выколачивать ясак.

— А, понимаю, — кивает дед. — Они вроде вашего Лобсиньи — миродеры.

— Вот, вот, — улыбается Тосман, — худой люди, от царя медали получают, грамоты, а душа у них, как шайтан, злая.

За окном шумно. Подъезжают на оленях и собаках манси из соседних паулов, подходят на лыжах. Дверь то-и-дело отворяется и затворяется. Сдатчики подходят, кланяются старшине. На стол падают связки горностаев, колонков, норки, рыси, куницы.

Старшина складывает дары в холщевую торбу. Кто-то сдает темного с проседью бобра. И опять все вздыхают от удивленья.

Вызывают Павла, по прозвищу Налимий Хвост. Его дед украл когда-то налимов у богатого соседа, и с тех пор за семьей утвердилась кличка «Налимий Хвост». С Павлом бьются долго. Он плохо понимает по-русски. Отдал недавно все шкурки за долг знакомому купцу и не может уплатить ясак. Старшина сердится. Налимий Хвост стоит перед столом, опустив глаза.

— Нет шкурки, подавай деньги. Нам все равно. Понимаешь русский язык, образина?

Налимий Хвост молчит.

Писарь говорит по-вогульски:

— Молах давай ат целковой.

— Молах, — повторяет старшина и подносит волосатый кулак к самому носу Павла. — Ребра поломаю.

Налимий Хвост пятится к двери. Манси громко говорят, что Налимий

Хвост бедный человек, семья у него годолает, взять нечего.

— Лодыри, — кричит старшина. — Я найду, где взять. Меня не проведешь. Писарь, запиши в постановление: отстегать Павла Налимий Хвост за неплату ясака, описать и продать с торгов имущество.

У стола высокий, худой старик. От него приняли сотню белок, требуют еще. Он клянется, что больше не имеет. Его тоже заносят в постановление на порку, а потом молодой манси говорит по-русски, что старику восьмой десяток, он одинокий, по закону давно освобожден от ясака, но с него берут каждую зиму. Манси шепчут что-то старику в ухо. Старшина советует с писарем и купцами. Беличьи шкурки старику подают обратно. Старик не уходит.

— Отойди, дай место другим, — говорит старшина.

— Отдай назад, что десять год брал, — просит старик. — По царскому закону нельзя с меня брать, а ты брал. Пошто брал-то? Эх, кривой душа.

— Верно, — откликаются манси.

— Проваливай, — говорит писарь, отодвигая старика. — Что с возу упало, то пропало. Прошлогодние шкурки сданы в казну его императорского величества. Из них какая-нибудь мадама пальто сшила. Мы тебе похвальной грамоту на будущий год привезем.

Старик ругается. Старшина выталкивает его за дверь. Сбор ясака продолжается.

Я спрашиваю деда, чего он ждет.

— Погоди, скоро увидишь, — говорит он и хитро улыбается.

Тосман подзывает хозяина юрты. Они шепчутся. Хозяин посылает куда-то жену. Она возвращается с четвертной бутылкой водки. Хозяин ставит бутылку на стол:

— Подношение для вашей милости от манси паула. Выпейте, покушайте, и ясак хорошо пойдет.

Старшина, писарь и купцы принимают за вино.

Старшина приглашает деда к столу:

— Иди, купец, выпей с нами стаканчик.

Я думал, что дед откажется. Но старик будто этого и ждал. Он усаживается между писарем и старшиной, опрокидывает в рот чашку с водкой, крякает и принимается за рыбу. Бутылка быстро опорожняется. Дед вторую чашку не пьет. Приложив к ней губы, он выплескивает вино под стол. Никто не замечает этого. Старшина, писарь и купцы чокаются, пьют и галдят. Тосман тихо разговаривает с манси. Я вижу, как дед кладет руку на револьвер старшины, кивает головою Тосману. Манси бросаются к столу. Старшину, писаря и купцов валят на пол, связывают ремнями. Купцы только мычат, а старшина ругается и грозит. Ему затыкают рот рукавицей. Священное начальство манси выносят из юрты на руках, запирают в амбаре.

Шома и Елбын, отбежав к окну, сперва стоят молча. Потом кричат что-то, показывая на деда руками. Елбын вытаскивает из-за пояса кривой нож.

— Чего глядишь? — говорит дед Тосману. — Их тоже вязать надо.

Но манси, охотно связавшие русских, теперь не слушаются Тосмана. Они стоят посреди юрты, не решаясь схватить своих богатых сородичей. Елбын, невысокий, жилистый человек, взмахивает ножом, ругается. Шома угрюмо смотрит на всех маленькими острыми глазами. Дед наводит на Елбына револьвер. Щелкнул взведенный курок.

Елбын втягивает голову в плечи, бросает нож. Тосман повторяет приказание вязать Елбына и Шома. И опять никто не решается подойти к многооленщикам. Значит, не нож пугал манси-бедняков. Чего же они боялись? Тосман сам крутит руки Шома и Елбына, ведет их на улицу и возвращается, поблескивая черными глазами.

Хозяйка убирает со стола недопитое вино, закуски. Дед выходит к столу:

— Слушайте меня, манси. Не надо платить ясак. Русский царь вас грабил и обижал. Теперь супротив царя восстание идет. Не будет царя совсем, и ясаку не будет.

Со всех сторон на деда смотрят зоркие лесные глаза:

— Куда царь денется?

— Там поглядим, — отвечает дед.

— Кто станет править, когда царя не будет?

— Да уж как-нибудь проживем.

Тосман что-то говорит по-вогульски, показывая на деда пальцем. Манси шумят. Улыбки на лицах. Смех.

Дед срывает печати с казенного ящика, раздает деньги. Манси сперва не хотят брать. Тосман успокаивает всех, помогает деду. Каждый получает то, что он внес в казну. Опорожнив ящик, дед развязывает торбу с мехами. Все до одной шкурки возвращены охотникам. Только Тимофей Хадсабов не принимает из рук деда свою черную лису.

— Ты что? — спрашивает дед. — Богат больно стал, что ли? Бери, бери.

Тимофей трясет головою:

— Не нада. Ты — шайтан. Манси худо будет. Спину шибко стегать прутьями станут. Я хворой, убьют сапсе.

Манси смущены. Шум утихает. Будто черная птица пролетела над юртою, всех напугала. Два старика выходят на улицу. Тосман уговаривает Тимофея Хадсабова, бьет себя в грудь кулаками, говорит, что нужно побороть в душе страх, быть таким, как Мадур-Ваза. Хадсабов, не согласившись, уходит.

— Пайтер¹, — бросает ему вслед Тосман.

Хозяин спрашивает:

— Что делать со старшиной и писарем?

Тосман глядит на деда, как бы прося его совета.

— Отстегать березовыми прутьями и отпустить, — говорит дед.

— А купцов?

— И купцов.

— Эма! — кивает манси. — Сделаю, как велит русский охотник.

Обо всем договорились. Нам подают оленью упряжку. Садимся в нарты.

Тосман остается для чего-то в Салбантале. Нас везет широколицый старик в огромной рысей шапке.

На пути мы встречаем охотника-манси. Он идет на лыжах. За спиною —

ружье, за поясом — лиса-сиводушка. Охотник просит у нас закурить. Дед насыпает ему горсть махорки.

— Из Салбантала? — спрашивает охотник.

— Из Салбантала, — отвечаем мы.

— Не видали там русского охотника Спиридона?

— Не видали, — смеется дед.

Манси глядит недоверчиво. Говорит с нашим каюром на своем языке. Каюр что-то отвечает, трясет головою.

— Как же так? — вздыхает охотник, переходя на русский язык. — Мне сказали, что в Салбантал приехал русский охотник Спиридон, снял с манси ясак, беднякам даром дает свинец, порох, новые берданки. Вы, наверно, неправду говорите. Вот схожу, сам узнаю.

Он прощается и уходит.

Каюр поправляет постромки на оленях и смеется чистым детским смехом. Дед тоже улыбается.

— Ишь ты, — говорит он, — какие сказки обо мне по тайге пошли.

В Яргуни мы расстаемся с салбантальским каюром, запрягаем своих собак.

Манси провожает нас до реки. Дед взмахнул хореом. Собаки натягивают постромки.

— Доброе дело мы с тобой, Матвейко, сделали, — говорит дед. — Радость-то какую манси привезли.

Я молчу. Мне кажется, что сам дед радуется больше, чем манси, с которых он снял ясак. И я тоже радуюсь, что мой дед такой человек и что все так ладно у него получается.

Над нами свистит ветер, мороз щиплет щеки, а мне тепло, тепло.

XIV

Стражники вошли в избу ночью. Они пробрались тихо, как воры: дверь не запиралась на запор. Дед еще не успел очнуться, ему связали веревкой руки. Бабушка заплакала. Дед был спокоен, ни о чем не просил стражников, не ругался.

— Ты, Матвейко, теперь хозяином будешь, — тихо проговорил он, покраснев, и грустно улыбнулся. — Береги фузею, Пестрю корми, как следует.

¹ Дурак.

Мне казалось, я никогда больше не увижу дедушку. Я кинулся к нему на грудь. Усатый стражник оттолкнул меня и строго сказал:

— Не лезь.

Я, сам не свой, выбежал во двор, спрятался в конюшне, чтобы не видеть, как поведут деда с завязанными на спине руками. Время тянулось бесконечно, словно застыло, остановилось. Наконец протопали ноги по лестнице, скрипнули полозья у ворот, смолкли голоса. Я вернулся в избу. Мать топила печку. Бабушка сидела на сосновом чурбане, подперев руками лицо, и что-то шептала. Я обнял ее, прижал к себе.

— Как жить станем, Матвейко? — спросила она, всхлипывая. — В острог деда-то увезли, окаянные псы.

— Сам виноват, — сердито сказала мать. — Сидел бы дома, ничего бы не было. А то, как умом рехнулся: бунтовать да бунтовать. Добунтовался. Клопов кормить поехал.

— Помолчи, Степаха! — обиженно крикнула бабушка. — Старик не глупее нас был. Не нам его судить. Душа у него прямая, голубиная.

— Душа, душа!... — передразнила мать. — У всех душа, да только высухнул он один. Ему что? В остроге хлебом кормят. А нам каково без мужика хозяйство вести? Об нас он подумал?

Мне ясно — мать неправа. Бабушке и так тяжело, а она еще изводит ее острыми, как занозы, словами. Я подбежал к матери с поднятыми над головой кулаками.

— Не смей про деда говорить...

Она, испуганная моею горячностью, попятилась.

— Господи боже мой! Да это что же такое? Очертенел парень совсем.

Бабушка дернула меня за рукав:

— Что ты! Мать она тебе или нет?

Она стояла передо мной, сморщив лицо, часто мигая.

Мать села на скамью, тяжело дыша. Глаза ее были широко раскрыты, губы дрожали. Бабушка спустилась в подпол перебирать картошку. Мать подозвала меня, усадила рядом, прижала к себе, поцеловала в лоб.

— Пожалел бы хоть ты меня, Матвейко, — тихо заговорила она. — Несчастлива я, потому и злюсь порой. Тяжко мне, горько. Ты ведь ничего не понимаешь. Отец-то дома почти не жил. Все в отходе да в отходе. Они, отходники, знаешь, какие: оторвутся от семьи да женятся на другой. Боялась потерять его. Осиротит, думаю, он Матвейку. Дед умрет. Как я парня на ноги поставлю? А теперь вот деда взяли. Отца воевать угнали. Может пропасть совсем. За все годы замужества я недели веселой не была.

Склонившись ко мне, она стала рассказывать о своих горестях и тревогах. Слова, ласковые и печальные, вызвали щемящую боль. Я удивлялся тому, что не замечал, какая у меня добрая и хорошая мать.

— Буду любить тебя, мамка, — сказал я, ласкаясь к ней. — Слушаться буду во всем. Ты не убивайся шибко-то.

Вся как-то посветлев, она улыбнулась мне сквозь слезы, подхватила меня на руки, принялась целовать, горячо и жадно, как после долгой разлуки.

— Степанида! — крикнула бабушка из подпола. — Иди-ка сюда, пособи.

Мать, шумно вздохнув, разжала руки.

За окном брезжил рассвет.

Я оделся и пошел кормить скотину.

И сразу потухла радость в душе, навеянная примирением с матерью. Все во дворе напоминало деда. Столбы, лестницы, двери, кормушки были вытесаны, выструганы, прилажены его руками. И нет его больше. Кто меня будет наставлять? Кто поведет в заветные охотничьи угодья? Я положил охапку сена овцам, присел на порог конюшни и задумался.

Мне представилось: быстро катятся по дороге сани. В санях дед, и по бокам — усатые, молчаливые стражники. Холодное, хмурое утро. Свистит ветер. По сторонам стоят могучие кедры, осыпанные снегом. Дед соскакивает с сани, бежит целиной в тайгу, к родным деревьям. Возница осаживает разгоряченную лошаденку. Стражники стреляют. Дед падает, широко раскинув руки.

Все с этого дня круто изменилось. Мужики, вчера бунтовавшие, становятся на колени перед урядником, просят прощения. Их держат в амбаре Семена Потапыча. Секут розгами. Емеля Мизгирь валяется в ногах у старосты:

— Невинные мы, отец родной, истинный бог, невинные. Похлопочи за нас. Отблагодарим.

— Кто виновник? — спрашивает Бородулин.

— Спиридон Соломин, чтоб ему ни дна, ни покрышки на том свете, весь народ сбил. Не будь его, смутьяна, нешто мы бы начали. Он и вогулов взбаламутил. А мы отродясь не бунтовали.

Дядю Нифонта тоже куда-то увозят. Выпускают через две недели. Он рассказывает, что царя повалить не удалось. Кругом — казни. Тюрьмы наполнены народом.

Бабушка плачет, вздыхает, молится богу. Просит у него заступничества, помощи. Она заставляла и меня молиться. Целую неделю я прошу бога, чтобы он вернул деда. Потом мне начинает казаться: бог сам по себе, мы сами по себе. Он слеп и глух, а, может быть, просто не хочет вмешиваться в наши дела. Я швыряю лестовку под печь, отказываюсь становиться на колени перед образами.

Старуха сердится, качает головою:

— Пропадешь без бога, Матвейко.

Дед в моих глазах самый хороший человек. Соседи его предали, чтобы спасти свои шкуры. Мужики ненавистны мне. Встречаю у родника Семена Потапыча:

— Погоди ужо, летом спалю твой дом, — говорю я.

Староста поблек, роняет кнут на снег.

— Э-к-кое сатанинское племя! Что ты, сдурел, ублюдок? Жаль, годами не вышел. Я бы тебя вместе с дедом в острог посадил.

Я неспеша иду домой, радуясь тому, что староста испугался.

Но зачем я сказал ему? Лучше бы молчать, а потом поджечь в самом деле...

Самовольно порубленные дедом бревна вывозят у нас со двора. Староста

присылает повестку об уплате штрафа. Денег нехватает. Продают с торгов Буланка. На торги приходят те самые мужики, что бунтовали вместе с дедом.

— И не стыдно вам? — укоряю я соседей. — Али не за вас дед в острог сел?

— Не мы, так из Ивановки купят, — оправдываются они. — Зачем упускать добро в чужую деревню?

На дворе остались пять ярков и баран. Решено обменять их на ячмень для весеннего сева. Великим постом волки забираются в хлев, и от выводка остается грудка костей.

Семен Потапыч при встречах посмеивается надо мной и над бабушкой:

— Как живете, ре-во-лю-цио-не-ры? Разбогатеть хотели чужим добром. Не привел бог. Спиридону годов десять ка-терги припаяют, — почувствует, что такое царская власть.

Насмешки доконали меня. В тонком еловом чурбашке я просверливаю коловоротом сквозную продольную дыру, насыпаю туда пороху, замазываю хлебом, затираю землю и подкладываю ночью чурбашок в поленницу Бородулина. Дня через два в печке у Семена Потапыча мой «снаряд» взрывается. Разворотило чело, оторвало железный кожух над шестком и выбило стекла в избе. От углей, разбросанных взрывом, загорелся пол. Но сбежались соседи, потушили пожар.

Семен Потапыч является к нам на другой день со стражником.

— Твое дело, малый? — спрашивает стражник. — Признавайся, ничего не будет.

Я молчу.

— Да что с ним калякать, — говорит Семен Потапыч. — По глазам видно, что он. Кроме его, некому. Грозил-ся поджечь, вот и сообразил.

Я пытаюсь убежать во двор. Семен Потапыч хватает меня за волосы, валит на пол. Стражник стегает нагайкою по спине. Бабушка и мать кричат, отталкивают стражника. Он бьет их по рукам.

Две недели я лежу в постели.

Мое свидетельство на право охоты кончилось. Надо взять новое. Крепя сердце, иду к Семену Потапычу.

— Не дам тебе ничего, — говорит он.

— Почему?

— Да потому. Поумнеешь маленько, дам билет.

Я начинаю спорить. Он сердится:

— Ноги твоей не будет в тайге. Всю соломинскую породу со света сживу. У вас кровь дурная, на людей не похожи.

И вот: соседи добывают белок, куниц, постреливают глухарей, а я сижу в избе и ничего придумать не могу. Коровы у нас нет, купить ее не на что.

Неожиданно вернулся отец: высохший, страшный, с колючей сединой в бороде. Он был ранен в бою под Мукденем. Его лечили в госпитале, кое-как поставили на ноги, отпустили по чистой. Из города он шел пешком, простудился, охрип, надрывно кашляет. Бабушка поит его парным молоком, плачет, склоняясь к его изголовью.

На другой день утром бабушка с матерью уходят на реку полоскать белье. Отец лежит на лавке под образами, накрытый аязмом.

— Ну, Матвеюшко, я пока не добытчик, — с трудом говорит он. — Деда законопатели надолго. Семян нет, а сева не за горами. Придется тебе итти на сторону. Вешну мать как-нибудь вспашет сама. Семена зайдем у дяди Нифонта, лошадь попросим у соседей. Принесешь деньги, — разотчемся.

Я спрашиваю про войну.

Отец кривит бескровные губы:

— Трудно мне говорить, парень, да и сказать нечего.

Помолчав немного, он говорит:

— Неладно я жил до сей поры. Не помогал вам. Дедушко-то прав был, когда ругал меня последними словами. Я ведь все понимал, да обуздать себя не мог. Беспокойство в груди: щемит и щемит, гложет. Вроде болезнь какая. Вот и мотался из стороны в сторону. За что ни возьмусь, — скучно. Душа плесневет. Опять же карты. Проиграл один раз двадцать рублей. Жалко стало. Все думал отыграться: возверну свои деньги, брошу играть.

— Неужели выигрывать не доводилось? — спрашиваю я.

Лицо его оживляется.

— Что ты, милый! Так не бывает, чтобы всегда не везло. Случалось, соберу большой банк, а через полчаса все до копейки просажу. Ежели снимешь много на хорошую карту, надо из игры выходить, бежать без огляду. Так многие делают. А я не мог. Совесть не дозволяла. Жалко товарищей с проигрышем оставлять. Руки у них дрожат, лбы в испарине. Думаешь: уйду, а вдруг кто-нибудь со злости себя решит. Такто, брат. Но теперь конец. Я зарок дал. Баловство по-боку. Отлежусь вот, куплю ружье, осенью на охоту с тобой пойдем, рыбу ловить станем, хозяйство поднимем. Только бы пашню засеять. Ты уж постарайся, пожалуйста.

Он смотрит на меня беспокойно горящими глазами, гладит рукой по спине. Я молчу, радостно пораженный той переменной, которая в нем произошла. Он всегда будет дома. Охотиться вместе с ним, — да ведь это такое счастье! А как довольны будут бабушка, мать...

Все ясно: нужно достать денег, иначе — гибель. Я надумал пойти бурлачить. Мне шестнадцать лет. По возрасту меня не примут. Но я легко беру с колена и поднимаю по лестнице в амбар мешки с рожью, выжимаю двухпудовую гирию правой и левой рукой. Чем я хуже взрослых?

XV

В Ивановку каждый год приезжают какие-то доверенные для найма грузчиков, лесогонов и матросов. Самой выгодной считается работа на молевом сплаве¹. Лесогоны вырабатывают рублей сорок в месяц: деньги немалые. Но сплавная работа — тяжелая, опасная. Мать сперва не хочет слышать о моей затее, а потом соглашается. Сама идет в волость, выправляет мне паспорт. Бабушка учит, как подойти к доверенному, что сказать:

¹ Молевой сплав — бревна гонят не плотами, а врассыпную.

— Главное дело, не робей, Матюха, держись по-взрослому.

В день вербовки лесогонов надеваю отцовский азым, новые лапти, иду в Ивановку. Змейкой вьется очередь к столу вербовщика. Мужики покуривают глиняные трубки, галдят. Толстый мужчина с подстриженной клином бородкой глядит на протянутый мною паспорт:

— Не могу принять, молод. Материно молоко на губах не обсохло, а прещь наравне с большими.

Мужики, стоявшие сзади меня, хихикают. Я объясняю, как ношу мешки. Напоминаю про гири.

— Это не касаемо, — замечает вербовщик. — По инструкции действую. Закон не позволяет малолетних брать. Мне под суд через тебя итти?

Обиженный отказом, я не могу сдвинуться с места. В углу, вытянув шею, стоит бабушка, делает мне какие-то знаки. Ничего не понимаю. Ноги и руки дрожат мелкой дрожью.

— Отойди, не мешай, — говорит вербовщик. — Русского языка не понимаешь?

— Ваше степенство, явите божескую милость, — кланяясь в пояс, бормочет бабушка срывающимся голосом. — Возьмите паренька, уж он постарается. Верно говорю, ваше степенство. Обману никакого не будет. Здоровый малый.

— Отойди, баба, — лениво говорит вербовщик. — Сказано, не могу, — значит, не могу.

— Вы не глядите, что ему годов мало, — упрасивает бабушка, — он страсть какой проворный, дюжее его в Кочетах мужика нет.

— Поди прочь, — грубо отвечает толстяк, и щеки его сердито надуваются. — Экая ты прилипчивая.

Бабушка отступает. Я бегу за нею на крыльцо. Чья-то тяжелая рука легла на воротник азыма, тянет меня в сторону. Оглядываюсь: дядя Нифонт. Широкое костистое лицо дяди спокойно. Задвигая меня в угол, он шепчет:

— Молчи ужо, гору, и ту можно обойти, закон — не гора. Люди, брат, раньше законов родились. Кланяйся в

ноги писарю, — все уладит. Не ты первый. Велико дело — паспорт.

Дядя говорит так внушительно, что невозможно сомневаться. Я обрадовался: значит, не все потеряно.

Вечером, захватив с собою ошипанного петуха, бутылку водки, мы с дядей отправляемся к волостному писарю Михайлу Иванычу. Старшины часто выбираются неграмотные, и Михайло Иваныч, горбун с испитым зеленым лицом, заправляет всеми делами. Даже грамотных старшин держит в своих руках. Старшины меняются через три года. Михайло Иваныч сидит в писарях бесценно, считается «докой», может запугать кого угодно. Михайла Иваныча побаиваются даже урядники.

Горбун принимает подношение.

— Эх вы, крещеные. Сразу надо было. Михайло Иваныч все может. Он вашего брата, мужика, со дна морского выволит.

— Благодетель ты наш, — говорит дядя Нифонт. — На-ко, держи петушка, на доброе здоровье.

На другой день изготовлен новый паспорт. В нем значится, что Матвею Алексеичу Соломину восемнадцать лет.

Все обошлось хорошо. Получен задаток, подписан контракт с фирмою Казимира Карловича Ратомского. Мать сушит сухари, чинит одежду. Бабушка гладит мою голову и с нежностью произносит слово «кормилец». Даже мать, редко ласкавшая меня, подобрела.

Урму продаем за пуд муки Емеле Мизгирю. У него сдохла собака, и он долго уговаривал бабушку, чтобы она уступила ему лайку. Пестря стал взрослым кобелем. Я наказываю бабушке беречь его.

— Это моя собака, — говорю я. — Смотри, приглядывай за ней.

Через два дня в Ивановке собирают завербованных по разным деревням. Меня провожают бабушка, мать, дядя Нифонт. Отточенные багры сияют на солнце, позвякивают жестяные бурлацкие котелки. Уходит двадцать пять человек, и знают все: кто-то из уходя-

щих не вернется. Матери и жены плачут, и громче всех — вдова Агафья Черных. Год назад погиб на сплаве ее сын Лука, первый деревенский плясун и силач. Чужое горе берedit незажившие агафьины раны.

— Кабы знала да ведала, не пустила бы я Луканюшку, — причитывает вдова.

Соседки поддакивают Агафье, но никто не верит вдове.

Нас ведет Степан Иванович Саламатов, высокий чернобородый мужик. Каждую весну он ходит на сплав, считается опытным лесогоном. Мать сует ему бутылку вина, просит учить и беречь меня на сплаве. Рядом со мной шагает двоюродный брат мой, Панька Сухов, неуклюжий семнадцатилетний парень. С плоского веснушчатого лица его не сходит сонное и задумчивое выражение, узкие серые глаза всегда полуприкрыты ресницами. Соображает он туго, удивляя всех тупостью и равнодушием.

Бабушка говорит мне:

— Держитесь друг за дружку: у вас одна кровь.

Разбухшая от весеннего солнца дорога рыжеет пятнами навоза, похрустывает под ногами снежок. Мать и бабушка стоят на дороге, помахивая мне руками. И Пестря с ними. Бабушка держит его за ошейник. Он рвется за мной, повизгивает.

Бабы слезы и страшные рассказы о гибели лесогонов не пугают. Шагая по дороге, я думаю о том, как вернусь с деньгами, подниму хозяйство, куплю корову, и все станут еще больше любить меня. Радостно итти с котомкой на спине по сверкающей снеговой равнине. Степан Иванович затягивает песню. Мы нестройно подхватываем.

XVI

Река скована льдом. На берегах лежат штабеля бревен. Мы живем в низеньких прокопченных избушках. Лесорубы кончили свое дело и уехали, оставив нам немудрое жильё, скамейки, деревянные чашки и разную посуду.

В нашу артель влилось человек десять зимогоров¹. Зимогоры дерзки на язык, любят ввернуть острое словцо, рваная одежда сидит на них ловко, точно они в ней родились. Я слушаю рассказы зимогоров о тюрьмах, о скитаниях. Зимогоры ругают бога, царя, начальство, доверенного. Они всюду чувствуют себя, как дома, будто вся земля принадлежит им, вечным странникам-непоседам. У каждого мужика свой мешочек с чаем, сахаром, табаком, разной снедью. У зимогоров все общее. По вечерам, усевшись на бревна, они поют бурлацкие песни. Запевает невысокий человек с рыжей бородой и ясными голубыми глазами, Ефим Козел. Я подхожу, подтягиваю. Скуластый парень окидывает меня сердитым взглядом:

— Отойди, мужик.

Эти веселые парни любы мне: я хочу побрататься с ними, но оказывается — невозможно.

Ефим Козел манит меня рукой:

— Валяй, брат, только не сбивайся с ладу. Собьешься — прогоним.

Ефим запеваёт:

Ты взойди, взойди, солнце красное...
Обогрей-ко нас, добрых молодцев.

Хороша песня, хороша матушка-тайга, хорошо синее апрельское небо над головой.

— Голосище у тебя, парень, здоровый, протодиаконом впору быть, — ободряет меня Ефим. — Ты почаще с нами пой, вникай.

Вечером Степан Иванович Саламатов отводит меня от становья к лесу:

— Ты, Матюха, не очень к шпането подлизывайся. Они — хуже каторжников: не тужилка-мать родила, не горюха принесла.

Я обижен за новых друзей. Молчу. Саламатов строго глядит мне в глаза:

— Упреждаю по-соседски, как ты еще совсем зеленый и мне бабушка наказывала доглядывать за тобой.

Выбираем старосту артели. Зимогоры хотят Ефима Козла. Мужики — Степана Саламатова. Покричав до над-

¹ Зимогоры — зимующие в горах, надолго уходящие из деревни. Переносно: люмпен-пролетариат, отпетые люди.

сады, решили кончить спор поднятием рук. Я поднимаю руку за Ефима: он мне кажется лучше всех. Но мужиков больше, и в старосты выбран Степан Саламатов. Он влезает на пенек, кланяется артели:

— Спасибо за честь, братцы. Я уж для мирского дела постараюсь. В обиду никого не дам. Однако и вы не перечеьте мне. Коли выбрали, подчиняйтесь во всем. Наше лесогонское дело трудное. Порядок должен быть.

Мужики гудят:

— Мотри, не подкачай, Степанушко.

Панька Сухов, нагнувшись ко мне, шепчет испуганно:

— Тебе морду набьют сегодня.

— За что?

— Руку за чужих подымал.

Ледоход задержался. Мы бездельничаем.

Только один человек в артели занят — кашевар Ерема, чистенький и аккуратный мужик лет шестидесяти. У него седая борода, розовые щеки, а под колючими бровями — умные карие глаза. Он совсем не похож на остальных артельщиков. Все почему-то ссорятся, сквернословят, а он худого слова не скажет.

Доверенный заготовил тухлую солонину, крупа подмочена, потемнела, капуста осклизла, но Ерема как-то ухитряется варить из этой дряни вкусные обеды. Лесогоны зовут его: Еремей — золотые руки.

Он улыбается:

— Кушайте на здоровье, сынки.

Рассказывают, что Ерема служил поваром у генерала. Не понравилось генералу одно блюдо, и он бросил его с кушаньем в лицо повару. Еремей, не стерпев обиды, ударил своего господина блюдом по лысине. Генерала с испугу паралич хватил, а он был заслуженный, в больших чинах, сам царь знал того генерала. Еремею дали волчий паспорт, запретили жить в городах.

Зимогоры постоянно наскакивают на мужиков. Кажется, враги вот-вот готовы схватить друг друга за горло, — появляется Еремей:

— Цыц, охальники. Что вам — земля мала? Разойдись.

И все его слушаются.

Я ни с кем не ругаюсь, помогаю Ереме пилить дрова, таскать воду в котлы. Кашевар поглядывает на меня ласково:

— Всегда будь таким, проживешь легко, как с горы на лыжах покатишься. Злой человек сам себя казнит, сам себе могилу роет.

Ночью лед тронулся. До утра гудела и грохотала вода, ломая льдины.

Хозяйский доверенный, Павел Петрович Хмелев, поднимает всех на восходе солнца:

— Пора начинать, ребяташки.

Мы подходим к штабелю с баграми.

— Клади ваги, — командует Степан Иванович.

Голос у него грудной, звонкий.

Багры вливаются в темнокоричневую кору. Дерево звенит тугим звоном, брызжет из его боков смола. Великаны-мачтовик скользят на край осыпи.

— Эй, эй, братаны! — покрикивает Степан Иванович. Ноздри его раздуваются, сверкают белые зубы. Я вглядываюсь в него и не узнаю. Как он не похож теперь на ленивого ивановского мужика!

Десятки тел виснут на рычагах. Ефим Козел запекает:

Эй, лесинушка, ухне-ем,
Эй, словая, са-ма пойд-дет.

Движения лесогонов быстры и ловки. Сначала сползают верхние накаты. Бревна одно за другим прыгают в воду, вспарывают горбами речную гладь.

— А-ать, два, взяли! — командует староста.

Бревна плывут, качаются на порогах и перекатах, чешут друг другу шершавые бока, вода выбрасывает их в заливные луга, в низкорослый ивняк. Мы хватаем бревна баграми, тянем к реке. На перекате островок: малюсенькая козявка. Наскочило бревно, ткнулось носом в землю, остановилось. Волны поворачивают его поперек. К нему прибивается другое, третье, четвертое, и — готов затор.

Сотни бревен напирают сверху, stannoются на-попа. Давя и ломая друг друга, бревна шевелятся, как живые, словно собирают силы для прыжка. Струи воды с шумом прорываются в щели. Потоки хлещут через затор... Река меняет русло. Сначала маленькие ниточки-бисеринки, потом большие клинья воды рассыпаются по луговине, заливая прибрежные ямы, затопляя кусты и холмы с бело-голубыми подснежниками. По водяному полю перекатывается сверкающая полоса солнечных лучей. Вереницей тянутся новые бревна, которые где-то в верховьях сбрасывают другие артели. Медленно, ползком затор двигается по течению. Передние бревна достигают середины островка, и всё останавливается.

Шумит вода.

Степан Иванович оглядывает затор. Мы ищем на заторе скрепы, выхватываем баграми крестовые бревна.

— Якорное бревно тащите! — кричит Степан Иванович.

Мы долго бьемся над якорным. Вытаскиваем, и в тот же миг нас подхлестывает резкий окрик старосты:

— Пошел!

Затор снимается с места, с громаханием катится вниз, вырывает с корнем береговые деревья. И нет силы, способной остановить его. Мы бежим по скользким бревнам к берегу. Я замешкался, не успел прыгнуть на землю, и смяло меня, понесло, как пробку. С берега бросают канаты, кричат:

— Лови, лови!

Я и рад бы схватить бечеву, да залепило глаза, онемели руки.

Только вынырну на поверхность, шарахнет в бок, — опять я иду ко дну. Я обхватываю бревно руками. Скользкое и лукавое, оно сбрасывает меня.

— Врешь, — кричу я, захлебываясь водой.

Ефим Козел обвязывает себя веревкою поперек тела, бросается в реку, хватая меня багром за ворот. Лесогоны тянут веревку, вытаскивают нас обоих.

— Спасибо, Ефим, — говорю я, ляская зубами.

— Не за что, — отвечает он. — Се-

годня я тебя вытащил, завтра ты меня. Сочтемся.

Сделав два шага, падаю на землю. В ушах гудит, потемнело в глазах, будто в яму проваливаюсь.

Просыпаюсь вечером. Догорает зоря. Где-то бормочут тетерева. Надо мною склоняется Ефим Козел.

Вижу его озабоченное лицо.

— Ну что? — спрашивает он. — Укачало?

— Вода холодна, — говорю я, как бы оправдываясь.

Ефим поучает:

— Ты, голубь, на заторе не горячись, о себе думай, доверенного работой не удивишь, медаль не получишь. Второе дело, ставь ногу на носок, обхватывай бревно всей подошвой. Я, голубь, двадцать лет гоняю бревна — и жив. А ежели бы я по затору на пятках ходил, меня б давно раки съели. Сноровка нужна. А уж коли в воду сверзился, не пугайся. Кто испугается, — капут, крышка. Под воду потянет, не барахтайся, а опустишь на самое дно и ногами, что есть силы, оттолкнись: тебя опять на поверхность выбросит. Так-то, голубь. Приглядывайся к моей ухватке. Силы в тебе много, а пользоваться ею ты не умеешь, потому что глуп, а погибать нам с тобою за хозяйскую мощную какой расчет? И вот еще что: полезешь на затор, заранее прикинь, каким местом к берегу сигануть можно. Тут каждый шаг значенье имеет. Другой раз одну сажень не добежит лесогон — и пропал.

Впервые чужой человек говорит со мною так задушевно. Я думаю: «Нет, не ошибся ты, Матвей, когда за Ефима руку поднимал».

Помолчав, Ефим улыбается:

— Кончим сплав, пойдем-ка, парень, со мною бродяжить. Двинемся на Украину, к Черному морю, на Кавказ. Там теплынь, красота, и ни о чем не думай: каждый кустик ночевать пустит. А то отправимся на Дальний Восток, к Тихому океану, жень-шень искать. Это корень так называется. Китайцы за него деньги большие платят. Жень-шень слабосильных стариков молодыми делает. Наберем полные

мешки, продадим и почнем куралесить. Хочешь?

— Мать у меня в деревне, — вздыхаю я, — бабушка...

— Любишь их?

— Люблю.

Ефим хлопает меня по плечу:

— Эх ты, мужик! Связаны вы, косопузые, по рукам и ногам. У меня вот ни матери, ни милашки, и порхаю я по белу свету, как птица.

Я постепенно втягиваюсь в трудную работу. От восхода до заката солнца приходится махать багром, ворочать бревна. Болит спина, ноют руки. Но каждый день нарастает мой заработок, и, засыпая на талой земле у костра, я думаю: «Через месяц у меня вот сколько денег будет. Ради этого можно потерпеть».

XVII

Днем артель растягивается по реке на версту. К вечеру собирается в одно место. У костров поют песни. Зимогоры даже пускаются в пляс. Меня удивляет их стойкость, выносливость. Они как-то умеют беречь свои силы. Ефим Козел предлагает разбирать затор с берега: вбить костыль в бревно, закинуть петлю и тянуть веревкой. Вытащим одно, берем другое.

Павел Хмелев, уж понятно, не согласен.

— Целый день на одном заторе сидеть? — возмущается он. — Ты убытки посчитай, изобретатель.

— Людей сбережем, — не сдаётся Ефим. — Река больно свирепа, народ собран хлипкий, молодой. Долго ли до беды? — голос его срывается и звенит над рекою.

— Дурак в банной кадке утонуть способен, — возражает Павел Хмелев. — На дураков равнение делать? Нет, хозяин не дозволит.

Зимогоры согласны с Ефимом. Мужики тоже считают, что сподручнее тянуть с берега, но боятся перечить Хмелеву. Степан Иваныч, как староста, получает от доверенного десять рублей в месяц надбавки. Это заставляет его молчать.

Способ Ефима отвергнут.

А через день погиб Панька Сухов. Я не видел, как это случилось. Он работал на другом заторе. Хоронили Паньку утром, на хөлмике под кудрявыми соснами. Степан Иваныч мастерит из валежника крест, втыкает его в могилу, притаптыкает ногами. Все обнажают головы. Зимогоры стоят угрюмые, подтянутые, с волчьим блеском в глазах. Доверенный подходит к могиле, вытирает платком лысину.

— Мир праху твоему, раб божий Павел!

Мужики истово крестятся. Ефим Козел, расталкивая людей, взбирается на могилу. Всех обжигает его резкий голос:

— Друзья мои! Что такое! Где правда, друзья мои? Почему одни всю жизнь едят дохлятину, маются, страдают и гибнут для того, чтобы другие разъезжали по заграницам, жили в хсромах, обжирались? Где он, этот наш хозяин, Казимир Карлович Ратомский?

Лицо Ефима бледнеет, плечи дергаются. Мужики боязливо переглядываются.

— Говорят, есть бог, — продолжает Ефим. — А я спрашиваю, что он смотрит, ваш бог? На моих глазах каждый год гибнут люди, — бог молчит. Сотни, тыщи лет страдают люди, а бог молчит.

— Ты бога не тронь, — кричит кто-то из мужиков. — Бог сам по себе.

— Замолчь! — орет доверенный. — Не смей народ смущать! Вот ужo приедем в город, я те, варнака, в полицию представлю. Учитель выискался.

— Ага, правды боишься? — спрашивает Ефим. — Чуть что, — полиция. Не-ет, нас не запугаешь. До полиции далеко. Я спущу в воду — и не поможет тебе ни бог, ни пристав. Жалуйся на меня в преисподней сатане.

Кашевар хватает Ефима за плечи:

— День-то какой, земля радуется, а вы, как зверье, друг на друга.

Ефим смотрит на него сердито, доверенный скрывается в палатке. Лесогоны выходят на затор. В обед Ефим говорит мне:

— Вредный мужичонко этот Ерема. Не люблю таких слизняков. Его ударь по одной щеке, он другую подставит. Вот черт блаженный.

Этот день надолго запоминается. Слова Ефима запали в душу, не дают мне покоя. И у Ефима, и у Еремы своя правда. Оба они любят мне, и я думаю: где настоящая правда? Подкладывая полешко с порохом в печь Семена Потапыча, я делал то, к чему зовет Ефим, и не раскаиваюсь. Но почему Ерема покоряет меня своей сердечностью?

Степан Иваныч говорит о Ефиме:

— Смелый варнак. За такие дела в Сибирь посылают. Не миновать ему кандалов.

Мужики поддакивают Степану Иванычу.

Ефим напоминает мне деда Спиридона.

«Как живетя дедушке в остроге?..» — думаю я.

Слово «острог» непонятно, однако, со слов кочетовских стариков, я знаю, что в остроге плохо, как в аду, которым часто пугала меня бабушка.

«Хорошо бы послать старику денег. Но как?»

Я советуюсь с Ефимом. Он рассказывает об острожных порядках, о передачах. После сплава он будет в городе, зайдет в острог к деду. Я пошлю с ним письмо и пять рублей.

За артелью тянется плот с запасной одеждой, продуктами, инструментами. Павел Хмелев окрестил его «резиденцией». Непонятное слово понравилось лесогонам, и все называют плот: «резиденция». Артель идет с очисткою берегов. «Резиденция» осталась далеко позади. Саламатов посылает меня и Ефима Козла в помощь Ереме. Мы снимаемся с прикола. Тяжело загруженный плот выбивается на стремнину. Ефим управляет шестом. Перегибаясь за борт, свистит сквозь зубы:

— Под табак, якуня-ваня. — Острые маленькие глаза его весело улыбались. — Эка прет вода, эка прет...

— Да-а, не маячит,—говорит Ерема.

Я беру рулевое весло. Солнце стоит в зените. Тонкие облака сходятся и

разбегаются по небу. Ерема оглядывает из-под руки мерцающую даль, шамкает беззубым ртом:

— Здорово наши молодцы лупят — не догоним.

— Есть о чем думать, — говорит Ефим. — Обедать захотят, останутся. От реки, брат, не уйдешь.

Высоко в небе над нами кружится ястреб. Острые крылья его неподвижны. Он, поднимаясь к облакам, становится маленькой точкой, делает петлю и камнем падает вниз, сверкая белым подкрыльем. Иногда он опускается над самым плотом, долго провожает нас. Я вижу его скрюченные когти, желтые выпуклые глаза.

Ерема ворчит, следя за полетом птицы:

— Вот житье: ни работы, ни заботы — день-денской хвост чистит. Ты гни спину зимой и летом, а толку что? Маята. Давай-ко споем, ребята, на душе легче будет.

Ефим запекает:

Уж ты, радость, ты, моя радость,
Ты куда же, радость, девалась?
Где весельице потерялось?
Не в лесу то ли заблудилось?

Вначале звуки чуть слышны, сливаются с плеском воды. Постепенно они нарастают, захватывают нас. Мы с Еремой подтягиваем:

Не в лесах то ли в дремучих,
Приболотинках да зыбучих?
Из того же да из болота
Протекала, ой да, речка быстра,
Речка быстра, эх да, камениста.

И вот распелись мы: будто глухари на току. Не видали, как подлетели к порогу. Плот трясет, вертит, как щелку. Нырнем с гребня в воду, выносимся на стремнину.

— Затор, — кричит Ерема. — Гребни к берегу!

Мы знаем, что делать. Ефим хватает шест. Я наваливаюсь на рулевую жердь, стараясь вывезти плот к заводи. От затора по берегу бежит человек. Он взмахивает руками, кричит на ходу. Это Степан Иваныч. Поровнявшись с плотом, он останавливается, сжимает над головою кулаки:

— Э-э-эгей-ей, молодцы! Жми к берегу, жми! Куда вас черти несут?

Ефим и Ерема изо всех сил работают шестами, плот нехотя идет наискось. Весло скрипит в моих руках. Я высчитываю на-глазок, сколько сажень осталось до затора, и думаю:

«Не совладать».

Однако мы прибились. Плот ударился о береговой выступ. Ефим прыгает на берег с канатом в руках, обертывает чалку вокруг толстого пня:

— Шалишь, заарканили!—орет он.— Старые морячки знают, как плоты водить.

Он смахивает рукавом пот с лица и весело глядит на меня. Вода напирает. Плот завернуло вперед кормюю. Просмоленная бечева натягивается, хрустит.

— Трави, — командует Ерема. — Трави, кукушкин племянник.

Ефим, как белка, мечется вокруг пня.

— Чем я буду травить-то? — скалит он зубы.

Канат израсходован. Староста суетится рядом с Ефимом. На помощь бегут с затора лесогоны.

— Подпирай шестом. Подпирай! — кричит староста.

Губы Степана Иваныча вытянуты вперед, словно он хочет ими ухватить кромку плота. Вся надежда теперь на шесты. Я сжимаюсь в комок, хватаю оставленный Ефимом шест, сую его за борт. Дерево, хрустнув, ломается. Я падаю на мешки с крупью. Ерема давит грудью рулевое весло. Плот опять дернуло, и он, оборвав канат, несется вперед. Ерема бросает руль, крестится широким кержацким крестом:

— Пропали, малый.

Управлять нечем. Люди на заторе машут руками. И опять, захлебываясь ветром, что-то кричит с берега Степан Иваныч.

Плот поднимается на дыбы, лезет кормюю под затор. Я барахтаюсь в воде меж бочонков и досок. Лесогоны вытаскивают меня баграми. Ерему ищут долго — не находят. Павел Хмелев у костра бранит Ефима:

— На тыщу целковых добра утопил,

бродяга. Чесать языком мастер, на дело тебя нет.

— Отвяжись, — вздыхает Ефим. — Человек погиб, а ты деньги хозяйские подсчитываешь. Где твоя совесть?

Мне жаль старика Ерему. Скрипучий голос доверенного верещит в ушах, как пила. Вспоминается смерть Паньки Сухова. И сам я был не раз на волосок от смерти. Завтра, послезавтра еще кто-нибудь утонет, сломает ногу на заторе. А этот человек ходит всегда по сухому в крепких сапогах и еще смеет выговаривать нам.

Я подхожу к нему. Хочется ударить его, но я только говорю:

— Сволочь ты, сволочь!

Он таращит на меня глаза.

— Цыц! Оштрафую.

Я поворачиваюсь, ухожу к палатке. Жгучая струя приливает к сердцу.

Степан Иваныч грозит мне пальцем.

Хочется побыть одному. Я иду в ельник, сажусь на валежину. Меня окружает сладковатый запах перегоня, распускающейся зелени и гниющих кедров. Птицы молчат. Мрачно кругом. В кочетовской тайге все лога и тропинки были моими друзьями. Здесь мертво и тоскливо. Неясный шум доносится с реки. Где-то вода ломает бревна. Я думаю о людях, о завтрашнем дне, о жизни.

Порою не заметишь, как пролетит неделя, месяц, а вдруг накатит такое, что день покажется за год.

Ночью я слышу, как Павел Хмелев уговаривает Саламатова:

— Мутит народ, падаль песья. Того и гляди — забастовку устроят. Столкнул бы ты его на заторе в воду. У тебя ловко выйдет, никто не догадается. Или спирту я отпущу. Выпьют мужики, драку затеют с зимогорами. Ну, а там его невзначай пусть саданет кто-нибудь под вздох так, чтобы он не поднялся.

— Не занимаюсь такими делами, — отвечает Степан Иваныч. — Для душегубства других помощников ищите.

— Хорошего человека погубить грех. А Ефимко нешто человек? Я тебе четвертной билет добавлю.

— Не сподручно это нам, — бормочет староста. — Отродясь не занимался.

— Боишься зимогоров? — насмешливо спрашивает Хмелев.

Степан Иваныч сердится:

— Иди-ко ты к чертям! Вот скажу я ребятам, куда подбиваешь меня, — они те покажут.

И они расходятся в разные стороны.

XVIII

Бревна пригнали к запани, где вяжут плоты. За вычетом штрафа и кормовых денег я получаю двадцать пять рублей. Первый заработок.

Спускаемся до большой реки в лодках. Садимся на пароход. Зимогоры идут пешком к железной дороге. Ах, почему я не сирота? Я ушел бы с ними. Через неделю они будут в городе или на другой реке. Ефим Козел остается с нами: ему надо проехать куда-то по своим делам. Я тороплюсь домой. Хочется обрадовать мать и бабушку деньгами, а на реке клубится туман, пароход лениво загребает плечами воду. На пристанях стоим часами: грузим и выгружаем товары, набираем дрова для топки котлов. На палубе тесно. Все завалено мешками, бочонками, корзинами, связками железа. Пассажиры слоняются по узким проходам, толкают друг друга, грязные, с опухшими лицами.

Я не спал двое суток. Близится пристань, на которой мы должны слезть и дальше итти пешком. Прикорнув на тюке мануфактуры, я засыпаю. Снится мне: я гуляю по кочетовской улице, в руках у меня новая гармонь с серебряными планками. Девки запевают песню. Вороны посвистывают на деревьях, как скворцы.

Просыпаюсь от пароходного гудка, протираю глаза, разыскиваю торбу и направляюсь к выходу. Идя по трапу, ошупываю карман. Рука попадает в дыру. Карман срезан. Ни паспорта, ни денег. У меня подсекаются ноги. Останавливаюсь в стороне. Люди спешат на берег. Я стою. В голове шум. Тоскливо сжимается сердце. Как будут смеяться

надо мною Емеля Мизгирь, Семен Потапыч. Что скажу матери, бабушке? И как теперь расплачиваться с долгами? Возвращаюсь на пароход, прыгаю за борт в мутноватую воду.

Матросы меня спасают. Я отбиваюсь. Бородатый матрос шлепает по спине ладонью:

— Ты что, парень? Очумел?

И вот я на палубе.

Седоусый, с водянисто-светлыми глазами, капитан ворчит:

— Здоров, как бык, а жить не хочешь. Порку тебе задать хорошую. Эх, молодежь, молодежь!

Я лежу на свернутых кольцом канатах. Подходят земляки, товарищи по артели:

— С чего это дурить вздумал?

— Деньги потерял.

— Ай-ай-ай, — певуче говорит Ефим Козел. — Такой молодой, а в воду лезешь. Не в деньгах счастье, парень. Эко дело — четвертной билет. Да мы сейчас вдвое больше соберем. Это нам раз-два плюнуть. Так я говорю, ребята?

Никто не отвечает. Все с опаской поглядывают на Козла.

Ефим снимает с головы картуз, кладет в него серебряный рубль и двигается по рядам:

— А ну, мужички, раскошеливайтесь. С миру по нитке, голому — рубашка. Посочувствуйте пареньку. Я рубль дал. Кто больше?

Мужики расступаются, опускают глаза, прячут руки за спину.

— Не обессудь, милый: сами нищие, — кротко бормочет курносый Филипп Бабаев из Ивановки.

В шапке Ефима десятка два медяков. Толпа отхлынула. Мы остаемся вдвоем.

Вытряхнув деньги из шапки, Ефим сжимает кулаки:

— Хозяева. Ничем их не проймешь, дьяволов.

Ивановцы и кочетовцы идут по берегу, не оглядываясь.

— У меня двадцать рублей, — говорит Ефим, — я бы отдал их тебе, голубь, да не могу: ждет меня в чердынской тюрьме друг. У него чахотка в последнем градусе. Ему нужно моло-

ко, белый хлеб. А тюремная пища известна. Вот и должен я поддержать человека, а ты еще молод, как-нибудь сам выплывай на большак.

Пароход гудит, фукая в небо синеватым паром. Ефим прощается со мною.

В Кочеты я вхожу, грязный и оборванный, как заправский зимогор.

На ветлах кричат вороны. Бабы топчут печи. Над кровлями домов в чистом небе — узкие полосы дыма.

Люди, как муравьи, копошатся на полях и огородах. Соседи смотрят на меня, и многие не узнают. Тощий Пестря, ощерив клыки, бросается мне навстречу. Я окликаю собаку. Кобель стоит, не решаясь приблизиться. Кажется, он вспоминает что-то.

— Вот вздрочу тебя, чертяку, будешь знать хозяина, — говорю и улыбаюсь ему, как другу.

Он узнает мой голос. Виляет хвостом, прыгает ко мне на грудь, повизгивает.

Открываю дверь, шагаю за порог. Отец лежит на том же месте, под образами. Я целую его в холодный лоб. Он глядит на меня усталыми немигающими глазами.

Мать встречает беду попреками:

— Эх, сынок. Весь в отца издался. Чуяло мое сердце.

— Мамка, — говорю я и ничего больше сказать не могу.

Нерадостная вышла встреча.

Из огорода приходит бабушка. Она без слов понимает все, и, обласкав меня, уже гремит чугунами на шестке, приготавливает обед.

— Подойди-ко сюда, бурлак, — просит отец.

Как он ослабел. Даже не может приподняться с постели. Кашель у него короткий, сухой, глаза потухли, на голове лысина.

Я сажусь возле отца.

— Ну, что там случилось с тобой?

Рассказываю все по порядку. Мать и бабушка тоже слушают, вытянув испуганные лица. Я боюсь, что мать разревется, и пропускаю самое страшное: ей незачем знать, как я тонул на зато-

рах, как хоронили Паньку Сухова и многое другое.

— Со мною тоже всяко бывало, — говорит отец, поглаживая мою руку. — Исходил я мест много, не видал счастливых людей. Счастья-то в обрез народу отпущено. Нехватает на каждого. Мечутся людишки туда-сюда. Ну, сколь ни кружат по чужой стороне, хвороба скрючит — домой едут, как я, грешный праведник. Блюди землю, Матвейко. Земля не выдаст. Я, видно, долго еще пролежу в постели. Плохо вам придется. Потерпите.

— Ладно, батька, — отзываюсь я. — Вытянем, не беспокойся. На охоту скоро пойдем. Может быть, Семен Потапыч даст билет.

— Даст, непременно даст, — говорит отец. — Поправлюсь, сам к нему схожу.

Я ловлю в озерах карасей. В речных заводях попадают щуки, хариузы, лещи. Рыбные пироги не сходят у нас со стола. Мы сносно кормимся, но бабушка скучает без молока и шанег. Когда деревенское стадо с мычаньем проходит по улице, она жалостно говорит:

— Не видать нам теперь своей коровки.

Умер отец ночью.

Моросит мелкий дождь, ветер трубит в медные трубы, облака низко бегут над землею. Мы, спотыкаясь в лужах, идем за сосновым гробом. Дядя Нифонт ведет бабушку под руки. Мать голосит. Ей заунывно подвывают соседки.

Дядя Нифонт невесело говорит мне:

— Ну, держись, хозяин: ты теперь сам-большой, сам-маленький. Я тебе помогать стану. Но шибко на меня не надейся. У меня свое семейство, а достатки, — сам знаешь, какие.

XIX

Соседи признают во мне хозяина и, здороваясь, величают Матвеем Алексеевичем. Я взрослый. Множество забот, которых я раньше не знал, свалилось на мои плечи. Готовлюсь к

зимней охоте. Достал порох, свинец, пистоны. И тут опять поперек дороги — Семен Потапыч. Снова мне отказано в свидетельстве на право охоты. Всеволод Евгеньевич принял близко к сердцу мои дела. Сам идет хлопотать к Семену Потапычу. Староста выгоняет его с бранью. Всеволод Евгеньевич говорит, что Бородулин поступает не по закону, и пишет городскому начальству жалобу. Город не отвечает.

Хлеба мы собрали мало. Овощи тоже не уродились. Как жить зиму? Молодежь из Ивановки устремляется на отхожие промыслы, в город.

— Может быть, мне податься в отходники?

Надо с кем-то посоветоваться. Я иду к учителю. Он-то уж, конечно, лучше всех знает городские порядки. Пусть порасскажет, как там и что. Выслушав меня, Всеволод Евгеньевич пожимает плечами, сердито сосет трубку:

— Что дает он вам, город? Лаковые сапожки, венские гармонии, венерические болезни, презрение к сельскохозяйственному труду. Город — свалка нечистот, рассадник преступлений. Здесь вы — спаянная, тесная семья, живущая старым общинным укладом, а в городе человек человеку волк.

Оглушенный потоком яростных слов, я молчу.

— Ты пойми, — убеждает он меня. — Чем ближе человек к земле, к растениям и животным, тем он чище и яснее... Счастье и мудрость жизни в лесу, в поле, под солнцем, а не в каменных мешках и асфальтовых тротуарах.

— Солнышко есть не будешь, — говорю я. — Жить нечем, Всеволод Евгеньевич. Ни коровы, ни лошади, на охоту в лес дорога закрыта.

Учитель, казалось, не слушает меня:

— За каждый рубль ты будешь платить городу своим здоровьем, весельем, радостью. Город изжует, высушит тебя.

Я верю учителю. Но велик соблазн. Снаряжаюсь в город.

А воздух в этот день такой крепкий, тихо дрожат желтые листья на березах, небо мягко сияет, и великая тишина стоит над лесом. Захожу на

могилу отца проститься. Кто его знает, как еще обернутся на чужбине дела?..

XX

Я побывал на пушечном заводе, в железнодорожных мастерских, на скотобойне. В конторах ловкие люди с мышиными глазками выспрашивают:

— Отец у тебя есть?

— Отец умер, а дедушко в остроге.

— За что посадили дедушку?

— За бунт. Он главным зачинщиком в деревне был.

На этом разговоры заканчиваются.

— Таких не берем: проваливай, малый.

Я сплю в ночлежке. С утра до вечера хожу в поисках работы. Улицы в городе длинные, узкие, как протоки в таежных озерах: побродишь часок-другой, глядь — заблудился. В тайге днем я находил дорогу по солнцу, ночью помогали Полярная звезда, Большая Медведица, Три Волхва и другие созвездья. Здесь, в городе, все туманно и непонятно. И люди чудные. Куда-то всегда торопятся.

Деньги тают. Я голодаю, подумываю о том, как выбраться из города. В один из таких дней на базарной площади подходит ко мне старичок с седою бородой, оглядывает меня маленькими бойкими глазами:

— Видать, работенку ищешь, земляк?

— Ищу. Да вот не найду, исхарчился весь, измаялся.

— Паспорт имеешь?

— Имею.

— Айда-ко, побеседуем.

Он поворачивается и шагает по мостовой. Будто знал он, седой ведун, что я пойду за ним, куда угодно.

Идем на окраину. В Кочетах я наслушался страшных рассказов о злодействе горожан. Одно лето ходили слухи, будто городские мыловары зазывают крестьян в салотопню, бросают в кипящий котел, перегоняют на мыло.

Я спрашивал об этом учителя. Всеволод Евгеньевич смеялся, покачивал

головую. Я понял тогда, что рассказы о мыловарах — брехня. Однако теперь подступают сомнения. Кто этот старик? Куда он ведет? Вдруг *это и есть злодей-салотоп, который ловит деревенских ротозеев.

Останавливаемся у голубого домика.

— Вот мой дом, — говорит старик. — А район наш зовется Веселая Слобода.

Во дворе двухэтажный каменный флигель, у заборов — поленницы дров. Огромный черный кобель, гремя цепью, свирепо носится по блоку.

— Все мое, — хвастливо бормочет старик, когда мы проходим по двору. — Без родителей нажил, своим горбом. Звать меня — Агафон Петров.

Входим в кухню, раздеваемся. Глуховатая и плоская, как вобла, стряпуха, подает на стол самовар, ставит чашку с холодным картофелем.

— Пей, ешь и давай толковать о деле, — говорит старик. — Я легковой извозчик, шесть лошадей, три упряжки имею. Мне работников нужен. Двое едят, третьего прогнал за пьянство.

У меня отлегло от сердца. Нет, старик не похож на салотопа. За чаем быстро сговариваемся. Я нанимаюсь ездить в две смены. Первая смена — с восьми утра до четырех дня, вторая — с пяти дня до двенадцати ночи.

— Месяц бесплатно поездишь, — говорит Агафон, — ну, за второй десять целковых положу, харчи мои, за одним столом обедать будем. Я работников уважаю: что сам ем, то и они едят.

Глаза у него теперь широко открыты, неподвижный взгляд их по-детски чист. И он совсем не шутит, хозяин, хотя мне трудно понять, как это тридцать дней работать в две смены и не получать денег. Я долго не решаюсь спросить об этом. Но нужно узнать.

— Почему бесплатно?

— Да ведь ты деревня неотесанная, — отвечает хозяин. — Улиц и переулков, поди, толком не знаешь. Седоки — жулье. Спервоначалу дешево возить будешь, на прокорм нехватит, я тебя обучать должен, а за науку деньги платят. Не хочешь — не надо, я силком не тяну. Иди опять слонов

продавать на площади. Вас, таких голодранцев, сотни шляются. Другого найду.

Вздыхнув, я соглашаюсь.

Старик берет мой паспорт, долго читает его, потом сует в шкафчик под образами.

— Выручку воровать не смей, — строго шепчет он. — Копейку утаишь — сгною в тюрьме. Я вас, дармоедов шелопутных, насквозь вижу.

— Что ты, Агафон Петрович, — обижаюсь я. — Как можно? Да отсохни моя рука.

— Помалкивай. Сам знаю: все вори, все мошенники. Вятский один батрачишко, Федором звали, у меня год ездил, нахалал денег, обормот, свою биржу завел. Вот он, каков народ.

Мы беседуем о деле. Хозяин, мигая красноватыми веками, наставляет меня:

— Место, где стоят извозчики, называется «колода». Выбирать колоду надо умеючи. С одной то-и-дело подадут, а на другой полдня без почину прстоишь. С господами, которые по форме одеты, будь осторожен, не груби, почтение оказывай. На улицах держись правой стороны, кто по левой ездит, — штрафуют. Бойся ломовиков — у них сани здоровые. Ломовик тебя стукнет, будто невзначай, — и готово: ставь экипаж на ремонт. Мастеровых в Горькую Слободу не вози. Чистые разбойники: по шее накладывают, денег не заплатят.

Я киваю головой. Он все бубнит и бубнит:

— Такса — пятнадцать копеек за первые четыре квартала, дальше — по гривеннику за каждые два квартала. В дождь, в мороз, в непогоду — с накидку, по соглашению. С пьяных дорожке проси. Будешь сдачу отсчитывать, не добавь гривенник, а то и полтину. Жалеть таких нечего — все равно пропьют, а нам с тобой и семишник на пользу. Верно?

Я молчу.

— Кавалера с барышнешкой повезешь, — опять не зевай. Ему, кавалеру, неудобно перед женским полом конфузиться. Он старается показать себя бо-

гатым, благородным. На благородстве и лови: наездил по таксе на рубль, требуй два, три рубля. На овес, мол, цена поднялась, а сам возвышай голос: коли человек вторившись, из него веревки вить можно, и шуму он страсть боится. Только с умом действуй. Допустим, седок с законной супругой, — нажимать нельзя: хуже будет.

Хозяин ведет меня в конюшню посмотреть лошадей, на которых я должен ездить. Тощую кривоногую гнедую кобылу зовут Касаткой, а вислозадного серого жеребца — Бардадымом. Хозяин учит меня, как запрягать лошадей, чистить сбрую и покрывало. В передке санок висит молоток с заточенной шляпкой.

— Для чего эта штука?

— Ноги коням подбивать, — отвечает хозяин. — Но, ежели на тебя какой гусь нападет или побежит, не расплатившись, лупи молотком по башке. Я с полицией в дружбе: ничего не будет. И твое дело правое: наездил — плати.

Я гляжу на хозяина со страхом: «Ну, божий старичок!»

В окно доносится приглушенный шум города. Где-то, совсем рядом, орет гудок.

Вечером приезжают работники. Я помогаю им распрягать лошадей. Одного зовут Кузьмой. Это пожилой сутулый мужик с неподвижными глазами. Другой, по прозвищу Волчок, маленький, толстый парень лет двадцати пяти, здороваётся со мной за руку:

— Ставь четвертную бутылку, беги за колбасой. Это с тебя вспрыски. Дружить будем. А не хочешь, — твое дело.

Я сознаю, что денег у меня нет. Волчок улыбается:

— Как так? Нехорошо выходит. Определился работать, магарыч обязан поставить. Не нами заведено.

Кузьма предлагает:

— Мы тебе, Матвей Алексеевич, займы дадим, из первой полочки вернешь. Согласен?

Еще бы не согласен.

Я готов запродать себя в кабалу на веки вечные, лишь бы утвердиться в городе.

— Вали, ребята, пей, ешь в мою голову, — потом сочтемся.

Работники недоверчиво косятся: должно быть, их смутила такая поспешная готовность.

Оглядываю коней. Спины и плечи у них сбиты, ребра выпирают наружу. В деревне таких лошадей называют одрами. Я не могу понять, как в большом городе можно ездить на этих уродах.

— Заморили коней, — говорю я работникам. — Что ж вы, ребята?

— Дело хозяйское, — подмигивает Волчок. — На козе прикажет ехать, — поедем.

Кузьма, оглянувшись на дверь, тихо говорит:

— Двадцать тысяч в банке лежит, а коней досыта не кормит. И куда хапает, дьявол? На краю могилы стоит. Один, как репей в поле. Был сын, Митька, пьяница. Сына прогнал, лишил наследства, на порог не пускает. Только он не сдается, Митька. Сапожную мастерскую открыл на нашей улице: башмаки чинит. А хозяину обидно: домовладелец, извозпромышленник, почетный гражданин, а сын — холодный сапожник. Да, постой, мы скоро увидим Митьку. Каждую субботу заявляется с визитом, на водку просить.

XXI

Запрягаю Бардадыма, надеваю длиннополый хозяйский кафтан, сажусь на козлы. Стряпуха открывает ворота.

— Пошел с богом, — напутствует хозяин. — Гляди в оба.

Над городом кружатся стаи голубей, звонят колокола: густой звон уплывает в небо. Кончилися мытарства. Все теперь зависит от меня. Только бы не проштрафиться в чем-нибудь, только бы не сплошать.

Останавливаюсь на первой колоде. Впереди до десятка извозчиков. Первоочередный, грузный мужик с кривым носом, сидит на козлах, насупившись, как сын. Остальные возятся около санок.

Хочется спуститься с козел, поговорить с извозчиками, но боюсь, поднимут насмех:

— Где тебе такой дурацкий кафтан сшили, малый?

К санкам подходит господин в шубе с бобровым воротником, откидывает полость, садится.

— В Русско-Азиатский банк.

В поисках работы я исходил город вдоль и поперек и даже, наверное, не раз видел этот Русско-Азиатский банк, но теперь не знаю, куда ехать. Седок не обиделся:

— А, новичок? Ну, поезжай прямо, а там скажу.

Дергаю вожжами, вытягиваю жеребца кнутом. Седок покрикивает:

— Направо. Налево.

Подъезжаем к банку. У подъезда седок молча протягивает двугривенный. Я приободрился. Может быть, не так трудно ездить на козлах?

В полдень подсчитываю выручку. Два с половиной. Для начала хватит. Пора обедать.

Хозяин принимает деньги, вывертывает мой карманы, щупает подкладку пиджака, лезет в голенища валенок. Меня будто кнутом ударили по спине.

— Ты что? — спрашиваю. — Не веришь?

Руки мои, согнутые в локтях, вздрагивают. Я готов схватить старика за горло.

— Почему хозяин должен тебе верить? — говорит он. — Что ты за человек? Я тебя на улице подобрал. И не серчай. Коли не украд, ничего не будет. Для порядка обыскиваю. Ишь, какой спесивый.

Вечером обыск повторяется. Хозяин спрашивает, кого я возил, за сколько. Агафон Петров знает всех купцов и чиновников города. Стоит мне сказать:

— Посадил на углу Торговой и Шадринской толстого господина с палкой...

Хозяин перебивает:

— Знаю, Осмоловский, до Благородного собрания, сорок пять копеек.

— С русой бородой, в золотых очках, посадил у ресторана «Белый лебедь», повез...

Хозяин взмахивает рукою:

— Мишка Пшеницын ездит к любовнице на займку — шесть гривен. Еще кого?

Я называю третьего седока.

— В заведение никого не возил?

Я молчу.

— Язык проглотил, что ли? — бурчит хозяин. — Тебя спрашиваю.

— Не знаю.

— Ну, понимаешь, дурные дома? Это на Сибирском тракту около заставы, целый квартал, Сахалин называется. Живут там девки-гулены. Ездят на Сахалин пьянчужки разные, отпетый народишко. А бывает, и, наш брат, степенные люди закатываются погулять, покуралесить, когда шлея под хвост попадет. С вечера до утра блуд идет — содом-гоморра, не приведи господь. А которые людишки совсем с панталыку сбились, даря не чтут, бога не боятся, те и днем на Сахалин наведываются. Им по колено море, шелопутным. Возить туда седоков — вози, а сам блудить не смей, еще неравен час французскую болезнь подхватишь, меня заразишь.

Я смотрю на хозяина, стараясь запомнить все, что он говорит. Старик гнусаво тянет:

— В заведениях хозяйки извозчикам на чай дают. У них конкуренция промеж себя, как в торговом деле, и каждой хочется, чтобы ты гостя вез к ней, а не в соседний дом. За это и умасливают извозчиков: чаевые прикармливать не смей, будем их считать за выручку. В иных домах хозяйка через швейцара подносит извозчику стакан водки. Зелье не пей.

— Не пью.

— Ну и хорошо, — бормочет старик, — деньгами проси вместо водки.

Потекли дни. Все до мелочей повторяется. И сколько я ни привожу денег, старик недоволен.

— Два рубля? — говорит он, принимая выручку. — Лошадь в пене, а заработок два рубля. Где тебя леший носил? Дешево берешь или что?

По пальцам перечисляю ездки. Хозяин хмурится, подводит к божнице:

— Поклянись перед ликом господина нашего Иисуса Христа, что не украд.

Глядя на иконы, я бормочу:

— Клянусь перед ликом господина нашего Иисуса Христа: не украд.

Становится смешно. Порою охватывает ярость: хочется плюнуть хозяину в рожу, ломать стулья. Но встают перед глазами кочетовские картины. Голодная зима. Надо терпеть. Дальше что-нибудь изменится, будет легче. Огляжусь, подыщу другое место.

Хозяин наблюдает за мною. Желтые глаза его сухо поблескивают:

— Иди спать, дурак, и помни: бога обманывать нельзя. Он, владыка всевышний, все видит. Солжешь — в бараний рог скрючит.

Иду в каморку, укладываюсь на полу, прикрываясь хозяйским кафтаном. В каморке душно. От дурного, спертого воздуха кружится голова. А в горнице хозяин тем временем обыскивает Кузьму и Волчка. Сквозь тонкую переборку доносится надоедливый, скрипучий голос:

— Все тащат, ограбили, обобрали да еще обижаются.

Работники, ворча, входят ко мне, ложатся рядом. Я говорю себе: «Их тоже: значит, так должно быть».

В субботу Митька не пришел. Кузьма и Волчок удивлены.

За ужином Агафон сидит с постным лицом.

— Издох где-нибудь под забором, пес, к тому все клонилось. Покарал господь за беспутство, за непочтению к родителю.

Стряпуха вздыхает:

— О, господи, грехи тяжкие.

Хозяин зажигает лампаду, молится, стоя на коленях перед темным киотом.

Мы слышим жалобные слова, обращенные к богу.

— Ишь, убивается, скопидом, — шепчет Кузьма. — Сына пожалел. Врет он все: никого ему не жаль. Он и бога, поди-ко, обманывает.

— Митька еще воскреснет, — смеется Волчок. — Он живучий, как чертополох. Побили его, — отлежится, придет. Истинный бог, придет.

Митька и впрямь является в воскресенье утром. Я слышу на дворе громкие голоса. Волчок толкает меня локтем в бок:

— Представление началось: вставай, ребята.

Одеваемся, выходим на двор.

Невзрачный человек, одетый в тряпье, кричит:

— Загубили мою молодую жизнь, папаша. Эх, папаша! Худо вам на том свете будет, папаша.

Хозяин щелкает зубами, как старый волк, окруженный собаками, топает ногой:

— Пошел вон, прощельга, сгинь с моих глаз!

— Не сгину. Обездолили меня, папаша. Где маменькино приданое? На вечное босячество обрекли меня, папаша. В суд подам, к архиерею пойду, губернатору пожалуюсь. Осрамлю вас на весь город, папаша.

— Не будет тебе, псу, ничего, — спокойно говорит хозяин. — Все пропешь, разбойник. Чужим людям богатство свое откажу, тебе не оставлю по кабакам носить. Не жди.

— Сожгу я вас, папаша. Клянусь прахом родительницы, сожгу. Есть терпению предел, папаша.

— Зачем при свидетелях говоришь? — спрашивает хозяин. Глаза его сухо блестят. — Случись грехово дело, в тюрьму дурака посадят.

— Мне все едино конец, папаша.

Митька садится на чурбан, фальшиво голосит:

Пей же, моя буйная головушка, не спивайся,
Во пропое, моя буйная головушка,

Я напьюсь, напьюсь, добрый молодец, сам ^{не печалься,}
просплюся,
С государевыми целовальниками расплачуся...

Песня тоскливая. Митька, сам расстроенный пеньем и неудачными переговорами с родителем, плачет.

В щели забора подглядывают соседи.

Хозяин подталкивает сына к воротам. Митька, остепенившись, смиренно просит:

— Дайте хоть трешку на опохмелье, папаша. Заказов нет, подыхаю с голоду. Эх, папаша.

Хозяин сует ему полтинник. Митька целует родительскую руку.

XXII

На углу останавливается господин, машет тросточкой. Очередной дремлет на козлах. Остальные сбились в тесный круг у вторых санок, слушают, должно быть, веселую сказку и гогочут. Господин машет второй раз. Я трогаю жеребца. Везу седока в Купеческий клуб и возвращаюсь на колоду. Извозчики окружают меня.

— Давно ездешь, малый? — спрашивает волосатый мужик.

— Недавно.

— Вот оно что. Ну, в таком разе получай гостиницу.

Удар кулаком снизу в подбородок настолько силен, что я падаю мешком с козел. Меня пинают ногами, бьют кнутовищами по голове, по лицу.

Подходит с поста городской. Извозчики расступаются.

— В чем дело? — спрашивает городской, подкручивая смоляные усы. — Почему такое беспорядок?

— Новичка поучили, — отвечает волосатый мужик. — Баловней малый оказался.

— А, семейное, значит, дело.

— Так точно, — по-солдатски отвечает старый извозчик в бархатном кафтане.

Городской уходит.

Я вытираю разбитые губы, сажусь на козлы, еду в Веселую Слободу. Вечер. В переулках темно. На тротуарах, как всегда, толпы людей, равнодушных к извозчицким делам, но мне кажется: все видела мой позор, насмеются надо мной.

Хозяин равнодушно слушает меня.

— Сам виноват, — говорит он, зевая, — надо было крикнуть головному. Нешто можно подавать без очереди? Другое дело, ежели барин подходит к колоде, садится в твои санки, — тогда вези. Барин может выбирать, кого хочет. Бывают капризные господа: то ему лошадь не нравится, то покрывало, дескать, грязное. Я когда-то сам ездил, был у меня пегий киргиз, ход имел страшный, любого рысака обгонял. А господа браковали: «Не хочу на пегой

лошади ехать». Что с ними поделаешь? Пришлось продать пегаша. Убыток понес. Все узнали, почему продаю коня, — не покупают. А что побили тебя, не горюй. Битье — на пользу человеку. Нутро не повредили? Кости целы?

— Кажись, целы.

— Ничего, обойдется.

Старик говорит скучно, в желтых глазах просвечивает холодок, сухое лицо с поджатыми губами кажется окаменевшим.

Я один в полутемной каморке. Лицо вспухло. Мысли тяжелые, злые. Ворочаюсь на жесткой постели, не могу успокоиться. Пью из умывальника ледяную воду. В голове звон.

Приехали работники. Волчок, узнав от хозяина о том, что со мною случилось, говорит:

— На каждой колоде есть старичок-вожак, начальник и судья во всех спорах. Надо угощать стариков. Поставь по бутылочке, обрезков, что ли, на закуску поднеси. Сухая ложка рот дерет. Задобришь старичков, пальцем тебя не тронут. Новички завсегда смазку делают: спокон веков идет.

Я пугаюсь. Сколько нужно купить вина, колбасы, чтобы стать своим на десяти главных колодах? Первый месяц я согласился ездить бесплатно, задолжал на угощение Волчку и Кузьме, а завтра, может быть, придется угощать околоточного, извозчицкого старосту, дворников... Шагу ступить нельзя без магарычей. Гнусное слово «магарыч» стоит на пути, как гора: не обойдешь его, не сдвинешь.

— Не поставишь магарыч, бить будут, поставишь, бить будут, — пугает Кузьма. — Новичков, особенно молодых, завсегда учат. И скажу тебе, парень, нынче бить не умеют, как следовало. Вот когда я начинал, били чорт-те как здорово: и салазки тебе, быва-лыча, загнут, и снегу в штаны насыплют, и темную на колоде сделают.

— Ты жаловался?

— Ни боже мой, — отвечает Кузьма. — Кому пойдешь судачить на мир? Супротив мира один человек не устоит. В мыслях не держи, малый.

XXIII

Работники всхрапывают. Я не могу заснуть. Сколько еще таких дней впереди? Не лучше ли было сидеть в Кочетах и хлебать тюрю с квасом, чем кидаться в городской омут? Тут неожиданно вспоминается дед. Дважды ходил я к острожным воротам, — не дают свиданья, не берут передачу. Говорят, после суда можно. А суд — сегодня. Может быть, еще оправдают старика? Когда я так думаю, меркнут все неудачи.

Заняв у Кузьмы рубль, покупаю колбасы, баранок, сахару, отправляюсь в острог.

Свертки принимают, переписывают. Надзиратель ведет меня в «свиданку». Огромная комната с заплесневелыми стенами и паутиною по углам перегороджена двумя барьерами, над которыми висят до самого потолка густые провололочные сетки. В одной половине толпятся арестанты, позвякивая кандалами, в другой — родственники, пришедшие на свиданье. Между барьерами шагает надзиратель. Тесно и шумно. Люди разговаривают, припадая к сеткам, взмахивая руками, стараясь перекрычать друг друга.

Вот показалась взъерошенная голова деда.

— Здорово, внучек. Экой ты у меня прыткий.

Вижу перед собою знакомое, родное лицо, живые, горячие глаза, рассказываю о себе и не знаю, слышит ли он меня. Хочется спросить, как его судили, к чему приговорили. Но, вместо этого, я говорю:

— Как живется, дедушко?

— Ничего, милай, в камере двадцать человек, народишко попался душевный, не обижают. Я им сказки сказываю, они песни поют. Живем — не тужим. Только вот кормят худо, брюхо подвело.

— Подкармливать стану, не бойся.

— Спасибо, внучек, не забываешь. Восемь лет дали, бесы. Помру тут, наверно. А живой выберусь, на соболевку с тобою сходим, гусей-лебедей постреляем.

Мы вспоминаем деревенские дела, Семена Потапыча. Дед весело улыбается, узнав о том, как я взорвал печь старости.

— Свиданье кончилось, — объявляет надзиратель.

XXIV

В одно из воскресений Волчок говорит:

— Придется нам отчаливать.

— Чего? — не понимаю я.

— Уходим оба с Кузьмою. Надоел старикашка, леший его дери.

Правда, хозяин походя грызет работников.

Вечером началось то, что случалось каждый день. Покончив с обыском, Агафон придвигается к работникам вплотную:

— А ну-ко дыхни.

— Ты что полоумство разводишь? — обороняется Кузьма. Глаза его, маленькие и острые, сверлят хозяина, как стальные буравчики. — Мы тебе не лакеи, да и крепостного права нынче нет.

— Дыши, а не то — прогоню к чертям собачьим, — не отстает хозяин. — Я на вас управу найду.

Они дышат ему в лицо сивушным перегаром.

— Нализались, — ворчит Агафон, взмахивая кулачками. — Насквозь протухли, курицыны дети.

Он бегаёт по комнате с острой усмешкой на губах.

— От мороза пьем, — оправдывается Кузьма, — целый день на козлах. От такого труда выпить не грех, я полагаю, и орать тут, хозяин, нечего. Весь народ православный пьет. Иисус Христос угощал православных. Превратил воду в вино — пей, веселись, кто хочет.

— Восемнадцать часов работаем, как на барщине, — вставляет Волчок. Он держит голову набок, дерзко стреляет глазами.

Хозяин подпрыгивает, как петух, брызгает слюной, бородака его трясется, щеки розовеют.

— На какие деньги лопаете? А? Кто позволил пропивать мое добро? Все знаю.

— Не шуми, старик, скоро подохнешь, — утешает Кузьма. — Сын у тебя не лучше нас, обалдуй-полоумок. И капиталы твои нивесть кому достанутся.

— Не ваше дело, — взвизгивает хозяин. — В монастырь отдам, на помин души все пойдет.

— А монахи тоже пропьют, с девками прогуляют, — не сдастся Кузьма.

Хозяин садится на лавку:

— Монахи? Не может быть этого.

— Очень свободно, — подтверждает Волчок.

Молчание. Хозяин таращит глаза, крестится:

— Господи, владыка небесный, прости меня, раба недостойного, слушаю богомерзкие слова...

— Монахи — первые ерники, — говорит Волчок. — Это богу и всему свету давно известно, а ты не знаешь.

— Врешь, углан! — кричит хозяин. — Врешь, сатана!

— Чего мне врать, — обижается Волчок. — Я кутейное племя сотни раз на Сахалин возил. Переоденутся в гражданскую одежду, и вези, мол, нас к остроковицам.

Кузьма хохочет, хлопает себя ладонями по ляжкам:

— Истинная правда. Я тоже возил.

— Богохульники, икон постыдитесь, — орет хозяин, — в полицию пожалуюсь.

— Сволочь ты, старая сволочь, — грубо говорит Кузьма.

Хозяин ударяет его медным подсвечником по голове.

— Ах, так!.. — кричит работник и бросается на хозяина.

Агафон опрокинут на пол. Кузьма яростно месит его ногами.

— Вот тебе, сквалыга, вот тебе.

Я пытаюсь оттащить Кузьму. Волчок сердится, дергает меня за руку.

— Не смей. Хозяин первый начал.

Агафон катается по полу.

— Караул!

Стряпуха выбегает во двор. Хозяин хрипит, ругается и охает. Иногда, на

короткий миг, ему удается встать на ноги. Кузьма опять валит его на пол. Падают стулья, горшки с цветами, опрокидывается стол. Волчок подзадоривает приятеля:

— Бей, Кузьма, круши, отвечать вместе будем. Садани под вздох.

Приходят городской с дворником. За спиной дворника — стряпуха. Кузьму и Волчка уводят в участок. Утром я захожу в хозяйскую половину. День теплый. Солнце, столь редкое в зимние дни, бросает сквозь оттаявшие стекла мягкие негреющие лучи. Агафон лежит на кровати, укутанный ватным одеялом, с подтеками и ссадинами на щеках. Злобно горят глаза. Пахнет чем-то терпким, удушливым.

— Никак почки отбил варнак, — шепчет хозяин, скривив лицо. — Порядки пошли, а? Эх, народ-люди. В своем доме убить могут. Как жить? Что делать, а? Уволю всех. Будет, поваландася с вами. На спокойе хоть под старость поживу. Скоро и ты запьешь, драться полезешь.

Старик плачет.

Хочется напомнить хозяину слова: «Всякое битье на пользу», но мне почему-то жаль его.

— Подай-ка примочку, — просит он.

Я иду за лекарством.

Кузьму и Волчка держали в полиции два дня. Они приходят присмиревшие. Хозяин рассчитывает обоих, продает упряжки, на которых они ездили.

Меня предупреждает:

— Мотри, Матвейко. Ежели что, и тебя к чертям вытурю. Пойдешь мостовую гранить.

XXV

Невысокий худощавый человек в потертом пальтишке сам откидывает полость:

— В Горькую Слободу, полтинник!

Цена подходящая, человек трезв, но я помню хозяйский наказ: Горькая Слобода — опасно.

— Не поеду.

Седок смотрит на меня открытыми, веселыми глазами. Он уже не молод. Бритое лицо его неподвижно, черные

волосы вылезают из-под каракулевой шапки.

— То-есть как это не поедешь? Занят, что ли?

— Хозяин не велит ездить в Горькую Слободу.

И тут я выкладываю все, что слышал от Агафона. Седок курит папиросу и улыбается.

— Потешный у тебя, должно быть, хозяин, да и ты хорош гусь: сказкам веришь. Ну-ка, давай, поехали.

Я трогаю Бардадыма. Будь, что будет.

— Хочешь знать, только у нас, в Горькой Слободе, и живут настоящие люди, — говорит седок. — А там, в центре города, в Веселой Слободе, на Липовой горе, у Спаса на Тычках, — купчишки, дармоеды-чиновники, мешане-барахольщики, всяческая мразь. Запомни: рабочий человек тебя не обидит. Бывают у нас драки, поножовщина. Извозчиков, случается, бьют. Но это ведь огарки, не мастеравые. В семье не без урода. Вы уж с хозяином решили: вся Горькая Слобода — жулье да разбойники. Нехорошо, брат.

Всю дорогу мы разговариваем. Седок спрашивает: кто я, откуда родом, сколько зарабатываю, есть ли у меня товарищи. Всегда было почему-то неприятно, если седоки, особенно подвыпившие, приставали с расспросами. В их словах, обращенных ко мне, я улавливал зряшное любопытство скучающих бездельников. На этот раз я не узнаю себя. Хочется выложить все начистоту и ничуть не стыдно рассказывать обо всем, что беспокоит и тревожит.

— Зря ты, друг мой, нанялся в извозчики, — говорит седок. — Хозяин из тебя прохвоста или стяжателя сдает. Шел бы на завод, на фабрику.

— Ходил... Не берут.

Подъезжаем к покосившемуся деревянному домику. Седок слезает, подает деньги.

— Заходи, побеседуем. Конь твой передохнет малость.

Хочется зайти к нему и боязно.

А вдруг весь разговор был направлен к тому, чтобы опутать меня, заманить и ограбить? Разденут самого, уго-

нят лошадь. Я смотрю в лицо седока, и сомнения отпадают. Нет, с таким хорошим лицом нельзя быть грабителем.

Привязываю лошадь к тумбе, иду за ним. Мы переходим дворик. Он протягивает мне руку.

— Давай познакомимся: Николай Павлович Яхонтов.

Я называю себя. И вот мы в комнате. В углу этажерка с книгами и журналами. Вдоль стены полки, тоже заставленные книгами. Какое богатство. Я никогда не видал столько книг.

— Неужели вы все прочитали?

Яхонтов кивает головою:

— Прочел, мой друг, прочел. И, кроме этих, еще кое-что читал, изучал. А теперь послушаем, что ты читал. Ну, рассказывай.

Я вспоминаю до десятка книжек, прочитанных в деревне.

Яхонтов подает мне толстую книгу:

— На, читай, прочтешь, — приходи за другой. Страницы не загибай, не пачкай, книгу любить надо. Что не поймешь, объясню. Вообще, не стесняйся, заходи почаще, дружить будем.

Прощаясь на лестнице, Яхонтов говорит:

— Постараюсь на завод тебя устроить. Не отчаивайся, парень.

XXVI

Книги окончательно завладели мною. Через каждые два дня поворачиваю лошадь в Горькую Слободу. Огромный мир раскрывается в ошеломляющем сверкании красок, страстей, приключений.

Подолгу сижу на постели: тихая радость в сердце. Жизнь, изображаемая в книгах, отличается от той жизни, которой я живу, и в этом очарование книги.

Тонкие девушки в белых платьях порхают по страницам романов, как мотыльки. От них исходит сияние. В жизни я этого не вижу. Девушки и женщины Веселой Слободы грязны и некрасивы. У всех красные, потрескавшиеся от работы руки, хриплые, простуженные голоса, преждевременно соста-

рившиеся, злые лица. Мужчины с ними обходятся грубо, часто бьют, топчут на улицах ногами. Я мучительно думаю: откуда взялась эта разница? Почему одни живут так, другие иначе?

— Ну, как? — спрашивает Яхонтов. — Гамсун хорош?

— Хорошо пишет: только так не бывает, я думаю. И похоже на правду, и — неправда.

Яхонтов, довольный, смеется:

— Ишь ты, гусь лапчатый, сходства с жизнью требует. Погоди, я тебя угошу.

И он достает очерки Николая Успенского, Н. Помяловского, Глеба Успенского.

— На, глотай, набирайся ума. Критики утверждают, что это мастера второго сорта. Это, между прочим, неверно. Ты их когда-нибудь поймешь и оценишь.

«Нравы Растеряевой улицы» я перечитываю два раза. Сколько раз я видел своими глазами все это, описанное Глебом Успенским. В любой улице Веселой Слободы есть свои Прохоры Прохорычи, «медики» Хрипушины, Семены Ивановичи, Парамоны юродивые. Я вспоминаю седоков, уличные сражения, картины слободской жизни, квартирентов и соседей Агафона Петрова. Сходство поразительно. Читаю книгу на колоде извозчикам. Сонные и вялые лица их постепенно оживляются. Удивление в глазах, улыбки.

— Наш город, что ли, описан? — прерывает меня старик Дмитрий Ончуков.

Горбун Яша Ленков, пьяница и сквернослов, поправляет:

— Похоже, да не совсем. Ругаются не джоже хлестко: стрюцкой, точеные ляжки, кошкин хвост. Али это ругань? Ты послухай, как наши слобожане в воскресный день костят друг друга, — красота. Ежели б за ругань царь медали давал, у нас бы все с медалями на груди ходили.

— Справедливо говоришь, — соглашается Дмитрий Ончуков. — Когда слобожане лаются, сатана в преисподней уши затыкает. Народишко у нас дерзкой.

Покончив с Глебом Успенским, принимаюсь за Левитова и Решетникова. Я хую, забываюсь, пропускаю на колоде очереди. Меньше зарабатываю.

Хозяин сердится, обзывает меня вором и дармоедом:

— Бывало, три да четыре целковых привозил, теперь — два, полтора. Это как понимать? По торной дорожке пошел, обучили варнаки, испортили. Терплю, терплю, да и прогоню к дьяволу.

Николай Павлович приложил много стараний, но ему не удалось пристроить меня на завод. Везде сокращают старых рабочих, а новичков совсем не берут. Я дорожу теперь своим местом у Агафона. Угрозы хозяина пугают меня. Но власть книг неодолима. Становлюсь на глухую колоду, где поменьше седоков, простаиваю на ней часы. Шуршат страницы книги, в голове туман, и я забываю все на свете. И становится досадно, когда все же подходит седок, опускается в санки. Плохо приходится, если падает снег. Книга намокает, портится. Помня наказ Яхонтова беречь книги, я поднимаю кожаный верх, забываюсь в задок. Там темновато, но уютно и сухо. Извозчики объезжают меня, подают без очереди. Я молчу. Боюсь одного: как бы хозяин не накрыл.

Скрип шагов по снегу вблизи санок заставляя меня вздрагивать, оглядываться по сторонам.

И все-таки он перехитрил, старая bestия, налетел, как ястреб на курицу:

— Читаешь? — шипит хозяин. — Барин какой. Ну-ко, дай сюда, что за книга? Может, запрещенная? Я те прямо хонько в полицию предоставлю.

Он вырывает из моих рук «В лесах» Мельникова-Печерского, вертит книгу, листает пожелтевшие страницы, нюхает переплет:

— Где взял, мошенник?

— Купил.

— На какие дивиденды покупаешь? Ай разбогател сильно? Из моего кармана тянешь — знаю.

На колоду заворачивает извозчик, потом — другой. Хозяин прыгает, взмахивая книгою, словно его в самом деле ограбили.

Извозчики прислушиваются.

Пузатый, красноглазый мужик, известный на колоде под кличку Боров, советует:

— Поучи, Агафон, паренька. Даром хлеб у тебя жрет. День-денской с книжкой сидит на козлах, а народ, сам знаешь, бесовестный — пользуются слабостью.

— Святая правда, Агафон Петрович, — добавляет маленький в зеленом кафтане. — Он в книжку нос уткнет, а мы, как, значит, барин с угла махнул, потихоньку — шмыг. Ладный у тебя работник, дай ему бог здоровья. Не мешает нам.

— Вот оно что! — орет хозяин. — Понимаю, все теперь понимаю.

Он рвет книгу на мелкие лоскутья. Белые листы, гонимые ветром, уплывают по воздуху. На моих глазах гает недочитанная книга, остался один переплет. Агафон бросает его на снег, топчет.

— Будешь знать, — грозит он. — Еще увижу книгу, — башку сверну.

И он идет на меня с поднятыми кулаками. Я прыгаю с козел, бегаю вокруг санок, увертываюсь от ударов. Старик ругается.

— Держи его, Агафон, держи, — гогочут извозчики.

Потом хозяин опускается на чужие санки, тихонько скулит:

— Господи, за какие грехи наказуешь? Работника путного найти не могу: либо вор, либо пьяница, либо дурак.

— Из Парыжа выписывай, Агафон Петрович, — советует красноглазый. — В Парыже работники — лучше некуда. А Расея что? Расейской народ балованный.

И опять на колоде смешок: что им, извозчикам, чужая беда?

Вечером я подаю хозяину три рубля. Он молча берет деньги и, как ни в чем не бывало, обыскивает мои карманы. За столом, оглядывая меня злыми глазами, грозит деревянной ложкой:

— У, зимогорская харя. Упреждаю в последний раз.

На другой день еду к Николаю Павловичу. Яхонтов угрюм и чем-то озабочен. Кажется, он не спал всю ночь.

— Книгу порвал, говоришь? Ну, ничего. Ты осторожнее как-нибудь. Напугал он тебя? А ты сам ему в морду! Лабазников словом не образумишь. На ногу наступать никому не дозволяй. Смирение и кротость — плохие качества, особенно плохие, когда попадаешь в темное царство. Уходить тебе надо от хозяина, но куда? Квалификации ты не имеешь!

Говорим о книгах, о городских делах.

Меня с первой встречи занимает вопрос: чем живет Яхонтов.

О себе он обычно не говорит. Спрашивать неловко.

Теперь я, набравшись храбрости, все-таки спрашиваю:

— А вы где работаете, Николай Павлович?

— Божьей милостью — интеллигент, — говорит он. — Папаша хотел сделать из меня священника, чтобы я отвлекал народ от тягостной жизни сказочками об аде и рае, где последние будут первыми. Я избрал другой путь. Папаша выгнал из дому. Что дальше было? Кончил университет. Преподавал в гимназии и реальном училище русский язык. Выступал на рабочих собраниях. Пришлось посидеть на казенных харчах. Вышел из тюрьмы — на службу не принимают, выгнали с квартиры. Перебрался вот сюда, в Горькую Слободу, живу частными уроками, товарищи поддерживают.

Я слышал на колодах разговоры об анархистах: они идут против царя, бросают бомбы в царских начальников.

— Значит, вы тоже против царя?

— Тоже, — усмехнулся он. — И не только против царя.

Яхонтов говорит о себе, как о постороннем лице, и лукаво посмеивается над своими неудачами. О жизни, о революции, наоборот, просто и строго, как, бывало, бабушка о боге.

— Кстати, насчет деда твоего, — вспоминает он. — Я узнавал. Там много моих товарищей сидит. Все от него в восторге. Замечательный, говорят, старик.

Я рассказываю Николаю Павловичу о том, как мы с дедом старались поймать

жар-птицу. Хочется знать, что он думает об этом.

— Жар-птица? — спрашивает он. — Это здорово придумано. Помечтать не вредно.

Бардадым засек ногу, хозяин поставил его на неделю в стойло. Я выезжаю по утрам на Касатке — в одну смену. Вечера свободны. После работы обтираю санки, чищу сброу и, пообедав, отправляюсь в Горькую Слободу. Эта неделя крепко сближает меня с Николаем Павловичем. Раньше представлялось, что он целые дни сидит за столом над раскрытой книгой и может разговаривать с кем-нибудь лишь о том, что вычитано из книг. Теперь я вижу его с другой стороны. Он — человек, как все, живой и веселый, впадающий порой в ребячество. Мы уходим на лыжах за город, катаемся по реке на коньках. Он не боится мороза, не устает, и это удивляет меня. Я рассказываю об охоте.

— Увлекательно, чорт возьми, — говорит он. — Погоди, весной достанем у приятелей ружьишки да закатимся на глухариный ток. Ты меня научишь, как подсказывать к петухам. Костер в лесу разведем. И, если охота будет удачной, спляшем у костра танец дикарей. Вот здорово, а?

И мы оба смеемся.

Однажды я прихожу к нему раньше, чем условились. Застаю девушку. Николай Павлович шутит, смеется.

— Хороша дивчина? — спрашивает он, кивая на гостью.

И девушка тоже смеется. У нее голубые глаза и волнистые, коротко подстриженные волосы, темножелтые, как лен. «Наверное, она его невеста, — думаю я. — Вот счастливый человек. Она часто здесь бывает, они вместе читают книги, спорят».

— Наташа, — говорит Николай Павлович, — поедем с нами на лыжах.

Она отказывается. Ей надо куда-то поспеть до двух часов. И, простившись с нами, она уходит.

Мы берем лыжи, скользим по мягкому снегу. Хочется порасспросить Яхонтова о девушке: кто она? откуда? Но

лицо его теперь строго, потемнело, и я не решаюсь говорить об этом.

На пригорке у меня обрывается юкса. Пока я чиню ее, Николай Павлович катится под гору, исчезает в ельнике.

Я разыскиваю его по следу. Он, ссутулившись, опустив голову, сидит между елок и плачет. У него вздрагивают плечи.

Может быть, надо подойти, успокоить. А я стою, пораженный, не могу тронуться с места. Какое же горе навалилось, если этот человек плачет!

Он поднимает голову, берет кайки, становится на лыжи, тихо бредет по склону. Я иду за ним в отдалении.

Потом он поворачивает ко мне. Глаза его сухо поблескивают, лицо опухло и покраснело.

— Домой, — коротко говорит он.

Всю дорогу мы идем молча.

Так и не спросил я о девушке. И он ничего не сказал.

Я засиделся у Яхонтова. Уже поздно. В слободских окнах гаснут огни. Николай Павлович много курит, посматривает на часы, но не прогоняет меня.

Я собираюсь уходить, надеваю кафтан и шапку. В подоконник стучат. Яхонтов открывает дверь. Входят два жандарма, какой-то офицер и двое слободских мещан — понятия.

Офицер показывает бумажку.

— Пожалуйста, — сухо говорит Николай Павлович. — Вы блюстители порядка. В чем дело?

Офицер замечает меня в углу.

— Что тут делаешь?

Я понимаю: нужно сказать неправду.

— Да вот привез этого господина, за деньгами зашел.

— Ишь ты, как у нас. Безработные на извозчиках ездят.

Я хочу выйти.

— Сиди здесь, — грубо говорит офицер, — пока обыск идет, не выпущу.

Я сажусь на табуретку. Мещане стоят у дверей, как истуканы. Жандармы перетряхивают постель, распарывают матрац, обстукивают стены, пробуют даже поднять половицы, но доски

крепко прибиты гвоздями — не поддаются. Потом осматривают книги.

Обыск продолжается часа два. Жан-дармы составляют протокол, дают подписать Яхонтову, идут к выходу, унося с собою связки книг.

— Зачем же книги берете? — спрашивает Николай Павлович. — Это Некрасов, Салтыков-Щедрин — все легальное.

— Тут ваши пометочки на полях, — с какой-то вежливой злостью говорит офицер. — Интересуемся. Ежели ничего предосудительного, — вернем. До свиданья. Думаю, что еще встретимся с вами, господин Яхонтов.

Николай Павлович закрывает дверь, подходит к окну и, прислушиваясь к удаляющимся шагам, весело говорит:

— Не тут искали, голубчики. Видал? — он поворачивается ко мне, поблескивая глазами. — Не смущайся, брат. Наше дело такое — с часу на час незваных гостей жди. Ты теперь пореже ко мне заглядывай, а то на заметку попадешь. Тебе в наши дела путаться рано.

— Напугали они вас?

— Нисколько, — отвечает он. — Пусть обыскивают днем и ночью, пусть ссылают в гнилые места, пусть мучают в тюрьмах, на каторге, — мы будем крепнуть и победим.

— Командир у вас есть, Николай Павлович?

Он улыбнулся.

— А как же. Есть, есть... Только слово, это неподходящее — командир. Он — вождь. В России жить ему не дают. Он за границей. Но он все видит и знает, что делается на родине. Это великий человек, Матвей. Его пока знают немногие. Скоро о нем заговорит весь мир. И ты услышишь, узнаешь: его зовут — Ленин. Запомни.

XXVII

Во втором этаже хозяйского флигеля — белошвейная мастерская Елены Федоровны Губиной. Белошвейки живут в той же комнате, где и работают, спят на столах и деревянных кроватях. Днем кровати выносят в коридор. Девушки

часто меняются, и трудно сказать, сколько их служит у мадам Губиной. Девушки по воскресеньям ходят под ее командой к обедне. Мадам хвастается порядками своего заведения. На дворе звенит елейный голосок этой седоволосой женщины в уродливой шляпе с павлиньим пером.

— Я слежу за нравственностью девочек, многих вывела в люди, выдала замуж за почтенных и обеспеченных горожан. Девочки меня уважают, как родную мать.

Белошвейки встречаются со мною на дворе. Есть среди них бледнолицые, чахоточные; они напоминают засохшие в горшках цветы. Есть деревенские хотуньи. Я замечаю Тоню, веселую девушку с глубокими черными глазами. Мадам посылает ее разносить заказникам белье. Каждый день я вижу Тоню на улице с лубяной коробкою в руках. Одета в ватный жакетик, она, должно быть, зябнет и оттого всегда торопится, держа прямо свое гибкое, сильное тело. Мы однажды сталкиваемся в воротах. Я выезжаю на работу. Над слободой густой дым. Телеграфные провода и ветки берез в куржаке. Сизые вороны сидят на деревьях, не шелохнувшись, словно окаменевшие.

— Подвези, миленький, — улыбаясь, просит девушка. — Все равно до колоды едешь порожняком.

— Садись, — говорю я и распахиваю полость.

И она садится. Мы доезжаем до городской заставы, не обмолвившись словом. Девушка легко спрыгивает с санок.

— Спасибо, миленький.

Щеки ее, расцвеченные морозом, пунцуют.

— Не говори подругам, — прошу я Тоню. — Они скажут мадаме, а она — хозяину.

— Не беспокойся, миленький, я все понимаю.

Мы не сговариваемся, но с этого дня как-то само собою повелось: Тоня выходит со двора, когда я запрягаю Бардадыма или Касатку. Я догоняю девушку в переулке. Она прыгает на ходу в мои санки.

— Ты из деревни, миленький? — спрашивает однажды Тоня.

— Да, миленькая.

Девушка, смеясь, колотит меня в спину.

— Не смей дразниться.

Тоня расспрашивает меня о деревне. Я отвечаю.

— Ты подумай, я — горожанка и в лесу никогда не бывала, — признается она. — Так хочется побегать по зеленой полянке, набрать цветов, собирать грибы и ягоды.

Развеселившись, она щебечет, как птица.

И вдруг вырывается такое:

— Знаешь что: давай поженимся, уедем крестьянствовать. Эх, заживем! Я тебе хорошая хозяйка буду. Честное слово. Только ты не бей меня.

Глаза ее улыбаются, и трудно понять: шутит она или — серьезно.

— Худо, Тоня, в деревне. Сам оттуда сбежал.

Ее личико темнеет:

— Должно быть, нашему брату везде плохо и убежать некуда.

Проходят дни, недели. Иногда Тоня долго не появляется на улице. Я скучаю. Хочется пойти в мастерскую, узнать, что там такое стряслось, но пугает встреча с Еленой Федоровной. И когда, после долгой разлуки, Тоня выбегает на двор с лубяной коробкой, у меня замирает что-то в груди.

Однажды Тоня зовет меня в кино.

И вот мы сидим у стены, плотно прижавшись друг к другу. Автомобиль переезжает на мостовой человека. Тоня тихо вскрикивает, жмет мою руку. Я глажу ее пухлые горячие ладони, и пальцы наши переплетаются. Сеанс кончился. Мальчишки свистят и дико орут в первых рядах. Я вывожу Тонию в морозную ночь. Мы бродим по улицам. Подтруниваем друг над другом, над девушками из мастерской, которых я знаю по рассказам Тони. И так хорошо нам, что не хочется идти домой.

— В следующее воскресенье другая картина будет — опять пойдем, — говорит девушка. — Вдвоем веселее, правда?

Я киваю головой:

— Обязательно, Тонечка.

XXVIII

Бардадым лягнул меня в бедро. Ушибленное место вспухло, ногу свело, началось воспаление. Я слег в постель. Через сутки мне легче. Придя в себя, я вижу в каморке Тонию. Она поправляет подушку, укрывает мои ноги старой попоной. Девушка забегает украдкой, когда нет хозяина, не может долго оставаться. Дни проходят. Я начинаю поправляться. Изредка заглядывает ко мне хозяин. Шмыгает носом, шипит.

— Лежишь? На даровых харчах можно дрыхнуть. А у меня кони стоят, убыток через тебя несущ.

— Что ж делать, — отвечаю я. — Видишь, вот нога.

— А ты превозмоги хворобу, — советует хозяин. — Парень молодой, нечего киснуть. Понатужься и встань, разомнешься как-нибудь.

Я пытаюсь подняться. Боль валит меня в постель. Хозяин уходит обиженный. Я прошу Тонию отнести Яхонтову прочитанную книгу и взять, если он разрешит, новую. Девушка возвращается с двумя книгами, сияющая и оживленная.

— Николай Павлович кланяется тебе и говорит: не нужно ли прислать доктора? У него есть хороший знакомый доктор. Все, говорит, бесплатно сделает и лекарства даст.

Через неделю я, еще слабый после болезни, перетягиваю гужи. Калитка с шумом открывается и вбегает Тоня. За ней гонится высокая женщина в плисовой кацавейке и визгливо кричит:

— Законных мужей отбивать вздумала? Я тебе зенки выдеру.

Она хватает Тонию за воротник. Тоня отбивается. На двор выбегают жильцы, белошвейки, обитатели соседних домов...

Тоня, растрепанная, идет в мастерскую. Навстречу ей выплывает Елена Федоровна.

— Прочь, мерзавка, — говорит мадам. — Я не позволю пачкать имя моей мастерской.

Тоня молча шагает в подъезд.

Елена Федоровна уволила Тоню. Я в последний раз отвожу девушку в город. Тоня сидит в санках, грустная, с заплаканным лицом.

— Не виновата я, Мотя, ни в чем не виновата, — оправдывается она, — я его, мужа этой дурехи, совсем не знаю; шла по улице, он привязался, идет рядом со мною, болтает всякую чепуху, а она из переулка бросилась на меня, как бешеная. Господи, до чего люди злые и непонятные!

Я знаю, что девушка не лжет. Думаю, как бы ей помочь, и ничего не могу придумать.

— Куда пойдешь? — спрашиваю я.

— Место искать буду, — говорит она. — Может быть, в другую мастерскую поступлю или в прислуги. Только вот горе: везде начнут бумажку о прежней службе спрашивать. А что мне даст Елена Федоровна?

Мы прощаемся. Я остаюсь на колоде. Девушка медленно идет по тротуару, помахивая узелком.

— Не забывай меня, миленький!

— Не забуду, — говорю я, стиснув зубы.

Как стало пусто и одиноко.

Тоня снится мне по ночам, и днем, что бы я ни делал, мысли заполнены девушкой. Я жду от нее письма.

А она, точно в воду канула. Сколько раз я обознавался. Мелькнет где-нибудь на перекрестке голубой шарфик, я срываюсь с колоды, гоню Бардадыма, заглядываю в лицо проходящей девушки.

XXIX

К хозяину заглядывает сваха — упитанная, бойкая мещанка. Попивая из блюдца чай маленькими глотками, она, закатывая глаза, хвалит невесту. Хозяин шуртится.

— Что ты, Марья Савеловна, какой я жених в мой-то годы?

— Не притворяйся, Агафон Петрович, ты мужчина в полном соку, — льстиво улыбается сваха. — На тебя заглядится любая. Что толку в молодых-то? Молодые ноне хлипкие. Старички вполне надежнее.

— На мои капиталы зарится, шельма, — ломается хозяин. — Я уж чую, куда гнет.

— Ой, да за кого ты меня считаешь? — обижается сваха. — Неужто я подсуну какую вертихвостку?

— Надумаю в брак вступить, капиталы на церковь отпишу, — говорит Агафон. — Жене после моей смерти ничего не достанется. Коли денежный интерес имеет, просчиталась. Так и скажи.

— Господи, — вздыхает сваха. — Ничего-то ей не надо. Это ж ангел — не девушка. Восемнадцать годков исполнилось, совсем еще дитенок, несмышленная отроковица.

Сваха обтирает подолом платья лицо, крестится на иконы.

Хозяин достает из сундука толстую книгу в кожаном переплете с медными застежками, надевает очки.

— Ты послухай-ко, что святые отцы писали о бабах.

— «Что есть жена? — читает он гнусаво. — Сеть прельщения человекам. Светла лицом и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа. Что есть жена? Покоище змеиное, соблазн адский, увет дьявола».

— Это скопцы-монахи злобствуют на бабу, — улыбается сваха. — Естество им обрезали, а плоть все ж таки свое требует, по ночам беспокоит. Вот они и ругаются. Здоровому человеку такие слова ни к чему. Без бабы род людской давно бы кончился, а господь наказывал людям жить, размножаться.

Хозяин сдается. Сваха ведет его на смотрины.

— Женюся, брат, — говорит хозяин, придя со смотрин. — Придется тебя поселить на кухне, сундук поставим, на нем спать будешь. Здесь неудобно чужого человека держать: переборка тонкая, все слышно, да и парень ты на возрасте. Разгорится глаз на молодуху: рогами еще меня украсишь, а я ревнивый.

Он нехорошо хихикает.

— Мне все равно, — отвечаю я.

Стряпуха не хочет, чтобы хозяин женился, отговаривает его:

— Бес тебя на старости лет крутит, Агафон Петрович. Помянешь мои слова. Столько годов без бабы прожил, а тут, на вот, загорелось.

— Отвяжись, идол пучеглазый, — ругается старик. — Сам знаю, что делаю. Ты носом не вышла меня учить.

— Вон женился в третьем годе кошкой Лаврентий, вроде тебя, на молодой, — что получилось? — пугает его стряпуха. — Жена мышьяком отравила, денежки сгрела да с цыганом убежала, и — след простыл.

— Гадина! — рычит хозяин. — До каких пор будешь меня в сумленье вводить? Еще слово скажи — язык твой поганый отрублю на колодке.

Стряпуха умолкает.

Начались приготовления к свадьбе. Квартиру чистят, моют, скребут. Сваха распоряжается, как дома. Ей помогает во всем Губина.

Венчанье состоялось днем. Я везу новобрачных из церкви на убранном цветными лентами и бубенцами Бардадыме. Сзади едут дружки и шафера. Хозяин доволен: шутит, подмигивает мне.

— Погоняй, извозчик, на чай получишь.

XXX

У Николая Павловича я встречаю жителей Горькой Слободы: медников, слесарей, токарей, электромонтеров. Молодые, простецкие парни. Они тоже берут книги. Я долго не могу сидеть — надо зарабатывать хозяину деньги. Но мне иногда удается перекинуться с ними несколькими словами. Как и я, они любят Яхонтова, готовы итти за ним в огонь и в воду. Однажды, оставив нас в комнате, Николай Павлович пошел на чердак разыскивать какую-то книгу. Рыжий токарь Миша Галандин достает из кармана восьмушку чая, кулек с сахаром и ставит все это в шкафчик над столом. Как бы в чем-то оправдываясь, токарь говорит:

— Денег у него нет, голодает, а таковой, понимаешь, человек, что никогда

не пожалуется, не попросит. Вот мы и сговорились поддерживать его. Зайдешь и оставишь чего-нибудь тайком. Народу бывает здесь много. Поди, дознайся, кто оставил. Он порой сердится, спрашивает: «Кто принес?» Мы все отпираемся.

С этого дня я тоже кое-что приношу Николаю Павловичу. Но, должно быть, я не очень ловок в таких делах. Он накрывает меня, отчитывает:

— Не смей заниматься благотворительностью, — говорит он, смеясь. — У тебя на шее дед сидит, бабушка в деревне святым духом питается. Зарабатываешь пятерку в месяц да еще вздумал чужих подкармливать.

XXXI

За обедом молодая подкладывает мне лучшие куски солонины, щедро маслит кашу в моей чашке, чинит мою одежду, пришивает пуговицы, сушит носки и портянки. И все тайком от хозяина и незаметно для стряпухи. За столом молодая бросает мне лукавые взгляды, наступает на ногу. Я ничего не понимаю. Меня пугают ее выходки, я стараюсь как можно реже встречаться с ней на хозяйской половине. Молодая заметно полнеет. Сквозь веснушающую кожу на щеках проступает румянец, глаза горят бесстыдно и ярко. С хозяином держится развязно, грубит.

— Дуняха, где моя ватная жилетка? — спрашивает хозяин.

— Я почем знаю.

— А ты поищи.

— Очень-то нужно. Сам не маленький — найдешь.

Хозяин поднимает брови.

— С кем говоришь, халда? — В хриплом голосе его обида, ярость. — Не забывайся. Я тебя из мусорной ямы вытянул на свет божий, одел, обул. Жрешь доотвалу, как свинья. Благодарить должна.

Молодая дергает плечами:

— Подумаешь...

Она вытягивается, как сытая кошка, и ходит вокруг стола.

Хозяин глядит на нее, качает головой:

— Ты, Дуняха, не задирай нос. Я терплю, терплю да как примусь охаживать кнутом.

— Подумаешь...

— Нешто можно так дерзить законному супругу, Евдокия Васильевна? — говорит стряпуха. — Крест есть глава церкви, муж — глава жены. Подчиняться надобно, а ты бесперечь свою гордыню оказываешь. Бог тебя накажет.

— Подумаешь...

— Чего рот разинул? — говорит мне хозяйин. — Выдь на улицу. Без свидетелей обойдемся.

Я одеваюсь и выхожу.

Когда стряпуха стирает, молодая сама ездит на рынок за провизией. Утром подсаживаю ее в санки и по пути отвожу. Обрато она идет пешком. Перед поездкой, уже одетая в баранью шубейку, она подходит к зеркалу, пудрит нос, щеки. Крупная пудра расплазается по лицу, как отруби. Мне смешно.

— Вырядилась, нарумянилась, хоть на выставку, — ворчит хозяйин. — У, вытяжная модель! — Он плюется, растирает плевков ногой, тонко взвизгивает. — Кобелей приманивать собираешься? Да? Смотри у меня — места живого не оставляю.

— Подумаешь, — отвечает молодая. Хозяин повертывается ко мне:

— Ты чего уставился опять? Подслушиваешь? Иди, запрягай. Нет, постой, ты поглядывай за ней в городе. Я тебе доверяю. Чуть что, сказывай мне. Будешь покрывать ее, отлуплю обоих. Иди, закладывай. Ох, согрешил я с вами, будь вы прокляты.

— Трудно тебе с ним? — спрашиваю я молодую.

Она, чуть приподняв белесые брови, сознается:

— Да уж куда труднее, чтоб ему околеть.

— Зачем пошла за него? — допытываюсь я. — Видела, какой он!

— Дядья спокую не давали, жить нечем, — вот и пошла. От добра такую кочерыжку не полюбишь.

— Ты бы на фабрику или еще куда поступила.

— На фабрику ходила — не берут, все места заняты, а в прислуги итти, горшки с дерьмом из-под кровати выносить — очень-то нужно.

— Зато вольный человек.

— Подумаешь, — вскинув голову, произносит она любимое слово. — Вот старик сдохнет, хозяйкой буду, за молодого выйду, вроде тебя. Возьмешь али побрезгуешь после старика?

И она нехорошо усмекается.

Хозяина нет дома. Он уехал на Касатке за овсом в пригородную деревню. Я распрягаю Бардадыма, веду его в стойло. Молодая выбегает во двор, тихо шепчет:

— Помоги сено перетряхнуть.

Снимаю кафтан, поднимаюсь за ней на сеновал.

Дверь со скрипом закрылась за мною. В полузанесенное снегом оконце под крышею пробивается слабый луч света. Над перекладиной воркуют голуби. Мы стоим в полумраке друг против друга. Молодая в ватной куртке нараспашку.

— Давай бороться, — говорит она, скривив яркие губы. — Я сильная, ты не думай.

— Ну тебя! — говорю я. — Мы не маленькие баловаться.

Она обхватывает меня руками, опрокидывает на себя. Мы падаем на мягкое сено. Она левою рукою, как клещами, обнимает мою спину, правою стискивает шею. Я чувствую на своих губах горячий трепет ее губ. Весь дрожа, подаваясь ее жадным ласкам, думаю:

— Экая дрянь, баба. Что она делает со мной?

Потом мы лежим на смятом сене, притихшие, долго молчим. Она прячет голову на моей груди. Вздрагивает ее тугое, горячее тело.

— Как теперь быть? — спрашиваю я.

— А никак, — говорит она, — ты виду не подавай. Для отвода глаз я тебя часто бранить буду.

Она поднимается, стряхивает с платья сено. Через минуту я слышу на дворе ее звонкий голос и смех. Она болтает о чем-то с белешвейками. Долго не могу

встать, думаю о ней с отвращением. Она кажется теперь грязной и противной. Она ограбила меня, отняла что-то дорогое, невозвратимое.

«Больше не надо этого делать» — говорю я себе.

Проходит несколько дней.

Молодая не говорит со мной, при встрече воровато опускает глаза. Она стала серьезной и задумчивой; не щиплет меня, как раньше, в темных углах, не щекочет подмышки, не ерошит волосы на моей голове.

«Значит, конец» — думаю я.

Но то, что я пытался похоронить в своей памяти, было только началом. Дня через три хозяин ведет захромавшую Касатку в кузницу. Молодая берет меня за руку, не поднимая глаз, говорит:

— Идем перетряхивать сено.

Я смотрю на нее, хочется обругать, и — не могу.

Захолонуло сердце, дрогнули ноги. Иду за нею на сеновал, как во сне. В этот раз она долго не отпускает меня. Я напоминаю, что хозяин скоро вернется.

— Подумаешь, — смеется она, притягивая меня к себе.

Хозяин отлучается редко. Молодая становится смелее и назойливее. Порой она выбегает на двор в одной кофте, с непокрытой головой. Распрягая лошадь, я улавливаю торопливый голос:

— Пошли.

— Да ведь хозяин дома.

Она, не отвечая, взбегает на сеновал и, свесив голову над лестницей, дразнит меня:

— Испугался? Эх ты! Ну, какой ты мужчина? Слизняк.

Однажды, лежа с нею на сеновале, я слышу в каретнике голос хозяина:

— Дуняха! Эй, Дуняха!

Я встаю, оглядываюсь, ища глазами какое-нибудь прикрытие.

— Здесь, — лениво откликается молодая. — Чего орешь? Сено перетряхиваем.

— С кем?

— С кем, с кем! — дразнит она. — Известное дело, с Матвеем. Гостей, что

ли, позову. Изревновался, плешивый черт.

И такая ненависть в ее глазах, что я думаю:

«Убить может».

Она спускается во двор. Я слушаю ее перебранку с хозяином и удаляющийся скрип валенок по снегу. Чем все это кончится?

В одно из очередных свиданий на сеновале молодая говорит:

— Люб ты мне, Матвейко. Давай придушим старика и поженимся.

Я отталкиваю ее, кидаюсь к выходу, словно сено вспыхнуло у меня под ногами. Добегаю до каретника, ложусь в пролетку и, вытянув ноги, тяжело дышу. Нет, довольно. Больше мы не встретимся.

— Матвей, — зовет она.

Я закрыл глаза, не шевелюсь.

Она сердито повторяет свой зов:

— Мотя! Поди сюда, дурачок. Молчишь? Ну, ладно. Жалеть будешь.

Я прижался в угол сиденья, зубы мои стучат. В каретнике тихо, и голубой свет разливается в темноте. Молодая, не оглядываясь, проходит через двор в кухню.

Я вздыхаю. Сердце бьется толчками. Экая сумасшедшая баба!

Через минуту на двор выходит хозяин. Подбегает ко мне с поднятыми кулаками:

— Ты что, чалдон, пристаешь к Дуняхе, а? Как это называется?

Я ждал от нее чего угодно, только не этого.

Хозяин кричит, раздражаясь. Молодая стоит на крыльце, слушает, грызет семечки. У нее сонное, неподвижное лицо. Шелуха от семечек падает на грудь. Хозяин зудит и зудит. Я оглушен и раздавлен его словами.

Выезжаю в вечернюю смену, не пообедав. Оставаться дольше у Агафона нельзя. Надо уходить к другому хозяину. На колоде расспрашиваю извозчиков, не нужны ли кому работники. Один обещает за четверть водки устроить меня с будущей недели на хорошее место.

XXXII

— Видишь ли, какое дело, — говорит мне Яхонтов. — Завтра на вокзал придет арестантский вагон с политическими. Группу товарищей гонят из Москвы в Сибирь на каторгу. В нашем городе этапный пункт. Они будут две недели сидеть в пересыльном отделении местной тюрьмы, ожидая следующего этапа. Их поведут с вокзала через город под конвоем. И нужно так сделать, чтобы на улицах было побольше народу. Пусть видят и знают. Мы заготовили кое-что на сей предмет. Не отвезешь ли ты прокламации к одному моему знакомому? А уж он знает, кому и как вручить. Предупреждаю: дело серьезное. Накроют — сядешь за решетку. Подумай и скажи честно. Я невольтить тебя не стану.

Мог ли я отказаться? Да я считал великим счастьем для себя выполнить это поручение.

Николай Павлович дает бумажку с адресом и пачку прокламаций, перевязанную алой тесемкой.

— Ты гляди, — говорит он, не сводя с меня настороженных глаз. — Дело сугубо секретное. Сверток положи в передок, при чужих Ивану Ивановичу не отдавай. Вручи обязательно сегодня. Если дома не застанешь, обожди или зайди попозднее.

Я немного обижен.

— Николай Павлович, разве я маленький?

— Ну, ну. Посмотрим.

Иван Иванович жил на окраине, в подвальном этаже кирпичного домика. Я стучу в обитую кошмою дверь. Выходит старуха, высокая и худая, с глубоко запавшими глазами:

— Кого надобно?

— Ивана Ивановича.

— Ты кто такой? — допрашивает она, оглядывая меня.

— От Николая Павловича. В собственные руки посылку передать должен.

— Нет его.

— Вы, случаем, не жена Ивана Ивановича?

— Жена, — грубовато отвечает ста-

руха. — Только нет его дома и не будет. Увезли моего голубчика, проклятые.

Я вздрагиваю.

— Куда увезли?

— Известно, куда возят хороших людей, — в тюрьму. Ступай, милый, откуда пришел. Ничего я не знаю.

Дверь захлопнулась.

Вот так незадача. Но Иван Иванович не единственный человек в городе, способный раздать листовки в нужные руки. У Николая Павловича десятки друзей и помощников. Скорее, пока не упущено время, к Яхонтову. Пусть дает другой адрес. Еду в Горькую Слободу. Николая Павловича нет дома.

Я жду около часа и, сам не свой, выезжаю на ближайшую колоду.

Вечером снова заворачиваю в Горькую Слободу. На дверях Яхонтова висит замок.

Вечерняя смена выдалась трудная: седоки подваливают один за другим — на колоде остановиться некогда. Я плохо соображаю. Мысль о листовках не выходит из головы. Люди должны читать их сегодня ночью. Завтра — поздно. И как же мне быть? Посоветоваться не с кем.

В двенадцатом часу еду на главную улицу. Номер на спинке санок залеплен снегом. Я пускаю Бардадыма крупной рысью, раскидываю прокламации по обе стороны. Люди сначала как будто не поняли, в чем дело. Потом к белым листкам, колыхавшимся в воздухе, тянутся десятки рук. Дребезжит полицейский свисток. Меня это не пугает. Я раздал все, что имел. Плохо ли, хорошо ли сделано, — бумажки пошли по рукам. Не уменьшая хода жеребца, сворачиваю в темный переулочек, сбиваю оглоблю с ног какую-то старуху. Позади — тревожные крики. Я нахлестываю жеребца вожжами, ухожу от погони. У заставы слезаю с козел, оглядываю санки. Кусочек снега, которым был залеплен номер, отвалился, и, словно поддразнивая меня, выглядывает пятерка.

Утром еду к Николаю Павловичу. Выслушав меня, он срывается с места.

— Дубина стоекосовая! — кричит он, сузив строгие глаза. — Понимаешь,

что натворил? Это тебе игра в бирюльки? Неужели ты думаешь, что листовки приготовлены для кобелей в бровых воротниках, слоняющихся по главной улице? Нам заводы, фабрики поднять нужно было. Эх, черт! И я хорошо: связался с мальчишкой.

У меня подкосились ноги. Хотел сделать, как лучше, а вон что получается. Конец теперь дружбе с Николаем Павловичем, не читать мне больше его книг.

Яхонтов ходит по комнате. Лицо его покрылось красными пятнами.

— Ну, попадет мне за тебя, парень, — вздыхает он. — Молод ты, зелен, переоценил я твои способности, да и, главное, не предвидел, что старика могут схватить архангелы.

— Простите, Николай Павлович, — шепчу я.

Пусть бы он затопал ногами, как хозяин, пусть ударил или потрепал за вихры. Может быть, тогда легче стало бы.

Он достает папиросу, чиркает спичку и, окутанный облаком дыма, молчит. Я готов заплакать.

— Ах ты, земляной дьявол, — горько усмехается Николай Павлович. — Напугал обывателей. Завтра весь город узнает — извозчики стали революционерами. Что студенты и рабочие занимаются такими делами, к этому привыкли. А тут извозчик. Это, брат, штука. Полицимейстер и губернатор с ума сойдут. Ну, а теперь — выметайся. Некогда с тобой.

Так и не узнал я: простил он или не простил.

На другой день еду к нему менять книги. Мы встречаемся у калитки. Два жандарма уводят Николая Павловича со двора. Я ринулся было к нему, чтобы обнять на прощанье и сказать ему, как он мне дорог. Арестованный свирепо глядит на меня и отводит глаза.

«Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь» — говорит он глазами.

Жандармы шагают крупно. Я стою, убитый горем. Вспоминаются слова старухи:

— Известно, куда хороших людей уводят.

XXXIII

Меня с хозяином приглашают в городскую управу. По дороге старик попытывается:

— Ай чего набедокурил? Может, седека ограбил? — Оловянные глаза его смотрят прямо и сухо. — Или к барышнешке приставал?

Я догадываюсь, в чем дело, но трясую голову.

— Ей-богу, не виноват, Агафон Петрович.

— Врешь, — каркает хозяин. — Зря не позовут. Сейчас увидим.

Вызваны извозчики, в номерах которых имеется пятерка. В небольшой, тесной комнате собралось десятков шесть мужиков. За столом сидит извозчий староста Сергей Нилович Желтухин, толстый, с заплывшими глазками. Он гладит рукою бородку, звонко выкрикивает:

— Ну, каналы, сознавайтесь: кто прокламации на улице сеял?

Извозчики переглядываются. Хозяин шепчет мне в ухо:

— Ежели ты, молчи, свиненок, не сознавайся.

«Бойтся, старый хрыч, — думаю я. — Не за меня, за себя бойтся».

— Сознавайтесь, мерзавцы, — говорит опять староста. — Все одно ведь дознаемся. За упорство хуже будет.

Молчание.

— Стало быть, не хочет виновник себя оказать? — спрашивает полицейский чин. — Хорошо-с. Так и запишем. Но, предупреждаю, господа: всем попадет.

— Помилуйте, ваше высочорodie, непричастны мы к этим пакостям, в глаза не видали, — бормочет одутловатый извозчик в зеленом кафтане. — За что всех карать? Кто нашкодил, тот пускай и ответ держит. Мы — непричастные, под присягу пойдем, коли надо. Святой крест и евангелие целовать станем. Поищите виновника, где следует.

— Истинные твои слова, Федот Лукич, — гудят остальные. — Мы за других не ответчики. Нету законов таких, чтобы круговой порукой.

— Молчать! — кричит староста. — Его высокородие покажет закон. Не шуточки — прокламации в народ кидать. Это есть крамола супротив государя императора.

Я сижу в углу за хозяйской спиной. Беспокойство, охватившее меня в первые минуты, прошло, и я даже улыбаюсь. Полиция не знает точных примет виновника. Пятерка еще не доказательство. Мог быть номер 15 и 275. Зимних номеров у извозчиков до восьмисот.

— Мы все понимаем, Сергей Нилевич, — смиренно говорит Федот. — Только наше дело сторона. Веди к присяге.

— Веди, — настаивают извозчики. — Не покривим душою перед богом. Али мы не православные?

Нас выгоняют на двор. Староста с полицейским чином и маленьким человеком в рыжем бобриковом пальто осматривают санки. Полицейский поочередно тычет пальцем лошадей:

— Случаем, не эта?

— Не могу знать, — мигает человек в бобрике. — Он гнал ходко, лошадь была в куржаке, масть установить нельзя. Но пятерку я запомнил. Снежок отвалился, и пятерка, стало быть, обозначилась на задке. Это я хорошо помню.

Староста недовольно сопит. Полицейский чин морщится.

— Раззява, не доглядел. Телескоп на шею вам вешать, что ли? Хлеб даром жрете.

Нас отпускают по домам.

На другой день объявлено решение: все извозчики, в номерах которых есть пятерка, лишаются права езды.

Агафон рассчитал меня.

— Приглядывался я к тебе, парень, все время, и скажу: не выйдет из тебя толку, под забором сдохнешь, на чужие деньги похоронят. Ступай с богом, не поминай лихом, дурья башка.

— Спасибо на добром слове, хозяин.

Молодая не вышла со мною проститься.

XXXIV

День свиданий. Я иду в острог.

Дед еще не знает, что я без места.

— Приятеля твоего отыскал, — говорит он, радостно поблескивая глазами, — Николая Павловича Яхонтова. В одиночке его держат, строго. Человек душевный, золотой человек. Мы через окно побеседовали.

Я рассказываю о своих мытарствах. Старик задумывается, лицо его сморщилось.

— Ступай, Матвеешко, в деревню, — говорит он, и плечи его вздрагивают. — Не ко двору, видать, пришелся в городе, измаялся тут весь.

— А как же ты? — спрашиваю я. — Погибнешь без меня. И передачу никто не принесет.

— Ничего, милой, вытяну, привыкать стал, — мотает он головою. — Ты о себе лекись, тебе жить надо, мне — умирать. Да не останусь я в этом городе. В Александровский централ погонят.

Слова деда падают на меня ушатою холодной воды. Мысли и чувства мои путаются. Но все-таки, выйдя из острога, снова пускаюсь на поиски.

Везде просят бумажку от прежнего хозяина. Удивительное дело. В большом городе нет работы для одного человека. Часами простаиваю у заводских ворот, прислушиваюсь к реву гудков. Беседы с Николаем Павловичем, встречи с мастерским человеком приучили меня уважать завод, ценить и любить рабочего человека. Стоять за станком, управлять машиной, — что может быть лучше?

Яхонтов рассказывал, что многие мастерские учатся на вечерних курсах, выписывают газеты. Вот и я стал бы учиться, а там — видно будет.

Я должен стать рабочим, только рабочим, и никем другим быть не желаю.

Но даже в маленьких кустарных мастерских все станки заняты.

Я опять, как осенью, в первые дни, прихода в город, очутился в ночлежке. Пахнет гнилью, зловонием. Ночью драки, поножовщина. Часто навевает-

ся полиция. Кого-то ищут, куда-то уводят.

У меня адрес рыжего токаря Миши Галандина, с которым я познакомился у Николая Павловича. Вздумалось пойти к нему. Авось, он поможет, даст дельный совет. Поздно вечером я стучу в калитку. Выглядывает седобородый старичок:

— Мне бы Мишу повидать, — говорю я.

— Забрали в тюрьму, — отвечает старик. — Ты дружок его будешь, что ли? Осторожней ходи. В переулках эти псы из охраны дежурят. Кабы тебя не замели. Народу похватили ужась сколько.

Я бегом пустился в ночлежку, и мне чудится, что по бокам за мною бегут черные тени и вот-вот крикнут:

— Стой!

Других приятелей Николая Павловича я не разыскиваю.

Кругом стоят каменные громады, навещающие тоску. Вспоминается первый день, проведенный в городе. Так же, как сейчас, осенью прошлого года я слонялся, подыскивая работу, и серые загоны улиц теснили, давили меня со всех сторон. Иногда я пытался выйти к окраине, хоть на миг взглянуть на простор, напоминающий Кочеты, и попадал в тупик. Я чувствовал себя заблудившимся, запертым в ловушке.

Теперь я не новичок. Мне известны многие тайны города. Но почему же каменный урод сковал меня?

Шагаю, опустив плечи, ничего не видя перед собою. Подхожу к ночлежке и не могу переступить ее порог. Опять к ворам и калекам? Опять слушать надоевшие жалобы, стоны, ругань и несусветное вранье? Довольно! Я буду спать на скамейке в городском саду.

Полдень. По-весеннему греет солнце. На снегу сверкают первые лужицы, голые деревья качаются под ветром.

«Скоро будет тепло, — думаю я. — Забушуют ручьи и реки, камни заговорят в воде. В Кочетах начинается весна». Мне казалось, что я слышу крики птиц над бурой, вспотевшей землей. Летят журавли, кружатся над моим скрадком. Я поднимаю ружье...

Кто-то негромко окликает меня. Вздогнув, открываю глаза: учитель Всеволод Евгеньевич, сидя в задке цветной бородулинской кошевы, одною рукою сдерживает гнедого мерина, а другою машет мне:

— Ну, иди сюда, блудный сын, поведай, как живешь?

И я подбегаю к нему, весь дрожа от радости.

— Приезжал я в Земскую управу по школьным делам, — говорит учитель. — Поругался тут со всеми и ничего не добился. Будь они прокляты, помпадуры. Ну, ладно. Шут с ними. Бабушка твоя наказывала: отыщи, дескать, внука и попроси у него денег и письмишко. Я искал, искал и совсем отчаялся тебя найти, возвращаюсь в Кочеты, а тут, глядь, на ловца и зверь бежит. Да что ты молчишь? Язык присок, что ли?

Я рассказываю все.

— Несчастные страдают в ночлежке и гибнут потому, что у них нет земли, им некуда податься, — сурово говорит учитель. — Другое дело ты, Матвей. Тебя ждет земля. Едем, что ли, байстрюк?

Я колеблюсь.

— Есть в Кочетах нечего, Всеволод Евгеньевич. Здесь худо и там нехорошо. Как быть, не знаю.

Он хмурится:

— Как хочешь: ты не маленький. Люб город — оставайся, проси подаяние под окнами, глодай рыбины головы, вылизывай вместе с собаками консервные банки на помойках. Авось, сдохнешь где-нибудь в мусорной свалке: завидная доля. Эх, Матвей!

Он стегнул мерина и едет шагом вдоль улицы. Я догоняю его, сажусь рядом с ним в кошеву. Мерин трусит рысью. Выезжаем на окраину, пересекаем обледенелый холм, спускаемся в долину.

Я оглядываюсь. Город исчез. В небе горят далекие купола церквей.

Темно и смутно в душе. Мысли о том, что город вытолкнул меня, как пробку из бутылки, вгрызаются в сердце, наводят тоску. Я чувствую себя раздавленным, маленьким и несчаст-

ным: точь-в-точь, как в те дни, когда дед уходил без меня на соболевку.

Но все-таки я не прощаюсь с городом навсегда. Нет. Город двоятся в моих глазах. На одной стороне маячат хозяева, домовладельцы, городовые, пройдохи, жулье, а на другой — Николай Павлович, умный, сердечный старик Иван Иванович, добродушные парни Горькой Слободы, веселая заводская мастеровщина. Слова учителя не доходят до моего сердца.

«Ничего, — думаю я. — Когда-нибудь вернусь».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Промысел — дело гадательное: когда густо, когда и пусто. Бывают годы — белка и куница уходят почему-то в дальние места, и охотники за всю зиму добывают несколько штук на ружье.

Я решаю в этом году засеять всю пашню, поднять десятину целины, чтобы не зависеть от капризной удачи в тайге.

Мы заготавливаем семенной ячмень. Денег нет. Продаем холсты, половики, дедовы бахилы, кое-что из одежды. Подсчитали — нехватает. У бабушки хранится в сундуке лисья шуба — дедов подарок в удачливый год. Старуха надевает ее раз-другой в зиму и очень бережет от моли, постоянно вытряхивает, перекладывает пихтовыми лапками. У меня не поднимается язык говорить о шубе, хотя я знаю, что дадут за нее пудов двадцать. Но бабушка сама выкладывает на стол свое сокровище.

— Снеси-ко, Матвей, в Ивановку. Пофорсила, нагулялась Наталья Денисовна в лисьей шубе, обойдется и без нее.

Шубу я продал и, чтобы успокоить старуху, обещаю:

— Не горюй, бабушка, выпадет хороший год, я тебе новую справлю.

— Куды уж мне, — отмахивается она, — и в лонитке прохожу, лишь бы хозяйство поднять.

Семена готовы. Новая забота — добывать лошадь. Мерин дяди Нифонта

охромел и до того отошал, что еле ходит. Надеяться на него нельзя. В деревне один человек, который может нас поддержать: староста Семен Потапыч. Он с каждым годом все выше лезет в гору. Двух женатых сыновей выделил на новую усадьбу. Построил им нарядные пятистенки с резными крылечками и палисадниками. Хозяйством у него ведает бобылка Васена, по прозванию Коровья Смерть. Поля обрабатывают должники или помочане за стакан вина. Семен Потапыч получил от графской конторы парусный ботник, шныряет по всем горным речкам: продает спирт, дробь, порох, скупает пушнину. Бабушка уговаривает меня итти с поклоном к старосте:

— Да он уж старое забыл. Мало ли чего прсмеж соседей бывает. Подойдем поласковее, поклонимся пониже, — простит, не каменный человек. У него три лошади на дворе, не считая выездного жеребца. Окромья Семена Потапыча, куда пойдешь? Или ты меня на старости лет в соху запрячь надумал?

На пасхе отправляемся к Бородулину. — Насчет коня, Семен Попатыч, — кланяясь, говорит бабушка, — дай вешну вспахать и взборонить не откажи, благодетель.

Семен Потапыч, надувшись, ковыряет пальцем в зубах:

— Ха-ха! Благодетель! А кто меня поносил да срамил на всю деревню? Бородулин — живоглот. Бородулин — мошенник. А приперла нуждишка, — Семен Потапыч, пожалей. Ды-ть, как вас жалеть, таких злоязыких да таких дерзких? Кто мне чурку с порохом в печь подсунул? Кто меня спалить грозил?

Съезжившись, я смотрю в потолок и молчу. Слова старосты камнем падают в мою душу. Хочется ругаться, а нужно слушать с покорностью на лице.

— Несмысленыш он у нас, Матвей-ко-то, пустая голова, не серчай ты, батюшко, Семен Потапыч, — отвечает бабушка. — По гроб жизни помнить будем.

— Несмысленыш, а лаяться да пакостить куда горазд, старика за пояс заткнет. От такого змееныша добра не

жди. Подрастет, — по дедовой дорожке прямо на каторгу пойдет.

Он долго еще ворчит и пеняет нам, вспоминая старые обиды.

Я думаю, что мы уйдем ни с чем. Однако бабушка уламывает его.

— Ладно, Денисовна,—говорит он.— Коли время такое подоспело, мы, православные, обязаны помогать друг дружке. Бог велел прощать супостатов.

Рядимся о цене.

— Мерина даю,—загибает палец староста.— Вы мне осенью пудиков сорок ячменя привезете, вспахать поможете, сено убрать кликну деньков на пять,— вот и все. Я — по-божедки, вас жалючи только, соглашаюсь. Мне что? Рукой махну — сто человек сбегутся пособлять. Семена Потапыча все уважают.

Сорок пудов. Это грабеж.

Я хочу поторговаться и, только раскрываю рот, бабушка поводит бровью, строго смотрит на меня и кашляет.

Семен Потапыч достает с божницы листок засиженной мухами желтой бумаги, расправляет его на столе.

— Поставь-ко тут на всяк случай свою фамилию, а условия, как мы сейчас договорились, потом заставлю внести писаря. Он по закону обстригает.

Я расписываюсь. Бабушка следит за моею рукой, выводящей прямые, крупные буквы. Бумаги внушают ей страх.

Целую неделю мы с бабушкой собираем на выгоне и в лесу коровий и конский помет, таскаем к полю. Пашня запущена, давно не уваживалась. Надо постараться.

Наступает время сева. Я обрабатываю свой надел и широкие полосы Семена Потапыча. Радостно ходить за сохой по мягкой земле, слушать воркотню жаворонков. От тайги к полям наплывает горьковатое тепло. Мошкара пляшет над бороздами. Как много возни с целиною. Корчую пни, вырубаю молодую поросль. На целину обычно сеют лен или коноплю. Я сею овес и горох. Приходится разрыхлять пласты топором и граблями, разбивать колотушкой каждый комок, месить землю, как тесто. Весна дружная и дождливая. Ячмень и овес всходят хорошо. От сыро-

сти на полосах вырастает сорняк. Он грозит заглушить посевы.

Кочетовцы не занимались прополкой яровых. Я хочу добиться небывалого урожая, выдираю чернобыльник, пырей, лебеду. Но как быстро я ни работаю, сорняки обгоняют меня: через день они снова расползаются по всему полю, как лишай. Пальцы мои потрескались до крови, по вечерам болит поясница. Едва удалось мне покончить с сорняками, — новая напасть: улитки, слизняки, долгоносики и еще какие-то крошечные прожорливые гусеницы, травяные козявки, червяки. Они взбираются на стебли, стригут, сосут и поедают мой хлеб. Обкуриваю поле дымом, посыпаю из лукошка золой.

— Бога перехитрить хочешь, Матвей? — посмеиваются соседи.

«Посмотрим, кто кого перехитрит» — думаю я. Полевая работа захватывает меня. Бросаю охоту и рыболовство.

В конце мая начинается суховей. Солнце жжет поля, скрючивает молодые побеги, земля покрывается трещинами. Мужики и бабы идут в воскресенье с иконами по межам: просят бога смилостивиться.

Однажды в полдень, у склона Ястребиной горы, взметнулся пышный лисий хвост огня, и тайга запылала. Легкий ветерок дует в нашу сторону. Я сижу на крыше, починяя князек. Птицы с криком летят над лесом. Смоляные кедры и пихты дымятся и сверкают золотом углей, шевелятся, как живые. На березах вспыхивает вначале кора и быстро потухает. Кедровые деревья медленно, а потом пылают ярче всех деревьев. Дым закрывает небо. Скот с ревом бежит к деревне. Огонь пляшет на горах и в долинах. Моховые болота, где мы с дедом стреляли косачей, вспыхивают оранжевым светом все сразу, как посыпанные порохом. Все кругом покрывается рыжей ржавчиной, рассыпая зеленовато-красные искры. Горящие лапки ельника с веселым треском поднимаются над красным морем и летят по ветру, разнося пожар в новые места.

Мужики скашивают литовками сухую траву на окраинах, чтобы огонь не добрался к хлебам. Бабы выносят из

домов иконы, молятся на улице, поливают стены и крыши водою.

Мы живем, как на войне: спим, не раздеваясь. Только сомкнешь глаза, прикорнув где-нибудь на крыльце или в сарае, опять верещит колотушка ночного сторожа дяди Михея, и звонкий голос тревожит людей:

— Вставай, мужики. Лапки летят, не загорелось бы.

В каждой семье кто-нибудь дежурит на крыше с ведром воды.

Огонь бушует неделю. У бабушки пожелтели щеки, она почти-что ничего не ест. Я не понимаю, как старуха все-таки держится на ногах. Избы черны от копоти. Удивительно, что не загорелся ни один дом. На восьмой день хлынул дождь, и огонь потух.

Но дождь словно для того и прошел, чтобы только залить пожар. Зной не спадает. Травы и хлеба высыхают окончательно. Надо спасать посевы.

Я копаю канавы, поливаю свое поле. Воду приходится возить с реки на ручной тележке. Опрокинув калашку на край поля, в главную канаву, я смотрю, как журча, разбегается вода по бороздам, как затягиваются трещины в напоянной земле. Тощее поле ненасытно, требует еще и еще.

«Не уступлю, — думаю я. — Хватит воды в реке».

Бабушка стара и слаба. Мать не помогает мне. Хуже того, наводит тоску своим карканьем:

— Все равно ничего не выйдет. Наш дом проклятый. Я знаю. Вся деревня проклята. Брось, Матюха.

Сколько я перетаскал воды по крутому берегу! Лямка давит плечи, подсекаются ноги. Черные круги плывут перед глазами.

Но труд не пропал даром. Ячмень поднимается густой и ровный. Колосья тучнеют, наливаются крупным зерном. Земля возвращает мой пот и кровь.

— С хлебом будем, Матвей, — радостно вздыхает бабушка, оглядывая волнистые гоны ячменя и овса.

Я убираю свой хлеб раньше всех. Осень солнечная, сухая. Ячмень подсох в поле. Мы с матерью и бабушкой принимаемся за молотьбу. Весело стучат

на току цепи. От ударов ломаются колосья, и золотое зерно осыпается к ногам, радуя глаз.

В воскресенье везем Семену Потапычу долг. Он взвешивает на весах мешки с ячменем, отмечает в книжке, хвалит зерно.

Бабушка стоит рядом со мною и наблюдает, чтобы староста не обвесил нас.

Кончены расчеты. В амбаре у меня осталось пудов шестьдесят.

Сдаю мерина Семену Потапычу, встряхиваю пустые мешки.

— Остатнее когда привезешь? — спрашивает Бородулин.

Бабушка вздрагивает.

— Ты о чем, Семен Потапыч? — говорю я.

— Ай не знаешь? — усмехнулся староста. — Будя дурака валять. За тобой еще сорок пудов, малый.

— Семен Потапыч! — кричу я. — Что ты плетешь?

— Не ори, — перебивает он. — Я давно Семен Потапыч, а по условию ты обязан привезти мне восемьдесят пудов. Слыхал?

Мы оба горячимся, спорим.

Бабушка плачет.

Я беру ее за руку, веду домой.

— Матюша, что теперь будет? — бормочет она, роняя слезы. — Ограбит, ненасытная утроба.

— Не ограбит, — успокаиваю я старуху. — Пусть придет, в шею вытурю. Восемьдесят пудов? Приснилось ему, что ли?

В избе мы весь вечер толкуем об этой беде. Мать и бабушка встревожены.

На другой день из Ивановки приезжает урядник. Не перекрестившись на образа, не поздоровавшись с нами, садится за стол:

— Почему долг старосте не уплатил?

— Уплачено, — говорю. — Все сполна отдал.

— Сколько?

— Сорок пудов.

— Подпиши здесь на бумаге, что уплатил сорок пудов.

Не ожидая подвоха, я смело ставлю подпись. Тогда урядник достает из кармана другую бумажку.

— А это подпись внизу твоя?

Я чувствую, как у меня начинают дрожать ноги.

Бабушка сидит с широко раскрытыми глазами. Она так испугалась, что даже не плачет. Я объясняю уряднику, как обжегил нас Бородулин, заставив подписать чистую бумажку, а потом с писарем, вместо сорока, вписал восемьдесят пудов.

— Ничего не знаю, — говорит урядник. — Я не был, когда условие сочиняли, а бумага правильная, законную силу имеет. Насыпай мешки. Мне колготить с вами некогда. У меня делов — знаешь сколько. Один на всю волость, а вас, чертей, сотни.

В избу входит староста:

— Где у тебя совесть, Семен Потапыч? — с горечью спрашивает бабушка. — Не было того в уговоре, что написано.

— Как не было? — говорит он. — Вы запомывали. Видит бог, запомывали. Хоть — под присягу пойду. Соседским добром отродясь не корыстовался.

— Не было, не было, — горячится бабушка. — Хорошо помню. Разорить надумал. Нам до рождества хлеба нехватит. Отрыгнется тебе чужая беда, Семен Потапыч.

— Не пори горячку, Денисовна, — звонко кричит Бородулин. — Зря прибедаешься. Вся деревня знает, сколь вы хлеба собрали. На зерно в городе цена падает. Что мне восемьдесят пудов? Я и так убыток терплю. Еще с вас за порванный гуж не взыскал, у бороны зуб сломали. Следовало бы накинуть пудиков пять, да ладно уж, бог с вами.

Бабушка ахает, спорит. Мать стоит у печки с застывшим темным лицом.

Урядник молча сидит за столом, глядя на нас сонными, неподвижными глазами. Семен Потапыч так горячо клянется и божится, что меня охватывает сомнение:

«А может быть, в самом деле, я запомывал?»

Коровья Смерть с понатыми нагребает из нашего амбара девять мешков ячменя и мешок овса. Урядник помогает укладывать зерно в телегу. Бабушка от-

вернулась от окна, чтобы не глядеть, как хозяйничают чужие люди на дворе. Нагруженная хлебом телега проплывает по улице.

Мать закрывает руками лицо.

В покров у дяди Нифонта загорелась конюшня. Красные ошметки летят вдоль деревни. Дяди нет дома: он рубит в лесу дрова. Я кидаюсь в пылающий двор — надо вывести хромого мерина. Подгоревшие балки обламываются: мне обожгло бок, переломило бревном ногу. Ивановский фельдшер усыпляет меня, что-то режет в моей ноге. Я просыпаюсь от боли, удушья, бранюсь.

— Терпи, — сердито кричит фельдшер, — а то без ноги останешься, охотник.

Уложив ногу в лубки, лекарь уезжает. Рана в боку гноится и долго не заживает.

За зиму бабушка продает все, что можно продать.

Только весной я поднимаюсь, наконец, с постели.

Мать очень любила отца, и смерть его подорвала ее душевные силы. Она часто неведомо чего пугается, вздрагивает и плачет. Иногда с ней случаются припадки.

Монашка, гостившая у нас весной, подговорила ее уйти в скиты. Бабушка, теперь совсем старая, худая и сгорбленная, всхлипывает:

— Не дури, Степаха. У тебя сын есть.

— Надоело все, маменька. Сын вырос, без меня проживет. Не отпусти-те, — руки на себя наложу.

— Терпи, — просит бабушка. — Мука твоя на том свете зачтется. Али ты одна терпишь? Он все видит, бог-то. Сожми сердце в кулак и живи.

— Мочи нет! — выкрикивает мать. — Довольно уж натерпелась.

В день ухода мать — добрая, печальная. Положив мою голову к себе на колени, она гладит меня:

— Сиротинка ты несчастная, горемыка.

Я провожаю ее до таежной тропы.

— Что будешь там делать, мамка?

— Грехи замаливать.

— Скоро придешь домой?

— Не знаю, сынок. Может, и умру в скитах: не поминай лихом.

Какие грехи у матери? Чем она провинилась? Хочется спросить, но меня пугают ее сухие, горящие глаза. Я стою у изгороди, смотрю ей вслед. Мать ни разу не оглянулась. День теплый и ясный. В березнике посвистывают молодые дрозды.

Иду на озеро — посмотреть, как растут утята. Чирки-хлопунцы поднимаются на крыло и делают круги над водой.

Скоро можно стрелять.

Дома я застаю бабушку в слезах:

— Не отговорил мать? — спрашивает она. — Я в худых душах, скоро умру, пуговицу тебе никто не пришьет. Один, как сине порошок в глазу. С кем жить станешь?

Я молчу. Мне и в голову не приходило, что бабушка может умереть. После деда она для меня самый близкий человек.

— Деда упекли, отца нет, мать совсем от двора откачнулась — гинет род, — шамкает старуха. — Беда на беду, по нитке идет. Ох-те, горе-горькое, прогневили господа-бога.

Вытирая слезы, говорит:

— Женишь тебя надо, Матвейко: что гусь без воды, то и мужик без жены. Ничего, что молод. По нужде и в пятнадцать лет женятся.

Я не согласен. Пусть она и думать не смеет об этом.

Бабушка молится, уставив на икону слезящиеся глаза. Губы ее плотно сжаты. Я сижу молча, с бьющимся сердцем.

Вот еще напасть.

Разговор о женитьбе повторяется изо дня в день. Бабушка настаивает. Начни она браниться, я бы выдержал до конца. Но старуха действует исподволь, не приказывает, а просит. И столько теплоты, ласки в ее немудрых словах, что устоять нехватает сил.

Иду к учителю за советом. Он поможет мне отговорить бабушку. Но Всеволод Евгеньевич даже просиял, когда услышал, что затевается свадьба.

— Она это хорошо надумала, тебя женить, — говорит он, глядя на меня подслеповатыми глазами: — Якорь будет брошен, и тебе не оторваться от земли. Пойдут скоро дети — новые якоря. Поверь мне: счастье в земле. Люди, тоскующие в городах, рано или поздно это поймут, и города опустеют: все вернутся в леса, к солнцу, к воде, к истокам радостной жизни. Лошади нет? Пустяки. Трудолюбие и терпение все превозмогут. Будет и конь, будет и хлеб в закромах. Сам я осел бы на землю, пошел за плугом, но одинок, стар, кроме того, ведь должен кто-нибудь обучать вас грамоте. Неможно грамоты не повредит земледельцу. Верно?

— Верно, — отзывается я, окончательно сбитый с толку. А тут еще дядя Нифонт стращает, что бабушка умрет и мне хлеба некому будет испечь.

— Шут с тобой: посылай сватов, — говорю я бабушке.

— Вот и хорошо, — радуется старуха. — В воскресенье поедем на смотрины в Ивановку, к Ермилу Потяеву. Дочь у него, Анна, одних годов с тобою. Девка, бают, така ладна да работяща.

Дядя Нифонт запрягает в телегу мерина. Я надеваю отцовские штаны, новую рубаху. Мерин тоже принаряжен: в гриве алые ленты, на шее гремят ширкунцы, на спине широкий ременный перевес с медными бляхами, начищенными пемзой до блеска. Мы с бабушкой садимся в задок, дядя — на облучке.

— Все, как у людей, — улыбается бабушка. — Спасибо тебе, Нифонт Савельич. Только бы господь послал нам удачи. Обеднели мы, правду молвить, заламается Ермил Потяев. Неровня, скажет, вы мне.

— Есть о чем горевать, — куражится дядя Нифонт. — На девок ноне урожай. Не столкуемся с Потяевым, найдем другую. Женишок у нас козырной. Всем вышел: и ростом, и удалью, и в работе никому не уступит. Баловства за ним не чутко. Ты, мать, не попади впросак с приданным-то...

— Что такое? — настораживается бабушка. — Не пужай меня, Нифонтушко, я и так боюсь.

— Народ теперьчи всяк пошел, к смотринам понатаскают чужого добра, а потом — кукиш с маслом: жених в дураках останется.

— Что ты? Что ты? — Бабушка испуганно машет руками. — Нешто можно обманывать? У нас, в Кочетах, отродь такого не бывало.

— То Кочеты, а то Ивановка, — возражает дядя. — Начистоту надо, без фальши. Я как родня и сват должен предупредить, а там — что хошь делай.

У Потяевых полная изба народу. Невеста, в кубовом сарафане, в желтой кофте со стеклянными бусами на шее, выходит из горницы, кланяется нам. По заведенному обычаю, невесту сажают на лавку, меня напротив нее — на стул.

— Гляди, Матвей Алексеевич, гляди, как следует, на всю жизнь выби-раешь, — говорит дядя Нифонт.

В избе тихо. Даже ребятишки, возившиеся дотоле на полатах, угомонились. Мне стыдно и неловко. Бабы и мужики смотрят, ждут.

Я окидываю взглядом желтые волосы невесты, перевитые алою лентой, всю ее крепкую фигуру, глаза наши встречаются.

— Ну, Мотя? — спрашивает дядя Нифонт.

В самую последнюю минуту я думаю о том, что, может быть, лучше ожидать немного с женитьбой, но невозможно обидеть девушку при множестве свидетелей.

— Вполне хороша, — говорю я, и сердце обрывается.

Ермил Потяев, еще не старый, плотный мужик с окладистой русою бородой, вздыхает, крестится. Мать всхлипывает.

Соседи наперебой галдят, что Анна — девка хоть куда, что изъянов у нее никаких нету, что всем она вышла: и лицом хороша, и все у нее кипит в руках.

В избе шум. Незнакомые лица улыбаются мне. Поздравления и шутки — со всех сторон. Бабушка оторопело мигает. Тут вмешивается дядя Нифонт, вспомнивший о том, что он сват.

— Нет, стой. Нас на кривой не объедешь. Мы хотим, чтобы без обману, по

всей форме. Пушай Анна Ермиловна покажет себя, как порядок требует. Торопиться некуда. Верно, старички?

Старички согласно кивают головами. Мужичонко в дырявом чекмене начинает было шуметь, что напрасно затягивают дело. Его стыдят, и он умолкает.

— Действуй, Анна, — кричит Ермил Потяев дочери.

И невеста, под смешок соседей, идет по избе, пляшет, подметает пол, прыдет и даже садится за стоявшие в углу кросны, несколько раз прогоняет по основе челнок, прихлопывает бердом. Все проделано ловко и весело.

— Молодец Анна Ермиловна, — говорит дядя Нифонт. — Много вам благодарны.

Я оглядываюсь на бабушку. Она тоже зарделась от счастья: невеста ей нравится. Потом дядя и бабушка отправляются с Ермилом Потяевым в кладовую осматривать приданое. Мать невесты суетится в избе, подносит соседям ковши пенной браги. Я чувствую себя неловко. Невеста, осмелев, разглядывает меня, о чем-то спрашивает, а я сижу, уставившись глазами в стену, и ничего не понимаю.

Вернувшись из кладовой, бабушка шепчет мне:

— Нельзя сказать, что много всего, ну, на первое время хватит, лопотина добротная. Уж так-то я рада за тебя, так рада.

Сваты сговорились. Мы с Анной берем друг друга за руки. Опускаемся на колени. Ермил Потяев накрывает нас старинной потемневшей иконой.

— Во имя отца и сына... благословляю, детоньки. Живите смирно: людей не смешите, бога не гневите. Совет да любовь вам, милые.

Девки затягивают песню:

Кто у нас в беседе,
Кто богатой человек?
Матвеюшко богат,
Алексеевич хорош.

Я бросаю певуньям на блюдо два серебряных пяточка. Дядя Нифонт откупоривает полштоф с вином. Курносый мужичонко пьет, крикает и лихо откалывает трепака.

Хлопоты первого дня кончились. Нас провожают из Ивановки всей деревней. Бабушка глядит на меня светлыми глазами, шепчет молитвы, похожие на заклинанья.

Приходит день свадьбы. Рано утром беру фузею, набиваю пестерь сухарями и, сбежав в тайгу, неделю не прихожу домой. Мой поступок взбудоражил обе деревни. Меня ищут в лесу, в камышах возле озер. Не находят.

Вернувшись домой, я объясняю бабушке причину бегства. Как она сердится, старуха.

— Девку ославил, обесчестил на всю волость. Да, Ермил Потяев башку твою непутевую колом разобьет, и никто его не осудит. Разве можно шутить в таких делах? Высватали, благословили, мяса наварили свадьбу играть, а женишок в бега пустился.

Я знаю свою вину и молчу. Бабушка долго со мной не разговаривает и не замечает меня в избе.

II

Приближается начало охоты по перу. В петров день стар и млад выходят на промысел. В хорошие годы за неделю на одно ружье добывают сотни уток, гусей, тетеревов, рябчиков, глухарей. Птицу солят в кадках, вялят на солнце, коптят в банках и питаются ею до рождения.

Я готовлюсь к охоте. Есть у меня при этом такая думка. Стоит мне притащить мешок птицы, бабушка забудет все, и станем мы жить душа в душу. Я чищу и протираю керосином дедушкину фузею. На последние деньги покупаю пороху, дробы и, для всякого случая, десятка два медвежьих пуль.

Накануне петрова дня иду к Семену Потапычу за свидетельством. Все эти месяцы я вел себя смиренно, не задирал старосту, и, надеюсь, — он не откажет мне. Лишить охотника права на отстрел птицы и зверя — значит, обречь семью на погибель. Но и в этот раз повторяется разговор, который мы вели с Семеном Потапычем в позапрошлом году. Я кротко и настойчиво прошу.

— И думать забудь про охоту, — го-

ворит староста. — Имею полномочия давать свидетельство надежным людям. А на тебя какая надея? Обойдетесь с бабушкой без дичины. Картошку жрать можете. Огород есть, с него и кормитесь.

И какой у него неприступный вид, какой голос. Я бегу к дяде Нифонту, спрашиваю его, как мне быть.

— А никак, — отвечает он. — Бери ружье и стреляй. Кто тебя в лесу словит? Но все-таки маленько остерегайся. По деревне с добычей не ходи.

В петров день я отправляюсь на дальние озера, где редко кто охотится. Дичи много. Стреляю дотемна и остаюсь ночевать в лесу. Утром иду к деревне. В моем пестере больше пуда уток и молодых гусей. Сейчас я сдам бабушке добычу, пообедаю и опять на промысел. Время терять нельзя.

Вдруг передо мною, около бани, как чорт в сказке, Семен Потапыч.

— Самовольничать вздумал? Покажи, что несешь, воровская порода!

Я отталкиваю его:

— Не лезь, дай пройти.

— Позову мужиков, протокол составляю! — кричит он. — Не старые годы без прав охотиться.

И хватает рукой за ствол фузеи.

— Давай сюда ружье... Штраф уплотишь, — возвращу.

Отобрать дедушкину фузею, которую я обещал беречь, как свои глаза! Вся ненависть к старосте, накопившаяся за этот год, поднимается во мне.

— Не отдам, ни за что не отдам, — говорю я каким-то хриплым голосом. — Возьми уток, гусей, а ружье не трогай.

Он дергает ствол к себе. Я не помню: был у меня взведен курок раньше или я в борьбе невзначай оттянул его и нажал пальцем гашетку. Выстрел грянул неожиданно. Семен Потапыч откинул голову назад и тяжело рухнул на бок. Заряд дробы кучей ударил в грудь, вышел в спину, разворотив огромную рану...

Ведь знал он, что заряжена фузея. Так зачем же схватился за ствол?

Я совсем не думал его убивать. И однако убил наповал. И кто мне поверит, что тут вышла ошибка, в которой я не-

повиновен? Свидетелей не было. А если кто видел из окна, он скажет лишь одно: Матвей выстрелил, староста упал. И как хорошо, что бабушки в этот час нет дома. Выбежав на выстрел, какими глазами посмотрела бы она на меня?

Нельзя медлить. Может быть, кто слышал выстрел, и вот-вот сбегутся люди. Схватят, и конечно все. И мне уже мерещится: урядник с обнаженной саблей, арестантский халат, кандалы на ногах, острог, свиданья с бабушкой сквозь острые провололочные сетки над берьярами.

Бежать, бежать! Я вхожу в избу, встряхиваю дичь, набиваю пестерь сухарями, беру порох, дробь, охотничий котелок, нож, кремь, для добывания огня и быстрым шагом иду через двор в поле. Пестря, сидевший на привязи, рвется за мной, гремит цепью.

Хочется подойти к кобелю, приласкать его на прощанье, но боль сдавила сердце, и я, не оглядываясь, уйду. Обиженный хриплый лай долетает со двора. Я добегаю до реки, сажусь в лодку. Уключины скрипят. Лодка нехотя, толчками идет против течения. Я плохо соображаю в эти минуты. Ведь не пустяк — убить человека! Громкий лай заставляет меня поднять голову. Пестря с обрывком цепи на шее скачет по берегу. Я складываю весла. Как же быть? Он начнет облаивать каждую белку, загремит на весь лес. Разве спрячешься?

— Пестря, назад! — кричу я собаке. — Пошел домой.

Кобель не слушается. Ну, что ж, поеду, он побрешет и вернется. Пестря прыгает в воду, плывет наперекос лодке. Я бросаю весла, вскидываю ружье, прицеливаюсь в лобастую голову с прямо поставленными ушами. Но не могу спустить курок.

— Чорт эдакий, — ругаюсь я и кладу ружье на корму.

Пестря подплывает к борту. Хватаю его за ошейник, втаскиваю в лодку. Он встряхивается и, радостно повизгивая, ложится возле моих ног. В темных собачьих глазах я вижу такую преданность, что даже пугаюсь. Как я мог поднять на него фузею?

Конечно, он необходим. Без собаки в тайге пропадешь. Она ни зверя, ни человека не подпустит и не польстится на мои сухари. Мало ли корму под ногами: мышшь из земли выроет, бурундука схватит.

Лодка уносит меня все дальше и дальше.

Оглядываюсь на деревню: на улицах тихо. Солнце сверкает на росинках береговой травы. Я не знаю еще, куда еду. «Давай, давай» — кричу я себе и налегаю на весла.

Вечер застает меня далеко в тайге. Над рекою табун уток. Вскидываю ружье, и кряквый селезень падает на воду. Выстрел пугает меня: эхо долетит до Кочетов. Там сообразят: «Ага, вот он где, убивец!» Долго сижу, боясь шевельнуться. Страх постепенно проходит. Подбираю птицу, причаливаю к берегу, развожу костер. Обжигаясь, тяну из кружки дымящуюся воду. Потом ошипываю селезня, потрошу и подвешиваю над огнем. Потроха кидаю собаке.

Тихо поет река, и с гор катится туман. Темнеет. Каждый шорох пугает меня. Даже пламя костра кажется слишком ярким, враждебным. Много ночей — зимою и летом — провел я в тайге, сроднился с нею, спал под ветвями деревьев так же спокойно, как горожане спят в своих кроватях. И вдруг тайга стала непонятной, чужой. Мое беспокойство передается собаке. Она тоже вздрагивает, поднимает тонкую морду, нюхает воздух. Я чувствую себя в западне. Сотские подкрадутся в обманчивой тишине, скрытые тьмой. Не доверяя собаке, придвигаю поближе фузею. Хочется сорваться с места, нырнуть в темную чащу. Но я сильно измучился в этот день, и так тепло у костра. Может быть, ничего не случится? Я сижу, подперев голову руками, стараясь побороть сон, а рядом лежит собака, положив голову на мое колено. Где остановиться? Как жить?

— Поеду к манси, — решаю я к утру. — В паул Яргунь дорогу найду. Еще подняться по реке и свернуть на левый берег. Манси укроют, помогут в беде.

Кобель первым прыгает в лодку, и мы плывем, окутанные туманом, сквозь который просвечивает солнце.

III

Яргунцев нет в пауле. Я совсем забыл, что это зимнее жилье. Весной манси откочевывают на другие места. Одни живут в летних берестяных чумах возле озер или по берегам многоводных рек, ловят рыбу. Другие, у кого есть олени, угоняют свои стада к пастбищам на склоны горного хребта.

Куда ушли жители паула? Надо искать. Я выгружаю из лодки поклажу, отправляюсь на север. Куда-нибудь приду. Не встречу яргунцев, найду кутанцев, салбантальцев.

Птицы в тайге много, и мы с Пестрей всегда добываем что-нибудь для обеда и ужина. На второй день в кедровнике попадаются настороженные луки с заряженными стрелами. Значит, люди недалеко. У корней кедров и в кустах я наталкиваюсь на страшные «самопалы», загнутые из целого дерева. Стрелы толщиной в палец. Нечаянно задень тонкую нитку насторожки, лук разогнется, и стрела сразит тебя наповал. Я знаю от деда—эти стрелы замертво убивают оленя, лося и даже медведя. Беру собаку на сворку. Мы идем осторожно. На каждом шагу из травы глядит смерть. Потом встречается маленький ветхий амбарчик на двух столбах. Поднимаюсь в него по лестнице, открываю дверь. В углу сидит, как человек, кукла в мехах, цветных шарфах, опоясках, с тремя остроконечными шапками на голове — из черного, синего и красного сукон. Из-за мехов, шарфов и надвинутых на глаза шапок у куклы почти не видно лица.

Осторожно приподнимаю шапки. Передо мною — идол с тусклыми оловянными глазами и кривым носом, сделанный из кедрового сука. Это — Чохрын-Ойка. Старый знакомый. Нам приходилось встречаться в паулах. Спустившись на землю по скрипучей лестнице, я отправляюсь искать людей.

Через полчаса сквозь заросли мелькнула большая река. Я тут в первый раз

и даже не знаю, как она называется. Совсем близко — удары топора по дереву. Тявкает собака. На берегу белеют под солнцем берестяные крыши чумов. Синий дымок вьется над соснами. Меня встречают собаки, женщины и старики. Манси гостеприимны. Каждый путник найдет у них кров, угощение.

Они рады мне.

— Пайся, рума, пайся! — несетя со всех сторон. Приглашают в чум отдохнуть, пообедать, спрашивают, кто я, откуда, какие новости привез. Меня не узнают. Но все равно: я у них желанный гость.

Вечером мужчины приносят рыбу. Лов был удачным. Все веселы, Тосман ведет меня в свой чум, и мы долго беседуем.

На другой день я иду с мужчинами на рыбную ловлю. Над рекою спокойное летнее солнце и крикливые чайки.

Я работаю легко и радостно. Вечером — сытный ужин у костра. Я свой человек в большой и дружной семье манси. В каждом чуме друзья. И Пестря смело ходит от чума к чуму, и собаки манси не кусают его. Он тоже гость.

Порой днем, отдыхая в юртах или беседуя у костров, мы слышим отчаянные крики, лай собак. Это — волки пришли за мясом. Мужчины хватают ружья, бегут на помощь пастухам. Если удается отбить у волков только-что задушенного или покусанного оленя, мясо не пропадает. Тушу разделяем и в тот же день поедаем.

Ночью манси не охотятся на волков.

— Как стрелять в темноте? — говорят они. — Попадешь в шайтана, худо будет. Шайтан осердится, оленей погубит.

Кроме волков, за стадом ходит большой свирепый медведь. В его лапах побывали многие яргунцы, и сам храбрый Тосман боится вступить с ним в единоборство: считает его шайтаном. Манси знают, что зверь живет в каменной пещере на взлобке горы. Логово обставлено настороженными луками, но медведь всегда обходит насторожку. Подкравшись темной ночью, зверь с ревом бросается в середину оленьего стада, гоняет самых крупных быков.

У свежей туши задранного оленя мы с Тосманом делаем полати. Вечер опускается над лесом. Тосман ушел. Я один в густом кедровнике. Светлая, тихая ночь. Напрасно я жду до утра. Зверь не пришел.

— Вот видишь, — говорят манси, когда я подхожу на рассвете к чумам.— Это не простой медведь. Он знает, что охотник спрятался в засаде, и не показывается. Не надо его выслеживать. Пусть кормится нашими оленями. Бог так велел ему. День богом отдан человеку, ночь—зверю. Не нарушай порядок, русский охотник: худо будет. Ружье не выстрелит, медведь съест тебя самого.

— Ничего, — говорю. — Поглядим.

На третью ночь моя пуля кладет зверя наповал. Тосман и Савва поражены.

Меня радует эта удача не сама по себе. Я доказал манси, что можно охотиться ночью, не задевая шайтанов, не боясь злых духов.

Два дня пируют манси, поедая медведя. Большой праздник. И мне, как гостю и победителю, подносят лакомые части зверя.

Я теперь окончательно сблизился со всеми. Жить привольно и хорошо. Шунгур Савва поет мне свои песни, учит играть на «лебед» и разговаривать повогульски. Мы садимся под деревом, в холодке. Савва начинает:

— Ас'я — река, ампа — собака, еза — лыжи, касай — нож, котлег — солнце. Понял? Запомнишь надолго? Маа — земля, ууй — зверь, тохт — глухарь. Ну, назови, как я сказал.

Я повторяю слова и, если ошибаюсь, — оба смеемся. У Саввы дочь — Кеть, смуглолицая хохотунья. Мы ходим собирать бруснику и морошку. Набрал полные плетухи ягод, садимся на мшистом берегу лесного озера. Она хочет все знать, эта востроглазая Кеть.

— Ты откуда приехал, там какие чумы? Ты был в городе? Сколько в городе юрт? Городские шаманы похожи на наших? Какая рыба ловится в городе?

Что греха таить: я обманываю девуш-

ку. Говорю о том, чего нет на свете. Она верит мне, и нам хорошо. Так мы, забываясь, болтаем порою до темноты. Иногда лежим на спинах и молча слушаем тайгу. Если долго смотреть на небо, оно меняет краски и то поднимается, то опускается так низко, что, кажется, задевает вершины сосен. Кеть спрашивает:

— Скажи, есть край неба? А за небом что?

Она спрашивает много такого, чего я не знаю, и приходится сочинять всякие небывлицы. Мужчины должны все знать.

В мой чум заходит Тосман.

— Слушай, вача, беда, — говорит он, попыхивая трубкой,—Лобсинья узнал, что ты здесь. Ругается. Хочет ехать в лодке к уряднику. Этого парня, говорит, надо в острог посадить. Мы не выдадим тебя. Но здесь нельзя жить. Приедут ночью, схватят, подвешат на березу, как меня, и будут стегать прутьями.

— Куда уходить? — спрашиваю я и чувствую, как дрожит мой голос.

— Иди на запад — найдешь речку, спустишься по ней до большой реки, где стоят юрты казым-гуи¹. Они примут тебя, как брата. Начальство к казым-гуи не заглядывает. Там хорошо станешь жить. Скажи им: я друг Тосмана, — тебя никто не обидит.

Савва и Тосман собирают меня в дорогу. Кладут в пестерь сушеную рыбу, свинец, порох.

Я прощаюсь с яргунцами, и мы с Пестрей идём оленьей тропой на запад. Справа от нас круто обрывается гора и бесконечно далеко вниз уходит кипящее море тайги, а слева по скату — зеленые кусты, и трава меж кустов прорастает желтыми, голубыми и розовыми цветами. Оборачиваясь, вижу синий дымок над чумами, слышу крики пастухов. Как жаль покидать это место, бывшее для меня, пусть недолго, второю родиной. Только Пестря весел, с визгом прыгает у моих ног. Он, наверно, думает о дальнем походе на охоту.

¹ Остяков.

Кеть провожает нас. Темное лицо девушки грустно. Она еще не знает, почему я покидаю яргунский стан.

— Зачем ты уходишь? — спрашивает она. — Ты знаешь, как тебя любят манси.

Она не говорит: «Как тебя любит Кеть».

Ласково говорю:

— Я скоро вернусь, Кеть. Жди меня будущей весной.

На перевале мы прощаемся.

Девушка желает мне счастливой дороги, уходит обратно к становой. Я смотрю ей вслед, шопотом повторяю ее слова:

— Охотник, охотник, ты знаешь, как тебя любят манси...

IV

Дни знойны. Земля на скатах потрескалась от солнца и шелушится, как вяленая рыба. Днем жарко итти. Ночью не дает покоя гнус. Тучи комаров и мошек наседают со всех сторон, и они страшнее зверя, встречи с которым я не опасуюсь. Моя желтая куртка становится серой от ползающих по ней насекомых. Гнус не боится ни огня, ни дыма костра. Пестря залезает в гущеру, но и там находят его эти враги. Он ползет ко мне на брюхе, взвизгивает, катается по земле, лижет мне руки. И такие у него сердитые глаза.

Он ведь только не говорит, но все понимает. Умей говорить, он сказал бы:

«Куда мы идем? Зачем полезли в дикие, мертвые трущобы? Разве плохо было нам у яргунцев? Кеть давала мне рыбу и жирные куски мяса. Вернемся, хозяин».

Я видал вогульских лаек и оленей, насмерть заеденных комарами, ослепших от укусов, заживо гниющих, покинутых хозяевами.

Становится зябко от мысли, что придется хоронить собаку в этой чужой земле.

Укладываю Пестрю возле себя, накрываю его просмоленным азымчиком, подаренным на прощанье Тосманом. Азымчик короток и узок, на двоих не хватает. Мы прижимаемся друг к другу

и чутко спим у затухающего костра. Комариный рой гудит над нами — невозможно высунуть руку из-под азыма.

Я долго не могу заснуть. Думаю о Кеть. Вспоминаю прогулки с нею на озера, ее голос, улыбку.

— Охотник, охотник, зачем ты уходишь?

Я повторяю эти слова много раз, и они звучат в моих ушах, как музыка. Становится очень грустно. Ах, если бы не Лобсинья, куда бы я не пошел...

В облачные дни трудно итти даже в комарнике, сделанном из запасной рубахи и лучка конского волоса, который взял с собой для леси.

И до чего стало хорошо, когда с гор подул холодный сиверко. Гнуса — как не бывало. Я убиваю глухаря, черпаю в ручейке воды, кипячу чай. Мы отдыхаем и обедаем.

Но недолго мы радуемся хорошей погоде. К вечеру небо закрывает молочный туман. Он сочится на землю, как мелкий дождь из сита. Становится холодно. И все повяло, сморщилось кругом. Ничего не видно в двух шагах. Нельзя развести костер. Тайга черна, непроницаема. Я иду, боязливо протягивая руки, не вижу Пестри. Он повизгивает у моих ног.

Передо мною вдруг вырастает кедр, и я стукаюсь лбом о его шершавую мокрую кору. Потом падаю с крутизны в каменистый овраг. Дальше итти нельзя. Мы отсиживаемся в расщелине скалы. Там — небольшая берлога, и в ней сухо. Туман держит нас в плену три дня. Мы питаемся рыбой — дарами яргунцев. Когда хочется пить, я кладу шапку за чело берлоги. Шапка намокает. Я выжимаю воду себе в рот, так же пою собаку.

Наконец, ветер прогнал белую вату, солнце обсушило землю.

Мы трогаемся. В полдень выходим на берег пенистого горного потока. Конец тяжелой дороге. Скоро встретятся казым-гуи. Но та ли это речка, о которой говорил Тосман?

Из сушины выдалбливаю топором лодку. Она не особенно устойчива. Позднею осенью я бы не двинулся в

такой посудине по незнакомой реке. Теперь не страшно. Если опрокинусь, вода теплая, и я плаваю не хуже моей собаки.

Мы садимся в лодку. Я взмахиваю веслом. Речка то суживается, зажата в каменное русло, то разливается во всю ширь, образуя отмели и перекаты.

Мелькают зеленые берега. Я запеваю песню. Куда несешь ты меня, река? Возле борта взметнулась большая рыба. Нагибаюсь схватить ее. Она ускользает и лениво плещется на перекате. Мне захотелось отдохнуть в этом месте и наловить рыбы. Вытаскиваю лодку на берег. Собака убегает в лес. Я развожу костер. С сачком в руках вхожу в голубоватую воду. В трещине каменистого дна что-то блестит. Протягиваю руку и достаю желтоватый кусок металла.

Золото!

Самородок, в полфунта весом, обтертый водою и гранитом, сверкает на моей ладони. Удивленный чудесной находкой, я долго стою в потоке. Шумит вода. Плещутся хариузы, налимы проплывают у меня между ног. Надо мною со свистом проносятся табуны уток. Я нюхаю ноздреватый самородок: пахнет водорослями и рыбьей чешуей. Пестря лаает где-то недалеко. Он зовет меня к посаженной на дерево птице. Лай нетерпеливый, напористый. Но не дозвется теперь меня собака—я не в силах оторвать глаз от самородка. Его тускловатый блеск излучает какую-то покоряющую силу. Бросив самородок в лодку, я снова спускаюсь в воду с шомполом в руках. На охоте всегда было так: убил птицу, ищи поблизости выводок. Надо поискать как следует. Я обшариваю дно реки. В каждой трещине следы золота, словно кто-то разбросал его здесь щедрой рукой.

Азарт охватывает меня, как в погоне за красным зверем. Взвешиваю добычу на ладони, улыбаюсь сам себе и опять ныряю в шумящий поток.

В детские годы, помнится, с таким же увлечением я собирал белые грибы. Словно обеспамятев, носился в густом ельнике с плетухой в руках. Ветки царапали мне лицо, шею, срывали с головы шапку. Я ничего не видел перед собой,

кроме нежнокоричневых головок грибов, поднимавшихся гнездами над зеленым и седоватым мхом. Приходил в себя, когда плетуха наполнялась доверху и ее трудно было поднимать.

Пестре надоело тявкать на птицу. Он прибежал к воде и, разинув пасть, смотрит, как я занимаюсь непонятным для него делом. Охваченный приступом дикого веселья, кричу собаке:

— Помогай, Пестря. Золото нашли. Поди сюда! Ищи!

Он бросается в воду. Подплывает ко мне, делает бессмысленные круги, фыркает и, сконфуженный, вылезает на берег, шумно отряхивая с себя воду.

К вечеру грудка золота, фунта два, лежит на дне лодки.

Сколько же я выручу денег? В фунте девяносто шесть золотников. Старатели сбывали золото, как объяснял нам когда-то Данило, по четыре с полтиною золотник. Вот я и разбогател в один день.

Подкидываю в костер сосновых веток. Пламя вспыхивает ярче. В колеблющемся свете огня снова разглядываю добытые слитки. Пробую их на зуб, стучу ими о камень.

Утром приходят новые мысли. Вспоминается разговор с дедом на соболежке. «Золото—кровь людская, горе вселенское». Как же мог я забыть об этом? Я ведь обещал старику не прикасаться к золоту руками. Может быть, на погибель мою оно послано мне, а я обалдел от радости. Солнце рассыпает лучи по земле. Надо мною, в зелени листья, поют птицы. Утки пролетают над рекою. Каждый зверь, каждая птаха знает, что делать. Одни спят, наевшись за ночь, другие, радуясь теплу и солнцу, спешат добывать себе корм. Только я не знаю, как быть и что делать. Хочется выбросить самородки в воду и отправиться на розыски казым-гуи. Но когда я наклоняюсь к лодке, чтобы расшвырять то, что собирал вчера, немеют руки, противная дрожь пробегает по телу. А что, если я счастливый? Стоит ли топить свое счастье?

Я сажусь на траву и опять думаю. Из бабушкиных сказок я знаю, как с помощью золота открывались крепкие

острожные засовы, и люди, осужденные на вечное заточение, выходили на волю. Кто помешает мне пустить самородки на хорошее дело? «Поедем-ко, волчья сыть, в город,—говорю я собаке,—обменяю золотишко на деньги, а с теми деньгами отправимся в острог, к деду Спиридону и Николаю Павловичу, обрадуем их... Подкупят они сторожей, выйдут на волю».

Пестря гавкает мне в ответ, крутит хвостом.

Я знаю: все маленькие речки впадают в большую реку. На большой реке стоит город. Надо спускаться в низовья.

В устье нас треплет встречный ветер. Налетает буря, вся черная, в белой косматой пене. В лесу гудит. Падают деревья. Плот скрипит на волнах, становится дыбом. Еще немного — он опрокинется и придавит нас, как гробовая крышка. Собака может сорваться в воду. Я привязываю ее к скрепам. Мою заботу о нем Пестря понимает, как наказание: скулит и грызет поводок. К счастью, ветер скоро стихает. Изю всех сил я работаю веслом. Знакомые берега. Мы въезжаем в кочетовские угодья. Что, если меня встретят соседи-рыбаки?

Я загоняю плот в заросли ивняка, чтобы переждать день. В темноте проезжаю мимо Кочетов. Мигают огоньки. В окнах нашей избенки темно. Если бы знала бабушка, что я плыву по реке!

Еще несколько дней — и мы в городе.

На рассвете причаливаю ниже паромных пристаней, ставлю плот на прикол. Сажусь на песчаную косу. В тайге все представлялось просто, а вот приехал — не знаю, что делать. Куда итти?

Я слышал, что старатели сдают намытое золото в банк, в какие-то государственные конторы или по вольной цене городским торговцам. Но итти в контору опасно: спросят паспорт (я при бегстве из деревни забыл взять его с собою), начнут допытывать: «Где достал?» Самое подходящее дело — найти тунгусника, продать находку без канители, хотя бы за полцены. Но где они, тунгусники? Расспрашивать на улице прохожих или пристанских грузчиков

боязно. Смекнут, в чем дело, заташат в глухой двор, придушат и ограбят, а то сведут в полицию.

— Зайду в острог, с дедом посоветуюсь, — решаю я. — Он знает. С Николаем Павловичем поговорю.

Иду в город. Пестря трусцою бежит за мной.

В остроге день свиданий и передач. Я становлюсь в черед. Люди, стоявшие впереди и позади, что-то слишком пристально оглядывают Пестрю, мое длинностолое ружье и перешептываются. Это сердит меня.

— Таежник, — говорит пожилой человек в очках и подмигивает соседям. — У него, может, куницу посадили под арест, — передачу принес.

Люди негромко смеются. Наконец, моя очередь.

— Спиридон Соломин? — спрашивает надзиратель. — Каторгу отбывать пошел. Куда? А кто его знает. Жди письма. Прибудет на место, — отпишет.

— А нельзя ли повидать Николая Павловича Яхонтова?

— Яхонтова? Нет такого. На поселенье угнали. Отойди прочь. Давай, следующий.

Опустив голову, выхожу из острога. Почему я не мог приехать пораньше?

Нет ни того, ни другого. Обоих угнали куда-то за тысячи верст, и следы их затеряются на неведомых тропах жизни. К чему мое золото? Да и золото ли еще?

Питаюсь больше недели сырой рыбой, я совсем ослабел. Ноги почти не слушаются меня. Бреду наугад, не зная, куда.

По главной улице катятся пролетки, развозя разодетых мужчин и женщин, тачки звонкоголосых зеленщиков, громыхают телеги ломовиков. Пешеходы запрудили обе стороны улицы. Они двигаются медленно, останавливаются у окон магазинов, ларьков и киосков.

На двери маленького домика франтоватая вывеска: «Золотых дел мастер Иван Яковлевич Шатров». Распахиваю дверь в мастерскую. Пестря шмыгнул у меня между ног и первым подбегает к хозяину. Толстенный лысый человек в

очках на птичьем носу поднимается со стула.

— Чего тебе, мальй? Да прогони эту страшную собаку.

— Собака смирная, не пугайтесь, — говорю я. — Золото привез... Не купите ли?

Иван Яковлевич запирает дверь на крючок, занавешивает окна шторой и зажигает лампу.

— Ты не шутишь, парень?

Вытряхиваю самородки на стол.

Мастер снимает очки. Берет самую большую плитку. Разглядывает ее сквозь какое-то стекло, поливает мутноватую жидкостью из бутылки.

Щеки его вспыхивают.

— Медяшки! — говорит он, сощутив глаза. — Зря трудился, молодой человек. Из этого металла дверные скобы делают.

И он сбрасывает самородки на пол. Я нагибаюсь, чтобы подобрать их.

Мастер трогает меня за плечо.

— Подожди, успеешь. Голоден, небось? Покормлю.

На столе появляются пахучие булки, чай, колбаса. Я принимаюсь за еду.

Пестря поводит носом, распускает слюну. Кидаю ему булочку. Он глотает ее на лету, виляет хвостом: давай еще.

— Милая собачка, — умильно говорит мастер. — Как ее звать? Пестря? Очень хорошо. Мы и Пестрю накормим. Ешьте, горемыки. Издалека, видать, прибыли-то, намаялись.

Перекусив, благодарю Ивана Яковлевича, сгребаю самородки в мешок.

— Медяшки мне оставь на память, — говорит мастер. — Чего с ними таскаться. На горбу мозоли набьешь.

Я улыбаюсь ему.

— За хлеб-соль полагается оставлять что-нибудь хорошее. А это что ж...

— Оставь, — настойчиво повторяет он. — Так... из интереса беру.

Я молча направляюсь к двери. Мастер загораживает мне дорогу.

— Экой ты упрямец, таяжник. Ну, ладно. Деньжонок дам немного.

— Вот что, хозяин, — говорю я. — Денег не надо. Дайте небольшую лодку, двухствольное ружье, свинцу, пороху,

пистонов, мешок сухарей, ведро, котелок — и будем в расчете.

Он поводит плечами. Смотрит на меня строго и враждебно.

— Паспорт есть?

— Есть, — говорю я, не опуская перед ним глаз.

— Ты в своем ли уме? — спрашивает он. — За дерьмо хочешь на триста рублей товару получить. Я ведь нищете твоей посочувствовал. Десятку на хлеб дать хотел. Не воображай, сделай милость.

Я говорю, что ничего не воображаю, а просто вижу, какой добрый человек Иван Яковлевич, потому и прошу, в чем нуждаюсь.

Потолковав несколько минут, мы поняли друг друга. Вместе идем закупать все, что обусловлено.

На пристани, подкидывая в лодку сухари, Иван Яковлевич ласково спрашивает, где найдены мною «медяшки».

— Далеко, — говорю я. — Отсюда не видать.

— Продай россыпь. За деньгами не постою.

— Не нуждаюсь, хозяин. Да и дорого туда забыл.

— Брось дурака валять, — кричит он, взмахивая рукою. — Ты что? Сам себе враг? Ежели металл на тебя вышел, упустить счастье не следует. Надо создать товарищество, компанию для разработки жилы. Приспособа требуется, драги и прочее. Одному не осилить. Больше затопчешь, чем возьмешь. Верно, ай нет?

Я усаживаю Пестрю на корму. Отталкиваюсь от берега.

— Эй, пустая башка, — напугивает меня мастер. — Привози еще. Приедешь ночью, вали прямо ко мне, стучи в дверь, подымай с постели. Вишь, как я наградил тебя за пустяк. Помни мою доброту.

Я налегаю на весла.

Иван Яковлевич машет мне фуражкой.

На реке гудит ветер. Волны плещутся о берег, раскачивая ботник. На берегах дымят заводы. Клубы дыма вьются над рекою, шурша, как песок. Черная сажа грязнит воду. Я гребу, стараясь за-

биться. Закрываю глаза и слышу трубные крики пролетных птиц, гулкие выстрелы молодых, неумолимых, как я, охотников.

Вечером второго дня сворачиваю в глухой приток. Ели и пихты подступают к берегам. Суровый край, и такая тишина, что далеко-далеко слышен крик желны.

V

Приток обмелел. Показались зеленые шиханы и мутнобурые скаты горного хребта. Вытягиваю ботник на поляну, заросшую желтыми цветами, и долго сижу, согретый солнцем. Пестря убежал и гоняет глухарей, призывно взлаивая, когда они садятся на дерево. Мне хочется взглянуть на окрестности, а главное, посмотреть, не вьется ли где-нибудь дымок — признак жилья. Одиночество не пугает меня. Еще в детские годы я привык бродить по тайге и не имел друзей среди мальчиков. Проживу до зимы, а там пойду разыскивать ставные остяков. Я поднимаюсь на гребень горы и смотрю по сторонам. Необозримое море тайги тянется на десятки верст.

Хорошие места. Свинцу и пороху со мною — на два года. Разве пропадет здесь человек с ружьем и собакой?

Спустился опять к реке, сажусь на черный валун и слушаю, как булькает среди камней вода. Валуны и гальки загораются неожиданными цветами. Солнце горячими пятнами ложится на мою обнаженную грудь. Я вдыхаю свежий, пропитанный лесными запахами воздух, и так хорошо, что не хочется двигаться.

На перекате ныряет белозобая, с аспидно-серой спинкой оляпка. Садится на мшистый валун, отряхивается, щебечет и снова идет по отмели. Из камышей с криканьем вылетают утки. Оглядываю птиц. Улыбаюсь их разговорам. Я ведь знаю, о чем они говорят. Помахиваю им шапкой, здороваюсь с ними. Это мои будущие друзья и соседи.

Спокойствие леса наполняет меня радостью. Замутив у переката воду, ловлю сачком хариузов, выхожу на берег. Собака подбегает ко мне, ласкаясь, и серебристую скользкую рыбу, брошен-

ную ей, подхватывает на лету. День ласковый, тихий. Перекликаются сойки, дятлы, кедровки, верещит желна, и весело насвистывают поползни.

Варю уху и, позавтракав, начинаю строить шалаш. Весь день таскаю ветки, булыжник, мох и траву.

Складываю из голубого гранита камелек с печуркою для просушки грибов и ягод. И как хорошо отдыхать в этой лесной тишине после удачной охоты. Собака стережет мой сон.

Если хочется поговорить, я разговариваю с Пестрей. Он садится против меня на задние лапы и слушает, поблескивая глазами. Я говорю:

— У меня славная собака, хорошая собака с крепкими ногами, острыми зубами, не расстанусь с такой собакой.

Пестря виляет хвостом, соглашаясь. Но стоит сказать:

— У меня худая собака, не умеет искать дичь моя собака, продам вогулам собаку, — он гавкает от обиды и убегает в кусты.

Бывают у нас и другие разговоры. Я спрашиваю, какая будет погода, на кого завтра охотиться, где лучше жить: в городе или в тайге. И на все вопросы мне отвечает по-своему собака.

Лето проходит, как праздник.

Месяц ягод. Клюква, морошка и брусника поспевают в этих краях почти в одно время, и так их много, что я без труда могу заготовить на целую зиму.

Ночи холодны. Утром по-осеннему дымятся горы, и туман катится пеленой над певучими потоками воды. Осень бродит по тайге, раскрашивая деревья в золотисто-оранжевые цвета. Водяные птицы собираются на юг. Яркожелтая полоса камышей огибает темную воду реки. На кедрах и соснах слюдяным блеском играет паутина.

Свирепые лоси кончают свадебные игры, безмолвно ходят вокруг своих молодых жен. На заре я просыпаюсь, сбрасываю одеяло, иду купаться. Как обжигает осенняя вода! После купанья легко, легко, и кажется, будто отрастают крылья, вот-вот оторвешься от земли и полетишь за гусями в голубизну неба, где тают слоистые облака.

Каждый день мы с собакой охотимся,

и нельзя пожаловаться на еду. В котелке всегда дымится свежее мясо. Сухари я берегу. Нужно приучать себя обходиться без хлеба.

Лось-великан с тупыми корнями обломанных рогов выбегает на водопой к шалашу. Пестря с урчаньем бросается к нему. Я поднимаю руку. Пес прижимается к земле, вздрагивая всем телом. Вскидываю ружье. Лось поворачивает голову, видит меня и собаку, выгибает спину для прыжка. Пуля срывает его в воздухе. Бык падает, подминая кусты ивняка. Освежив тушу, я принимаюсь на камельке коптить жирные окорока. До наступления холодов построю избушку. И не страшно встречать зиму. Хватит мяса. Из шкуры я сделаю себе легкие, удобные поршни и рукавицы. Чего еще нужно?

По откосу пробегает старая волчица с облезлыми боками. Я слышу, как она ловит молодых тетеревов. Они попискивают в ее когтях, а рыжеватая самочка испуганно квохчет, перелетая с дерева на дерево, собирает уцелевших детей.

Пестря гоняется за волчицей. Я зываю его:

— Что ты с прощелыгой связываешься? На такую дичь не будем тратить заряды.

Но так трудно удержать собаку от этого гона. Она, рыча, подползает ко мне, и я вижу усмешку на собачьих губах: как ты себе хочешь, хозяин, а я буду делать свое дело.

Ночью волчица поднимается на гребень взлобка и, уставив морду в звездное небо, протяжно воет. Откликаются молодые. Я не стреляю волков, и они совсем перестали меня бояться. Часто, собирая на полянах бруснику, вижу в траве седую спину зверя, настороженные глаза.

Хожу по склонам хребта, взбираюсь на гладкие, отвесные кручи, осматриваю озера. Ноги мои не устают. Я чувствую, как крепнет и наливается соками земли мое тело. Руки просят работы. Я сбрасываю голыши с обрыва. Десятипудовый камень с гулом летит, увлекая за собою мелкие камешки, землю, ломая кусты. В реке поднимается водяной

столб. Грохот звенит в моей груди, вызывая короткие удары сердца.

У меня нет желаний, кроме желания двигаться по лесным полянам и горным кряжам. Я не тороплюсь: мне все равно, куда идти. Порою мы с собакой уходим далеко, и нам не хочется возвращаться к хижине. Разводим огонь и засыпаем у костра.

От моих следов обозначились тропы. Они разбегаются от шалаша во все стороны, как ручейки с холма.

В полдень солнце обогрывает тайгу, то вспыхивает на синеватой белизне отрогов, то умирает, мох меняет краски, сучья берез трещат, папоротник сбрасывает ледяные сосульки и вновь поднимается, зеленея стрельчатым узором. Я расстегиваю ворот, чтобы ветерок обдувал мою грудь, и смотрю на золотые солнечные жилки на бурой земле: они, сливаясь, передвигаются, как живые. Мой глаз видит все перемены в лесу. Рябина розовеет с каждым днем. Дрозды с криком усаживаются на ветки, клюют спелые гроздья. На землю, как дождь, падают ягоды. Наевшись, птицы улетают к реке, и снова все затихает. Надо мною цокает белка, шелуша орехи и еловые шишки. У белок еще недостаточно пышные хвосты, а спинки совсем рыжие: я не стреляю их, хотя Пестря облаивает каждого зверька и сердито хамкает, призывая меня.

Из твердого корня березы я сделал себе трубочку. Табаку нет, но я обхожусь без него. Разве мало пахучих трав? Высушив головки дикого клевера, легонько растираю их на ладонях, набиваю трубку, высекаю кремнем огонь, и синий дымок цекочет мои ноздри. Каждая травка имеет свой запах, то резкий, то острый, то нежный и кисловатый, как почка вербы. Я курю даже мох и лишайник. Собака смотрит на мою трубку, и, может быть, в эти минуты ей тоже хочется быть человеком. Не знаю. Но она слишком пристально заглядывается на дым из трубки.

Хороши ночи после осенних ливней и запоздалых гроз. Синее небо, прочищенное северным ветром, луна покрывает серебром воду и горы, а звезды,

как золотые жуки, передвигаются на запад, шевеля мохнатыми лапками.

Однажды мне послышался выстрел. Я нюхаю воздух — не запахнет ли порохом. Ветер дует с той стороны, но ничего не наносит. Кто здесь может стрелять? Я подумал, что треснуло дерево, и успокоился. Потом я видел, на утренней заре, дымок — верстах в десяти от моего жилья. Но это могла дымиться муравьиная куча, разрытая медведем, или горело подожженное молнией дерево: накануне была гроза.

VI

Просыпаюсь от звона в ушах.

Пестря лает. Вскидываю на плечо ружье и иду в лес. Лай все ближе и ближе. На вершине кедра сидит рысь. С земли она кажется не больше домашней кошки, но глазом охотника я вижу, что это матерый хищник, какие попадают часто. Лай не пугает зверя. Разглядывая собаку, рысь вытягивает вниз тупую морду, легонько пошевеливает хвостом. Ружье заряжено крупной дробью, и мне не хочется итти в шалаш за пулями.

— Не уйдет и от дробы, — говорю я себе. — А если уйдет — не больно до рога.

Рысь прыгает наискось вниз, рассчитывая попасть на ветки другого дерева, и, оборвавшись, падает в траву. Я не успеваю добить ее вторым выстрелом: собака опередила. Они свились в злобно урчащий клубок, рвут друг друга, хватают за горло: невозможно к ним подступить.

Отстегиваю с бедра нож, готовясь кинуться на помощь Пестре, и выжидаю, когда можно будет схватить зверя за ногу, распороть ему брюхо.

Из щаци выскакивает кругобокая белая лайка, с визгом хватается за рысь. Зверь, испуганный этим нападением, неловко повернулся и погубил себя. Клыки Пестри, щелкнув, сомкнулись на горле зверя, и бой затих. Я прячу нож за голенище. Рысь издыхает. Задние лапы ее дергаются, глаза — в голубоватой пленке.

Откуда взялась белая собака?

Пестря отходит в сторону, зализывая раны. Белая собака обнюхивает его, виляет хвостом.

Вдруг рысь оскалила морду, и кисточки на ее ушах шевельнулись. Мне показалось, она готовится к прыжку. Я посылаю ей в спину заряд левого ствола. Собака снова рвется к зверю.

— Зачем шкуру портишь? — негромкий голос за моей спиной.

Я повернулся. У опушки, опираясь на длинностволую берданку, стоит высокий белобородый старик с коричневым от загара лицом, одетый в синюю холщевую рубаху и широкие пестрядинные штаны с заплатами на коленках. Шапки на нем нет. Лысая голова, круглая, как арбуз, сияет под солнцем.

— Здорово живешь, земляк!

Я по-охотничьи приветствую его: подняв руку.

— Который день чую, собачонка тявкает, кто-то постреливает, — говорит старик, подойдя ближе. — Что, думаю, за охотник припожаловал? Вот и встретились.

Я вспоминаю про услышанный когда-то выстрел, про дымок, замеченный мною с горы. Теперь все понятно: у меня — сосед. Придется откочевать на другую сторону хребта.

— Кто такой будешь?

— Человек, — строго отвечает старик.

— Какой губернии, села, волости?

— Никакой. Где живу, там и губерния моя.

— Звать тебя как?

— Человек.

Меня сердит это упрямство. Чего он прикидывается шутом гороховым?

— Толком спрашиваю.

— Тебе толком и отвечают. Я свой паспорт и метрики давно в печке сжег, имя забыл, фамиль потерял. А как твое дело вышло, — долга песня, и тебе ни к чему.

Я закуриваю трубку.

— Мудрено плетешь, дед.

— Не люблю — не верь. Я тебя не пытаю. Кабы я ведал, где ты ныне обедал, знал бы, чью ты песню поешь. А не знаю — бог с тобою, и так проживу.

Он поднимает рысь за задние ноги:

— Ладная добыча. На-ко, держи.

Я привязываю зверя к сумке. Старик похож на кержацкого начетчика, которого выжили из деревни православные попы. Но берданка и хорошая охотничья собака сбивают меня с этой мысли. Уставщики и начетчики не занимаются охотой.

— Ты отколь взялся? — спрашивает он.

— Городской, дедушко.

Он понимающе мигает:

— От селенья далеконько, и время для охоты не подходящее. Тут зимой на лыжах проходят, да и то в год один человек забредает. Еще металл рыли.

— Золото ищут?

— Искали, — поправляет старик. — В речке песок мыли, шурфы были. Разгорелись у всех шары-то, кинулся непутевый народишко непотерянное искать. Смехота. Меня тормошили: не видал, говорят, золотой песок? Нет, говорю, не видал, да и видеть не хочу.

— Нашли?

Старик мотает головою:

— Зря маялись. Тут, парень, что кошь, есть, а металла нет. Из каких сам-то будешь?

Я не знаю, что ответить. Бойкая речь старика пугает меня.

— Не хочешь отвечать — не надо, — говорит он. — Я не поп и не стражник. Мы, видать, с тобой одного поля ягоды. Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью встретится, плешь плешу молвит: ты плешь, я плешь, плешь задерешь да другую наведешь. Так али нет? Идем в гости, чайком напою. Я недалече живу. Мою усадьбу все зверюшки знают: одна труба, четыре избы, восемь улиц.

Соседство старика неприятно.

«Придется уходить вверх по реке, — думаю я. — А жаль, места хороши».

Он повторяет приглашение.

— Идем, — отзываюсь я, понимая, что теперь неудобно отказываться.

— Тютька, домой, — зовет старик.

Белая собака бежит впереди нас по наброду. Старик ловко двигает обувью в новые лапты ногами, с завидной легкостью прыгает через валежник. Мы идем берегом реки.

«Что за человек? — думаю я, шагая

вслед за стариком. — Почему живет в глухомани? Один или с семьей? Что делает?»

Через два часа мы сидим в маленькой избушке, прилепившейся на склоне горы. Окидываю взглядом жилье. На полке посуда: эмалированные миски, две кружки, чугун, медный солдатский котелок, под самым потолком, на деревянных гвоздях, вбитых в стену, беличьи и горностаевые шкурки прошлогоднего убоя. Лавки, самодельный табурет, широкая удобная лежанка — все сделано из добротного дерева, выстругано, пригнано заботливой рукой. В углу висит поношенный чекмень, и над ним — доревенская войлочная шляпа. Над лежанкою растянута в пяле шкура медведя-пестуна. Сладковатый запах мездры щекочет в носу.

— Топтыгина заполевал?

— Было дело, — неохотно отвечает дед. — На утре случилось. Пчелы у меня тут, а он пришел, давай их зорить. Борть одну поломал: любит медок, косилапый бес. Тютька взлаяла так нехорошо. Выхожу с берданкой, машу на него: кыш, баю, дурак. Пошел прочь! Не смей сюды ходить. Он будто не чует. Бить его не хотелось, молодой еще, мало пожил на свете, да я и медвежатину не люблю, а мех на ем худой, шелудивый варнак, кожа да кости: после хворости он, что ли, был. Я опять: кыш, поганец. Он хоть бы что: урчит и хрястает борть. Я удумал его шугнуть, выстрелил ему в зад. Берданка дробью была заряжена. Ему бы в лес без огляду бежать, а он, дурак, встал на дыбы да ко мне! Тютька верещит, рвет его за гачи. Он прямо на меня, глаза у него дурные, с кровью, пасть разинул, и уж, вижу, норовит лапой меня по загривку. Ну, пришлось его по башке топором кокнуть. Умирай, коль жить не умеешь.

Ярко вспыхнул костер из сосновых лапок, и пузатый чайник затянул песню. Я вижу, что старик рад встрече со мною.

Всю ночь мы разговариваем. Рядом, в густом ельнике, ухает филин. Меня с детства пугают дикие вздохи этой непонятной птицы. Бабушка внушала: «Фи-

лин да ворона—зловещие птицы, крик филина к несчастью».

Старик смеется залихватным смехом:

— Эх, соседушко-то мой зевает. Мы с ним дружно живем, каждую ночь перекликаемся. Он мне аукнет, а я ему вот эдак.

Он надувает щеки, из груди его вырывается протяжный щемящий вопль. Эхо гудит на отрогах. Филин еще раз мяукнул и смолк.

— Ладно кричу?

— Ладно, да больно страшно,—признаюсь я.

— Я на всяки лады умею, — хвастается старик.—Хошь — лося подманю, хошь — рябка. Меня и мураши понимают. Сяду возле мурашиной тропы, разговариваю. Что, мол, варнаки, робите? Они останоятся, глядят, лапками потряхивают. Я им хлебных крошек подкину, мясца кусок.

Утром мы расстаемся. Отдаю старику рысь. Он принимает подарок молча.

— Ты того... — говорит он.—Ненароком присыкнутся к тебе бродяги або старатели, — не промолвься. Мне, видишь, оказывать себя нельзя. Я чортом помеченный. И сам остерегайся. На заре из ружья не пали, выстрел больно далеко слышать. Вот зимой дело другое. И костра днем не разводи. Заходи ко мне почаще.

Через день я снова у старика. Недалеко от избушки, на дне оврага, небольшой огород. В бороздах картофельная ботва, зеленеет капуста. На еловых чурбанах стоят самодельные ульи. Старик обосновался тут прочно и надолго.

«Вот и мне бы такое жилье» — думаю я, оглядывая стариковы владенья.

VII

Мы сидим на поваленной ветром пихте. Меж деревьев сверкает солнце, свистит ветер, падает желто-красная хвоя сушняка.

— Гневить бога не хочу, — рассказывает старик неторопливо. — Жил я справно. Были у меня лошадь, две коровы, овечки, свиньи, гусей да курей полный двор. Пчельник был, медок со стола не выводился. Пчелок я уважаю, и пчела

меня любит, божья тварь. Баба досталась безотлыжная, сыновья и дочери подросли, помогают в хозяйстве. Живем дружно, как мураши. Суседи нам завидовали.

Подоспело время, сына-большака, Тимоху, в солдаты забрали. Обучили военному делу, угнали в Азию, границу русской земли сторожить. Писал Тимоха, что там скука, пески желты кругом и жара нестерпимая. Потом: месяц, другой—нет писем. Мы в Азию через волостное правление запрос шлем. Вскороости ответ получаем. Извещает командер батальона, где служил Тимоха: так и так, дескать, сын ваш любезный погиб в бою с врагами, за веру, царя и отечество, молитесь, старички, богу. Да-а. А сын был, я те скажу, обойди весь белый свет — не найдешь такого. Ростом выше меня, в плечах — аршин, волосы на голове — как лен, и лицом бел да румян, а сердце имел золотое, мухи не обидит. Первый гармонист на деревне. Бывало, разведет голубы меха — господи боже мой: сам себя забудешь, ноги ходуном ходят. Подумаю, что нет его в живых, — дыханье в гортани стынет, ровно черный камень на сердце лег. Ну, читаем письмо про тимохину смерть, отслужили панихиду. Старуха мне и брякни в окаянный тот час:

— Через год, Евлан (меня Евланом звать), Ванятку в царскую армию ладить станем.

Я бабам худо верю. Бабьи умы, что татарски сумы. Но в тот раз чую, и баба умно слово сказывает. Меня будто в кипяток ширнули. Как, говорю, Ивана? Да неужто и второго сына убьют? Лежу зимой на полатах (ночи-то долги, делать нечего, бока пролежишь), и такое сумленье накатит — беда. Для чего, думаю, то, для чего это? И так, и сяк прикидываю умишком, — непонятно. Стал читать священно писанье, чтобы докопаться до корня. Читал, читал — еще боле запутался. Иду к писарю, учителю, к дякону, попу, ловлю странников, прохожих, бродячих торговцев, разный бывалый народ. Объясните, баю, что к чему? Все охотно объясняют, но у каждого свой царь в голове,

каждый свою ложь сеет, а правды клещами не вытянешь. Ну, все-таки одолел я правду-матку.

С этого и покатилося. Волостное правление бумаги присылает, подати-налоги платить велит. А я те бумажки рву в клочья и ото всего отпираюсь. Начальство, понятно дело, ерепенится. Меня в кугузку, меня пыгают. Бьют, увечат. Я стою на своем. Ну, пошли тут разные штрафы, пени, недоимки, протори да убытки. У меня самовар с торгов продают, корову со двора гонят, лошадь ведут. Жалко, добро пропадает, кровью да потом нажито. Баба ропщет, сыновья коситься на меня стали. Но я стою на своем. Подкатила осень. Время Ивану в солдаты итти. Я повестку в печь бросил, сына не даю. Приезжают братья силом. Эх, думаю, была, не была, — катая с плеча. Схватил топор, отсек Ивану большой палец на руке: знаю — без пальца не возьмут. Сына в больницу, меня — под арест. Баба ревмя-ревет. Соседи: ах, ах, что натворил, такой-сякой. А ты думаешь, сладко мне было топор подымать на сына? Да-а. Моя кровь была в ем. В одну ночь меня скрючило. Привезли под конвоем в город к набольшему начальнику, в окружной суд. Начальник вытаращил глаза, губы надул:

— Что, Евлан Чернухин, бунтовать вздумал?

— Бунтовать, баю, не бунтую, но законов ваших не признаю, властям не подчиняюсь.

Ну, меня в острог. Тюрьма, что могола, — всякому место есть. Держали в одиночке месяц. Вызывают в судилище. Коли богатого судить ведут, он в суд ногой, в карман рукой, и все по его дуде пляшут. А наше дело погибельное. Прокуроришко, черный, вертлявый, как вьюн, все допытывался, подвезжал ко мне:

— Скажи, кто тебя научил? Сознаешься — облегчим наказанье.

— Своим нутром, баю, правду почувал.

Он сердчает:

— Врешь, плешивый дьявол. Как это нутро тебя толкнуло супротив царя итти, ежели царь есть самодержець всяя

Руси и помазанник божий на земле?

Я ударил себя кулаком в грудь и сказал:

— Коли бог с царями заодно, против мужика, я и бога не признаю. И судить вы меня не можете.

Прокуроришко аж затрясся. Не судима, бает, только воля царская, а тебя засудим, чтобы другим неповадно было.

Я опять свой ответ даю. В народе шопот побежал. Судьи посовещались и решение объявили. Получил я, раб божий, двадцать годов каторги. Разбередали меня шибко: в тяжбе не дорога ладога, дорога обида. С партией кандалников погнали меня на Дальний Восток, на реку Амур, колесную дорогу строить.

Да-а. В тюрьму широка дорога, да из тюрьмы — узка. Претерпели всего. Много там людей полегло от болестей, гнуса, глада и побоев. Убегал я с колесухи дважды. В первый раз меня поймали. Второй раз — заплутал в тайге, мышей, кротов ел, сапоги кожаные съел — отощал, сам вернулся с повинной. Били-увечили до полусмерти: ребро сломали, два зуба выворотили. Пробыл на колесухе десять лет. Да-а. Вскорости колесуха была кончена. Нас погнали на мученье в другие места. По дороге я сбегал.

— Как удалось?

Евлан усмехнулся.

— Ловко это вышло у меня, парень. Добрался до дому, а меня там ищут. Зиму прожил в голбце, в бане, на свет божий не показывался. Иной раз лежу в подполе. Чую, заходит урядник, спрашивает мою бабу:

— Мужик домой не объявлялся?

— Не видали, — отвечает баба.

Он посидит и обратно:

— Если явится, ты обязана мне докладывать немедленно. Укроешь, самое посадим.

Весна пришла. Народ землю пашет, сеет, а я, как запечный таракан, по щелям прячусь. Сердце болит. Руки чешутся — робить хочу. Но нет мне ходу из подпола. Сенокос начали в деревне. Перебрался потихоньку в луга, сено в

стога мечу. Живу в шалашке. Узорил меня кто, надо быть. Нагринул как-то под утро урядник с десятскими, чуть не сгребли. Вижу, нет житья в деревне. Подался в чужие места, в кыргызку степь. Там приволье. Земля не пахана и не меряна — конца краю не видно. Кыргызы народ приветливый, даром, что нехристь. Обиды я от них зря не имел.

Да не привелось долго жить в орде. Осенью налетел буран с дождем. Степь оледенела. По-кыргызки это называется джут. Кормов нет. Скот начал падать. Кыргызы ревмя-ревут. Вижу, дело худо. Распрощался с ордой, и — на родину. Петлял, петлял, да и угодил в тайгу. И вот — живу.

Он усмежается.

— А теперьча сказывай об себе, я послушаю. Коли ты вроде меня, от людей отшибся, — давай вместях жить станем.

— Давай, — говорю я и протягиваю руку.

Он отвечает крепким пожатьем.

VIII

Всю ночь валит снег. Ветру нет. Лес молчит, будто слушает песню. Евлан в легком овчинном полушубке выходит на двор. Снег скрипит у него под ногами. Он вытягивает руку, и ладонь покрывается снегом. Евлан растирает снежинки пальцами. У него блаженное лицо крестьянина, встречающего ливень в засушливый год.

— На мерзлую землю падает, — значит, шабаш. Милости просим, матушка-зима.

В избышке горит камелек. Похрапывая, взвизгивают во сне собаки. Я выхожу вслед за Евланом встречать зиму. Разве уснешь в такую ночь? Невозможно стоять на месте: ноги сами идут по тропе, и снег засыпает следы. Тишина. Не воют волки. Звери, наверное, тоже смотрят, как падает снег, и молчат.

Утром стужа сковала тайгу. Из-за гор выглядывает солнце, и под его лучами так хорошо и молодо сверкает оледеневший снежок. Заговорили дятлы, снегири, сороки. Лиса, крадучись, бредет

по мягкому, останавливается, поводя носом, и, почуввав мышинный писк, разгребает передними лапками снег. Косачи вылетают на березник, сидят по опушкам поляны, пощипывая тонкие ветки.

Евлан ставит капканы и кулемы. Возвращается, утомленный ходьбой, но довольный. Щеки его розовеют.

— Медведушко залег верстах в двух от нашей избенки, — говорит он, отдирая пальцами сосульки с бороды. — Я чуть было не наскочил на него. Шкура с проседью. Я подумал: «В одних годах со мною, поди-ко».

— Что ж, завтра возьмем.

— Завтра нельзя.

— Почему?

— Он лег недавно, не разоспался как следует. Тяжело брать.

Это непонятно. Однако я умолкаю.

Мы запасаем рыбу. Река хорошо замерзла. На заводях и протоках лед гладкий, как зеркало, и такой прозрачный, что сквозь него видны камни, отдели, водоросли и медленное движение рыб. Я просекаю топором узкие проруби. Вечером Евлан спускает в них двойную сеть. Мы в темноте зажигаем смоляную лучину и бьем по льду деревянными колотушками. Напуганная ярким светом и грохотом, рыба кидается, запутывается в сетях. В солнечные дни ставим на реке палатку. В середине палатки, у проруби, Евлан сидит с острогой. Я захожу вверх шагов на сто и гоню рыбу. Старик ловко поддевает сазанов и налимов. Рыбачим также на мелких озерах, где вода промерзла почти до дна. Там караси и щуки задыхаются. Мы делаем небольшую лунку, и рыба сама лезет в подставленный сачок. Наша кладовая доверху завалена мороженой рыбой.

Снег падает ночью и днем. Ветер наметал в низинах саженные сугробы. Тетерева на вечерней заре, сложив крылья, падают с вершин вниз головою, зарываются на спанье в снежную мякоть. Волки выгребают лапами сонных птиц и, рыча, пожирают. Зверя много. Евлан часто приносит горностаев и лисиц. Двух соболей мы поймали в ловушки и одного мне удалось убить из ружья.

Я напоминаю про медведя:

— Засыплет его — не найдем.

— Понимаешь, как-то неловко к нему итти, — сознается Евлан. — Вот я ставлю ловушку на лису. Тут кто кого перехитрит. Попалась — пеняй на себя. Догадалась — ее счастье. А медведь? Спит, как дите малое. Ты подойдешь, да и стукнешь. Совестно брать его в берлоге: все равно, что в чужой дом ночью забираешься.

Я долго упрашиваю старика. Он сдается.

— Ну, ин ладно. Завтра пойдем.

Ночью, при свете камелька, мы снаряжаем патроны. Евлан точит бруском рогатину. Утром, чуть свет, двигаемся. Собак ведем на сворках, боясь, что они раньше нас прибегут к берлоге и спугнут медведя.

Евлан на широких лыжах, подбитых лосиной кожей, идет впереди. Я спешу за ним по продавленной сакме и думаю о том, что нет ничего на свете лучше этого бега по морозу под низко нависшим зимним небом. Снег розовеет на солнце и мягко синееет в тени. Огибаем крутики, заросшие молодым пихтачом, густым, как рожь. Бурелом загораживает дорогу. Собакам трудно итти на привязи. Они царапают бока о валежник, взвизгивают. В редколесье, на взлобке, Евлан останавливается.

— Тут! — он вытягивает руку.

Ничего не видно за корневищами ели, вывороченной ветром, но кажется мне, я слышу затрудненное сном дыхание зверя. Над берлогой чуть приметно вьется парок. Желтоватый куржак заметал кусты и валежины.

Собаки поднимают щетину на хребтах, рвутся к берлоге.

Евлан берет на короткую сворку собак, пинками заставляет их успокоиться, отаптывает против чела место в снегу.

— Стой здесь, — шепчет он. — Я его оттеда шугну. На тебя должен выскочить. Не робей, Тютька ему ходу не даст, не первого ставит. Да и твоя собака, видать, хороша. Возьми-ко, на всяк случай, рогатину.

Я отодвигаю лыжи.

Морозно. На снег невозможно смо-

треть — так он сверкает. И в этой студеной тишине я стою с замирающим сердцем. Вижу перед собою только заиндевшую корягу и жду.

Евлан заходит с другой стороны, пускает собак. Они рвутся к коряге с злобыным визгом. Хрустит валежник, и над ним в брызгах снега, как в поэмке, взметнулся зверь. Мушка ружья остановилась на рыжем, но я не спускаю курок. Позади берлоги мелькнула заячья шапка Евлана. Как тут стрелять? Ослепленный солнцем, зверь остановился на короткий миг, свирепо, раскати-сто рывкнул и поднялся на дыбы. Собаки рвут его за гачи. Отмахиваясь лапой, он прыжками бежит по снегу. Мне виден его буроватый, покрытый инеем бок.

Сердце мое замирает, и мушка сама ловит то, что нужно: от выстрела зверь садится на задние лапы. Снег под ним алеет от крови. Вот-вот медведь повалится на бок. Но он быстро оправился и повернулся ко мне. Я вижу над собою остистую шерсть, посеребренные ворсинки прижатых к башке ушей, разинутую пасть с желтыми клыками. Всаживаю рогатину в брюхо зверя и упираю черенок в мерзлую под снегом землю. Когтистая лапа перестригает рогатину, как соломинку. Я заряжаю ружье. Тут подбегает Евлан и стреляет из берданки в голову зверя.

На нартах, сделанных из сушняка, везем добычу к становой.

В ненастные дни мы сидим в избушке. Евлан налаживает капканы и кулемки, обминает звериные шкуры.

Потом он достает из ящичка «Книгу премудрости Соломона» и, развернув ее, хвастается:

— Всем книгам книга: за тридцать веков до нас писана. А сочинял ее человек, возлюбивший премудрость более скиптров, престолов, более драгоценных камней и злата, более здравья и красоты. Во, брат!

Я подбрасываю в камелек поленьев. Пламя освещает избушку. Евлан читал медленно, будто любясь словами:

— «Сей бо даде мне о сущих познание неложна познати составление мира, и действие стихий, начало и конец, и сре-

дину времен, возвратов перемены, и изменения времен, лет круги, и звезд расположения, естество животных, и гнев зверей, ветров усилие, и помышление человек, разнство леторослей и силы корней. И елика суть скрыта и явна, познах: всех бо художница научи мя премудрости».

Смысл книги не доходит до меня. Но слова хороши. Они тянутся одно за другим, как песня. Чтение старика напоминает мне бабушкины молитвы: хорошо и непонятно.

IX

Весна. Дымится тайга, шумят ручьи, вспенились горные потоки. Над озерами звенят лебеди, кагакают гуси.

Евлан выделывает в протоке шкурки, ловит рыбу, копается в огороде. Ночи стали теплее, и только слегка подмораживает к утру.

Меня охватывает беспокойство. Весь день не могу ничего делать. Ленивая слабость разливается по телу. Приснился дурной сон. За мною гналась женщина с голою грудью и дико сверкающими глазами, одетая в зеленое с желтыми цветами платье. Ее волосы развевались на ветру, как конская грива. Она вытягивала руки, и я слышал горячий шопот:

— Остановись, охотник.

Я убежал по таежной тропе, прятался за кустами олешника. Женщина догоняла, грозила кулаками:

— Врешь, дурья голова, поймаю.

Просыпаюсь в холодном поту. В голове тяжесть, в ушах звон. Сердце бьется толчками, будто в самом деле я пробежал несметное число верст.

— Что за чертовщина?

Я встаю с лежанки, подхожу к ведру, пью холодную воду. Окатываю из ковша голову, грудь, лицо. Наваждение проходит. В окно летит холодный воздух. Бледный луч зари падает на лицо Евлана. Старик спит, всхрапывая. Голая, в черном волосе, грудь мерно поднимается и опускается. Он, должно быть, не видит снов, счастливец!

Дни бегут. Кусты черемухи, в белой

пене, стоят, не шелохнувшись. Тайга дышит утренним светом, теплом и медовыми запахами. Птичий гам нарастает, становится все громче и отчетливее.

— Как хорошо, как хорошо,—пищат звонкие голоса.—Скоро у нас будут милые дети. Сколько забот, сколько веселья!

Я слушаю птиц, и мне почему-то грустно. День разгорается. Отблески солнца играют на соснах. На опушке мохового болота все еще токуют глухари. Зарядов у меня много, но впервые за все годы я не могу снять со стены ружье и пойти скрадывать петухов. Возвращаюсь в избушку. Сижу и слушаю свое сердце.

— Эй, сынок,—кричит Евлан, потягиваясь на лежанке.—Сегодня твой черед стряпать. Разведи-ко давай костер, чай пить будем.

Принимаюсь за работу. Все валится из рук. Я даже порезал палец ножом, чего никогда не бывало.

Завтракаем на земле, у порога домика. Старик весел. Я молчу. Меня, как птиц, потянуло на юг, к людским поселениям. Евлан, перестав жевать, задумывается:

— Ты болен, сынок?

— Нет.

— Чего хочешь? Все у нас есть: сухари, свежее мясо, рыба. Наши ружья справны. Собаки не потеряли чутье, не ослепли. Чего ты хочешь?

— Не знаю.

Евлан отодвигает чашку с мясом. Лицо его напряглось. Он смотрит мне в глаза.

— Ну, так Евлан знает.

— Молчи,—свирепо говорю я.

— Не могу молчать. Я старик, и слова мои справедливы. Я должен тебе помогать в черную минуту. В роднике надо яму поглубже выкопать, вроде омута чтобы получилось. Окунайся почаще. Родниковая вода дурь вышибает. А сейчас давай-ко песню затянем.

И он глухим, но еще сильным голосом поет:

Не для меня, молодца, тюрьма строена,
Одному-то мне, добру молодцу, пригодилась.

Я подпеваю:

Сижу-то я в ней, добрый молодец, тридцать
лет,
И тридцать лет, и три года.

Старик неуклюже взмахивает руками:
— Нажимай крепче, парень. Не сбивайся с ладу. Начали:

Появилась сединушка во русских кудрях,
А бородушка у молодца, как белый лен.
На резвых-то ногах железо-медь
перержавело.

Песня напоминает мне деда Спиридо-
на. Я вижу его в кандалах, прикованно-
го к тачке. Вот он умирает, тело укла-
дывают в яму, хоронят вместе с цепями
на ногах. В песне оживают рассказы
Евлана про колесуху, про угрюмые си-
бирские остроги:

Все дверюшки-веревочки развалились,
Пошел-то добрый молодец из тюрьмы-то
вон:
Ты прости, прости, вор-злодеюшка, земляная
тюрьма,
А ты ли меня, молодца, состарила.

И захватывает от песни дух, выжи-
мает слезы. Хочется петь еще и еще,
чтобы заслушалась и заплакала тайга
от человеческого горя.

— Добра песня, — говорит Евлан. —
Мы ее, парень, на каторге певали. Со-
всем невмоготу станет, подопрет тоска
лихая — хучь в петлю головой. А собе-
ремся в круг, сыграем песню, — отойдет
сердце, вроде как дома побывали. Чело-
век без песни, что рыба без воды, жить
не может.

Мы перепели все знакомые песни. И
когда охрипли голоса и петь нечего,
сидим до сумерок на скамейке. По вет-
ру еле-еле доносится бормотанье тетере-
вов.

По земле низко стелются клочья ту-
мана, окутывают сыростью пригорок.
Погасла последняя, узенькая, как щель,
полоска над лесом. Не видно ни земли,
ни деревьев, ни неба. Только в черной
темноте над избушкой — крупные звез-
ды.

Зажигаем костер. Евлан вспоминает
прошлую жизнь. Я слушаю, удивляюсь:
«Сколько вынес человек и не озло-
бился...»

Евлан водит меня по тайге, как хо-
зяин, которому хорошо знакомы все
уголки своих владений. Из берданки он,
как и я, без промаха стреляет навскид-
ку по любой дичи. Убив двух-трех
птиц, вешает ружье на ремень.

— Шабаш.

Если я спорю, он сердится:

— Алчба пределов не знает, а ты,
парень, воздержись, взуздай себя. На-
до и другим людям оставить.

То же говорил мне когда-то дед Спи-
ридон.

И так радует это родство Евлана с
дедом: одного потерял, другого нашел.

Купаюсь в роднике, обжигаю тело
льдисто-прозрачной водой. Евлан гля-
дит на меня с крутика, посмеивается:

— Так ее, так. Шпарь хорошенько
плоть, не давай волю бесу. Вот баню к
зиме оборудуем. Попариться — тоже не
худо.

Когда я невзначай наступаю сапогом
на муравьиный тропу, старик дергает
меня за рукав.

— Экой недотепа. Глядеть под ноги
надо. Мураш, он не хуже нас трудится
день-денской, а ты его без надобности
увечишь. В другой раз чтобы этого не
было!

Кругом много ястребов и коршунов.
По утрам они охотятся на рябчиков, те-
теревов и белых куропадок. Потом, опья-
невшие от еды, садятся на деревья.
Не желая тратить зарядов, я снимаю
их стрелой из лука. Евлан говорит, что
не стоит убивать хищников. Я не пони-
маю:

— А сколько они дичи пожрут?

— Не дело затеял, парень, — вор-
чит он. — В лесу ни одна тварь зря
не живет. Без ястреба дичь выведется.
Он хватает больших, которые не могут
летать проворно. А ты хищников пере-
бьешь, хворым и калекам вольготно бу-
дет. Они гнилой приплод пустят по
тайге, всю породу болезнью заразят и
почнут умирать. Вот и смекни, что по-
лучится.

Такие открытия меня озадачивают.
Он доказывает свою мудрость на каж-
дом шагу. Мой слух точен. Я с детства
научился понимать голоса тайги. Одна-
ко в сравнении с Евланом чувствую

себя глухим и слепым. Иногда мы ходим без собак. Он вдруг останавливается:

— Слышишь, крадется зверь?

Или:

— В траве бежит глухарь.

Я ничего не слышу. Мы двигаемся, куда он показывает, и поднимаем дичь, спугиваем зверя.

— Как ты узнал?

— Сердцем чую, — говорит старик. «Но почему мое сердце не чует? — удивляюсь я. — Какое же у него сердце?»

Х

Собаки погнала лосиху. Она прыгнула с крутика под обрыв, сломала ногу. Евлан освежевал ее.

— Соль почти-что кончилась, — говорит он. — Мясо пропадет. Порублю тушу на куски, посолю малосолом в кадках, а ты садись-ка в лодку, съезди. Я бы сам поехал, да ты обернешься скорее: руки у тебя посильнее моих. Доедешь до полесовщика, у Кривой излучины. Он меня знает. Соль у него всегда есть. Поторгуйся как следует. Он жадный, чорт, за пустяк вымогает незнамо что.

Помолчав, добавляет:

— Уток на воде прорва, почнешь стрелять-пуделять. Поворачивайся живее.

— Иду к лодке. Пестря, привязанный под навесом, взвизгивает. Евлан останавливает меня криком.

— Забирай кобеля с собой. Спокою без тебя не даст. Ну, до чего прилипчив к хозяину пес.

Я беру собаку.

Лодка несет нас по течению. Пестря сидит на корме. В карих глазах его лукавство:

«Что, хозяин, не удалось без меня уехать?»

Опять нахлынули думы о женщине. Они недолимы, как сон, как голод. Стараясь отогнать их, яростно бью веслом по воде.

Солнце упало в тайгу. Останавливаюсь у тихой заводи. Жарю на костре селезня, грею чайник. Наевшись, ло-

жусь под кустом вереска. Спать не хочется, и я слушаю, как садится роса на траву, трещат кузнечики. И так лежу я, не смыкая глаз, до утра.

В полдень захотелось искупаться. Повернув к берегу, раздеваюсь, прижимаю руки к бедрам, прыгаю в омут. Вода холодная и плотная. Под корягой, в желтых водорослях, затаился усатый налим. Я протягиваю руку, пытаюсь схватить его за жабры. Налим вильнул хвостом и, замутив воду, скрылся в береговой норе. Стрелюю несется за стайкой плотвы белобрюхая щука. На самом дне копошатся водяные козявки, жулици и мальки. Вынырнув, жмурюсь от солнца, сверкающего в зените.

Мое ухо ловит песню. Женский голос, звонкий и сильный, звенит, приближаясь к реке.

Ты, заря ль, да ты, моя зоренька,
Заря моя, да ты, все холодная.
У меня матушка — не родная,
Не родная она, не желанная.

Нет, это не сон. Воздух трепещет от песни, такой близкой и манящей.

Одеваюсь и бегу на голос.

Мы столкнулись на узкой поляне — лицом к лицу. Пестря гамкнул, но тотчас отлетел в сторону от удара моей ноги.

Собака поджимает хвост: в первый раз ей не дают облаивать незнакомого человека.

Девушка вскрикивает. Голубое ведро падает из ее рук.

— Что тут делаешь? — спрашиваю я. Ноги мои дрожат.

— Уголь жжем с тяткой. Угольщики мы. Тятку моего Ермолай Плетнев звать, может, слышал? Летом нажжем, а осенью на плотках к заводам продавать везем.

— Далеко забрались.

— Там, в низовьях, лес рубить не дают, а здесь можно. Вот и приходится забираться. Пашни у нас нет, углем кормимся.

Волосы у нее совсем рыжие, как лисья шерсть.

Она дышит глубоко, и груди под синей клетчатой кофтой слегка шевелятся.

Я смотрю на ее лицо, на пышные волосы, на ласковые, задорные губы. Удивительные глаза: совсем не такие, как у всех. Меня пробирает дрожь. Тусклые скаты гор и дымчато-зеленые холмы сливаются в скользящее пятно.

Она хочет пройти. Я загораживаю дорогу.

— Испугалась?

— А то как же, — отвечает она, потряхнув волосами. — Четвертую неделю живем, никого не видала, и вдруг тебя чомор нанес. Я подумала — оборотень. Только оборотни без собак ходят, а при тебе ишь какой раскормленный кобеляга.

Я спрашиваю, как ее звать.

— Марфа.

— А меня — Матвей.

Сорвав былинку, она жует ее зубами.

— Ну, идем до реки: пособилю тебе.

Я поднимаю с земли ведро, и она доверчиво шагает со мною рядом, улыбаясь, покачивая бедрами. Страх у нее прошел, и она уже прихорашивается, поправляя кофту на груди. Я спотыкаюсь о муравьиные кочки. Девушка плотная и гибкая, совсем как та, снисшаяся по ночам, только волосы — рыжие.

Мы на ходу задеваем бедрами друг друга. Марфа что-то говорит. В моих ушах отдается ее смех, слова тают. Я кладу ей на плечо руку.

— Не балуй. Думаешь, в лесу, так можно и охальничать?

Но глаза ее улыбаются. Мы садимся на траву, разговариваем. И такое нежное, радостное солнце над нами, и так тихо кругом, что от счастья останавливается сердце. Я опять трогаю ее плечо, заглядываю в глаза. Она не отталкивает меня, но сжимается и сидит, присмившаяся. Я чувствую ее запах — радостный, пьяный запах распускающихся черемуховых почек, которым наполняется тайга в теплые майские вечера.

— Обед готовить пора, — вспоминает она и протягивает руку за ведром.

Спускаемся к реке.

Я зачерпнул воды, и мы опять идем рядом. На поляне, у свежесрублен-

ных елей, Марфа берет из моей руки ведро:

— Больше не ходи: тятка увидит с тобой — осерчает.

— Боишься?

— Боюсь, не боюсь, а отец — слушаться надо.

Молчим, слушая щебетанье коноплянок и щеглов.

— Завтра вечером поеду обратно — выходи на плес встречать меня.

И она сказала:

— Приду.

XI

Каждую неделю я спускаюсь в челоноке к стану Ермолая Плетнева. Марфа встречает меня у завода:

— У, противный, опять опоздал!

Несколько минут мы стоим молча. Потом она спрашивает о чем-нибудь. Я слежу за ее губами, вижу ее улыбку, настороженно сдвинутые брови и, когда она склоняется ко мне, слышу гулкие удары ее сердца.

Она мало говорит, но я всегда догадываюсь о несказанных ею словах и по глазам читаю ее мысли.

Я подружился с Ермолаем. Привожу ему дичь, рыбу. Помогаю сводить лес, заваливать землей длинные, набитые чурками печи, укладывать в рогожные мешки уголь.

Евлан замечает мои отлучки.

— Лебедку завел? — усмехается он. — Вижу: в полет за ней тянет. Покинешь, наверно, меня. Ну, что ж: всякому свое. Делай, как лучше. Не осуждаю. Молодой ты, сок из тебя брызжет, как смола из дерева. Женился бы, коли так подперло, да и вез ее сюда. Заживем семейкой. Внуков нянчить буду. Давай, право, а? Места хватит. Можем еще избу построить.

Весь день мы толкуем о будущей жизни. Он так загорелся мыслью о моей женитьбе, что готов немедленно ехать сам к Ермолаю, чтобы уладить дело. Но не довелось ему быть сватом.

Дня через два с гор налетел ветер. Тайга шумит и стонет. Падают деревья. Евлан кинулся убирать улы, вынесен-

ные на огорок. И там захлестнула старика опрокинутая ветром пихта. Я на руках принес его в наш домик. Он задыхается и весь измазан кровью. Ветки поцарапали ему лицо и шею. Обмываю его водою, перевязываю раны тряпками.

— Крышка, сынок, — кротко шепчет он. — Ты не хлопочи около меня, все равно умру. Думаешь, то сделаю, это сделаю, а смерть ходит за тобой по пятам. Не уберегся и — готов. Ждал, что Николку-царя народ скovyрнет с престола, и тогда поеду я в свою деревню, со старухой увижусь, на внуков порадоюсь. У Ванюхи-то, коему я палец отрубил, ребятенки с тебя ростом, наверно. Я не сказывал об этом, крепился. А ты что думал, каменный я? Не то сковал по семье? Ну, не пришлось. Переживет меня царь Николка, чтоб его черти на том свете скарежили. Напиши когда-нибудь моей бабе письмо, расскажи, как мы с тобою дни коротали. Ты, сынок, еще увидишь свет. Помяни меня, когда вольготно жить станешь.

— Помяну, — говорю я, сдерживая слезы.

— Не реви, — просит он. — Ты не баба. Али слезою смерть отгонишь? Всему бывает конец. Глянь на кедр. Какая сила в дереве — страшно подумать. А придет час — рухнет оно на землю, сгниет, и ветер прах развеет, а на том самом месте молодь зеленая поднимется.

Он закрывает глаза. Я сижу возле него и надеюсь, что, может быть, старик осилит свою боль, встанет и улыбнется, как раньше, доброю согревающей улыбкой.

Евлан поднимает веки. Ясные, живые глаза его смотрят пристально и сурово.

— Дай руку, — чуть слышно говорит он. — Конец, сынок. Закопай меня в сухом месте и поглубже, чтобы волки не отрыли. Собаку мою, Тютюку, не бросай. Тебе завещаю.

Я сжимаю его сухую ладонь руками, припадаю головой к нему на грудь.

Я похоронил Евлана хорошо. В яме сделал сосновый сруб, на дно постелил пихтовые лапки и под голову мягкую

подушку из папоротника. На могильном холме вкопал кедровый столбик и на нем вырезал ножом имя старика. Утоптал могилу, выстрелил в небо из обоих стволов. У моих ног стояли притихшие собаки. Я присел возле могилы и долго плакал.

Друзья мои охотники, если вам случится проходить по этим местам, сделайте привал у могилы Евлана, разведите большой костер и помяните старика добрым словом. Старик думал о вас, своих наследниках, о счастье для всех людей, которые будут ходить с ружьем по свободной земле, отдыхать и радоваться у жаркого костра после удачной охоты.

ХИ

Я остался один в домике. Сердце мое пересыхает, как земля под суховеем. Собаки тоже понимают горе человека. Пестря и Тютюка не надоедают мне ни лаем, ни визгом. Они взвояют охотятся на молодых зайцев и возвращаются к вечеру со вздувшимися боками.

Холмик на могиле покрывается травой. На кедровый столбик садятся щеглы, зеленушки и синицы, весело щебечут. Спокойное и чистое, как стекло, небо сверкает над лесом. А ночи такие светлые и теплые, что невозможно спать. На полянах в лунном свете копошатся светляки, словно маленькие звезды, упавшие с неба. Земля цветет, дышит. Старые звери обучают прибылых выслеживать добычу, молодые гуси, пробуя крылья, с гогогом пролетают над рекою.

Жизнь в тайге не прекращается. И мне надо жить, думать о живом. Я вспоминаю о девушке. Иду к лодке. И река несет меня к моей любви.

Мы уходим с Марфою на крутой берег. Сидим, слушаем шелест ветра в листве.

Под обрывом — голубая река. Над водой свистят крыльями утки. Марфа кладет голову на мои колени. Солнечный луч играет в рыжих ее волосах. Огромное солнце катится с гор в долину, как песня. Мне хорошо и грустно.

«Кончится лето, — думаю я, поглаживая золотистые волосы девушки, — Ермолай повезет уголь и Марфу в низовья. Как останусь я один в этой тишине?»

— Оставайся со мною зимовать, — говорю я, притягивая девушку. — Славно жить будем.

— Тятенька не дозволит.

Ее лицо темнеет. Растрепанная коса распустилась по груди.

— Чего тятенька... Ты сама взрослая: думай, решай.

— Не торопи, — просит она.

Я корю ее за трусость, настаиваю и сержусь. Слова застревают у меня в горле. И когда уступила, наконец, она, мы опрোметью бежим, как молодые звери, почуявшие весну.

Как-то неловко и страшно говорить отцу, что дочь его мне мила, что я жить без нее не могу.

Марфа, хмурая и насупленная, стоит поодаль, не спуская с отца пристально взгляда, и я вижу, как вспыхнули ее щеки под желтым загаром.

Руки девушки висят, как плети, но все в ней горит и клокочет. Она любит меня, я это знаю, но и отец ей дорог. Она боится, что он откажет.

— Ну-к, что ж, — говорит Ермолай, выслушав меня. — Я тобой не брезгую. Люб ты мне, прямо скажу, да и дочь, видать, по тебе сохнет. Только без венца негоже сходитьсь, дегушки. Надо съездить к попу.

Я говорю Марфе, почему не могу ехать в село венчаться.

— Ничего, проживем без попа, только ты люби меня. Тятенька поспорит, но смирится: он добрый.

Марфа переезжает ко мне. Как изменился мой домик! Все прибрано, вычищено, все лежит на своих местах и блестит. Даже собаки вымыты и расчесаны деревянным гребнем.

Марфа снимает со стены берданку Евлана.

— Это будет мое. Ты научишь меня стрелять?

— Да, да.

— Вот хорошо, — улыбается она. — Вместе станем охотиться. Глухарей и рябков я силками ловила, а стрелять не

довелось. Тятенька все смеялся надо мною. Нехорошо, говорит, девке с ружьем ходить. Ты не засмеешь?

Она скоро выучилась бить навскидку. И как я радуюсь, когда ей удается свалить из берданки быстро летящего косача.

Потом без моей помощи она убила росомаху.

— Ты теперь настоящий охотник, — говорю я.

— Это совсем не трудно, — отвечает она, довольная собою и ружьем.

Марфа посылает меня за дичью на ужин. Я спускаю собак, иду в долину Трех Ручьев. Выводков много в этом году. Пестря и Тютька, вспугнув на ягодниках глухарей, гонятся за ними и «сажают» на деревья. К полдню в моей сумке четыре петуха и две молодые копалухи. Мы завтракаем на полянке у костра. Я снимаю сапоги, расстегиваю ворот и сижу, прислонившись спиной к кедру. Собаки лежат возле меня на траве, свернувшись калачиком. Я развожу костер, чтобы отогнать дымом комаров. Думаю о счастье, которое пришло ко мне и которого никто у меня не отнимет. Марфа — верный друг, помощник. Мы оба молоды, здоровы. Впереди годы спокойной и сытой жизни. Собаки скоро дадут приплод, я буду бечерь эту стойкую породу зверогонов.

И так отдыхаем мы в притихшем осеннем лесу. Пестря и Тютька, всхрапывая, спят тем непонятным собачьим сном, во время которого они, кажется, все видят и слышат. Стоит мне пошевелиться, они открывают глаза и, прядая ушами, вскакивают, готовые вновь обшаривать лесные дебри.

Я глажу их по голове.

— Спице, зверюги, спице: наохотились.

Костер догорает. Надо итти к дому. Но молчание тайги убаюкивает, думы в голове легкие, радостные — не хочется подниматься.

Вдруг, словно видение, на краю поляны — волк. Он бежит ко мне. Его пасть раскрыта, нижняя челюсть перекошена и отвисла, и белая пена клубится на морде.

Мне случалось вот так внезапно, ли-

цом к лицу, сталкиваться с более крупным зверем, знаю: надо сидеть, лежать и стоять — никаких движений.

Ружье висит на сучке над моею головой. Я понимал, что выстрелить не успею, но рука все-таки ухватилась за ствол. Зверь совсем рядом со мною. Пестря налетает сбоку, хватается его за горло, и они, урча, возят друг друга по траве. Тютька берет волка с другой стороны. Волк старый, очень большой — вдвое крупнее моих собак. Они его растянули, прижали к земле. Ему не уйти, но он еще может покалечить их могучими клыками. Тут каждая секунда на счету, и опасно стрелять — убьешь собак. Приловчившись, я дергаю спусковой крючок. Первый выстрел посадил зверя на задние лапы. Собаки отскочили. Зарядом шестерки из левого ствола я разбиваю волку череп.

Приласкав собак, я шагаю к станью.

Пестря и Тютька, изрядно искусанные в схватке, время от времени останавливаются и зализывают раны. Я с тревогою поглядываю на собак.

«Не бешеный ли волчина?» — мелькает обжигающая мысль.

Почему я повесил ружье на сучок? Лежи оно рядом, я бы выстрелил раньше, чем Пестря успел прыгнуть на волка, и все бы кончилось хорошо. Но дурному не хочется верить.

«Не может этого быть, — успокаиваю я себя. — Зверь от старости потерял чутье, не мог ловить ни птиц, ни зайчишек, а падали нет. Отощал от бескормья...»

А через две недели началось то, чего я боялся. Собаки стали беспокойные. То пугаются меня, то странно ласкаются и скулят, прячутся в темные углы, ничего не едят. Они крепятся, бедняги, но болезнь одолевает их. Они грызут землю, кусают свои лапы, проглатывают щепки и камни.

Чем я мог побороть их бешенство? Оставалось одно: молча наблюдать, как погибают мои друзья. И какие друзья! Ведь стоило им, поджав хвосты, отбежать за кедр, и волчьи клыки впились бы в мою ногу. Я, понятно, управился бы с волком и без них, а потом — со-

бакам довелось бы скулить на моей могиле.

Пестря лежит пластом, изредка приподнимаясь на передние ноги. Глаза его мутны. Вязкая слюна стекает с обнаженных клыков. Но мозг его в порядке до последней минуты.

— Умная собака! — окликаю я его.

Он вздрагивает и поворачивает ко мне голову.

Тютька пережила Пестрю часа на два.

Днем мы с Марфою похоронили собак возле могилы Евлана. И в этот день кончилось наше счастье. Горе мое безмерно.

Решаю ехать в Кочеты. Подкрадусь ночью к деревне, подманю, уведу чью-нибудь лайку.

— Поезжай, — говорит Марфа, — конечно, без собаки мы пропадем. Кстати, бабушку свою попроведаешь. Вези ее сюда, если она поедет.

День распускает над тайгой свой пышный хвост, даль пламенеет под солнцем, в небе — желтые облака.

Я целую Марфу в мягкие теплые губы и прыгаю в лодку.

Когда над рекою поет ветер и лодка покачивается на сердитой волне, в голову приходят неожиданные мысли. Я думаю о жизни с Марфой, о детях, которые появятся у нас, о постройке нового домика. Потом встает перед глазами дед, Николай Яхонтов, Агафон Петров, ограбленный старшинами паул Яргунь, Тосман, избитый солдатами. Много вспоминается. Я обманывал сам себя. Как ни хорош мой домик в лесу, это не настоящее. Вот потерял собак — беда. А если сам заболел? Сломаю на охоте руку или ногу? Нет, одинокое счастье не прочно. Но где оно, настоящее?

Я умею ловить рыбу, выслеживать зверя, подманивать птиц, зимой в жгучий мороз пробегу без отдыха сто верст на лыжах, летом на спине переплыву широкую реку. И только.

Эти мысли до того придавили меня, что я всю ночь сижу у костра, не могу заснуть. Хорошо живется, когда прикроешь глаза и на все лады уговариваешь себя, что все хорошо. А заглянул

на минуту в лицо правде, и сбит с толку. Может быть, это прочитанные в городе книги смутили меня? Или слова Яхонтова, которые невозможно забыть, хоть сто годов живи?..

Курю трубку, слушаю ночь и самого себя. Во мне совершается какая-то непостижимая и страшная работа.

К утру от навязчивых дум болит голова. Я так расстроился, что на одном пороге пустил лодку вперекос и чуть-чуть не разбился о камни. Подъезжая к Кочетам, решаю про себя, что бабушку с собою не возьму. К чему тащить старуху, если сам готов сняться с якоря и плыть неизвестно куда, — в поисках утраченного счастья?

XIII

Оставляю лодку в ивняке и ночью иду к деревне. У выгона прислушиваюсь: на улице тихо. Из огорода пробираться во двор, вхожу в избу. Дверь скрипит на ржавых петлях. Бабушка, спавшая на лавке, вскрикивает:

— Ой, кто здесь, крещеный?

— Принимай гостя, Наталья Денисовна, — говорю я, протягивая к ней руки. У божницы теплится лампадка. На стенах мигают тусклые блики света. Мы обнимаемся.

— Уж так-то я рада, Матвейко, так-то рада, — шепчет бабушка, всхлипывая у меня на груди. — Не ждала вовсе. Мать в скитах схоронилась. И про тебя думала, где-то парень пропал, свидеться не придется, а ты, накося, ровно снег на голову свалился. Напугалась я, как услышала, дверь хлопнул. Не за Спиридоном ли, подумала, идут.

— Дедушко дома? — я не верю ушам.

— Дома, слава господу. С каторги убежал. Многие тысячи верст пешком прошел. Стала разувать его — батюшки! Ноги опухли, мозоль на мозоли, глядеть страшно. Измучился, баю, старик? Ничего, бает, отлежусь, плясать буду. Это в его-то годы! Вот он орел какой. В подклети живет. Сею минуту вылезал поужинать. Тебя завсе вспоминает. Сейчас к нему сходишь или утром?

Она еще спрашивает, старая.

Стискиваю ее сухую, вздрагивающую руку, тащу к двери.

— Идем скорее.

Она зажигает ночник.

— Не егози, парень, успеешь. Осторожно иди за мной. Испугаем его.

Спускаемся в подклеть. Бабушка отбрасывает сено, стучит в доску.

— Спиридон!

Молчание. Бабушка снова стучит.

— Спиридон, проснись!

— Чего тебе? — откликается дед.

— Матвей приехал. Не бойся, вставай-ко.

Я приподнимаю доски, прыгаю в яму. Бабушка подает мне ночник.

С соломы, улыбаясь, поднимается дед.

— Пойду-ко самовар ставить, — говорит бабушка. — Вы беседуйте.

В тайнике сухо, чисто. Вдоль стен в два ряда полочки, выструганные руками деда. На полочках разложены листья махорки. Старик похудел, осунулся, но так же молоды его умные, веселые глаза.

Прошли первые минуты замешательства, кончились обнимания и поцелуи.

Дед берет меня за подбородок рукою.

— А где ты пропадал? — говорит он, посмеиваясь. — Выкладывай, послушаю.

Идем в избу. На столе шумит самовар. Бабушка растопила печь, готовит яичницу, жарит рыбу. Мы садимся за стол. Я рассказываю о жизни у манси, про старика Евлана.

Деревня прснулась. Бабы выгоняют коров и овец.

Мы опять перебираемся в тайник.

Бабушка накрывает нас досками, заваливает сеном. Дед зажигает ночник. Раскуривает трубку.

— Как дальше намерен жить? — спрашивает он. — Так и будешь киснуть в трущобе?

Я молчу.

Дед рассказывает, что его погнали на восток в одной партии с Николаем Павловичем. Им вместе удалось бежать с этапа.

Яхонтов теперь устроился на заводе.

— И меня приглашал туда, — говорит дед. — Паспорт обещал на чужое

имя выправить. Завод-то новый построен в низовьях, у самой реки. Там всех берут на работу. Я надумал ехать. Здесь оставаться долго нельзя. Еще схватят. Вот бы и тебе с нами, Матюха. Николай Павлович устроит. Сперва чернорабочими, а потом за станок поставят.

Завод.

Сколько дней я толкался когда-то в городе, у заводских ворот. Не взяли. И вот через несколько дней войду в освещенный электрическими огнями цех, буду резать, точить и сверлить железо. Стальные стружки запоют под моими руками. Я убиваю в воздухе быстро летящую птицу, так неужели мои руки не научатся управлять станком?

Я думаю о Марфе. Может быть, с ней нельзя на завод? Как же тогда? Разве я могу бросить ее в тайге?

Рассказываю все деду.

— Хм, — гмыкает он, сдвинув на лбу морщины. — Тебе рановато обжа-

водиться семьею, но уж коли так случилось, делать нечего. Поезжай за ней.

Ночью прощаюсь с бабушкой. Дед выходит провожать меня.

Туман поредел. Синее звездное небо. Шумит под обрывом вода. У изгороди дед обнимает меня. Наши тени сливаются в лунном свете.

— Помнишь, Матвейко, мы с тобою жар-птицу в тайге искали? — спрашивает дед. — Нету в лесах птицы такой. И еще запомни: во всякой охоте прицел верный должен быть. О тебе никто не позаботится — только ты сам. Но ежели станешь думать только о себе, незаметно на ногу соседу наступишь. О других думай, кому худо живется. Когда я умру, держись за Николая Павловича. Он правильный человек. В яму не столкнет. Иди.

Я шагаю по росистой траве. Голубая ночь машет крыльями.

Дед стоит у плетня, и я слышу за спиною горячий, взволнованный шопот: — Вырос, бесенок.

Северный Урал — Москва.
1932—1940 гг.

Кузнецы

Ф. БЕЛКИН

★

Еще огоньками сверкает колхоз,
Встают мастера до рассвета.
За кузницей ходит мороз,
А в кузнице — жаркое лето.

Играют меха, и цветут лемеха,
В баранки свиваются трубы.
И вот кузнецы скидают меха —
Свои дубленые шубы.

И трактор подходит:
— Чем захромал?..
Он мастеру сердце доверил...

Стучат молотки, распекают металл —
Аж звезды бросаются в двери!

Сверкают жаровни.
Сверкают глаза.
Здесь заново все создается.
В могучих ладонях, словно лоза,
Железо и гнется, и вьется.

Так ударяют, что поле гудит
И рвет мороза оковы.
К ним солнце входит —
В оба гляди!
А то раскуют на подковы!

Письмо

Л. ТОПЧИЙ

★

Десятилетний мальчуган
Сидел, глядел в окно
И шатким почерком своим
Писал на фронт письмо.

«Моя родная...» Зачеркнул.
«Отважная моя,
Я так хочу уйти к тебе
В далекие края.

Я с той поры, как ты ушла,
Ни разу не уснул.
Я часто плачу». Прочитал
И снова зачеркнул.

«Я часто слышу голос твой
Под свист и вой пурги.
Мне часто слышатся твои
Неслышные шаги.

Я вижу ясно, как идешь
Ты по седой траве,

С походной сумкой и большим
Крестом на рукаве.

Я слышу ясно грохот мин,
Взрывающихся ввысь.
Зима холодная, и ты,
Гляди, не простудись.

Мне грустно, грустно, но печаль
Могу я перенести,
И я горжусь, что у меня
Такая мама есть...»

И вижу я, как он привстал
На цыпочки, как он
В почтовый ящик опустил
Послание на фронт.

И мне такое же письмо
Хотелось написать.
Мне показалось, что она —
Моя родная мать.

На-гора

Роман

А. КОПТЕЛОВ

★

ГЛАВА СЕДЬМАЯ¹

1

С волнением ждала Варя возвращения Романа с охоты. Вторую неделю ее мучила подозрительная тошнота.

Десятки раз она приходила к решению — посоветоваться с Романом, но тотчас же отказывалась от этой мысли, бередившей девичью стыдливость.

Она не знала, как отнесется Роман к случившемуся.

Услышав от отца, что Роман вернулся с охоты, что накануне выходного у зятя соберется вечеринка, Варя еще больше загрустила: не она будет жарить глухаря, убитого Романом, и не к ней соберутся гости. Была бы комната, все знали бы, что они—муж и жена. И в загс сходили бы давно, и свадьбу справили бы. Но комнату Роману скоро не обещают, а у отца поселиться негде,— с приездом брата в квартире стало тесно.

У зятя соберется много гостей. Там можно будет улучшить минутку для разговора с Романом наедине. А потом он проводит ее до дома. По дороге, в темноте, хватит смелости рассказать ему обо всем.

Но накануне вечеринки Варя узнала о прошлом Романа. Она только-что вернулась с работы и, скинув кофточку, собралась умываться, как сестренка Настя вбежала в кухню:

— Нянька! Тебе письмо пришло! Смешное, — нитками зашито!..

Варя мокрыми пальцами разорвала самодельный конверт. Глаза ее забегали по кривым строчкам, губы задрожали и посинели; словно она выбежала на ледяной ветер.

Письмо заканчивалось угрозой: если она «не отступится от чужого мужика», то ей привезут его сына. Пусть возится да пеленки стирает!..

Варя прошла в комнату, смяла письмо в комок и, упав на кровать, уткнулась лицом в подушку.

Настя долго стояла в дверях, тербя жидкие косички, будто она была виновницей сестриного горя. Потом на носках подошла к кровати и осторожно положила руку на плечо сестры.

В кухне раздались шаги матери, вернувшейся с базара. Настя выбежала сказать ей, что сестра лежит.

На тревожные вопросы матери Варя ответила, что у нее болит голова, но жара нет и потому не следует звать врача. Скорее всего — это легкий угар. Не купила ли она мороженой клюквы? Хорошо бы теперь положить в уши по ягодке!

Анна Петровна принесла полгорсти мороженных ягод, покрывшихся седым инеем.

— Пожуй холодненьких — полегчает. — Поправила одеяло на груди Вари. — А я тебе сейчас киселька сварю. Хочешь? А еще чего тебе стготовить?

Вечером пришла Клавдия за посудой.

¹ Окончание. См. «Новый мир», № 4, 1941 г.

Чтобы не видеть сестру, которая завтра будет угощать обманщика, словно доброго гостя, Варя повернулась лицом к стене и притворилась спящей. Клавдия вошла в комнату, положила руку на лоб девушки.

— Голова холодная,— сказала она матери. — Поговорить бы надо, да будить жаль. Ты ей скажи, пусть завтра придет ко мне вечерком... Пособит маленько...

«Неужели Клавдия верит, что он... жених? Сваху собирается играть» — подумала девушка.

А когда на другой день мать передала ей просьбу старшей сестры, она огрызнулась:

— Я не судомойка...

Девушка взяла книжку и села к окну, но вскоре поймала себя на том, что смотрит на страницу и не понимает слов. Достала вязанье, начатое на прошлой неделе, но пальцы отказывались держать крючок. Рассказать бы теперь кому-нибудь о своем горе, сердцу стало бы легче. Но кому? Галка уехала на курсы. Одна старшая сестра может понять ее...

Варя достала новое шерстяное платье и начала передеваться. Да, сегодня надо быть в строгом черном. Она отбросила в угол сундука беленький воротничок, купленный для этого платья.

— Ты куда, Варюша, наряжаешься? — спросила мать.

— Книжки менять.

Она вышла на тихую улицу. Мягкий снег ласково ложился на ее пуховый платок.

В доме зятя — шумный разговор, веселый хохот. Варя прошла мимо. Голоса все знакомые, но не слышно того, который всегда волновал ее. Может быть, он еще не пришел? Встретиться на улице? Это бы лучше. Без свидетелей, без пытливых взглядов со стороны. Сразу бы ему выпалила все в лицо и — знакомству конец...

«Нет, это не так просто... знакомству конец. Доведется стыд растоптать да с Клавдией посоветоваться...»

Она прошла в конце улицы, к новому общежитию горняков первой шахты.

Знакомое окно походило на глыбу льда.

«Его нет дома. Он, наверно, давно там...»

Варя снова пошла к дому зятя. Теперь там гремела песня.

Девушка поднялась на крыльцо, взялась за скобу, — закрыто. Надо постучать. Клавдия обрадуется, — пришла помочь. А гости как посмотрят? Один моргнет сзорным глазом, другой ухмыльнется, — нам, дескать, понятно, зачем ты, деваха, здесь.

Она сбежала с крыльца, словно испугалась, что вот сейчас сестра откроет дверь. Снова — улица, тротуары в снегу, одинокие прохожие...

Вот и квартира отца. В окно видно, как мать сапогом раздувает самовар. Спросит, почему вернулась без книжки... Нет, дома нечего делать. Как ни укладывайся в кровати, все равно не уснуть...

Говорят, дети связывают навсегда, и он, конечно, вернется в деревню. Но, если и на руднике у него будет ребенок, тогда... тогда он может остаться шахтером.

Девушка круто повернулась и опять зашагала по улице.

2

Дымнов считал часы, отделявшие его от той минуты, когда он увидит в доме Колюбакиных Варю.

Ему очень хотелось притти первым. Но он подумал: «Хозяин с хозяйкой поймут, почему я торопился». Пришел он, когда уже вся бригада была в сборе. Ыдали еще Баткина и Мигузова. Стол был накрыт в кухне, — в комнате спали дети.

У стола хлопотала одна Клавдия Кондратьевна, и Роман подумал, что Варя, вероятно, придет позднее. Но Кондратий Мокеевич, вошедший вслед за ним, сказал хозяевам, что Варя раньше его ушла из дому. Это поселило в сердце Романа смутную тревогу. Последние дни девушка работала в другой смене и, похоже, уклонялась от встреч с ним.

Вошел Батькин, и хозяин пригласил гостей за стол, на котором стояли бутылки портвейна и два графина водки.

— Я гляжу, ты, Федор Иванович, причащать нас решил, — смеялся Батькин, пробираясь в угол.

— Для безбожников беленького хватит. — Колюбакин налил Батькину стакан водки и взглянул на Дымнова: — Охотник, конечно, тоже за белое?..

— Нет, мне красного.

— Красного?! — Андрей Матвеевич удивленно покосился на соседа. — А тоже языком болтал: «Попробуй, поднеси». И шахтеров осрамишь, и охотников.

— Хочу впервой попробовать красное... — не сдавался Роман, боясь, чтобы Варя, придя, не увидела его пьяным.

— Не слушай его, наливай водку, — гремел старый шахтер, готовя себе селедочный «пжж», как он называл закуску.

Но Роман взял бутылку и налил себе стакан портвейна.

— Чорт с тобой, — вскрикнул Андрей Матвеевич и первый чокнулся с Дымновым. — Люблю за упрямство!

Зазвенели стаканы. Когда все закусили селедкой, Клавдия Кондратьевна поставила на стол блюдо с мясом.

Налили еще по стакану. Роман посмотрел на часы, — пять минут одиннадцатого! — и резко толкнул стакан к графину с водкой.

— А-а, не вытерпел!.. — загремел Батькин. — Не давать ему теперь ни капли!

Кондратий Мокеевич, опустив голову на руку, запел:

Шахтер в шахту опустился,
С белым светом распростился.
До свиданья, белый свет,
Я вернусь или нет.

Батькин толкнул его локтем, но он только качнул головой и продолжал еще грустнее:

Шахтер рубит со свечами,
Носит смерть он за плечами.

— Будет тебе... Затянул нуду, — прикрикнул Батькин.

— В Донбассе слышал перед войной, с тех пор песня в память запала, — объяснил Митузов.

— Давай выпьем за новую жизнь, за веселые песни! — предложил Гоша Рябов, молодой круглолицый парень.

— Сегодня, ребята, пейте, сколько хотите, а завтра в ночь на работу являйтесь, как огурчики, — предупредил Колюбакин.

Водка Роману казалась простой водой: он не пьянел и оттого чувствовал себя обиженным. Эта обида прошла, когда ему послышалось, что на крыльце скрипит снег. Он не сводил с двери глаз, но она не распахнулась. А снег все поскрипывал. Наверно, комолая хозяйская «Лысуха» бродит по двору... Роман тряхнул головой и снова взялся за графин...

Андрей Матвеевич затянул любимую партизанскую, ее подхватили все. Роман пел, облокотясь одной рукой на стол и опустив взгляд в пустой стакан. Нежданно голоса у порога заставили его встрепенуться. Там стояла Варя. На плечах и на голове девушки лежал толстый слой снега.

— Тебя где так засыпало?! — удивилась старшая сестра. — Ты что, на часах стояла?..

Варя не ответила. Брови ее были сдвинуты, глаза — холодны, как снег.

— Что с тобой, Варюша? — забеспокоилась Клавдия.

Девушка порывисто сняла платок, пальто, бросила их на лавку и, опустив голову, прошла в темную комнату.

Клавдия стряхнула снег с одежды, повесила ее на вешалку и поспешила к сестре.

— Не спрашивай меня... Молчи, молчи... — шептала девушка. Зубы ее стучали, она была готова разрыдаться.

Клавдия взяла ее за руку и усадила рядом с собой на ящик, покрытый тряпичным ковриком.

Роман понял, что Варя долго ходила вокруг дома, пока решилась войти. Неужели она узнала? Надо было самому рассказать обо всем... Сказать, что Ефросинья ему не дорога, главное — сын. Как с ним быть? Жаль его...

Все заметили перемену в нем и даже оборвали песню, но он продолжал смотреть в дверь темной комнаты.

— Федя, тащи гостью за стол, — крикнул Батькин. — Что она чурается нас? Тут кусучих нет...

Колюбакин ушел за девушкой. Роман налил себе водки, выпил один, не поморщился и не закусил ничем.

Клавдия приглушенным голосом просила мужа:

— Отступись, Федя... Не пойдет она к вам.

— Выпусти меня... — сказал Батькин Митузову. — Выкормил дочерей, — шахтеров пугаются!..

Роман тоже вышел из-за стола, прошел к кадке и зачерпнул ковш холодной воды.

Из комнаты доносились слова Андрея Матвеевича:

— Нельзя так по углам сидеть. Нельзя. Надо охотника проздравить, выпить со всеми, поплясать. Не чужой он человек — наш шахтер: я его в проходчики к себе возьму, в «Великан». Верно слово! Пойдем!

Варя поняла, что ей уже нечего бояться, — все заметили, ради кого она пришла сюда. Стыдно было только перед отцом. Но когда она вышла из комнаты и окинула гостей застенчивым взглядом, кухня показалась ей просторной, как безлюдный зал.

Батькин тоже обвел глазами кухню и бросился к вешалке: ни пальто, ни шапки Дымнова там уже не было.

3

Едва Варя спустилась с крыльца, как Роман, пошатываясь, вышел из-за угла и преградил ей путь. Пальто на нем — нараспашку, шапка сдвинута на затылок. Виски были мокры: он только-что прикладывал к ним снег.

Девушка враждебно отшатнулась от него.

— Поговорить надо... Постой.

— С пьяницей какой разговор?.. — Варя посмотрела из-под сурово сдвинутых бровей в глаза парню. — И не стыдно?..

— С горя... Я думал... Да что там

говорить... — безнадежно махнул он рукой. — Давно хотел тебе сам сказать... язык не повертывался.

— Какой он у тебя твердый!..

— Боялся, что ты...

— Не ври!.. — Она обошла его по мягкому снегу и бросилась к калитке.

Роман побежал за девушкой. Она остановилась и вполголоса прикрикнула:

— Не гоняйся... Не смехи людей...

— Я не пойду... я только скажу тебе...

— Не лакал бы столько... Я не мужняя жена — с пьяным хороводиться...

Варя захлопнула калитку.

Совсем не так собиралась она говорить с Романом. Хотела дать ему понять, что у нее может быть ребенок. И даже скоро. Но не знала, как сказать это. А сказать было необходимо. Ведь через месяц окончится срок его договора. Весна тянет деревенских в поля. Некоторые уже уехали...

Роман шел за ней по пятам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Возвратясь с работы, Роман увидел на желтом полу белый квадрат. Опять письмо! Почтальон подsunул его под дверь. Наверно, что-нибудь неприятное? Конверт такой же, как в прошлый раз. Те же противные рыжие чернила. Листок из ведомости по учету трудодней. Косые строчки:

«...Сын твой Егор Романович шлет тебе нижайший поклон от белого лица до сырой земли. На прошлой неделе в среду с ним приключилось несчастье. Он поранил себе правый глазик, теперь растет бельмо, надо везти в город к хорошим докторам, а денег нет. Вышли поскорее денег сто рублей. Коли сердце имеешь и не хочешь сына сделать слепым, то вышлешь...»

Почуввав в письме неправду, Роман разорвал его и выкинул в форточку. Не снимая пиджака, лег на кровать. Смотрел на беленый потолок и, чтобы не думать о письме, отмечал, как таяли тени деревьев, что стоят за окном. Но это не помогло освободиться от назойливых

дум: «А вдруг все в письме — правда? Из-за меня сын окривеет...»

Тени с потолка и стен исчезли. Комната стала темно-голубой. В углах сгустился вечерний сумрак, казавшийся пушисто-мягким.

Дверь шумно распахнулась, заставив вздрогнуть. Вошел Евгений, и вслед за ним в двери и в форточку ворвалась весна с ее свежим, бодрящим ветром, с ароматами трав и цветов. Все движения Вепрева были широки и быстры, с его лица не сходила улыбка.

— Ты что лежишь, Рома?.. Вставай!.. — Схватил его за плечи и поднял с кровати. — Весна-то какая славная!..

Он легко повернулся, взмахнул рукой, чтобы включить свет, и хлопнул Романа по плечу.

— А месяцев через восемь начнется наше лето. Я, откровенно говоря, Рома, лето люблю больше, чем весну.

— Непонятно, о каком лете ты говоришь? — спросил Роман, взглянул на фиалки на груди Евгения, — они повяли, поблекли, сморщились. «А о комнате не хлопочет, рассчитывает, что я сам освобожу для него помещение. Но мне же уйти некуда. Пусть у завхоза просит хоть целую квартиру, — мне дела нет...»

— О нашем лете говорю!.. — воскликнул Вепрев. — Сегодня получил от Гали письмо: осенью у нас будет маленький!

Роман не мог заставить себя ни воскликнуть, ни переспросить. Неожиданно возникло и быстро крепло нехорошее, навязчивое желание говорить строптиво, обижаяще. Все ясней и ясней чувствовалось, что нехватит сил противостоять этому желанию.

— Ты почему молчишь?.. Тебя это нисколько не удивляет? — спросил Вепрев.

— Чему же тут удивляться? Для того и женятся, чтоб ребят плодить. Я, брат, один раз поторопился, так знаю...

— Я очень люблю детей!..

— На руках у чужих жен?..

Евгений с укором посмотрел на друга; отойдя к столу, снял фиалки с борта пиджака, раскрыл томик в желтом переплете, взгляд упал на строчку:

Я помню чудное мгновенье...

Положил цветы в книгу, захлопнул ее и долго глядел на темносинее стекло окна, в котором они отражались оба с Дымновым.

«Неужели он не уступит комнату мне, семейному человеку?»

2

Еще накануне Роман решил, что утром, идя на работу, по пути забежит на почту. Тогда же он сказал себе, что на обороте переводного бланка не напишет ни слова. А сейчас, заполнив бланк, он задумался:

«Она может и не написать, вылетат или не вылетат сына. А я хочу знать о его здоровье. Обязан знать».

Он помахал бланком и, когда высохла чернила, на оборотной стороне написал, что просит Ефросинью Власьевну сообщить ему о лечении мальчика.

На шахту он пришел взволнованный. В раскомандировке повстречался ему Веснин, который сказал, что сегодня зайдет в их забой. В другое время Роман ответил бы по-крестьянски: «Милости просим, заходи», но сейчас, все еще находясь под впечатлением письма, не сказал ни слова.

Роман рубил уголь во втором уступе. Услышав голос практиканта, разговаривавшего с Гошей Рябовым, он перекинул отбойный молоток в левую руку, а правой начал только слегка поддерживать снизу. Хотя сразу же почувствовал, что левая рука слабее правой и пика молотка вонзается в уголь не столь уверенно и не столь правильно, но продолжал работать ею.

«Все равно, научусь... Будет рубать не хуже правой».

Практикант Семен Потапович Веснин, пожилой уже человек, бывший партизан, остановился за спиной Романа, прислушался к тяжелому, прерывающемуся стуку молотка, выждал минуту, потом сказал:

— Отдохни, Роман Алексеевич, поговорим.

Дымнов опустил молоток, повернул запыленное лицо и выжидающе посмотрел на практиканта.

— Ты левша? Или только удивить меня хотел?

Шахтер смущенно улыбнулся.

— Если не левша, то зря тратишь время: левая — всегда будет слабее правой.

— Это я — вместо отдыха. И не зря. Вот увидишь.

— А молоток у тебя не в порядке, — переменял разговор Веснин.

— К концу смены всегда так, — шипит, трясет, а толку мало. Наверно, воздух подают неровно.

Семен Потапович взял молоток, отвернул шланг и, вынув из кармана шахтерки жестяную масленку, влил масла в отверстие для смазки.

— Теперь попробуй.

Молоток застучал плавно и легко, а пика быстро вошла в уголь.

— Видишь, дело не в воздухе...

Хотя непрерывно стучал молоток, Дымнов с Весниным услышали, что на нижнем уступе на крутой склон почвы упала не глыба угля, а твердая порода. В лаве пощелкивало, будто кто-то ногтем отковыривал в темноте кусочки камня. Вслед за этим затрещали стойки под тяжелым прессом кровли и послышался тонкий, по-мальчишески исполощенный крик Гоши:

— Кумполи-ит здесь...

Роман не разобрал его слов, подумал, что забойщик попал под обвал, и, оставив молоток, бросился на нижний уступ. Неподалеку хрустнула сырая стойка, раскололась пополам. Сдавленная с торца, она обливалась древесным соком. С грохотом упало несколько комков породы. Воздух ударил в лицо и чуть было не свалил Романа с ног.

Обходя обвал, Гоша поднимался навстречу Дымнову.

Шахтеры выждали, пока прекратились обвалы, и пошли крепить «кумпол»...

С работы они возвращались позднее всех. Лица их были черны и угрюмы: один маленький «кумпол» — всей бригаде неприятность. Правда, им удалось быстро закрепить кровлю, но угля они дали меньше нормы и с большой зольностью.

Роман шел последним. Не заметил,

как отстал от товарищей. Опустив голову, он смотрел себе под ноги и думал о больном сыне. Даст ли коня колхоз, чтобы немедленно отвезти мальчика в город? Помогут ли доктора, если уже растет бельмо?.. В гулкой узкий штрек неожиданно ворвался женский голос, и плечи Романа похолодели; в шахте все еще говорили, что по штрекам «ходит» «Кузбасс-баба». Он не верил в это, но, как только оставался один под землей, вздорные рассказы всплывали в памяти.

— Рома! — окликнули его из темной ниши.

Он не допускал мысли, что Варя поднимется сюда, чтобы встретить его. С тех пор, как они стали близкими, девушка уклонялась от встреч в шахте, прятала лицо, запачканное угольной пылью. Роман поднял лампу на уровень плеча и осветил нишу.

— Варюша! — вскрикнул он, и на лице его вспыхнула улыбка. — Ты... меня ждешь?!

— А то кого же?.. Тебя...

Прыгнув в нишу, Роман поставил к стенке отбойный молоток и лампу, повернулся к девушке и стиснул ее в объятиях.

— Какая ты у меня...

— Какая?..

— Да и сам не знаю... Ну — хорошая!.. Обиды умеешь забывать.

— Сердце истосковалось... — прошептала Варя. Помолчав несколько секунд, она заговорила торопливо, словно опасалась, что ей помешают высказать все. — Я больше не могла... Бежала сказать тебе...

— Что ты все-таки же любишь меня, — перебил Роман, целуя девушку. Красная косынка свалилась с запрокинутой головы и упала в ходовую часть печи.

— Бежала сказать... Нет, спросить тебя... — Смутившись, Варя опять перешла на шопот: — Спросить... когда у нас будет своя комната? Своя...

— Нам с тобой не везет. Мне приходится даже из той комнаты сматываться.

— Евгений нам уступит, — он парень добрый.

— Нельзя ему: к осени ему Галька подарок привезет.

— Да что ты говоришь? Галина?.. Как я рада за нее! Две подруги, и у обеих будет по маленькому!

Варя вдруг замолчала, — совсем не так она собиралась сказать о своей беременности. Лицо ее налилось кровью. Она ждала радостного возгласа, горячего, долгого поцелуя, а он холодно спросил:

— Про какую подругу говоришь?

— О себе говорю... Я ведь тоже... в положении. Давно хотела сказать... Да все не смела. Сначала сама испугалась, но скоро сердцем почувала, что люблю его.

Роман почувствовал, что на лбу его выступает холодный пот. Вспомнил письмо жены: «Сын твой Егор Романович поранил правый глаз, теперь растет бельмо...»

Деньги он послал, и еще придется посылать. Теперь — Варя... Что с ней делать? Жениться сейчас же? Но у него еще нет разводной. Да и в деревне — сын. Дать Варе денег и сказать, чтобы сходила к врачу? Жаль ее... Это, наверно, очень больно. Да и сердцем она уже мать... Сказать — опять разобидится. А ведь он ее любит. По ночам видит во сне. Что же делать? Посоветовать — к врачу?.. Многие так поступают...

— Осенью... будешь нянчить! — горячо прошептала Варя и, не дождавсь ответа, уткнула голову в грудь парня. Стиснув зубы, она едва сдерживала глухие всхлипывания.

— Варя!.. Варюша!.. Нельзя же так... — проговорил Роман, поднял ее голову и поцеловал в мокрую щеку. — Поговорим, как лучше сделать...

— Ты оттого такой, что не думал о нем, — прошептала Варя и вдруг, порывисто приложив руки к щекам Романа, притянула его к себе и заговорила с прежним жаром: — Ты подумай: он будет такой же, как ты, широколобый, чернобровый, сероглазый и... упрямый.

— Слушай, Варюша, тяжело ведь будет... Комнаты даже нет...

— Комнату нам дадут, ты не волнуйся из-за этого.

— А может быть, лучше...

— Что?! — перебила Варя, вздрогнув всем телом, и полный обиды голос ее зазвучал жестко: — Как тебе такое на ум приходит?..

— Многие делают... Даже — которые в годах. А ты такая молодая...

— Нет, нет!.. Ни за что, ни за что на свете...

— А я думаю — так лучше для обоих, — упрямо повторил Дымнов. — Ты не бойся, я тебя не брошу.

— На что ты мне такой черствый?! Еще о деньгах скажи... Откупись...

— Тише, Варюша!.. Может горный мастер подойти...

— Ну и пусть идет! Пусть слушает и всем рассказывает... какой ты есть.

Роман чувствовал, что он глубоко виноват перед девушкой, но не знал, что ей сказать сейчас. Смущенный и растерянный, он отвернулся от нее. А ей показалось, что он уходит, даже не простившись, что эта встреча может стать последней. Она рванулась за ним, рукой обхватила шею.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Покружив над городом, самолет скользнул к аэродрому. Роман не раз хаживал на аэродром и умел распознавать самолеты. Этот — не пассажирский и не почтовый. На таких обучает молодых летчиков местный аэроклуб. На самолете — два человека. Здешные они или прилетели издалека? Если из Новосибирска, то они вылетели до рассвета, — значит, по важному делу.

Роман вошел в раскомандировку. Думы его перекинулись на главный квартал шахты «Великан Кузбасса». Пора переходить на эту шахту! Работа в ней даст новую квалификацию проходчика по породе. Там можно будет поучиться кое-чему у иностранцев-горняков. Роман не знал, что среди иностранцев, приехавших в Кузбасс и назвавшихся шахтерами, были часовых дел мастера, скрипачи, фотографы, повара. Одних пригнал сюда кризис, потрясший капиталистические страны: кое-кто послан

своими хозяевами, и не для того, чтобы честно рубить советский уголь и обучать рабочих современной технике. Проходка главного квершлага велась медленно, план не выполнялся изо дня в день. Правда, бригады Баткина и Митужева давали всегда больше ста процентов, но они были бессильны вывести шахту из прорыва.

По раскомандировке проходил управляющий. Дымнов остановил его:

— Павел Александрович, скоро нас на «Великан» перебросят?

— А разве здесь вам надоело?

— Да нет, не надоело. Но для индустриализации «Великан»...

— Понимаю, — перебил управляющий, и лицо его стало строгим. — Три дня назад на совещании я дал слово, что отпущу вас. А сегодня позвонил Боркун: я, говорит, без них обойдусь, своими силами вылезу из прорыва.

— Вот и разбились думки наши! — вздохнул Колюбакин, слышавший разговор Дымнова с управляющим, и, махнув рукой, крикнул: — Пошли, ребята!..

В забое крепежного леса доставлено было на всю смену.

— Видать, у Натая ходики остановились. А по звездам он обманулся, — высказал догадку Дымнов.

— Да, он, наверно, часа на три раньше вышел.

Разошлись по уступам. Привернули молотки к шлангам. Застучал металл, зашуршал отбитый уголь.

Ни шагов, ни постороннего шороха не было слышно, и вдруг Роман почувствовал дыхание человека. Оглянулся: рядом — сверкающая в добродушной улыбке белизна зубов, мерцание миндалевидных глаз. Шахтер опустил молоток:

— Как дела, Натай? Зачем встал так рано?

Казах заулыбался еще сердечнее:

— Показывай, как молоток уголь рубать.

— Учиться хочешь? Вставай рядом.

Дымнов подал Натаю молоток и, направляя руки его, объяснил, как вонзять пику в слоистую черную стену. Когда упали первые комья, Натай

вскрикнул, взмахнул руками, точно на степном бегунце гнался за зверем и вот сейчас настиг его.

В груди Романа бурлила такая же кипучая радость!

— Наша уголь куда пойдет? Не знаешь? — спрашивал Натай. — У нас по степи Турксиб прошел. Железной дорога! Этот уголь в Казахстан пойдет?

Роман хотел сказать, что здешний уголь идет на заводы Урала, но снизу ворвались лучи многих ламп.

Донеслись голоса:

— Туда очень трудно... Лестницы нет...

— Но ведь рабочие ходят здесь?

— Здесь.

— А чем я хуже молодых горняков? Я не считаю себя немощным стариком.

По свету лампы Роман определил, что говорящий эти слова стоит впереди своих спутников и ростом он выше всех. Вот луч его лампы метнулся из одного конца забоя в другой, видать, ловко прыгнул человек со стойки на стойку. За ним двинулись другие.

Восемь ламп!.. Роман не помнит такого многолюдного технического обхода. Кто они?.. Откуда?.. Один — секретарь горкома Левченко. Второй — управляющий шахтой. А остальные?.. Какого важного гостя сопровождают они?..

Вот высокий взобрался на соседнюю стойку. Роман протянул ему руку, хотел помочь, но в ответ услышал:

— Спасибо, товарищ. Я сам поднимусь. Я не устал.

Голос низкий, грудной.

Гость стал на доску между забойщиком и лесодоставщиком:

— Ну, теперь здравствуйте, товарищи!

Его спутники расположились на ближних стойках. Лампы их осветили строгое, но приятное лицо гостя. Крупные, черные глаза поставлены широко, и оттого нос его — с красивой горбинкой — не кажется большим. Возле ушей вырываются из-под каски кольца седых волос. Концы черных, едва тронутых сединою усов чуточку приподняты и закручены.

В лице есть что-то хорошо знакомое, будто встречался Роман с этим человеком много раз.

— Вы из бригады Колюбакина? Ваша фамилия Дымнов? Мне говорили о вас. Как работается, товарищ Дымнов? Молотком рубать лучше, чем кайлой?

Голос по-домашнему мягок и спокоен, словно гость забыл, что над головой — толща земли.

Роман ответил так же просто:

— Конечно, лучше. Только воздуха не всегда хватает. Утечка большая: трубы на стыках не промазаны.

— Это я видел. Тут виноват Воронов и начальник участка. Но не только они одни. И вы тоже виноваты: плохо нажимали, плохо требовали.

— На наши требования чихают. Мы вон потребовали, чтобы нас перевели...

— Переведут. Завтра спуститесь в «Великан». — Гость указал глазами на казаха. — Учите?

— Маленько. Да мне еще самому-то нужно учиться.

— А вы не смущайтесь. Учитесь сами и учите других. Только глупые люди зазнаются и в двадцать лет считают себя учеными мудрецами, а умный человек учится до конца дней своих. Вот партия коммунистов: она руководит народом, страной, а в то же время сама учится у народа.

Он окинул взглядом забой и спросил сурово:

— Почему не ставите круглых стоек? Зачем распиливаете?

— Нехватает леса... — виновато пробормотал Воронов.

— В Сибири нехватает леса? Стыдитесь говорить. Почему не телеграфировали мне, что леса вам доставляют мало?

Он взял у Романа молоток.

— Разрешите попробовать?

Направляя пику в уголь, уверенно нажал на рукоятку и прислушался к стучу.

— Смазан отлично! Удар хороший!

Роман следил за каждым движением высокого человека с плечами грузчика. Горняцкий труд этому человеку хорошо знаком, — вот он прежде, чем уда-

рить пикой в толщу, осматривает слои угля.

— Вы и с кливажем знакомы! — удивился шахтер.

— Немножко. В молодости приходилось работать. В Донбассе. Но недолго...

Он замолчал. Не обмолвился ни о тяжком труде шахтера до революции, ни о шести гривнах, какие зарабатывал за двенадцать часов. О том же, что он едва не погиб при завале, знали очень немногие.

Когда он увидел пиленные стойки в забое, вспомнил тот завал. Там стойки тоже были пиленные, тонкие, как спички, — скаредные хозяева сэкономили на лесе.

С соседних уступов спустились шахтеры. Пришел бригадир — Федя Колюбакин. Все лампы были направлены на незнакомого забойщика. Особенно зорко следил за его движениями Натай Казыбеков. Этого не мог не заметить внимательный гость. Положив молоток, он вдруг повернулся к казаху:

— Хочешь, товарищ, работать с Дымновым?

Натай кивнул головой.

— Мне кажется, такую сильную бригаду пора разделить на две и добавить в каждую новых забойщиков, — начал высокий человек, обращаясь ко всем присутствующим. — Дымнова назначить бригадиром второй бригады. Какое ваше мнение, товарищи?

Воронов поспешил согласиться. Левченко тоже. Колюбакин и Дымнов молчали. Гость обратился к ним:

— А ваше слово, горняки?

— Правильное мнение, — согласился Колюбакин. — Роман такой забойщик, что его пора в бригадиры ставить.

— Я что же... Я не против... — неловко проговорил Дымнов, стараясь держаться в тени.

— Обе бригады сразу передать «Великану», — продолжал высокий человек. — Перед нами стоит ответственная задача — в короткий срок закончить проходку крупной шахты и снабдить ее самым совершенным оборудованием. Сейчас мы командиром инженеров за границу, чтобы они там познакомились

с постановкой дела на лучших шахтах мира. В будущем наши молодые инженеры будут проходить практику у себя дома, на таких шахтах, как «Великан».

Когда гости ушли, Роман спросил у начальника участка:

— Это кто такой был?

— Ты не узнал?.. Это — товарищ Петр.

— Да как же это я мог не узнать его?! Ведь портреты в газетах много раз видел.

Роман улыбался самому себе. Он радовался тому, что разговаривал с большим московским работником без смущения, без робости, как с давним приятелем.

2

Шахтерка на товарище Петре была мокрой от грунтовой воды, рубашка — от пота. На-гора, пока он шел от клетьевого помещения до бани, его обдало свежим таежным ветром. В летний полдень ветер приятен. Но каково здесь зимой?

Товарищ Петр молчал. Воронов видел, что он чем-то недоволен, и не решился заговорить с ним.

В мойке горячий дождик румянил уставшее тело. Как и в молодости, после изнурительной двенадцатичасовой работы, вода была желанной, освежающей.

Одевшись, товарищ Петр достал гребенку, окинул взглядом мойку, — зеркала не оказалось.

— Сметой не предусмотрено... — сказал Воронов; голос его виновато дрогнул.

— А сметы кто составляет? Люди? У них головы на плечах есть?

— В парикмахерской зеркало имеется.

— Рабочих вы тоже приглашаете к парикмахеру? Поймите: зеркало не роскошь, а необходимость.

Спустя несколько минут автомобиль мчал гостя к «Великану Кузбасса». Там, в сопровождении Левченко, товарищ Петр обошел надземные постройки. Двор был завален битым кирпичом, железом, бревнами, — не пройти, не про-

ехать. Вместо готовых зданий — котлованы да фундаменты. Только в дальнем углу двора выложены стены мойки.

Лицо товарища Петра стало гневным. От его толчка дверь кабинета управляющего распахнулась с шумом.

Боркун едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. В один миг он оказался по другую сторону стола и подставил гостью стул.

Гость сел на стул, глазами указал Боркуну на его кресло:

— Садитесь. Поговорим. Как идет работа?

Иван Семенович, тыча мягким пальцем в синий лист с белыми линиями и штрихами, путанно рассказывал о квершлагах, штреках и печах. Брови товарища Петра опускались все ниже и ниже, две морщины между ними становились глубже. В голосе Боркуна он поймал тревогу, вызванную его внезапным приездом, и сказал сурово:

— Вы зря ищете — за что бы вам спрятаться. Убедительных объективных причин не найдете. Говорите прямо: плохо руководил, плохо хозяйствовал, к важнейшему делу относился безответственно.

Лоб и щеки Боркуна стали влажными:

— Я, товарищ Петр... Я прилагал все силы...

— Не видно этого... На шахтном дворе — барахолка, невозможно пройти.

— Рабочих нехватает...

— Оттого и отказались принять лучшую бригаду?

— Дак то не проходчики... Да я и не отказывался...

— Не лжете? — Строгий посетитель посмотрел Боркуну в глаза.

— Я боялся на той шахте план соврать...

— А почему двор не охраняется? Вам тут доверили заросли бурьяна или государственное достояние?

Боркун молча опустил голову.

Товарищ Петр продолжал:

— Почему мойку построили за полкилометра от клетьевого ствола? Зимой рабочих морозить?

— По проекту так выходит. Проект составляли иностранные специалисты.

— А вас зачем сюда посадили? Чтобы потворствовать глупости?

Шея Ивана Семеновича побагровела, на висках вздулись вены.

— Нужно построить от мойки до клетьевого ствола теплый коридор.

— Никак нельзя, — по двору пройдут железнодорожные пути.

— Перекинуть через пути.

— Это обойдется очень дорого.

— Здоровье рабочих дороже денег.

Дождавшись короткой паузы, Боркун спросил:

— Может, вы желаете спуститься в шахту?

— Нет, отложу до другого раза. Сейчас и так видна ваша работа. Я думаю, что Левченко поставит ваш доклад на бюро горкома, поможет вам...

На прощанье подал руку:

— В шахте последний раз когда были?

— Да, по правде сказать, в этом месяце...

— Ну, вот! Хороший хозяин постыдился бы приглашать, если он сам два дня не спускался в шахту.

3

Работа в «Великане» увлекала Романа новизной и размахом.

— Подумайте, — начинал он разговор с приятелями, — один наш «Великан» будет ежегодно выдавать угля раза в три больше, чем все шахты Кузбасса при царе Николке! Да какого угля — весь пойдет на кокс!

Когда Роман пришел на новую шахту, широкий ствол ее, рассчитанный на две двухэтажные клетки, уже был забетонирован до «горизонта 50 метров», до подземного рудничного двора. Впервые спускаясь в бадье, он оглядывал серые стены, уносившиеся ввысь; сказал тестю:

— Прочно строим, чтоб опосля без ремонта!..

— Да, вечный ствол! — воскликнул Кондратий Мокеевич, — На таких стенках грибы не вырастут. И не погниет ничто, не обвалится.

— А случалось, обваливались стволы?

— Как не случилось! На моей памяти бывало это, в Донбассе, в старое время... В ту пору были не шахты, а западни. Все в них держалось на честном слове. Дерево в стволе попреет, — вот тебе и обвал. А здесь — бетон!

Промелькнули широкие тоннели с электрическими фонарями под бетонными сводами — рудничный двор пятидесятого горизонта. Митузов со своей бригадой работал на углубке ствола и потому, не задерживаясь на пятидесятом, спускался ниже. Он рассказывал зятю, что на глубине ста метров будет вырублен в твердой породе такой же рудничный двор. От него пойдет второй квершлаг с многочисленными разветвлениями по угольным пластам.

Расспросив тестя о работе бурильным молотком, Роман поднялся на пятидесятый горизонт и пошел осматривать проходку различных тоннелей и ходов рудничного двора. Одни из них предназначались для движения поездов с углем, другие — для поездов с породой, третьи — для порожняка.

В тоннелях было прохладно. Кровля нависла аспидно-черной тучей. Крупные капли воды звонко разбивались о камень. Кое-где дождик перемежался ливнем. Там рельсы скрывались в лужах. Ни канав, ни тротуаров еще не было, и Роману приходилось то брести по воде, то балансиря руками, итти по рельсам. Издали доносился тяжелый скрежет сверл. С каждым шагом сгущалась дымка, похожая на ту, какая бывает в морозные зимние ночи. Роман знал, что это пыль породы, смешанная с не успевшим рассеяться газом после динамитной отпалки.

На развилке двух тоннелей бригада Батькина пробивала камеру для медицинского пункта. Два бурильщика, полужа на камнях под самой кровлей, нажимали на головки молотков, за ними, дрожа, тянулись черные резиновые шланги. Сжатый воздух шипел, как змей.

Ниже бурильщиков двое рабочих дружно сгребали куски породы на железные листы. Двое навальщиков лопатами черпали породу с листов и кидали в вагончик. То там, то сям из ще-

лей вырывались тонкие струйки воды. Батякин березовыми клиньями забивал эти щели, но по стенам продолжала сочиться вода.

Андрей Матвеевич подошел к Роману, приветливо улыбнулся.

— Надумал все-таки к нам?! Молодец! Знаешь, как надо бурить?

И он рассказал, сколько шпуров и как бурить в нижнем ряду, сколько — в середине, вверху.

На другой день Роман привел в шахту свою бригаду. На новую работу все шли возбужденные и довольные, — им поручили проходку камеры для электровозного депо! Больше всех радовался Натай. Он был горд тем, что его записали в бригаду проходчиков, и, неся бурильный молоток, улыбался каждому встречному. Ему казалось, что все — от конюгона до начальника участка — рады этому назначению, что сейчас он услышит: «Молодец! Ты, говорят, даже песню сочинил об этой шахте?..» Роману он спел ее и рассказал, о чем говорится в ней.

Песня звала в подземелье рубить уголь, чтобы на поверхности всегда и у всех были свет и тепло в квартирах. Если бы ночному небу степей удалось заглянуть в шахту, — пел Натай, — оно нашло бы там много лун под серым сводом и столько ярких звезд, сколько шахтеров в смене; оно нашло бы там звезду Натая Казыбекова, звезду, ярче ночных небесных светил.

Песчаник на месте, отведенном под депо, оказался очень крепким, и потому в первые дни бригада Дымнова работала с перебоями. Часто приходил Батякин, сам брал молоток и показывал, как нужно бурить в этой обстановке. Через пятидневку они уже начали превышать нормы проходки.

Однажды после работы, окинув взглядом просторный зал, вырубленный ими, Натай прищелкнул языком и, улыбаясь, воскликнул:

— Добрай конюшня будет! Большой конюшня! А конь какой — не знаю, не видел.

— Я тоже не видел электровоза, — отозвался Роман и, подумав, тряхнул

головой. — Хорошие кони будут, сильные! Говорят, один электровоз увезет пятнадцать вагончиков!

— А живой конь в шахте совсем не будет? — спросил Натай, и улыбка исчезла с его лица. — Тосковать маленько будем. Я люблю коня. Шибко люблю. Такой маленький ездил, седла не был, так ездил.

— Да, без коня в шахте скучно. С электровозом не поговоришь, не прикрикнешь на него...

Шагая к стволу, Роман думал о том, как давно он не охомутил коня, не совал кусочка калача в шершавые губы. Ему захотелось спуститься в старую шахту, взглянуть на «Ленивого», потрепать его гладкую шею. Вспомнились родные поля, луговые просторы. Роман как бы увидел себя колхозным пахарем, шагающим за плугом, в который запряжена пара вороных. Обеденный перерыв. Роман лежит на теплой земле. Рядом лошади пережевывают душистое сено, смоченное водой и потом...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Весной, в один из выходных дней, Роман с Варей, гуляя, поднялись на высокое нагорье, возле которого оканчивалась угленосная свита. Они не могли узнать того склона, где зимой проходили на лыжах и где низкорослые елки протягивали им зеленые руки в снежных мохнашках. В одном месте экскаваторы, пофыркивая, рыли котлованы, в другом — каменщики выкладывали фундаменты, дальше ленточные транспортеры поднимали кирпич на четвертый этаж. На ясно обозначившейся площади стояло огромное здание, стены которого были уже выведены под самую крышу. Молодой каменщик, отвечая на вопрос Романа, сказал, что строят они Дворец горняков.

— Вот как мы живем! Уже дворцы себе заводим! — воскликнул Роман.

— А мне, знаешь, жаль того ельничка, — с грустью призналась Варя. — Елочки были такие хорошие...

— Таежных мест у нас и без того много. Есть леса красивее здешних. Ты бы посмотрела кедрач возле нашей деревни!..

С лесов недостроенного дома спустилось несколько человек в запыленных костюмах. Один из них, рослый, черноусый, подошел к Дымновым, поздоровался, как с людьми, давно знакомыми.

— Присматриваете, где себе квартиру просить? — заговорил он.

— Нет, нам и там неплохо, — ответил Роман.

— Вам нужно будет переехать сюда, — настойчиво посоветовал Левченко. — Дома с центральным отоплением, с водой, со всеми удобствами.

— Со всеми, да не для всех... — возразил Дымнов.

— А что не предусмотрено? Какие-нибудь хозяйственные мелочи? Возможно. Подскажите.

— Где тут рабочий человек, скажем, будет корову держать? — спросил Роман. — Вот у меня — дите маленькое...

— Слышал. Поздравляю, хотя и поздно, но лучше поздно, чем никогда, — рассмеялся Левченко, приглаживая усы.

— Дитю молоко требуется, — продолжал шахтер. — Без коровы мне нельзя.

— Он прав, — обратился Левченко к своим спутникам. — Большинство наших горняков — вчерашние крестьяне. Это нужно помнить.

— Хорошо бы перед всеми домами цветы посадить, — сказала Варя.

— Цветники будут! — заверил Виктор Сергеевич. — И для детей, и для матерей — для всех хватит.

Он вернулся к своим спутникам и продолжал с ними обход построек.

2

Комиссия по приемке пятидесятого горизонта «Великана» заканчивала свою работу. Боркун составил план торжественного открытия шахты-гиганта. Основным пунктом этого плана было приглашение гостей из нескольких

городов Сибири и устройство банкета на пятьсот персон. Иван Семенович был уверен, что об этом шумном торжестве появятся сообщения в краевых и даже московских газетах и что его фамилия не будет обойдена вниманием. Но горком подозрительно долго не утверждал плана, напоминать же Боркун не решался.

Однажды утром ему по телефону сказали, чтобы он немедленно пришел к первому секретарю. По одному тому, что Левченко не позвонил ему сам, Боркун понял, что предстоит неприятный разговор. «Чем я мог не угодить ему?» — думал он дорогой, покачиваясь в разбитой машине.

Когда Боркун вошел в приемную, обитая толстой кошмой и клеенкой дверь распахнулась и, стуча высокими каблуками сапог, из кабинета вырвался низенький, кругленький Тимков, редактор городской газеты. На его бритой голове блестили капли пота. Боркун все понял, хотел боком проскользнуть в кабинет, но Тимков остановился и взял его за пряжку ремня.

— Подвел ты меня, Иван Семенович. Я думал, что у тебя все согласовано, утрясено...

— Ждет меня... — Боркун кивнул на дверь и вежливо оторвал от пряжки руку редактора, как бы для того, чтобы пожать ее. — Я к тебе заеду. Обязательно заеду.

Кабинет секретаря был полон острого запаха типографской краски, от которого у Ивана Семеновича всегда щипывало в носу. На второй странице газеты, развернутой на столе, красовалось стихотворение Владимира Советского, отчеркнутое красным карандашом. Легким движением головы и дрогнувшей бровью Виктор Сергеевич указал на стул. Боркун покорно сел, готовя себя к неприятностям.

— Это твоя затея, Иван? — спросил Виктор Сергеевич, ткнув в газетный лист. — Нанял описца? Решил угодить секретарю? Глупая мешанская затея. Банкет отменить. Шахту вести в строй по-деловому, по-рабочему, — говорил Левченко.

Иван Семенович кивал головой, соглашаясь с каждым словом.

3

В первый же месяц на «Великане» возникло два подземных пожара. Причиной их считали самовозгорание угля в обрушившихся камерах. Два участка выбыли из строя, и добыча резко сократилась.

На рудник приехал из Новосибирска инженер Афанасьев. Он привез с собой чертежи новой системы горных выработок, над созданием которой работал последние два года. Это была система выемки угля слоями, с последующей закладкой всех пустот дробленным камнем.

В клубе собрались инженеры. Афанасьев начал свой доклад с резкой критики системы камер. Председательствовавший Боркун оборвал его, сказав, что трибуна предоставлена не для болтовни и не для подрыва системы, утвержденной во всех инстанциях. Но инженер настойчиво ответил, что его система направлена на ликвидацию камер и поэтому он скажет о них все, что находит нужным.

— Ни для кого не секрет, — говорил он, — что при камерной системе гибнет под землей пятьдесят процентов геологических запасов угля. Это — обкрадывание государства.

— Как вы сказали? — переспросил Боркун, дернув плечами. — Я не слышал.

— Это обкрадывание государства.

— А вы не знаете, что только при камерной системе мы сейчас можем выполнять план?

— Не думаю.

— Это так. Я докажу вам с цифрами в руках.

— Разрешите мне все-таки продолжать, — взволнованно попросил Афанасьев и, дождавшись тишины, заговорил о пожарах, которые он считал последствием камерной системы. — Если мы не откажемся от камер, то через два-три года верха всех мощных пластов будут охвачены пожарами. Это

принудит нас на много лет раньше срока спуститься на нижние горизонты и тем создаст невероятно трудные, невыносимые условия работы. Подземные пожары, однажды возникнув, продолжают годами, до тех пор, пока не истощится запас угля. Мы неизбежно пустим пожары на нижние горизонты, и там, при наличии метана и взрывчатой пыли, будут происходить разрушительные взрывы с человеческими жертвами. Камерная система ведет рудник к катастрофе, к жестокому кризису на долгие годы.

После этого Афанасьев приступил к изложению своей системы.

Но едва он закончил речь, как инженеры начали выступать с возражениями. Одни говорили, что новая система как будто и неплоха, но она потребует увеличения рабочей силы вдвое. Другие прямо заявляли, что введение системы Афанасьева сорвет угледобычу. Третьи доказывали, что при разработке здешних пластов с сухой закладкой тоже возможны пожары от самовозгорания угля, жадного на кислород.

Последним из инженеров выступил Шеровский. Он сказал, что работа с закладкой здесь возможна только при том условии, если закладочный материал будет подаваться в забой сжатым воздухом по трубам. Для этого потребуются сложное и очень дорогое оборудование, которое можно заказать только за границей.

Боркун произнес получасовую речь. Вначале он сказал, что изобретение Афанасьева имеет некоторую ценность, потому что оно будит техническую мысль. Но тут же добавил, что оно лишено практического значения и поэтому может нравиться только фантазерам.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Металлургический завод достраивался: уже три домы выплавляли чугуны, и восемь мартенов варили сталь. Из прокатного цеха увозили первые рельсы.

По ночам над заводом и молодым городом сияло веселое зарево. Сопка со шлаковым отвалом казалась объятай пламенем. За несколько километров было видно, как возникали огненные столбы и обрушивались в темноту, — это выгужали горячий кокс из печей.

День ото дня завод требовал все больше и больше угля.

На руднике созвали совещание ударников — шахтеров и металлургов. Роман ждал, что на совещание придет Вепрев, — он теперь работал на металлургическом заводе, и за последние дни фамилия друга раза три промелькнула в газетах.

В фойе, где была размещена выставка, посвященная молодой сибирской индустрии, Роман заметил у одной из витрин знакомый крутой затылок. Человек обернулся.

Роман не ошибся, — это был Евгений. Друзья, улыбаясь друг другу, отошли от толпы.

Они прошли в просторную, светлую комнату и, взяв пива, сели к столику в дальнем углу.

Тем временем за кулисами, в одной из артистических уборных, товарищ Петр разговаривал с Боркуном.

— Самая лучшая система — камеры. Замечательная система! — уверял Иван Семенович, а сам смотрел на белый китель высокого человека и прищуривал глаза, словно их слепил снег, облитый солнцем. — Все спецы в восторге от камер!

— Все ли? — спросил товарищ Петр.

— Все... кто настроен советски.

— У вас преступно много остается угля в земле.

— Мне один работник сказал: «В интересах революции...»

— Это не партийная и не советская постановка вопроса, — сурово прервал товарищ Петр. — Хищническое отношение к богатствам недр нельзя объяснять интересами революции. Так могут говорить только враги.

— Мне кажется, можно и при камерной системе уменьшить потери угля, — сказал Боркун.

— Но у вас потери из месяца в месяц возрастают.

— Новая система... не успели освоить.

— А другие новые системы не пробовали?

Иван Семенович, сдержав дрожь, сказал:

— На наших пластах только пневматическая закладка выработанных пространств позволит брать из земли весь уголь, но она потребует много валюты на оборудование.

2

«Повестка дня» всем показалась странной, — в ней не было докладов. Один за другим ударники поднимались на трибуну и рассказывали о своей работе, о недостатках производства и о нехватке сырья. Доменщики жаловались, что им дают недоброкачественный кокс, коксовики говорили, что их снабжают углем с большой зольностью. Дымнов опускал голову. Ему казалось, что товарищ Петр, глядя в зал, отыскивает его, а, найдя, спросит, почему в угле много породы. А он, Роман Дымнов, не знает, — не поинтересовался этим. Но товарищ Петр спросил Боркуна, и тот объяснил, что причина в недостаточно прочной кровле некоторых пластов.

— Такие забои надо крепить лучше. И не применять в них взрывчатки, — посоветовал товарищ Петр.

— Сжатый воздух очень дорог, — несмело возразил Боркун.

— За чистый уголь вам и платят дороже, — заметил товарищ Петр и перенес взгляд на директора металлургического завода. — О зольности угля прошу сообщать каждую пятидневку.

Не было оратора, которого этот высокий человек, с приятным строгим лицом, не подбодрил бы. Его вопросам, обнаружившим глубокое знание горного дела и металлургии, удивлялись и угольщики, и сталевары. Его замечаниям аплодировали, а он хмурился и заставлял Левченко поднимать колокольчик и звонить настойчивей.

Делегат соседнего рудника, забойщик Коростелев, заканчивая речь, с добродушной улыбкой сказал:

— Мы здесь — гости. Хозяева тут хорошие, можно сказать, — угольные богатыри. Мы хотим побороться с богатырями, — кто больше угля нарубают. Хотим попробовать положить их на обе лопатки.

— Надорветесь! — крикнул Баткин.

— Мы выдаем угля на-гора в три раза больше вашего! — похвалился Колюбакин.

— Не по количеству тонн, а по выполнению плана обогнать вас собираемся, — разъяснил Коростелев и повысил голос. — Договор — до конца года. Подписывать — здесь. Кто принимает вызов?

Затянувшееся молчание было неприятно, — его могли истолковать, как растерянность или нерешительность. Еще несколько секунд — и Коростелев, не скрывая усмешки, повторит свой вопрос, а гости начнут многозначительно переглядываться. Испытывая жгучий стыд за свой рудник, Дымнов сидел с низко опущенной головой. Наконец, он не выдержал, встал:

— Я принимаю вызов.

— Молодец Дымнов! — воскликнул товарищ Петр. — Завтра вместе с ударниками других шахт подпишите договор...

3

Роман достал часы, — было восемь вечера. Его товарищи сейчас получают лампы. Через несколько минут спустятся под землю. Первый раз без бригадира. «Как бы не осрамились ребята, не подкачали бы с выполнением плана» — забеспокоился он.

Заседание прервали в десять. Забыл о друге, Дымнов первым покинул театр. На площади остановился в нерешительности. Домой итти далеко, и не итти нельзя — жена будет беспокоиться.

«В раскомандировке увижу кого-нибудь из соседей, отработавших смену, и попрошу сказать Варе, что я — на работе» — обнадежил он себя и зашагал в сторону «Великана».

В раскомандировке Роман не застал никого из соседей.

«Ладно, я спущусь, только на часок. Посмотрю, как там ребята без меня воюют. После двенадцати буду дома» — решил он и пошел переодеваться.

Пожилая уборщица, вдова Воробьева, усмехнулась:

— В праздничном костюме приперся! От сударушки какой-нибудь?.. Бригада-то твоя давно спустилась.

Дымнов промолчал. Уборщица принесла ему рваный халат.

— Заверни кустом-то, а то запылится.

Поднимаясь с основного штрека в забой, удивился тишине, которая нарушалась только голосами шахтеров. Они сидели на угле возле печки.

— Что случилось, ребята?

— Электричество сила нет. Совсем пропал, — отозвался Натый.

Узнав, что Гоша уже второй раз убежал искать участкового электромонтера, Роман спустился на основной и по телефону сказал диспетчеру, чтобы тот немедленно вызвал главного механика.

Пока пришел механик да пока два монтера отыскивали повреждение и чинили сеть, прошло полтора часа. Дымнов видел, что вместо обычных 150 процентов бригада едва ли даст 75. Первый раз придется подниматься с позорной цифрой. И в какой день! Нечего сказать, хорош подарочек совещанию! Он принес бурильный молоток и вместе со своими товарищами стал бурить в угле скважины для зарядов динамита. То, что бригадир прямо с совещания пришел работать вместе с ними, лучше всяких слов подбодрило шахтеров. Буры скрежетали без перерыва.

Через несколько часов весь слой угля до верхнего параллельного штрека был пробурен, запальщик взорвал его, и началась погрузка.

На-гора Дымнов выехал на рассвете. Под бункерами грузились два поезда.

4

На трибуну поднялся Вепрев. Казалось, он беседовал с близким человеком:

— Здесь в зале сидит мой друг, Роман Алексеевич Дымнов. Вчера он при-

нял вызов от имени рудника. Сегодня будет подписывать договор. Я хочу, чтобы он сразу подписал два договора. Второй договор — со мной. Я работаю на блюминге. Оператором. Эту машину монтировали иностранцы и в проекте написали: «Двести слитков в смену». Я как-то поинтересовался: «А сколько ваши мастера на такой машине прокатывают?» «Двести тридцать пять слитков» — говорят они мне. «А почему же в проекте поставили меньше?» — пристал я к ним. «Потому, что вам никогда столько слитков не дать» — сказали они и ухмыльнулись. Эту минуту я в жизнь не забуду. И добьюсь, что начну давать в смену больше двухсот тридцати пяти. Вот какое мое обязательство, Роман Алексеевич! — закончил Вепрев и сошел с трибуны.

— Теперь твое слово, товарищ Дымнов, — сказал Левченко.

Роман, возбужденный, покрасневшийся, взбежал на сцену. Начал с рассказа о том, как ночью, после исправления электросети, работала его бригада, как тревожились все — выполнят ли план?

— Когда я узнал, что план выполнен, то земли под собой не чуял. Шел по улице, и мне казалось, что выше меня ростом только одни телефонные столбы...

— А знаете, сколько дала вся шахта за минувшие сутки? — спросил товарищ Петр.

— Нет, не слышал.

— Шесть тысяч тонн. При проектной добыче — пять тысяч.

— А болтали, что шахтный транспорт больше пяти тысяч ни за что не вывезет...

Роман повернулся лицом к залу, сказал твердо:

— Я обещаю со своей бригадой давать каждый день полторы нормы. Вот, Жень, какой мой ответ на твой вызов.

5

В первой лаве Роман столкнулся с Батькиным, спускавшимся с вентиляционного штрека.

— Уже по забоям лазишь! — загремел Андрей Матвеевич, тиская руку приятеля. — Рано, брат ты мой, очень рано. Сейчас по телефону справлялся: еще полтора часа...

— И ты рано пришел.

— Моя должность такая. Проверял, сколько леса доставлено.

— А я хочу шланги осмотреть.

— Не доверяешь?

— Да нет...

— Это хорошо, брат ты мой, что не доверяешь. Свой глаз надежнее.

Они вместе облазили все три лавы, продули шланги и проверили отбойные молотки, заранее разнесенные по местам работы.

— Ложись, отдохни, — посоветовал Батькин, когда они снова подошли к первой лаве. — А я спущусь до телефона, узнаю время.

Роман хотел прилечь на уголь, но желание ознакомиться с кровлей удержало его. Вооружившись отбойным молотком, он начал спускаться с одной стойки на другую. Это были толстые бревна. На каждом бревне Роман оставался на несколько секунд, легонько ударял пикой молотка по аспидно-черному своду и прислушивался: порою на удар отзывалась звонко, значит, кровля — здоровая, прочная и можно работать спокойно. Внизу от стойки к стойке метался луч света: кто-то из шахтеров поднимался по лаве. Роман сел на одну из крепей, подождал.

— Натай! — воскликнул он, узнав приближающегося человека. — Время начинать?

— Рано маленько. — Казах сел на соседнюю стойку. — Я пошел — смотреть надо, какой тут лава, крепить как надо.

— Спасибо, Натай! Молодцы вы все — заботливые ребята!

— За что мне спасибо говоришь? Я сегодня — крепильщик, все смотреть надо...

Вскоре пришли еще четыре крепильщика. Вслед за ними явились инженеры с начальником участка Батькиным. Семен Потапович Веснин, взглянув на хронометр, объявил:

— Ровно десять... Пора начинать.

Дрожащей от волнения правой рукой Роман поднял молоток, показавшийся ему легким, как лопатка, и встал на полок. Успокоил себя:

«Пусть хоть все шахтеры соберутся в лаву, буду рубать, будто я здесь — один».

Застучал молоток. Лучи ламп раскидали темноту по дальним углам длинной лавы. Вокруг забойщика стало светло, как в комнате. Черная угольная грудь уступа казалась покрытой блестящими инея.

Крепильщики заранее положили на стойки по две плахи и теперь передвигали их перед забойщиком, чтобы у него не было ни одной секунды перерыва. Но иногда они не успевали передвинуть плахи, и Роману приходилось вставать прямо на круглую стойку над черной пропастью. Одной рукой он придерживался за верхнюю крепь, а второй продолжал работать.

Вот он перекинул молоток в левую руку, а правой начал направлять пику. И — к удивлению многих — удары были столь же сильны, часты и безошибочны.

Веснин записал: «Правой рукой — 4 минуты 20 секунд, левой — 3 минуты 52 секунды».

Вырубив уголь в первой лаве, Дымнов направился во вторую. Инженер отметил: «Переход 2 минуты 47 секунд». А дальше — опять: «Правой — 4 минуты 1 секунда, левой — 3 минуты 49 секунд».

— Левая не сдает, — объявил горный мастер, заглядывая в книжку Веснина. — Усталости в левой не видно.

Под ударами молотка беспрерывно отваливались крупные комья, дробились и черным водопадом катились вниз, к люку. При свете лампы уголь блестел, и казалось, что это веселый весенний ручей сбегает с крутого склона, шумит на перекатах из мелкой гальки. Такие же шумные ручьи текут из лав на соседних участках, изо всех забоев. И вот эти ручьи сливаются в реку. Могучая, грохочущая, она вырывается на-гора и течет по лицу земли. И сила шахтера, отданная углю, бушует

в топках, гонит поезда по дорогам страны, ведет пароходы по морям...

6

Над длинным двухэтажным зданием шахтоуправления возвышалась башня с четырьмя узкими окнами. Днем оттуда, как с колокольни, видны все надземные сооружения, линии железной дороги, город и холмы, и сопки за его околицей.

В башне помещалась диспетчерская.

В ту ночь за дубовым бюро сидел молодой, грубовато-спокойный диспетчер Парамонов. Копна его черных, мелко вьющихся волос была перехвачена металлическим пояском, с двумя мембранами, прижатыми к ушам. Правая рука, вооруженная карандашом, то-и-дело двигалась по раскрытой толстой книге, а левая была занята телефонным переключателем. Рядом сидел Левченко, прислушивался к коротким, крикливым рапортам шахтеров и к уверенным распоряжениям Парамонова. Из угла в угол грузно ходил Боркун, искося поглядывая на затылок секретаря.

— Диспетчер! На пятую складку посылай порожняк. Двенадцать вагонов.

— Сейчас пошлю. Депо? Медведкова — на пятую складку.

— На Третьем-Юге возьмите уголь.

— Сейчас заберу. Пятый пост? Иванов проезжал? Направьте на Третий-Юг.

— Парамонов! Порода скопилась. Забирай породу.

Боркун расслышал пискливый голос в мембранах Парамонова и остановился у стола.

— Вывезти породу на лошадях. — Повернулся к Левченко и разъяснил: — Чтобы электровозы не занимать, не мешать выдаче угля.

Диспетчер, не дослушав Боркуна, уже звонил на конный двор:

— Спустить в шахту двух запасных лошадей.

— Парамонов! Прошел поезд от Дымнова, — докладывала стрелочница.

Диспетчер повернул переключатель.

— Седьмой участок? Как там Дымнов? Жалуется на перебои в подаче сжатого воздуха?

Левченко вопросительно посмотрел на Боркуна. Иван Семенович суетливо подбежал, взял трубку.

— Компрессорная. Я — Боркун. В чем у вас дело? Почему перебои? Поломка? У вас всегда поломки не вовремя, чорт вас подери. Больше не будет? Смотрите. Ежели сорвете рекорд, под суд отдам.

Парамонов любил свою работу за ее стремительную напряженность, за то, что он первый узнавал обо всем, происходящем под землей, и немедленно отдавал нужные распоряжения. Он как бы видел перед собой всю огромную шахту, в которой длина квершлагов и штреков уже перевалила за девяносто километров, видел всю сложную, разветвленную сеть подземных железнодорожных путей, людских ходков, вентиляционных и лесодоставочных штреков и печей.

Как всегда, сегодня Парамонов знал все, чем жили десять участков шахты, но седьмой участок держал под особым, пристальным наблюдением. Он спрашивал, достаточно ли крепежного леса, есть ли воздух, не прислать ли еще порожняка.

— Диспетчер! От Дымнова еще прошел поезд. Юдин провел, — звенел девичий голос.

Боркун отошел к окну и тоскливо взглянул на шахтный двор, где лучи фонарей пробивались сквозь мрак навстречу друг другу. Ветер выл злобно и кидал в окна горсти рассыпчатого и жесткого снега. Тугие провода дрожали, будто тетива лука, выпустившего стрелу. Одинокий тополь стонал, отдавая ветру ветку за веткой. Такие ураганы срывают крыши с домов и с корнями выдирают из земли вековые деревья.

— Иван Семенович! — окликнул диспетчер управляющего. — Дымнов перешел во вторую лаву.

— А?.. Что?.. — Боркун повернулся к Парамонову, еще не очнувшись от раздумья. — Во вторую? Очень хорошо!

А Парамонов уже связался с грузозачным бункером и спрашивал:

— Принял уголь Дымнова? Сколько вагонов?

— Принял... Тринадцать. Уже качаем на-гора.

— Третий-Север? Почему долго держите поезд Сидорчука? Отправляйте скорее. Нехватает электровозов... Про Дымнова сказать? Он уже на второй лаве.

— Диспетчер! Сколько времени? — интересовался бойкий женский голосок.

— Один час три минуты. Ты откуда, Груздева? С четвертого поста? Останови машиниста Холодного, — пусть едет на седьмой и заберет уголь Дымнова.

В строгих глазах Левченко затрепетала улыбка. Ему нравилось, что один человек, рубящий уголь под землей, составляет весь подземный транспорт на ходу перестраиваться на убыстренный темп работы. Нравилось и то, что телефонная сеть по всей шахте разносила весть о работе Дымнова. Левченко представлял себе, как люди, повесив трубки, спешили на свои участки, к своим бригадам. Он как бы слышал их восторженные голоса: «У Дымнова уголь едва успевают вывозить! Поднажмем, ребята!» И в самых далеких забоях людьми овладевало приподнятое настроение. Судя по телефонным разговорам, в эту ночную смену все хотели дать угля больше, чем давали когда-либо.

Парамонов продолжал переключать свой аппарат.

— Депо? Исправили десятый? — озабоченно спрашивал он. — Пусть Гурьев немедленно выезжает на седьмой.

Опять — звонок.

— Слушаю тебя, бункер. — Парамонов перенес карандаш к графе, где записывалась добыча Романа. — Сколько сейчас выкачали? Двадцать восемь...

Левченко приподнялся, чтобы взглянуть в книгу. Через его плечо смотрел Боркун.

— Уже восемьдесят четыре тонны!.. — воскликнул Виктор Сергеевич и повернулся к Боркуну. — Твои опасения были напрасны — транспорт, как видишь, успевает вывозить. Надо только

руководителям поворачиваться по-быстрее.

7

Варя села на скамью возле кабинета начальника седьмого участка. Время от времени кто-нибудь из рабочих или инженеров привозил из шахты новую весть, и она прокатывалась по всей раскомандировке. Вести все — хорошие, но, странное дело, они увеличивали тревогу в душе Вари, будто за этими радужными вестями к ней подкрадывалось несчастье. Щеки ее потеряли румянец, и Кондратий Мокеевич, увидев дочь, испугался за нее:

— Ты почему здесь сидишь, Варюша?

— Жду Рому.

— А с лица как переменялась. Я думал — ты прихворнула.

— Нет, я здорова.

— Что ты беспокоишься о нем? Шахтер он хороший, осторожный, не рисковый.

В глазах отца вспыхнули интригующие огоньки:

— Он там всех засыпал углем! Едва успевают вывозить!

— Ты был там?! — Варя схватила отца за руку. — Как он там, папа? Наверно, умучился?

— Рубает, как свеженький.

Пока они разговаривали, кто-то привез первую неприятную новость:

— Во второй лаве у Дымнова кумполит...

«Не придавило бы самого, — подумала Варя. — Торопится он, наверно, кровлю не отстукивает, и крепить за ним не успевают».

Отец попытался успокоить побледневшую дочь. Видя, что слова на нее не действуют, он ушел в диспетчерскую, сказав, что через минуту вернется. Варя не сводила глаз с часов. Вот уже прошло десять минут, одиннадцать, двенадцать. Никогда она не волновалась так во время подземной работы мужа. Вот и отца долго нет... С радостной вестью давно бы вернулся. Уже шестнадцать минут, семнадцать.

Высоко в дверях мелькнул коричневый пиджак отца. Варя бросилась к

нему навстречу и по спокойному стучу подкованных каблучков поняла, что отец возвращается с хорошей вестью. Безмятежно сияют его добрые глаза.

— Что там, папа?.. Вправду закумпололо?..

— Пустяк. Небольшой камешек отвалился, но кровля уже закреплена, — сообщил Кондратий Мокеевич с нарочитым равнодушием.

— Правда?!

— Ну, помешало маленько работать. Он перешел пока на третью лаву. Вырубает ее, тогда — обратно, во вторую. К той поре кумпол закрепят.

8

В начале пятого стало известно, что Дымнов едет на-гора. Все, кто был в раскомандировке, направились к стволу шахты.

Пока Варя бежала туда, собралась большая толпа. Варе хотелось пробиться в первый ряд, но она смутилась — как при народе поздравлять мужа? — и отошла в сторонку.

Едва клеть, громко лязгнув, замерла на уровне пола, как в нее с разногласным шумом ворвались молодые парни.

— Тащите его, ребята, сюда!

— Качнем по-шахтерски!

Возбужденная толпа отнесла Романа в сторону от клетки, и вот он уже взлетает к серому потолку, подбрасываемый добрым десятком человек. Он весь черный, только зубы поблескивают в широкой улыбке.

С каждым взлетом мужа сердце Вари сжимается: вдруг шахтеры не успеют подхватить его, и он хлопнется спиной на каменный пол?.. А горняки подзадоривают друг друга:

— Качнем, ребята, дружнее!

Подконец Роман не выдержал и крикнул:

— Перестаньте, черти вы этикие!

Левченко первый пробрался к нему и пожал его черную руку. Затем подошли Боркун, Федя Колубакин и Кондратий Митузов.

Варя хотела было протиснуться в круг, но люди стояли плечом к плечу

и даже не поинтересовались, кто это пытается раздвинуть их.

— Знаешь, Роман Алексеевич, сколько ты дал стране угля? — спросил Левченко.

— Неужели не дотянул? — испугался забойщик.

— Перевыполнил. Сейчас закончат подсчет.

— Роман Алексеевич рубал уголь пять часов пятьдесят шесть минут, — сказал Веснин.

Пришел Парамонов.

— Алексеевич, твой уголь уже — в бункерах!

Все повернулись к диспетчеру.

— Нарубал ты больше своего плана... — Парамонов сделал короткую паузу и повысил голос, — двести шестнадцать тонн!

— Двести шестнадцать?! — враз ахнуло несколько человек.

— Сколько же это будет, ежели в вагоны погрузить?

— Зашиб денюжат, Дымнов!

— Спросить бы — сколько огреб?

Роман оглянулся на бородатых лесодоставщиков, недавно приехавших из деревни:

— Спросите... Ну, я жду. Стыдно стало... Я деньги не коплю...

Взяв зятя за руку, Кондратий Мокеевич шепнул ему:

— Варюша где-то здесь...

— Ну?! — удивился и обрадовался Роман; приподнявшись на носки, окинул толпу ищущим взглядом. — Где же она? — Поднял руку, и толпа раскололась перед ним.

— Варя, ты что там стоишь, как чужая?

Варя подошла к нему, взяла его жесткую руку и пожала так крепко, как могла.

9

Боркун на своем автомобиле отправил Дымновых на квартиру.

— Ты, наверно, страшно вымотался, устал, мой родной? — спросила Варя, заглядывая в глаза мужа.

— Мог бы еще рубать, — ответил Роман просто.

Позавтракав, он разделся и лег в кровать, но, как ни убеждал себя, что отдохнуть необходимо, заснуть не мог: мешал не столько дневной свет, сколько воспоминания о чудесной работе и думы о будущем.

В час дня в переполненной шахтерами раскомандировке открылся митинг. Играл свой, шахтный, духовой оркестр.

Роман встал на табуретку и речь начал горячо:

— Я только почин сделал, а мы будем все продолжать. Рубал я без всяких секретов. «Секрет» у нас у всех один, нам его товарищ Сталин подсказал, — это — держать технику в руках, как хорошего коня на вожжах. Не техника над тобой, а ты над ней. К этому добавляем расстановку сил по-стахановски: забойщик знает одно — рубать уголь, о креплении ему заботиться не приходится. Вот тут-то ему уголек и поклонится. Раньше шахтеры на коленках по углю ползали да кланялись ему, а теперь пусть он кланяется — падает к ногам забойщика...

— Из тебя и оратор неплохой! — заметил Левченко.

— Не перехваливайте, Виктор Сергеевич, а то я зазнаваться буду. Я не один дал государству эти тринадцать вагонов угля. Много людей к этому приложили свой труд. Первым делом — крепильщики. А вы о них даже слова не обронили.

— Не скромничай, Роман Алексеевич, — сказал Боркун.

— Почему скромничает? Правильные слова говорит, — похвалил кто-то из зала. — Транспорт тоже по-стахановски работал.

— Верно! — обрадовался Роман. — Если бы не транспорт, засыпались бы мы углем, как кроты землей. А теперь наш уголек уже на завод увезли!..

Из бокового коридора вышла Нина Степановна Веснина с большим букетом цветов. Роман удивился цветам и так взволновался, что не запомнил ни слова из того, что говорила инженерша. Приняв букет, он посмотрел в окно на бушующую метель и воскликнул:

— Зимой цветы расцвели!.. Чудные дела!..

А потом, разыскивая кренильщиков в разных углах раскомандировки и одежая цветами, шутил:

— Держи! Что поделаешь, — достукались до цветов...

Спустя день Роман принес в партийный комитет «Великана» заявление.

Секретарь прочел:

«Мой отец отдал жизнь за советскую власть: он пал в бою с бело-гвардейцами. Я тогда был маленьким, но запомнил, как отец говорил партизанам, что он — большевик. Не знаю, имел ли он партийный билет, или только в душе считал себя большевиком.

Я много раз думал, что мне нужно в партии заменить отца. В своем селе я не вступил в партию потому, что считал себя недостаточно подготовленным.

Рудник дал мне очень много. В свободное от работы время я учился, постепенно привык читать книги. Товарищи шахтеры во время подземной работы, которая требует строгой организованности и четкости, незаметно привили мне чувство дисциплинированности. Теперь я могу и хочу встать в железные ряды партии Ленина — Сталина. С думами о партии я шел на рекорд.

Подую это заявление и с нетерпением жду, когда откроется прием. После того дня прошу сразу же разобраться мое заявление и принять меня в партию.

Роман Дымнов».

10

Поздно ночью Роману позвонил Веснин и сказал, что он только-что слышал по радио постановление о награждении шахтеров легковыми автомобилями.

— Кого же наградили?

— По нашему руднику первый — ты. Поздравляю тебя, друг!

Роман был ошеломлен этой новостью. Положив трубку, он развел руками.

— Ни чорта не понимаю. Мне — и автомобиль. Ты подумай, Варюша!.. Авто-мо-биль!

— Чему же ты удивляешься? Ты работал.

— Да ведь у меня в деревне лошаденки не было! Моя мать, как говорится, тележного скрипу боялась. А я вдруг на своей легковушке покачу! Будем мы с тобой на автомобиле по грибы да по ягоды ездить!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Переезду в новый город Варя обрадовалась. Квартира ей понравилась: во втором этаже, маленькая уютная кухня и две комнаты с высоким потолком, с широкими окнами на юг. Больше всего Варю тронуло то, что в квартире есть ванна, через день по вечерам — горячая вода, и Таню можно купать вволю.

В первые месяцы квартира и семья у Вари отнимали много времени. Она покупала скатерти, вязала кружева, вышивала. В спальне появился гардероб с зеркальной дверкой, в столовой — буфет из светлого дуба, с голубыми лилиями на бугорчатом стекле.

Эти хлопоты заставляли ее часто отлучаться из дома, и ей пришлось нанять для дочери няню, старуху Ипатьевну.

Когда квартира была обставлена, Варя увидела, что у ней много свободного времени, и с жадностью голодной набросилась на книги. По вечерам она рассказывала мужу все, что прочитала за день.

Но через некоторое время она почувствовала, что память ее отягощена прочитанным и что в отсутствие Романа к ней все чаще и чаще подкрадывается скука. Она стала придумывать себе занятия. Однажды, придя с мужем в гости к Весниным, она увидела на стенах изящные вышивки — полевые ромашки — любимые цветы Романа. Она весь вечер разговаривала с Ниной Степановной о рукоделии, а на следующий день купила шелку, полотно, тесьмы и ниток. На стенах стали появляться все новые и новые ромашки и васильки. Опять время Вари было занято, муж

сдержанно хвалил ее, а она чувствовала неудовлетворенность собою.

Все чаще и чаще она вспоминала, что в прошлом труд ее измерялся вагончиками угля. Это был труд, нужный народу. Однажды ее работу отметила местная газета. Варин портрет напечатали в первомайском номере. А теперь никто, кроме узкого круга родных и знакомых, не знает, чем она занята.

И хорошо, что не знают, а то смеяться начнут: «Такая молодая и заперлась в четырех стенах; подцепила мужа с богатым заработком — и больше ей ничего не надо».

Она представила себе летнее росистое утро: воздух чист и полон запахов поздних цветов, по тропинке к руднику шагают двое, шаг в шаг, плечо женщины касается плеча мужчины... Хорошо так шагать рядом с мужем, которому во всем равна!

Роман поддержал Варю.

— Я давно замечаю, что дома тебя начинает тоска одолевать. Поступай на работу. Только не под землю.

— А почему?

— На подземной работе — одни вдовы, девки да отходки. А у тебя муж есть.

Варя засмеялась, довольная его ответом.

2

Приезжий оперный коллектив давал «Князя Игоря». Варя пошла с мужем в театр. Они сидели в третьем ряду партера. Возле них — Вепрев. Немногочисленный оркестр, желая блеснуть, заглушал солистов. Вначале Роман терпеливо вслушивался, стараясь разобрать слова, но в третьем акте, усталый и отчаявшийся, начал зевать.

— Так и будут петь до самого конца? — спросил он Вепрева, когда вышли в фойе.

— Да. На то и опера.

— Пели бы без музыки, все было бы понятней.

Варя, испытывая неловкость за мужа, заметила:

— Без музыки нельзя...

— Да ведь ни чорта понять невоз-

можно... что они поют, — возмущался Роман.

— Подрастешь и музыку полюбишь, — добродушно улыбаясь, говорил Вепрев. — Ты не читал «Слова о полку Игореве»? Обязательно прочитай. Тогда и поймешь эту оперу.

Уходя из театра, Роман сдержанно рассмеялся и сказал жене:

— Что ни говори, а лучше, когда на сцене разговаривают, — там все ясно.

Через пятидневку Варя настояла на втором посещении театра. На этот раз давали «Евгения Онегина». Роман вспомнил, что когда-то после ночи, проведенной в юрте Натая, читал такую книжку, и обрадовался, что будут играть знакомое. Слушая «письмо Татьяны», он сделал приятное открытие: слова давно прочитанной книги жили в памяти. Он про себя повторял за певицей знакомые фразы. А в антракте сказал:

— Голосок у этой Татьяны приятный, за сердце щиплет.

Варя ответила радостной улыбкой.

Спустя три дня Роман снова принес билеты.

— В шахткome дали, — сообщил он и улыбнулся. — Вызвали меня и говорят: «У тебя жена оперу любит, так вот вам билеты».

— А тебе, может, не хочется итти?

— Пойдем. Говорят, есть такие оперы, которые играют больше ста лет. Люди ценили их. И я должен понять — за что.

3

Однажды Роман, вернувшись с работы, сидел за обеденным столом. Варя вошла в комнату, раскрасневшаяся, и, стараясь казаться спокойной, сообщила мужу холодным тоном:

— Тебе опять — письмо.

Положила перед ним конверт, зашитый льняными нитками, и, поджав вздрагивавшие губы, вышла в кухню.

Роман поморщился.

«Опять денег просит на какое-нибудь лечение» — подумал он, предчувствуя неизбежность неприятного объяснения с Варей.

Разорвал конверт. Почерк — знакомый, неуверенный, буквы в косых строчках — острые, как клинья.

Но первые же слова письма заставили Романа удивленно вскинуть брови: Ефросинья Власьевна извинялась за те письма и сообщала, что урожай в колхозе богатый — на трудовень будут выдавать одной пшеницы по 12 килограммов — и она может без его, Дымнова, помощи прокормить и одеть сына.

Варя поставила на стол тарелки и, не взглянув на мужа, снова ушла в кухню.

Дочитав письмо, Роман увидел подпись Ефросиньи Власьевны и обрадовался за нее и за сына. Размахивая письмом, он, улыбающийся, вошел в кухню.

— На, Варюша, прочитай! Сама писала! И ударницей стала! Она пишет, что у Егора никакого бельма не было и мальчишка совсем здоров! — продолжал Роман, идя за женой.

— Я это давно знала.

— Откуда?

— Сердце чуяло, что тебя обманывают.

— Она даже не подозревала, что в письмах писалось. Возьми прочитай.

— Знаешь что? — Варя подняла голову. — Если тебе ее письма так милы, то другим нет до них дела.

Роман склонил голову, быстро глотал суп. Молчал. Было больно сознавать, что жена не поделилась с ним подозрениями о том, что его обманывали.

А Варю мучило молчание Романа, — самые обидные и резкие слова ей показались бы легче этого гнетущего молчания. Хлебнув несколько ложек супа, она встала и, роняя слезы, унесла свою тарелку в кухню.

После обеда Роман сказал, что уходит на собрание. Письмо оставил на столе, на самом видном месте. Взгляд Вари невольно упал на него. Она хотела схватить его и кинуть в печку, но слезы залили глаза. Она пробежала в спальню и там, уронив руки на комод, долго стояла неподвижно. Было больно сознавать, что за счастье при-

ходится расплачиваться так дорого. Эх, если бы она была у Романа первой!.. Ничто не омрачало бы ее! И не было бы ни одной ссоры...

Варя вернулась в столовую. Глаза опять как бы случайно уткнулись в письмо. Она схватила его и начала торопливо читать. Прочитав, вздохнула всей грудью, положила письмо на то же место и спокойным шагом прошла в спальню к комоду.

Роман вернулся к ужину. Варе хотелось заговорить с мужем, но она не знала, с чего начать, что не напомнило бы глупой дневной ссоры. Роман тоже искал такую тему, которая бы заставила забыть обо всем, что произошло за обедом.

Звонку телефона обрадовались оба.

— Кто? — переспросила Варя; лицо ее вдруг просветлело, она оглянулась на мужа и, подзывая его широким жестом, сообщила звонким голосом: — Евгений говорит! Да вот он тут, дождаться не может... Передаю... — сказала Варя и отошла от телефона.

Друзья разговаривали долго. Вепрез сообщил, что сегодня он прокатал 262 слитка, спросил, как выполняет договор бригада Дымнова, и сказал, что об их телефонном разговоре завтра будет напечатано в газете.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Все возраставшие подземные пожары и угары — в камерах одного «Великана» ежемесячно угорало 20—25 человек — заставили инженеров и передовых рабочих задуматься над новыми системами горных разработок. В трест начали поступать проекты и макеты. Среди них преобладали неосуществимые. Показывая хозяйственникам и специалистам такие проекты, главный инженер треста создал впечатление, что все изобретательские предложения и макеты — плод досужей мысли. И на рудники полетел новый приказ о том, чтобы на всех мощных круто падающих пластах «строго придерживались системы камер».

Афанасьев продолжал настаивать на своей системе. Написал книгу. Веснину во время одной из поездок в Новосибирск удалось познакомиться с этой книгой в рукописи, и он составил проект разработки по новой системе одного из пластов «Великана». Он указал, где нужно пробить закладочную штольню, откуда и куда доставлять по ней дробленый камень для забутовки отработанных забоев. Но даже этот проект трестом не был принят. Тогда Семен Потапович, глубоко уверенный в целесообразности новой системы, отправил телеграмму товарищу Петру. На другой же день из Москвы пришел ответ. Товарищ Петр просил инженера срочно привезти макет и проект.

Веснин взял билеты для себя и для Афанасьева, который попрежнему жил в Новосибирске, и выехал с ночным поездом.

2

Спустя месяц Семен Потапович писал на один из новых рудников Кузбасса:

«Наша поездка была весьма и весьма успешной. Старик Афанасьев не ожидал, что все пойдет столь быстро. Товарищ Петр принял нас приветливо; долго рассматривал наш макет и расспрашивал даже о мелочах. Потом распорядился о совещании.

На совещании мы услышали много приятных слов. Решено проверить новую систему на практике. Понятно, в «Великане».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Дымнов ушел из дому в приподнятом настроении: короткий, спокойный сон в утренние часы освежил его.

Из подъезда большого каменного дома выбежал Натай — в новых ботинках, в черном костюме, в фуражке — и бросился догонять Дымнова.

— Э-ей, Роман!.. Постой, джалдас¹. Вместе на шахта поедем.

Дымнов остановился, приветливо улыбаясь.

— Здравствуй, дружок! — тряхнул он руку Натая. — Уговорил жену? Переехал в новую квартиру?

— Ага, переехал! — подтвердил Казыбеков, прищелкивая языком. — Гости к нам ходи.

Несколькими днями ранее Роман уговаривал Натая переселиться из пластанухи в новый каменный дом.

— Я — согласен, баба — не согласен, — говорил Натай.

— Какой ты муж, ежели не в силах жену уговорить? — подзадоривал Дымнов. — Там вам будет лучше... Печи топить не надо, вода сама льется...

— В пластанухе мы казахска живем: на землю кошма стелем, — сидим, стол такой маленький... Подушка на кошма кладем, спим, — говорил Натай Роману и председателю шахткома Захарчуку, старому шахтеру. — Новая квартира казахски жить — нехорошо будет. Новой квартира надо стулья, стол, кровать.

— А что у тебя, денег нет? Ты ж — стахановец.

— Деньга есть. Баба привычка не знает так жить.

Они вошли в трамвайный вагон и стали на передней площадке. Натай заговорил о своей жене. Месяца через два у нее будет ребенок. Роман, радуясь счастью друга, схватил его руку и долго тряс ее.

— Кого ждете — сына, дочь? — спросил он. — Сын есть, надо — дочку.

— Теперь мальчик, девочка — один цена. В старое время Казахстане девочки были дороже: за девочка отец калым брал... Плохо был...

Натай сказал: как только дети вырастут, он придет сватать Таню за своего сына. А если родители не согласятся, то сын подговорит товарищей, и они помогут ему умыкнуть Таню. Роман предлагал свой план: пусть Жамал родит дочку, а Варя, — он ручается, — родит сына — вот это и будет пара!

Спорили горячо и так громко смеялись, что пассажиры приняли их за пьяных. И ни у того, ни у другого не

¹ Джалдас — товарищ.

могла зародиться мысль, что они так весело разговаривают последний раз в жизни...

2

Лавы Казыбекова и Дымнова расположены по соседству. Весь путь по ярко освещенному квершлагу и по длинному, сырому штреку забойщики шли рядом. Они разговаривали о весне в степях и о весне в притаенных полях, о цветах, любимых с детства, о травах и солнце. В голосе Натая почувствовалась грусть по степным просторам. Его настроение Роману понятно и близко. Он и сам не прочь бы уехать дней на десять в поле, где так приятно пахнет отдохнувшей сырой землей, сочной зеленью, синими медунками.

Разошлись, не попрощавшись. Через несколько минут после начала работы у Натая испортился молоток. Огорченный забойщик прибежал к своему приятелю.

— Моя молоток, Роман, совсем молчит. Поправляй.

Дымнов взял молоток казаха. Снаружи все было исправно. Пружина цела. Вероятно, испортился золотник. Присоединил к своему шлангу. Воздух со свистом проходит насквозь. Да, золотник не в порядке. Роман сказал, что необходимо отнести молоток в мастерскую. Эта необходимость возмутила Натая. Ведь он потеряет не менее часа!.. А между тем его молоток — только вчера из главной мастерской. Значит, там — худые люди!..

Мастерская была расположена возле основного штрека, но Натая вспомнил об этом только после того, как поднялся на вентиляционный и пробежал далеко в сторону выхода из шахты. Возвращаться ему не хотелось, да и зачем возвращаться? Кажется, впереди есть еще одна ходовая печь возле пустой, пока не обрушившейся лавы. Да, Натая не ошибся, — вот она, печь с лестницей. Через несколько минут он будет на основном...

Спускаясь лицом к лестнице, поддерживался одной рукой, вторая была занята молотком. Ноги безошибочно наступывали ступеньки, полузасыпанные

мелким углем. Сердце у Натая замирало оттого, что он один спускается по печке возле старой выработки. Говорят, в таких местах одинокого шахтера, случается, подстерегает что-то необычайно страшное. То ли земля пугает, то ли еще что?

Он поровнялся с одним из параллельных штреков. Ему показалось, что справа, в старой выработке, мелькнул огонек и сразу же погас.

Казыбеков замер, прислушиваясь. Было тихо, как в башне древней степной могилы. «Земля обманула меня... Это — отблеск от моей лампы» — попытался он успокоить себя. Но в то же время услышал неясный шорох, как будто кто-то большой взбирается на стойку, не очищенную от сухой, трухлявой коры, и ползет по ней.

«А вдруг худой человек забрался туда?..»

Натая прислонил молоток к щербатой стенке и, бесшумно передвигая ноги, пошел по низкому штреку. В конце его пласт был передавлен, от кровли отвалились куски породы и, смешавшись с мягким углем, засыпали выход. Но между обвалом и стенкой можно проползти в лаву. Забойщик лег на уголь и на минуту затаил дыхание. Слышно, как где-то в гулкой пустоте падают на твердую почву крупные капли воды. В лаве — ни шороха, ни треска. Лампу закрыл широкой ладонью. Никого нет. Но тут шахтер почувствовал неприятный острый запах. Пахло керосином. Откуда в шахте керосин? Ведь при спуске всех ощупывают, спички не позволят пронести?

Решив осмотреть старую выработку, Натая пополз по тесной норе, шумно втягивая воздух вздрагивающими ноздрями. Теперь запах был острее. Нет, это не керосин. Так пахнет то, что наливают в автомобили... Горит, как порох... Скорее в лаву!.. Вот перочинный нож в кармане. На всякий случай надо достать...

Тесная нора окончилась. Впереди на несколько десятков метров — старая лава с прямыми рядами стоек. Лучи натаевой лампы уткнулись в ближние стойки, и на одной из них блеснул ме-

талл. Присмотревшись, шахтер понял, что там — жестяная банка, от нее-то и исходит неприятный запах. Но кто же принес ее сюда?..

Натай стал на ближнюю крепь и начал осматривать одну стойку за другой. Он стоял как бы над пропастью, дно которой не было видно. Над его головой терялись в темноте бесчисленные стойки. Неожиданно оттуда упал свет шахтерской лампы. Казах вздрогнул, обернулся и вскинул голову так, чтобы увидеть верхние стойки. К одной из них припал человек, как росомаха, готовая к прыжку. Блеснули его глаза, верхняя губа приподнялась, обнажая мелкие крысиные зубы. Едва Натай заметил его, как тот отпрянул от стойки, обеими руками поднял банку и обрушил Натаю на голову. От сильного удара бок банки вогнулся, днище отстало, и противная жидкость хлынула за воротник. Твердая каска защитила голову шахтера, но коленки его подогнулись. В последнюю минуту он выкинул вперед руки, но, не успев схватиться за верхнюю стойку, повалился спиной вниз, в черную пустоту. Лампа его промелькнула падающей звездой и погасла во мраке шахтной пропасти.

В старой пустой лаве бушевало пламя: разгорался целик перемятого угля. Люки использованных печей не были закрыты, и свежий воздух свободно притекал к пожару, раздувая его.

Взорвалась другая банка с бензином, который не успел разлить Антошин, и, объятая пламенем, упала в открытый люк. Запылал целик над штреком.

Судорожно цепляясь дрожащими руками и тяжело перебрасываясь с одной крепи на другую, Антошин поднимался к выходу. Он пролез мимо двух полузаваленных штреков, не заметив их. Часто оглядываясь на огонь, разливавшийся по лаве. Пощелкивали сухие лихтовые стойки. Струи дыма вот-вот достигнут, обовьют тело. Верхняя губа Антошина дрожала, по морщинам катились крупные капли и задерживались на усах:

— Господи, не погуби раба твоего!..

Он знал, что в шахтах бывают взрывы рудничного газа.

Вдруг ослабевшие руки оборвались. Антошин упал на спину и покатился. Каска слетела с головы, провод оборвался, и лампа, падая, разбилась о крепь.

Вскоре ему удалось повернуться на бок. Антошин ухватился за одну из стоек и повис. Рядом — нора параллельного штрека. Юркнул в нее.

Вот лестница!.. Теперь он спасен. Успеет убежать от проклятого дыма.

Ступеньки поломаны и засыпаны углем. В темноте нескоро нащупаешь их... Пальцы срываются, под ногти лезут занозы.

«Бежать, бежать... куда хошь, но бежать» — сказал он себе и, бросившись вперед, стукнулся лбом о мокрую стойку. Колени подсеклись, и он упал.

Оставалось одно — закричать во все горло. Кто-нибудь прибежит на крик...

«Нет, кричать — себе на погибель... Я — один, а их — много».

Пошатываясь, поднялся на ноги.

Слева быстро приближался огонек, казалось, кто-то огромный, черный нес в мохнатых руках свечу. Антошин метнулся в противоположную сторону и побежал в глубь штрека. Теперь Антошину было безразлично, куда бежать, только бы не попасться на глаза ни одному человеку.

3

Кондратий Митузов, десятник вентиляции, шел по верхнему штреку замерять газ. Его уже давно тревожило и возмущало все возрастающее число угаров. Людей, которые, оправдываясь, говорили, что во всякой шахте случаются угары и там, где крепкий человек чувствует себя прекрасно, слабый угарает, — он называл бездельниками и дармоедами. Он каждый день обходил свой участок, иногда спускался в шахту дважды в сутки.

Вскоре на его участке, действительно, забыли, что такое угары. Но Кондратий Мокеевич попрежнему каждый день обходил все свои штреки и забои. Сегодня ему не понравился воздух под землей. Он еще не знал, что произошло в шахте, спешил в глубь ее, чтобы

определить, откуда надвигается угроза. Вдруг он остановился, тревожно пригнувшись.

— Пожар!..

Едва уловимые струйки дыма несли с собой запах бензина. Нужно немедленно возвращаться. Но Кондратий Мокеевич заметил в туманной дали мчущегося человека без лампы и решил, что это — растерявшийся новичок, не знающий, где искать выход. «Нельзя бросать человека в таком положении, может погибнуть» — подумал Митузов и, держа голову высоко, побежал к нему.

— Сюда... Сюда беги, товарищ!..

Низкорослый, сутулящийся незнакомец на секунду замер, недоверчиво посмотрел в сторону Митузова, а потом метнулся, как заяц, поднятый с лежки, и побежал в тупик, в темноту.

— Э-ей... Э-ей, ты... Назад, черт тебя возьми, — кричал Кондратий Мокеевич. А тот оглянулся на него, пригнул голову, как бы пряча ее от удара, и побежал еще быстрее.

«Сумасшедший какой-то... — Митузов остановился, начал стирать пот со лба, но задержал руку, чуть не ахнув от острой мысли, как бы пронизавшей все тело: — А если это все от него?.. Один... побежал от человека... Поджигатель?!»

Митузов побежал к телефону. Мысленно перенесся в поле, где выходила на поверхность вентиляционная печь.

«Сколько раз говорил: поставьте сторожей. Не поставили. Боркун ворчал: «Дорого обойдется». А теперь люди могут погибнуть...»

Сорвал с аппарата трубку. Запыхавшись, едва выговаривал слова:

— Диспетчер!.. Не мешайте там... Диспетчер!.. Парамонов!.. Пожар!.. на седьмом участке... Да, Митузов... В семнадцатой отработанной лаве...

Тут Кондратий Мокеевич вспомнил, что зять работает в девятнадцатой лаве, за пожаром. Узнал ли Роман об опасности, пока можно было выйти? Вывел ли бригаду? А что, если они еще ничего не знают? Газ отрежет им путь. Разве попытаться пробежать?

И опять по тому же штреку Митузов бросился в тупик. По бокам мелькали сырые стойки, обвитые белым пушистым грибом. Быстро сгушалась сизая дымка: штрек наполнялся газом.

Кондратий Мокеевич был вынужден вернуться. Он взял две доски, положил одну поперек другой, сшил гвоздем и загородил ими выход. Теперь ни один шахтер не войдет в «закрещенный» штрек.

Все было выполнено. Оставалось идти на поверхность.

«А бригада Романа?.. Где же они сейчас?»

Митузов прислушался. Где-то упала капля. Чуть слышно треснула стойка: кровля жмет на штрек. Вдруг ему показалось, что он слышит частый стук отбойных молотков, дробящих уголь далеко в толще земли.

«Они даже не подозревают, что пожар вот-вот отрежет им выход» — подумал Кондратий Мокеевич, хотя и знал, что до лавы, в которой работала бригада зятя, насчитывалось более семисот метров и что на таком расстоянии нельзя услышать удары молотка.

И старый шахтер решил пробежать на соседний пласт, там спуститься по печке на основной штрек, кружным путем, через главный квершлаг, выйти на тот же участок и попробовать снизу пробраться в лаву Дымнова. Это — дальний путь, он займет не менее тридцати минут. Но, может быть, за это время газ не успеет разлиться по основному штреку? Может быть, помощь не запоздает?

4

В лаве Дымнова, действительно, все еще беззаботно стучали отбойные молотки... Никто не подозревал, что неподалеку начался пожар, что выход по вентиляционному уже невозможен и что с минуты на минуту будет отрезан последний выход через основной штрек.

Увлеченный работой, Роман слышал только частую дробь своего молотка. Даже удары топора самого ближнего крепильщика не привлекали его внимания. Но вот ему показалось, что где-то далеко внизу отрывисто крикнул чело-

век истошным голосом. Так мог люковой предупредить об угрожающей опасности. Бригадир положил молоток, прислушался: по соседству с ним стучали балдами крепильщики, внизу, грохоча колесами по рельсам, пронеслся поезд с углем. Земля же покорно молчала. Роман поднял молоток и пику его спокойно вонзил в уголь.

Но спустя несколько минут к нему, слегка придерживаясь за стойки, скатился крепильщик Фадькин, пожилой человек с тусклыми маленькими глазками и черной щеткой давно небритой бороды.

— Алексеевич! Однако — несчастье у нас... — сообщил он, поднимаясь на ноги. — На вентиляционном пахнет дымом.

— Дымом?.. Пойдем посмотрим.

Они вылезли на вентиляционный штрек, и Роман сразу почувствовал горечь в горле.

— Что теперь делать?.. Куда мы кинемся? А?.. Роман Алексеевич? — всполошился крепильщик, не раз признававшийся, что даже шопотом произнесенное слово «пожар» из него «вышибало разум».

— Спустимся на основной...

— А вдруг туда газу набилось?.. Враз захлебнемся...

— Не вой, Фадькин... — прикрикнул Роман, которому теперь хотелось тишины, чтобы быстро обдумать, где искать безопасный выход. Но, вспомнив, что лет пять тому назад, во время пожара на шахте № 2, старший брат Фадькина вылез по печке на людской ходок и там задохся, Дымнов сказал твердо:—Выйдем живехонькими.

Покойник вспомнился во-время, заставив подумать о том, что в создавшейся обстановке бригадир обязан действовать с особой осторожностью, не делать ни одного необдуманного шага. А обдумывать и решать надо быстро.

Возвратившись в лаву, он взял молоток и крикнул крепильщикам, чтобы все «катились на основной». А сам, спускаясь туда, думал, что же ему предпринять? Впервые почувствовал, что он отвечает за жизнь этих людей. Самое главное в его положении — не растеряться, не показать, что сердце встрево-

жено сомнением в благополучном исходе.

«Первым делом — позвонить на поверхность. Может, там еще и не знают о пожаре? — думал он. — А телефон где? Возле конюшни... недалеко, можно добежать... А вдруг не удастся?..»

Люкового у печи не оказалось.

«Выходит, что он кричал нам, предупредая, а я и в ум не взял, — упрекнул себя Дымнов. — С основного штрека заметили опасность, выходит — пожар большой. На поверхности знают... незачем бежать к телефону».

На несколько секунд бригадир потерял власть над собой, и горняки заметили на его лице растерянность, которую он до этой минуты старался подавить и скрыть.

Вспомнив о людях в соседней лаве, он отыскал глазами молодого парня и сказал ему:

— Сбегай, Гоша, в двадцатую. Выведи шахтеров.

То, что Гоша не послушался, действовало на Романа успокаивающе. Он перенес взгляд на других горняков и продолжал тем же тоном старшего товарища, не распоряжающегося, а настойчиво советующего:

— Вы посидите здесь. Я вернусь за вами...

Последние слова прозвучали так убедительно, что никто и не подумал возражать.

Оставив молоток, Роман побежал по штреку. По телефону можно узнать, что же делать? Инженеры что-нибудь придумают, посоветуют...

Впереди шахтера, рассекая вязкую мглу, летел сноп лучей его лампочки. Вдруг, испугавшись света, под ноги ему метнулась большая серая крыса. Он был готов объяснить эту встречу простой случайностью, но в ту же секунду увидел еще несколько крыс, ошалело бежавших ему навстречу, и остановился в нерешительности. До телефона — каких-нибудь сто метров. Но теперь каждый шаг опасен...

А крыс все больше и больше. Они бежали прямо на Романа, будто слепые, обезумевшие, и натыкались на его сапоги.

— Крыса не обманется...

Оставалось одно — бежать назад к товарищам и вместе с ними ждать исхода. Ждать? Но ведь они станут спрашивать его, как бригадира, что будет с ними дальше, что им делать? А он сам не знает, что теперь делать. Ждать спасательный отряд? Но, если пожар располыхается, то можно задохнуться прежде, чем придут спасатели. «Что же делать? Ждать в тупике, когда туда приползет газ и задушит всех? Так лучше остаться здесь, на месте...»

Лучи его лампы упали на круглые стойки, между которыми лежал большой ком глины, приготовленной для замазки люков старых печей. Увидев глину, Роман вскрикнул от радости. Вспомнились и советы инженеров, и рассказы старых горняков. Теперь он знал, что ему делать. Он сбросил брезентовую куртку, разостлал между рельсов и переложил на нее глиняный ком. Мелкие крошки глины, точно драгоценные камни, собирал дрожащими руками. Издали увидел, что людей возле печи стало больше, — значит, Гоша вывел шахтеров из двадцатой лавы. Молодец парень!

На штреке — ожесточенный спор. Одни кричали, что бригадир бросил их и успел прорваться к главному квершлагу, что надо бежать туда, пока еще не поздно, другие успокаивали:

— Роман не такой, чтобы бросить товарищей в беде...

— Мы знаем его не первый день...

Когда увидели свет его лампы, все бросились навстречу. И по одному тому, что он не бежал, а шел крупным и решительным шагом, поняли, что выхода нет, но у бригадира, видать, созрел какой-то план. Лицо его, правда, было сурово, но растерянности уже не чувствовалось. Ноша его озадачила всех. Зачем он несет глину? Уж не помутился ли ум у бригадира?..

Остановились. Предчувствуя страшный ответ, никто не решался спросить. Молча смотрели в глаза Дымнову и ждали. А он продолжал идти серединой штрека. Перед ним расступились. Он вскинул подбородок, указывая в тупик, натянуто, деланно улыбнулся и крикнул.

— Мотайте все туда! Живо!

— Зачем туда?.. На погибель?.. — спросил Фадькин всхлипывающим тенорком.

Шахтеры столпились в нерешительности. Один Гоша, зная, что выбирать не из чего, подчинился бригадиру и побрел в глубь штрека. За его спиной раздались голоса:

— Не добежал до телефона?

— Мы крыс видели...

Крыс видели все, но молчали о них. А теперь слова о крысах многие восприняли, как ужасную новость. Фадькин всхлипнул:

— Не видать нам солнца ясного!..

Горняки метнули на него лучи своих ламп и посмотрели так сурово, что он замолчал и уронил голову на грудь.

Зачем он сказал то, что прорывалось в думах всех, но о чем они не хотели и не могли говорить?

У Дымнова вспыхнуло желание прикрикнуть на Фадькина, но он побоялся, что это всеми будет понято, как растерянность, и заставил себя сказать, с усмешкой, словно капризному ребенку:

— Громче, Фадькин!.. Ну, еще прибавь!..

Люди недоуменно взглянули на бригадира. А он вскинул голову и, блеснув в свете ламп ясными глазами, сказал:

— Видите — несущ... — Слегка приподнял куртку с глиной. — Она для нас — дороже золота. Заметьте где, подбирайте.

Толпа ссутулившихся, опустивших головы шахтеров едва передвигала одеревяневшие ноги. Впереди, во мраке, — тупик, из которого нет выхода на поверхность.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Боец горно-спасательной станции Степан Гаврилов дежурил у телефона и сигнальных рубликов.

Настойчивый звонок телефона заставил его вздрогнуть. Он схватил кусочек мела и повернулся к черной разграфленной доске.

— Дежурный горно-спасательной станции слушает, — сказал он в телефонную трубку, рука с мелом уткнулась в доску. — Где пожар? На седьмом участке «Великана»? Кто сообщил?

В несколько секунд записав все необходимое, Гаврилов встал и ударом ланейки разбил на стене две стеклянные трубки с тонкими проводами, — стрелки замерли, показывая 11 часов 16 минут 45 секунд. Затем он начал включать рубильники, расположенные двумя рядами на стене. Послышались долгие резкие звонки. Они звонили во всех комнатах спасательной станции, во всех квартирах командиров и бойцов. На дворе жалобно завывала сирена. После включения одного из рубильников с глухим стуком распахнулись все широкие ворота гаража.

Наконец, включив последний рубильник, Гаврилов завел моторы грузовых автомобилей.

Коридор распирало шумом, топотом сапог: дежурная смена надевала аварийные, брезентовые куртки и жесткие каски. По широкому двору мчались люди к белому зданию с башней.

Сквозь стену прорвался высокий, спокойный голос командира:

— «Великан»?.. Выезжаем к вам. Приготовьте электровоз с порожняком.

В это время бойцы дежурных звеньев бегали в гараж и с высоких помостов прыгали на свои места на грузовых автомобилях.

Через 28 секунд после тревоги первая машина рванулась из гаража. Но едва она поровнялась с воротами обширного двора, как один из бойцов крикнул:

— Крыса пропала!..

Все взглянули на то место у кабинки, где должна стоять клетка с дежурной белой крысой. Кто-то убрал ее перед самым выездом. Хорошо, что обнаружили пропажу, а то пришлось бы возвращаться с шахты.

Шофер круто повернул машину и направил ее к воротам гаража.

Молодой боец прыгнул на ходу и бросился к клеткам с запасными крысами. На всякий случай захватил с собой и клетку с воробьем.

Бойцы настороженно следили, как бы второе звено не опередило их.

— Скорей, Вася!..

Двое подхватили под руки парня с голубыми клетками. Машина снова шумно режет воздух. Ветер треплет полы брезентовых курток на бойцах.

На грузовике — семь ящиков с кислородными аппаратами. Ящики, как и многие другие предметы на этом автомобиле, выкрашены в голубой цвет — цвет жизни. У кабинки стоят огнетушители и сундуки с инструментом, с аппаратами для «оживления мнимоумерших».

Посреди кузова — свертки брезентов, на них — катушка с «нитью жизни», шнуром, за который, чтобы не потерять друг друга, придерживаются бойцы, когда им приходится работать в дыму, в загазованных выработках.

Следом шел вспомогательный автомобиль, нагруженный огнетушителями, вентиляторами, голубыми баллонами сжатого кислорода, тесом и стойками для перемычек.

Были сирены.

Завидев голубые автомобили, ломовики на улицах нахлестывали лошадей. Шоферы грузовых и легковых машин сворачивали в переулки, знали, что каждая секунда сейчас равняется человеческой жизни.

2

Варя шла на работу, когда голубые грузовики въезжали во двор шахты.

«Авария!.. Неужели пожар? А Роман?.. Вдруг это на их пласте?»

Она побежала к стволу. Горняки, встречавшиеся на пути, говорили о седьмом участке: «Большущий пожар!..», «Как бы не случилось взрыва...»

Обеими руками распахнув створчатые двери, Варя вбежала в клетьевое помещение.

— Дымнова поднимали?.. — крикнула она. Не дождавшись ответа, растолкала горняков и остановилась перед рукоятчиком. — Дымнова?.. С седьмого участка?.. Оглохли вы, что ли?..

— Не могу я всех упомянуть. На то есть табельщица, — ответил рукоятчик, стараясь казаться равнодушным.

Варя поняла, что он говорит неправду, что Роман все еще под землей, и решила сбегать в кабинет вентиляции.

«Только бы застать отца, он все скажет...»

Бросившись к воротам во двор, она столкнулась с одним из спасателей, которые несли к стволу большие брезентовые свертки, и вышибла у него из рук тяжелую ношу.

— Чорт вас гоняет, — выругался тот, не взглянув на женщину.

Резкий голос показался Варе знакомым. Оглянувшись, она по спине и прямым плечам узнала Бородачева.

«Что же будет? Он злится на Романа... Он может... все может!»

В кабинете вентиляции не было ни души. Варя бросилась опять к клетьевому стволу. Огромные шкивы на копре пришли в движение. Тяжело колыхнулись канаты. Клеть начала проваливаться. В верхнем этаже ее Варя снова увидела Бородачева. Он улыбнулся ей, крикнул что-то обнадеживающее.

Она с замораиванием сердца следила за стальными канатами. Вот вторая клеть подходит к поверхности... Может быть, в ней — Роман...

Из клетки вышли горняки. Все — чужие. Тут были люди и с седьмого участка, но никто из них в минуты бегства не видел Дымнова.

Наступила пора дежурства, и Варя шагом больного человека побрела к зданию с большими квадратными окнами. Навстречу ей вышел добродушный толстяк Голев.

— Ввиду такого случая мы, Варвара Кондратьевна, решили освободить вас от очередного дежурства.

Лицо ее стало белым, как береста.

— Вы всё... всё... знаете? Скажите мне... Не мучьте... Никодим Александрович!..

— Поверьте мне, я ничего не знаю. — Голев дотронулся рукой до локтя женщины, словно боялся, что она упадет. — Не волнуйтесь, Варвара Кондратьевна... Бойцы всех выведут.

3

Константин Бородачев знал, какая опасность подстерегает его звено в шах-

те, где так быстро распыхался пожар. Там в любую секунду может произойти и обвал, и взрыв газа. Но за пожаром остались люди, — и Бородачев торопился в шахту. Он не раз выводил шахтеров из загазованных выработок и сейчас был доволен тем, что его звено первым продвигается по безлюдному штреку. Как и все предыдущие, сегодняшняя операция должна закончиться полным успехом!

Он шел впереди звена. Голубую клетку держал на уровне груди. Белая крыса беспокойно металась из угла в угол, вставала на задние лапки, опираясь передними о проволочные стенки, принималась... Вдруг она начала быстро обтирать нос, затем подпрыгнула, крутанула головой и опрокинулась на спину. Бородачев подал команду, и все, зажав носы и сунув в зубы мундштуки, включили кислородные аппараты.

Это произошло, как только бойцы свернули с главного квершлага в основной штрек. Как быстро распространился газ! Он угрожает соседним участкам, а может быть, — и всем подземным ходам. Теперь бы следовало поставить на штреке парус — брезентовую перемычку. Она сразу бы уменьшила приток воздуха к очагу пожара. Но за пожаром — люди. Если поставить перемычку, они могут задохнуться. Пусть на время газуется квершлаг, были бы спасены горняки...

С огнетушителями, носилками и аппаратом для «оживления мнимоумерших» бойцы шли серединой штрека. Вскоре все почувствовали, как накаляется воздух. Стало жарко, точно в бане. Рубашки взмокли. Итти тяжело, — за плечами пудовые аппараты. Но бойцы продвигались скорым шагом, — ведь их ждали горняки, которым с секунды на секунду угрожает смерть.

Клубился молочно-белый дым. Бойцы спустили очки на глаза. Шли друг за другом, нащупывая горячие стойки. Противоположная стенка штрека была скрыта дымом.

Бородачев четыре раза надавил резиновую грушу — сигнал: «Продвигайтесь с осторожностью!»

За изгибом штрека, в нескольких метрах, косматое пламя обвило все крепление правой стороны. Искры отлетали с треском и засыпали шпалы. Основные стойки слева обливались серой и были готовы вспыхнуть, как добротное смолье.

Бородачев хотел было провести звено возле этой стенки. Но невыносимый жар хватал за нос, за уши, коробил кожу на щеках. Пришлось разбить сразу все огнетушители. С помощью их бойцы надеялись прорваться за пожар. А удастся ли на обратном пути проскочить через огненную преграду, — об этом было некогда думать. Они знали, что следом за ними сюда придет второе звено. Ему, может быть, удастся огнетушителями сбить огонь со стоек и угля. Надежд на это мало. Бородачев помнил подземный пожар, на котором пришлось разбить триста огнетушителей. Но погасить его так и не удалось, пока не построили кирпичные перемычки да не пустили по трубам жидкий ил.

Над головами, в лаве, пожар гудел, как дозна. А в штреке пламя гнулось под струями огнетушителей и, неохотно отступая, перекидывалось на другие стойки, ползло по тесовой затяжке кровли. Казалось, что временная победа над ним уже близка. Но в эту минуту дважды пропищала резиновая груша — сигнал к отступлению. Его подавал боец, стоявший позади всех. Значит, там — неотвратимая угроза. Бородачев поднял руку к груше и подтвердил команду.

Все повернулись и побежали в сторону главного квершлага. Впереди по стенкам уже разливалось пламя: огонь обошел звено и через люк соседней печи спустился в штрек.

Бойцы бежали, низко пригнув головы. На них сыпались искры и раскаленные угольные крошки.

Миновав очаг, остановились. Что теперь делать? Строить тесовую перемычку?.. А люди за пожаром?.. Ведь это все равно, если бы живыми зарывать их в могилу...

Бородачев старался успокоить себя: может быть, командиру взвода удалось со звеном спасателей по вентиляционно-

му штреку пробиться в забой и вывести горняков?

А если и на вентиляционный прорвался огонь? Если и оттуда закрыт доступ в дальние выработки?.. Тогда остается надежда только на сообразительность горняков да на то, что не случится взрыва газа. При этом надо будет возможно быстрее построить перемычки. И построить их поближе к пламени.

Скорей — на главный квершлаг. Оттуда — по телефону спросить совета...

Впереди на штреке — тусклые, колеблющиеся огоньки. Бойцы катят вагончики, груженные стойками, тесом и глиной. Рядом шагает начальник отряда.

Значит, решено строить перемычку. А люди?.. Вывели их или нет?..

Первую тесовую перемычку поставили неподалеку от изгиба пласта, где порода оказалась крепкой, нещелистой. Пламя оттуда не было видно. Но пока укрепляли стойки да пришивали нижние доски, оно вырвалось на изгиб и забушевало, заполняя грозными клубами штрек от почвы до кровли.

Жара становилась невыносимой. Люди то-и-дело приседали за обшивку, чтобы хоть немножко остудиться.

У звена Бородачева иссяк кислород. Пришлось спешно отправиться на поверхность.

Оставшиеся семь человек смогли продержаться еще несколько минут. Они отступили перед натиском огня, не успев прибить последних досок.

Недалеко от выхода из штрека основали вторую деревянную перемычку. На новом рубеже, где пока было прохладно, работа шла быстро и слаженно: одни доставляли материал, другие прибывали доски к стойкам, третьи замазывали щели глиной.

А на пятьдесят метров выше их, на вентиляционном штреке, другие два звена, потеряв надежду пробраться к отрезанным в забоях шахтерам, поставили тесовую перемычку и рядом с нею начали возводить постоянную, кирпичную. Но огонь нашел себе выход. Через полубвалившуюся печь он вырвался на поверхность. Той печью был прорезан не только пласт угля, но и слой торфа, покрывавший его в ложине между сопок.

Сухой торф загорелся, и сопки обволакивало дымом и смрадом. Туда было направлено несколько бригад шахтеров. Они хотели было, окопав торф вокруг печи, засыпать ее, но каждый ком брошенной туда глины вместе с огнем и дымом взлетал на воздух. Пришлось привезти пожарные машины, а затем вызвать слесарей, которые уже глубокой ночью, при свете костров, занялись прокладкой железных труб, чтобы по ним пустить воду с илом.

4

Бородачев давно примирился с мыслью, что ему не суждено быть с Варей, но знал, что никогда не забудет этой первой любви. На Дымнова он уже не сердился, однако не мог спокойно читать те газеты, в которых оказывался его портрет или статья о нем. Увидев Варю испуганной, мечущейся, он с трепетом сердца подумал, что, спасая мужа ее, не только исполнит свой долг, но и доставит ей огромную радость.

Впервые он поднимался на-гора, не выполнив своего основного задания, и чувствовал себя виноватым.

«А что, если их не добыли живыми?.. — думал он, стоя в клетке. — Она не поверит мне, что нас не пустил огонь... Но у меня есть свидетели — все звено».

Если их не спасли через вентиляционный штрек, то Варя все еще стоит у ствола. Что можно сказать бедной женщине, коли сам не знаешь — живы ли горняки в забоях за пожаром?

Клеть остановилась, и на чугунных плитах показалась убитая горем Варя.

Едва спасатели вышли из клетки, женщина бросилась к командиру:

— Не скрывайте от меня... скажите правду. Он жив?..

— Конечно, жив. Все живы. И все будут спасены, — громко, уверенно сказал Бородачев.

Они вышли во двор, залитый теплом весеннего солнца. Женщина помогла командиру снять кислородный аппарат со спины.

— Где они теперь?.. Может, хоть стук их слышали?

— Слышали стук...

Варя почувствовала фальшь в голосе Бородачева и настойчиво сказала:

— Только говорите правду. Я сама в шахте работала, знаю.

— Я и говорю: все будут спасены.

— А почему сейчас не вывели? Вы же брали для них самоспасатели...

Если бы на ее месте была женщина, не знакомая с шахтой и горно-спасательной работой, она могла бы обвинить звено в умышленно быстром возвращении на поверхность. Но Варя знала: время, проведенное бойцами под землей, было предельным для них, и она спросила:

— За два часа вы не смогли пройти к ним?

— Не могли пройти, — сказал Бородачев и почувствовал облегчение на душе. — Я не знаю плана всех спасательных работ...

Варя заметила, что шахтерка на Бородачеве прожжена, что пахнет от него паленым волосом, и, уронив голову, ни о чем больше не стала спрашивать.

— Но я скажу вам свое мнение, — продолжал Бородачев твердо. — Раньше завтрашнего дня — не ждите. Но будут спасены. Я уверен.

Женщина подняла голову и широко открытыми, неверящими глазами стала всматриваться в его лицо. И он подкрепил свои слова:

— Ваш муж — хороший шахтер, знает, что делать... А мы сейчас переменим баллоны и опять — туда.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Да, Роман знал, что делать в создавшемся, казалось безвыходном, положении.

— Эти доски нам пригодятся... — Лучом своей лампы он указал на несколько полок вверх, на которых была насыпана инертная сланцевая пыль. — Заберите все до одной. Вместе с пылью.

Сделав еще несколько шагов, Роман остановился, осмотрел угол справа и по роду слева, обе стенки оказались ров-

ными, без трещин, без больших впадин и выступов.

— Хорошее место! Начнем, ребята!

— А не лучше ли отойти еще по-дальше?

— Надо с расчетом... чтобы воздуха хватало. Может быть, нам придется отсиживаться несколько суток.

— А ежели... взрыв? — спросил Фадькин, пряча мокрое лицо от света лампы.

— Отчего он произойдет за перемычкой-то? Из тебя искру даже молодой бабе не выбить. А если и выбьет, так ты в два-то ручья вмиг зальешь.

Гоша звонко захохотал. Герасим Дудин, бодрясь, сказал:

— Медведи не в таких берлогах, да и то зимуют...

Роман положил глину и, осветив горняков, шарил глазами по их поясам.

— У кого топоры? Сколько? Гвозди есть?

Топоров оказалось шесть, гвоздей же ни у кого не было.

— Гоша, разламывай люки у печей и выдирай гвозди бородкой топора, — распорядился бригадир.

Их было девять человек. Работали они быстро, как только могли: знали — если не успеют отгородиться, газ разольется по штреку. Роман всем дал работу: трое вырубали каждую четвертую стойку и снимали «огнива», двое подносили этот лес, остальные трое выкладывали из него стенку. К бревнам прибивали доски, а за них сыпали сланцевую пыль. Все щели замазывали глиной. Углы, где бревна упирались в уголь или породу, особенно старательно засыпали пылью, промазывали глиной и приваливали сверху грязь, которую собирали на штреке. Часа через два стенка была доведена до самой кровли, оставалось только узкое отверстие.

— Вот и дом готов! — Роман потер ладонью о ладонь. Роль находчивого, неунывающего парня начинала ему нравиться, даже льстила его самолюбию. Это помогало на время забыть об опасности. Его веселость всем казалась естественной, и горняки смеялись, проталкивая друг друга в тесный лаз:

— Лезь, медведь толстомясый!

— Дом, как у бабы-яги, — без окон, без дверей!..

Роман достал один из трех гвоздей, — он берег их, как драгоценность, — вбил в перемычку и, раздевшись, повесил на него шахтерку, а поверх нее — лампу.

— Теперь — по всем правилам!..

Он последним влез в убежище. Все молча смотрели на перемычку. В эту минуту и Роман не смог найти подбадривающего слова. Он начал шарить руками по земле, отыскивая заранее приготовленный ставень. Гоша, наклонив голову с лампой на лбу, светил бригадиру. Они отыскали ставень и приблизили его к бревнам двумя последними гвоздями. Газ был закрыт.

— Запечатались... — прошептал кто-то.

Фадькин глубоко вздохнул:

— Сами себя закопали.

На его слова никто не отозвался, — зачем вслух произнес то, что у всех — на сердце, точно камень? А Роман, стараясь вернуть веселое настроение, сказал:

— Хороша хоромина, — можно зиму зимовать! Тепло! Неугарно!

— А кусать что? — раздраженно спросил Фадькин. — Долго будешь зубы заговаривать?

— Ремень грызи... коли оголодал так скоро, — сурово промолвил Герасим Дудин.

— Глина осталась? — спросил Роман.

— Приберег я глину... — очнулся от гнетущей задумчивости Иван Остожбин, потомственный горняк.

Все обрадовались тому, что нашлась работа. Замазывали щели с внутренней стороны перемычки медленно, чтобы занять больше времени. Израсходовав глину, долго осматривали перемычку. Так прошло еще часа два. Лампы, аккумуляторы которых действуют в течение восьми часов, светили попрежнему ярко, и горняки знали, что на поверхности все еще — день.

Дудин предложил сорвать пломбы с банок и погасить все лампы, кроме одной.

— Так нам их надолго хватит, — убеждал он.

— Небезопасно это,—возразил Дымнов. — Проходка свежая, может, тут газ выделяется...

Гоша осматривал щели между досками и трубой, по которой еще недавно подавался сжатый воздух.

— Роман! Надо же дать знать о себе. Нас теперь ищут...

— Верно. Стучи.

Отыскав небольшой кусок породы, Гоша начал выбивать им частую дробь. Пустая труба звенела, как туго натянутая струна. Все смотрели на нее, затаив дыхание, будто ждали, что вот сейчас она заговорит человеческим голосом. Часть трубы и пихтовые стойки за ней ярко освещены восемью лампами, а за спинами шахтеров густой мрак. Он протискивается отовсюду, как бы готовясь внезапно схватить и погасить лампы.

Гоша стучал долго. Потом приложил ухо и слушал. В трубе угрожающе гудело что-то, как отдаленная гроза. Шахтер подумал, что труба передает гул пожара, треск стоек и «огнив». Об этом лучше не говорить товарищам. Если они сами услышат, тоже промолчат.

Откуда-то издали дошел глухой звук, казалось, сама земля тяжело выдохнула воздух из своей груди. Через несколько секунд послышалось еще два таких же вздоха.

— Где-то идет отпалка!

— Не откликаются, — объявил Гоша, оторвав ухо от трубы.

— Дай-ка я постучу, — сказал Дудин, встал плечом к трубе, сделал три удара и приложил ухо. Затем — еще три удара. И еще три. Гоша освещал его лицо своей лампой, и все видели, как загорелись большие, выпуклые глаза Дудина, как заиграла на его черном лице улыбка.

— Отвечают!.. Ясно слышу!.. — Он, не заметив, как выронил камень, начал бить по трубе кулаком. — Слышим, товарищи! Слышим!..

Все бросились к трубе, — каждому хотелось самому услышать стук спасателей. На-гора теперь знают, где они! Спешат на помощь!

— А знаешь, Рома, они могут по

трубе протолкнуть нам передачу, — сказал Гоша.

— Верно! Дай лампу.

— Я сам сбегаю.

Парень бросился в тупик, где оканчивалась труба. Остальные продолжали ловить ответные стук. Но они начали ослабевать, словно стучавшие постепенно отступали к выходу, на поверхность. Одновременно с ослаблением ответных звуков тускнели глаза шахтеров.

Фадькину почудилось, что Глеб Витин, стоявший между ним и Дудиным, вдруг исчез. Как слепой, Фадькин протянул вперед руку. Пальцы уткнулись в глебову спину. Тогда Фадькин сорвал с себя каску, повертел перед лицом и всполошенно закричал:

— У меня лампа погасла.

— Не визжи! Скоро — у всех погаснут.

Роман молчал. Ему вспомнился Наттай с его песней о звездах, что мерцают в высоком небе над степью, и о звездах, что освещают горнякам путь под землей. Вот они, эти звезды! Их осталось только семь. Через несколько минут померкнет последняя...

Роман вздрогнул от неожиданного грома, казалось, потрясшего всю землю. Гром продолжался долго, наверно, больше минуты, то утихал, уходя куда-то ввысь, то нарастал. Вот хлынула волна воздуха и со страшной силой ударила в стену. Вот еще!

«Выдержит ли наша перемычка?..»

Перемычка вздрагивала, но удерживалась на месте.

Оцепенев, горняки стояли у трубы.

Когда канонада утихла, Дудин постучал по трубе, в ответ — ни звука.

Погасла еще одна лампа.

— Вот что, друзья, — заговорил Роман, стараясь подавить противную дрожь, — на каменной почве сидеть жестко и холодно. Пока есть свет, надо сделать лавки.

Лица шахтеров посветлели, — все обрадовались, что нашлась работа. Подняли топоры. Не торопясь, вырубали несколько стоек и положили их возле крепления. Осмотрелись — чем бы еще заняться, чтобы отодвинуть тяжелые думы о своем положении? Но ра-

боты больше не было. Все сели на бревна плечом к плечу.

Слабые струи света оставались только в четырех лампах. Их положили посреди штрека, направив лучи на себя. Так всем светло. Всех видно. Но вскоре одна за другой погасли три лампы. На последнюю смотрели с горечью, как на догорающую свечу у изголовья близкого покойника. Мрак подкрадывался и к этой лампе, и, наконец, задавил и последнюю искру света.

Темнота — вот что было самое тяжелое. Не видно пальцев, поднесенных к самым ресницам. Рядом кто-то дышит, беспрестанно шепчет, но кто это?

«Кажется, тот, с заячьим сердцем, сидел тут» — подумал Роман и громко позвал:

— Фадькин!..

— А! — встрепенулся сосед и сказал с укором. — Сбил ты меня!

— Молитвы нашептывал? Или заговоры? — Роман хотел засмеяться, но горло перехватила нервная спазма, и он, прокашлявшись, сказал зло: — Не помогут ни молитвы, ни заговоры.

— Да я, Алексеевич, счет веду.. чтобы время знать.

— А-а, это не плохо... время знать.

Роман вдруг замолчал, ему послышалось, что за спиной, за толщей породы, раздалась едва уловимая трель отбойного молотка. Он подумал, что мог обмануться, но плечи его почувствовали, что соседи тоже выпрямились и настороженно слушают, затаив дыхание. Первым заговорил Глеб Витин:

— Будто бы молоток работнул маленько...

— Вот и мне то же самое померещилось, — отозвался Дудин.

— Погодите трещать!

Долго прислушивались, но в шахте было тихо, как в могиле. Где-то запищали крысы.

Чем теперь подбодрить людей, чтобы минуты не казались им часами? Разве сказку рассказать? Вспомнилось детство, темные вечера, дрожащее пламя лучины, седой, как филин, сосед Акинюшка. Старик любил рассказывать о путнике с волшебной палочкой. Достаточно было ударить палочкой по скале,

чтобы скала расступилась... Сказка припомнилась до мелочей. Прослушав ее, Дудин сказал:

— Нам бы такую палочку...

— Теперь пусть кто-нибудь другой расскажет. Есть сказочники? — спросил Роман. — Люблю сказки слушать!

2

Вслед за спасателями на «Великан» приехал Левченко. В шахтном управлении не оказалось никого, кроме конторских служащих. Поднявшись в диспетчерскую, Левченко попросил Парамонова разыскать инженера Веснина.

Спустя десять минут Веснин вбежал в диспетчерскую, где его ждал Левченко.

— Принимай шахту, — сказал Виктор Сергеевич.

Он был взволнован. Только-что были арестованы Боркун и Шеровский. Все становилось понятным: аварии на шахтах и этот пожар.

Спустя несколько минут к Веснину уже спешили горняки, вызванные им на совещание. Одни поднимались из шахты в клетки, другие — по лестнице ходка, третьи — по печам.

По рассказам Митузова, Батькина, люкового Гусина и других, Семен Потапович довольно точно представил себе картину пожара: огонь быстро распространяется, и газ угрожает главному и вентиляционному квершлагам. Веснин отдал распоряжение о прекращении всякого движения на этих шахтных магистралах, кроме поездов, предоставленных спасателям.

Командир горно-спасательного отряда, поднявшись на-гора, сообщил, что лучшее звено Бородачева не могло пробиться к шахтерам, оставшимся за пожаром. Наступал самый серьезный момент — надо немедленно начинать большие работы по спасению горняков. Всем стало ясно, что для этого нужно пройти ходок с соседнего пласта. Но с какого пласта — с Гусевского или со Второго наружного? Геолог Воронин отставив пласт Гусевский, отделенный тринадцатью метрами породы от Третьего наружного, где теперь бушует пожар. В штреке Гусевского пласта есть тубы

сжатого воздуха, и, следовательно, можно, не теряя ни минуты, начать проходку. Батькин, когда-то работавший на проходке главного квершлага между этими пластами, настойчиво высказался за Второй наружный пласт, который залегал в 15 метрах от пожарного участка. Доводы Батькина были просты и убедительны — там порода мягче, и, несмотря на то, что расстояние больше, ходок будет пройден быстрее.

— Но туда нужно трубы тянуть, — возразил главный механик Шишкин, — а это потребует часов восемь.

— И все-таки там скорее пройдем, чем с Гусевского, — веско сказал Кондратий Митузов. — Я там тоже работал, знаю.

— Пятнадцать метров потребуют пять суток напряженного труда, — сказал огорченно инженер Бусый.

— Пять суток? — вскипел Батькин, побагровев; он вскопчил, угрожающе потрясая руками: — Да вы что, только сейчас проснулись? Не знаете, что там товарищи, может быть, задыхаются от газа? Какие тут нормы? Тут надо, брат ты мой, как на войне!..

— В трое суток пройдем! — крикнул Митузов.

— Все ясно, — начал Веснин, подавляя властным голосом вдруг вспыхнувший шум. — Ходок бьем с пласта Второго наружного. Шишкину для прокладки труб дадим четыре часа. Не больше. Поможем ему людьми. На работу поставим лучших проходчиков..

— Я первый пойду, — крикнул Батькин.

Веснин достал карандаш и бумагу.

— Записываю: Батькин, Колюбакин, Ряжов...

— Митузов, — подсказал Кондратий Мокеевич.

Веснин посмотрел на морщинистое лицо старого шахтера и, тряхнув головой, продолжал:

— Старик Митузов, комсомолец Костин...

В пятом часу из шахты сообщили, что пленники отвечают на стук по трубе.

«Надо протолкнуть им записку с изложением нашего плана» — решил Семен Потапович. Он написал записку, в

которой советовал тщательнее заперемычиться и ждать, но не успели записку донести до клетки, как пришло известие о том, что на месте пожара труба, должно быть, переломлена страшным обвалом.

К шести часам на основном штреке удалось поставить временную деревянную перемычку. Возле нее сразу же начали возводить кирпичную. Пробы воздуха брали через каждые десять минут. Анализы показали, что теперь в штреке можно работать без кислородных аппаратов, и на помощь спасателям пришли бригады горняков.

К семи часам в штрек был подан сжатый воздух, и Кондратий Мокеевич привернул к шлангу отбойный молоток, так как предстояло пройти несколько метров по уголю. Проверя молоток, он направил пику в уголь между стоек и нажал рукоятку. Настойчивый, жесткий стук молотка гулко отдавался в длинной выработке. Его-то и слышали горняки, сидя на бревнах в темном убежище. Пока на штреке убирали стойки, прошло еще несколько минут. Это были те самые минуты, когда Роман, отчаявшись еще раз услышать частые удары отбойного молотка, начал рассказывать сказку.

Но вот стойки убраны, уголь обнажен, — Батькин поднял молоток и пикой его отвалил первые комки угля. Рядом с ним рубил Митузов. Три отгребщика подбирали уголь лопатами и кидали в вагончики. Никто не позволял себе даже секундной передышки. Через час и забойщиков, и отгребщиков сменили. Кондратий Мокеевич вышел на штрек, утираясь рукавом. На лицо его легли черные тени, к вискам прилипли седые пряди волос. К нему подошел инженер Бусый и сказал сочувственно:

— Я слышал, что у вас там — зять?

— Да, есть у меня зять. — В голосе Кондратия Мокеевича прозвучала и обида, и заносчивость. — Намекаете, что если бы не зять, так меня бы здесь не было? Плохо вы знаете советских шахтеров, товарищ инженер. Для меня всякий честный трудящийся — родственник.

— Пласт кончился, — крикнули из ходка.

Кондратий Мокеевич схватил бурильный молоток и побежал туда. Он и тут никому не хотел уступить своего первенства.

Через несколько секунд сталь заскрежетала о твердую породу.

В глубине штрека уже сидел запальщик с динамитом и ждал, когда его позовут.

3

Сказочник нашелся — это был Герасим Дудин. Но едва он начал сказку про деревенского плотника, смастерившего «сани, которые бегали сами», как за спиной, далеко в толще земли, опять послышалась металлическая трель. Отбойный молот! Еще один!

— Но почему же — отбойные, а не бурильные? — спросил Гоша.

Никто не ответил. Одни не знали, другие не вспомнили, что там пласт — мощный и от штрека до породы несколько метров угля.

Тишину нарушил Глеб:

— Я так и думал, что с этой стороны к нам ходок пробьют!

Никому не хотелось отвечать на похвальбу Глеба. Но молчание становилось тяжким, и потому все обрадовались, когда Гоша начал новый разговор:

— Как ты думаешь, Роман, отчего пожар начался? Опять уголь загорелся сам от себя?

— Подождли.

— Подождли?! — переспросил молчаливый Иван Остожбин. — Неужели такие гадуки еще остались?

— Конечно, остались и ползают... из-за нашего недосмотра... Какой бы уголь ни был, не может он загореться так, ни с того, ни с сего. Даже пороху и то нужна искра, а пистону — удар.

Разговаривали долго и гневно. Один Фадькин не принимал участия в общей беседе. Он монотонно шептал, через равные промежутки времени наклонялся, поднимал камешек и клал его в левую руку. Набрав полную горсть, он пересчитал камешки и обратился к бригадиру:

— Сорок две... Это сколько же будет, Алексеевич, а?

— Что — сорок две?

— Сорок две сотни. Счет веду...

— А-а! — Роман удивился настойчивости и терпению Фадькина, но, превратив секунды в минуты и часы, разочаровал его: — Час десять минут.

— Только-то?! — огорченно промолвил Дудин. — А я думал — целая упряжка.

Роман тоже думал, что над рудником уже мерцают крупные звезды, а по подсчету оказывалось, что все еще светит солнце. Ох, и длинен же этот тяжкий день!

Молотки вдруг замолкли. Шахтеры приложили уши к стойкам: где-то далеко как бы царапал кто-то камень.

— Бурят! — воскликнул Гоша.

— Не ори зря, — одернул его Герасим Дудин. — То крыса роет нору.

— Замолчите вы...

Земля начала передавать новые звуки. Казалось, что где-то в каменной коюшине кони жуют сухари.

— Да, это бурильные молотки! — сказал Дымнов.

— Волшебная палочка! — вспомнив сказку, воскликнул Гоша.

Не оставалось никакого сомнения: к ним пробивают ходок. Через несколько суток спасатели дойдут до их убежища. Только бы выдержала перемычка...

Голод мучительно заявлял о себе, но о нем не говорили и старались не думать.

Фадькин теперь считал не секунды, а взрывы динамита. Впрочем, в этом принимали участие все. На бурение и отпалку они клали целую упряжку — шесть часов. Так они вернули себе ощущение времени и избавились от мучительного неведения — что же сейчас на поверхности, день или ночь? Им представлялась одна картина за другой. Вот сейчас — ночь. Черные тучи плывут над рудником, едва не задевая за крыши домов. Тревожно воют собаки во дворах. Это там, где всю ночь горят огни и хозяйки ждут, не послышатся ли знакомые шаги. Но вот из-за сопков вырываются первые солнечные лучи. Игряют пастухи на рожках. Жены, забыв

подойти коров, бегут на шахту. В раскомандировке их успокаивают: «Пройдено восемь метров, они живы, — слышен стук». Но жены остаются в раскомандировке на целый день. А дома дети в полдень слушают радио: «Пройдено девять с половиной метров. В спасательном ходке работают лучшие стхановцы шахты и бойцы горно-спасательной станции. Осталось еще пройти по породе...»

«Сколько же осталось? — задумывается Дудин.—Если Дымнов не ошибается, что между этими пластами — пятнадцать метров породы, то осталось еще пять с половиной. На два дня и две ночи. Трое суток просидели, а уже 48 часов вытерпим. Только бы не подвела перемычка...»

Скрежет буров все ближе и ближе. Еще одна отпалка, и — откроется выход.

Но вот отпалка сделана, а огней все еще не видно. Опять бурят.

— Осталось метра два, — объявляет Дымнов.

Теперь уже можно определить, за какими стойками покажется ходок. Это — в самом тупике убежища.

Шахтеры стоят перед стойками и слушают, как вгрызаются буры в камень.

— Надо убрать два-три круга... — говорит Дудин.

С ним все согласны, — если вырубить две-три стойки, то после взрыва можно будет сразу выйти.

И вот уже в темноте стучит топор.

Но, что это за гром? Это не отпалка!

Девять человек повертываются к перемычке. Она цела! Об этом догадываются по тому, что в убежище попрежнему темно.

Теперь темнота приятна, — она кажется каменной и как бы охраняет от беды. Сотрясая землю, грохочет гром. Вероятно, этот обвал больше первого...

4

Третьи сутки Веснин не смыкал глаз. Через каждые два-три часа он появлялся и на месте проходки, и в торфяном логоу, где после обвала засыпали кам-

нем и глиной дымящуюся воронку, и даже в поле, где автогенщики сваривали толстые трубы, чтобы по ним пустить на участок, охваченный пожаром, воду с илом. По полю Веснин двигался порывистыми, широкими шагами, и ветер слегка пошатывал его. В ушах — звон, словно вокруг головы вились тучи комаров. Иногда, выслушивая рабочих или инженеров, Семен Потапович впадал в забытие, веки его слипались на три-четыре секунды. Потом, открыв глаза, он тер ладонью лоб и просил повторить последние фразы. Ему советовали прилечь, обещали через полчаса разбудить, но он всем отвечал:

— Какой теперь сон?!

Однажды он встретил у клетки Варю. Глаза женщины ввалились, заострился нос, на щеках не стало красивых ямочек. Веснин взял ее под локоть и, не ожидая вопросов, заверил:

— Все идет отлично. К вечеру Роман будет здесь.

Варя заботливо спросила инженера — ел ли он сегодня хоть что-нибудь, и Семен Потапович, виновато улыбнувшись уголками губ, признался:

— Не помню. Некогда было. Вероятно, ничего не ел.

— Сейчас пойдете со мной в столовую, — твердо сказала Варя.

— Не могу. Предстоит разговор по прямому проводу.

— Хорошо, я вам принесу обед.

Когда Варя внесла обед, Веснин кому-то рассказывал по телефону обо всем, что предпринято для ликвидации пожара и спасения людей.

— Завтра вся шахта, за исключением седьмого участка, будет работать нормально, — говорил он. — Да, да. Есть забойщики, которые вот уже двое суток не поднимались на-гора. Списки? Хорошо. Представим. Шахта спасена благодаря героизму рабочих.

Пообещав о спасении людей сообщить «молнией», Веснин простился с собеседником; кивнув на телефон, сказал Варя:

— Это товарищ Петр.

Варя просияла: люди, отрезанные от мира подземным пожаром, близки и дороги не только им — женам, родствен-

никам, — но близки и дороги товарищу Петру, вождам, всему советскому народу. Варя отошла к стене, на которой висел план всех подземных ходов, и ее глаза остановились на красном кружке. Это и есть очаг пожара. Вот он, тупик, в котором отсиживается Роман и его товарищи. К этой крошечной точке глубоко в недрах земли теперь приковано внимание...

Веснин отодвинул пустую тарелку. Варя повернулась к столу и с деликатной женской строгостью сказала:

— Второе тоже все съесть! Обязательно.

— Завтра, Варвара Кондратьевна, — шутивым тоном ответил Веснин и пошел из кабинета. — Завтра я приеду к вам в гости и съем три вторых. А сейчас бегу туда.

К ходку он пришел, когда там были заряжены динамитом последние шпурь. Запальщик присоединил провода к машинке, повернул ключ, и один за другим загрохотали взрывы. Ходок наполнился голубым дымом. Насчитав 23 взрыва, запальщик заявил, что его работа закончена. Вслед за этим донесся гулкий крик. Бородачев со своим звеном спасателей бросился навстречу дыму. А по штреку везли в вагончике термос с горячим куриным бульоном.

Веснин вбежал в узкую выработку. Спасатели отбрасывали раздробленную породу, чтобы увеличить отверстие возле кровли. Вот с той стороны кто-то просунул черные кисти рук, потом — голову. Бородачев схватил горняка за руки и помог ему вылезти. Семен Потапович узнал Фадькина. Ни на кого не глядя, Фадькин побежал в сторону штрека, откуда пришли спасатели. Той порой с осторобрых камней спускался Герасим Дудин. А правее этого отверстия, раскидав камни, вылезал еще один человек: глубокая морщина над бровями, губы темные, серые глаза щурятся от света. Левое плечо его уперлось в большой камень: ни вперед, ни назад. Бородачев отворотил камень и помог бригадиру выбраться из узкой щели. Роман поднялся на ноги и, узнав командира спасательного звена, обнял его.

5

Спустя четверть часа шахтеры поднимались на-гора. Роман увидел дневной свет в квадрате ствола и обрадовался:

— Уже рассвето?!

— Солнце на вечер повернулось, — сказал Митузов зятю.

— Вечер?! — переспросил тот и добродушно рассмеялся. — Плохие мы, ребята, математики. Просчитались. — Повернулся к Веснину: — Завтра выходной?

— Нет!

Узнав, что квершлаг пройден в двое с половиной суток, Роман сказал забойщикам:

— Это вы виноваты в том, что мы обсчитались... Мы клали по одной отпалке на смену.

— А у нас было по две да по три смены на каждую отпалку, — сказал Батькин.

— Мы на рекорд били, на премию, — усмехнулся молодой забойщик Костин, — а премией нам было — живыми вас всех добыть!

Клеть поровнялась с поверхностью. Через открытые ворота ворвались яркие лучи солнца и ослепили Романа. Не различая лиц, он шагнул на плиты, и в эту секунду ему на грудь упала Варя.

6

Чтобы погасить пожар, пришлось все выработки, оставшиеся за перемычками, залить илом: шахта лишилась нескольких сот тысяч тонн угля.

Спасенные горняки получили путевки в дома отдыха и на курорты. Дымнова с семьей послали в санаторий, в Крым.

Жамал Казыбекова получила единовременное пособие. Сыну ее была назначена пенсия до совершеннолетия.

Перед отъездом Дымновы навестили вдову. Они застали ее сидящей на полу, на цветистой кошме. Взгляд Романа упал на противоположную стену, где висела осиротевшая домра. Умолкла песня хозяина, и домра уже не будет передавать шум степных ковылей, плеск озерных волн и задорный птичий пере-

клик. Роман не мог вымолвить ни слова. Варя заговорила о детях. Жамал всхлипнула и закрыла глаза дрожащими пальцами. Варя отняла ее руки от лица и, едва выговорив: «Не надо плакать... слезами горю не поможешь...», сама заплакала. Она обняла казашку, как сестру.

Жамал плохо говорила по-русски, Варя едва понимала ее. Рыдая, вдова рассказывала, как она мечтала обрадовать мужа дочерью, а теперь ребенок родится на горе. Варя сказала ей:

— Послушай меня, — мать своему дитю всегда рада...

Сочувствие ее горю помогло Жамал успокоиться. Но, узнав, что Дымновы пришли проститься, она снова опечалилась. Варя стало неловко перед этой женщиной за свое счастье. Она ждала от нее молчаливого укора, но Жамал, пошептав что-то, сказала:

— Два луна будет родиться и умирать... Третий луна родится — моя ребенок родится.

— Еще два месяца?! Не горюй. К той поре я вернусь.

— Жить как будем?.. — спросила Жамал.

— Я помогу найти хорошую работу, — пообещал Роман и подумал о том, что Жамал могла бы стать мотористкой в шахте или на поверхности у вентиляционной печи. — Месяца два на курсах поучишься, а потом у тебя пойдет дело!..

В комнату вбежал мальчик. Увидев гостей, он остановился у порога.

— Ну, здравствуй, хозяин! — Роман вспомнил, что сам остался после отца таким же мальчуганом. — Какой ты большой вырос!.. Иди ко мне.

Он хотел приласкать мальчика, но тот, положив на секунду руку в его ладонь, смущенно улыбнулся и направился к стене. Там он долго смотрел на дсму, потом нерешительно снял ее, отошел в угол и сел за гору подушек.

По вечерам Дымновы гуляли в парке. Им понравилась верхняя аллея, в конце которой раскинул свои мощные вет-

ви величественный ливанский кедр, одетый нежной, серебристо-зеленой хвоей. С той аллеи можно видеть и корабли, проходящие на горизонте, и прибрежную арку в скалах. Однажды Роман сидел на зеленой садовой скамейке. Внизу, по нежносинему морю, вечернее солнце прокладывало золотистую тропу. По аллее шли двое в белых костюмах. Одного, коренастого, Роман узнал сразу — это был директор санатория. А второй, высокий, с большими черными глазами на смуглом, усталом лице с седыми вьющимися волосами, напомнил Роману товарища Петра.

«Да нет, не может быть! Товарищ Петр отдыхает где-нибудь в другом месте... где меньше курортников».

Поровнявшись, высокий задержал взгляд на лице Романа.

— Здравствуйте, товарищ! Я вас где-то видел? Вы из Кузбасса? Да, вспомнил... Забойщик Дымнов!

Роман встал и, краснея от волнения, пожал руку товарища Петра, а тот забросал его вопросами:

— Давно здесь? Нравится? А какие заметили недостатки? Не стесняйтесь, говорите при директоре.

Дымнов отвечал на вопросы двумя-тремя восторженными словами и чувствовал себя неловко до тех пор, пока товарищ Петр не заговорил о Кузбассе.

Они двигались медленно. Под ногами хрустел крупный морской песок.

— Учиться хотите? Инженером быть? — спросил товарищ Петр. — Из вас, я думаю, мог бы выработаться неплохой инженер.

Предложение заманчивое, отказываться не хотелось, но согласиться, чувствуя себя недостаточно сильным, Роман не мог и потому ответил уклончиво:

— Не знаю... С образованием у меня... Надо еще подучиться...

— Правильно говорите! — похвалил товарищ Петр и вдруг перешел на дружеское «ты». — Вернешься домой, попроси, чтобы к тебе прикрепили лучших учителей. Подготовишься и на будущую осень приедешь держать экзамен. Так и решишь? Отлично!

Сумерки наступили быстро. С моря исчезла золотистая тропа. Окрасившись

в темносиний цвет, оно отяжелело и начинало тихо дремать. Отдыхающие шли по главной аллее к дворцу, зеленые стены которого теперь сливались с кипарисами и казались мохнатыми. Туда же направился и товарищ Петр со своими спутниками.

— Москву хорошо знаешь? — продолжал он спрашивать шахтера.

— Не приходилось бывать...

— Ну?! И жена тоже не видела столицы? Поедете домой, купите билеты через Москву, сделайте остановку, хотя бы дня на три.

Дойдя до гранитной лестницы, они повернули к высокой арке дворца.

— В Москве с вокзала позвонишь, —

говорил товарищ Петр. — Я вышлю машину. Приедешь ко мне в гости. С женой и дочкой. У меня тоже есть дочка, — твоей скучать не придется.

Они остановились в просторном вестибюле, посреди которого, в водоеме, стоял золотой аист и, запрокинув голову, выбрасывал из клюва к потолку струю воды.

Прощаясь с шахтером, товарищ Петр повторил:

— Не забудь в Москве позвонить с вокзала.

Проводив товарища Петра до боковой двери, Роман побежал в свою комнату на втором этаже, чтобы поделиться с женой большой радостью.

Роман напечатан в сокращенном варианте.

Стихотворения

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

1

Не здесь на обломках, в походе, в окопе,
Не мертвых опрос и не доблести опись.
Как дерево, рубят товарища, друга.
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток
И ночи крестить именами убитых.
Победу погибших и тысяч, и тысяч —
Отлить из железа, из верности высечь,
Обрублены руки, и настезь отверсто,
Не бьется, врагами расклевано сердце.
Дожди огрызаются, щерятся розы,
И ласточки вьют пулеметные гнезда,
А дети находят на небе заката,
Как ягоды горя, ручные гранаты.
Перпиньян, февраль 1939.

2

Упали окон вековые веки.
От соглядатаев отрешены,
Гуляли церемонные калеки,
И на луну глядели горбуны,
Старухи, вытянув паучьи спицы,
Прохладный саван бережно плели,
Коты кричали, умирали птицы,
И памятники по дорогам шли.
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
Был сер и нежен города скелет.
Мы узнавали все суставы улиц,
Все перекрестки отроческих лет.
Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми ветреном Париже
Уж цепенел необозримый Рим, —
Пусть, как деревья, рушатся народы,
Пусть ломок сон, как посиневший лед,
Сильнее гнева мертвая природа,
В ней человек себя переживет.
1940.

3

О чем молчат арденские леса,
Фиордов воды густо-голубые,
Мадрида дым, альпийская роса
И сизые Парижа мостовые?
Как склянки затонувших кораблей,
Как с гор, как говор улея, что вымер...
Обходит мир пернатых и полей
Короткое торжественное имя —
Привет днепровской боевой воде,
Лугам Рязани, залежам Урала.
По василькам, по братству и руде
Земля измученная стосковалась.
Как веток бред, как рук взметенных хруст,
На Западе наречиях — надейся.
Привет тебе, цветущий розы куст,
Винтовка юного красноармейца!
1941.

Рассказы*

ИВАН ФРАНКО

★

1. МОЯ ВСТРЕЧА С ОЛЕКСОЙ

Рассказ Мирона Сторожа

Я человек проклятый, ненавистный, изгнанный из среды «честных», — одним словом, «попавший в черный список». А одно уж это название чего-нибудь стоит. Это не значит, впрочем, что моя совесть восстает против меня или что-нибудь подобное, — нет, это значит только, что люди «честные» (если угодно, можете их называть богатыми, сильными, практичными, — это выйдет одно и то же) изгнали меня из «честного и порядочного» общества. И совершенно справедливо! Мое имя вместе с несколькими именами подобных мне во время оно облетело весь край, служило устрашением для всех «мирных и верноподданных горожан», с моим именем связывалось понятие о перевороте, о революции, резне. Правда, в то время, когда спасители существующего порядка поднимали страшнейший шум, я и мои товарищи смиренно сидели за тюремной решеткой и считали дни, потраченные напрасно. Но если бы даже дело обстояло так, что мне и моим приятелям о переворотах и революциях вовсе и не снилось, — что из того? Одного уже, что я сидел в тюрьме, разве не достаточно, чтоб запятнать меня навек в глазах «честных» людей?

Да, но всевидящий и всемогущий суд, верно, и в самом деле признал меня виновным и вправду усмотрел в моей натуре революционную жилку, обнаружил в моей крови каплю той крови, которую французским «спасителям порядка» не удалось искоренить в 1872 году, заметил в моих глазах искру такого огня, что может поджечь дома мирных горожан не хуже любой нефти. Одним словом, я оказался на суде кругом виноватым, а стало быть, презрение и проклятие «порядочных» людей по отношению ко мне совершенно справедливы.

Да я вовсе и не жалуюсь на это, больше того, мне даже, может, легче стало, когда, выйдя из тюрьмы, я почувствовал себя свободным, как птица. (Как говорят немцы—*Vogelfrei*.) Я испытывал тогда нечто похожее на то, что чувствует ученик, выходящий по окончании школьного курса из школы. На руках у него хорошее свидетельство, а в голове блестящая, заманчивая надежда на приятное времяпрепровождение во время каникул. И я тоже прошел курс науки «порядочных» людей, просидел бок о бок с ними долгие годы и получил, наконец, свидетельство, правда, несколько необычное, но все же освобождающее меня от дальнейшего сидения на проклятой скамье. Я вышел во двор, на свежий воздух. В голове у меня носились новые мысли, новые впечатле-

* Переводы с украинского: Гр. Петникова («Моя встреча с Олексой») и Вл. Бонч-Бруевича («Два приятеля» и «Лесихина челядь»).

ния, а среди них все сильней и сильней слышались звуки грустной, но счастливой песни:

Обриваються звільна всі пута,
Що в'язали нас с давнім життям!¹

Я чувствовал, видел, я знал по сильному сердцебиению, что это правда, что цепи порвались, что прежняя жизнь отошла, — а на первое время, чтоб вздохнуть свободно, этого ощущения было достаточно.

Однако чувство, — какое бы ни было оно сильное и горячее, — пылает недолго, век им не проживешь. После первого, опьяняющего восторга радость быстро улеглась, и я посмотрел на окружающее более трезвыми глазами. Жизнь попавшего в черный список, чужого среди людей, ненавистного, от которого отворачиваются все те, кто еще недавно свидетельствовал перед ним свое расположение, — такая жизнь всякому быстро надоест.

Правда, помотришь на одного такого, который, встретившись с тобой, отворачивается, — сплунешь и проворчишь: «Какое ничтожество! Чорт с ним!» Увидишь другого, третьего, — то же самое! Но в конце-концов станет самому досадно, нудно, охватит отчаяние. «Что это, — подумаешь себе, — может, и вправду такой уж я гадкий и страшный или это у всех этих людей путаница такая в голове?» «Да нет, — ответишь сам себе, — ни то, ни другое, а одно только, что они честные и порядочные, а ты...» Ну, довольно об этом! Против таких доводов ничего не возражишь. Остается лишь два пути: или, посыпав голову пеплом и разодрав на себе последние ризы, плакать, сожалеть о том потерянном времени, когда и сам ты был «честным и порядочным», и итти «на распутия и стогны града» просить прощения у всякого «порядочного» за страшное, хотя и не осуществленное, преступление, или раз навсегда плюнуть на все это, возложить на себя «крест свой», — а это значит стать доброволь-

но, сразу же, бесповоротно, в ряды попавших в черный список и отвергнутых и итти без оглядки на поиски для себя подходящего общества. Разумеется, я так и поступил — и, поверьте мне, не только ничего не потерял, а, наоборот, выиграл: я могу теперь смотреть на все прошлое веселыми, критическими глазами, а «честным и порядочным» людям это не так-то легко удастся.

Живя среди людей, проклятых и изгнанных из порядочного круга, человек, совершенно естественно, вспоминает обо всех подобных ему «проклятых», которых ему доводилось когда-либо встречать.

А мне, надо сказать, они припомнились скорее, чем кому-либо другому, ибо такие «проклятые» приходились мне даже свояками.

Весь мой род, все Сторожи, от первого и до последнего, были вот именно такими. Во всем селе ни один порядочный хозяин не произносил имени «Сторожи», чтоб не прибавить при этом: «Вот разбойники, чтоб им всем пусто было!» Сторожи были посмешищем и попыхачами у всей крестьянской общины, а главным образом у сельского начальства. Случится на поле беда какая, — скот ли овес потравит, а виновника не поймают, — вся вина на Сторожей ложится! Срубят ли кто в лесу деревья, а лесник не дознается, кто это сделал, — ну и идет прямо на Стороживщину, и хотя ничего и не найдет, а все же изольет всю свою злость в потоке проклятий и бранных слов по адресу «этих воров, разбойников Сторожей». Их объяснения и оправдания начальство редко выслушивало, — «весь мир знает, что брехуны вы да пустомели, самого господа бога продали бы». Штраф ли какой или общественные работы, — все на Сторожей, как из дырявого мешка сыплется. Одним словом, были они такими же попавшими в черный список, как и я!

Стоит ли говорить, что при таких обстоятельствах жизнь Сторожей не была счастливой? Было их трое братьев (мне они доводились двоюродными братьями). После смерти отца, моего покойного дяди, они поделили между со-

¹ Строки из стих. Ив. Франко «Товарищам из тюрьмы».

бой его небольшой крестьянский надел и, отслужив на военной службе, поженились и начали бедовать да горюшко мыкать. Смолоду не было между ними согласия. Нет, вру, бывали минуты, когда не было более дружных и сердечных людей, — но чаще бывало так, что они ни за что, ни про что дрались между собой, таскали друг друга за волосы и бились до крови, точно в беспамятстве. Потому-то они, как поженились, так и разошлись врозь, хотя хаты их стояли почти рядом. И понятное дело, поделив небольшое наследство отца на три доли, они бедствовали и никак не могли своим хлебом обзавестись. Поначалу дело кое-как еще шло, но только до той поры, пока несчастный характер не сделал их врагами всех «порядочных», то-есть более богатых, хозяев.

Еще парубками все трое отличались среди остальной молодежи нашего села. «Очень уж запальчивы, прямо, как огонь!» — говорили люди. Только слово какое обидное или неправда, — они, как пламя, вспыхивали. В корчме редко когда обходилось дело без драки, если бывали там Сторожи. Пospорят два хозяина, они тотчас заступаются за более слабого и бедного. Не было такого богача, которому бы от них не досталось. Но вскорости Сторожей забрали на военную службу и продержали их там по двенадцати лет. Отец у них умер, хата пришла в запустение, а пашню это время обрабатывал мой отец. И мало-помалу люди совсем позабыли про Сторожей. Но вот они вернулись. Самый старший, Олекса, возвратился раньше других (остальным двум выходило служить еще по году) и сразу же начал свататься.

Отец мой помог ему на первое время, и женился Олекса на маланчуковой Олене. Старый Маланчук был хозяин совсем небогатый, а у Олексы-то и во все денег не было, чтобы стать на ноги. Первый год он обрабатывал все отцовское поле, и жизнь была еще туда-сюда. Но, когда на следующий год вернулись с военной службы братья, пошли невзгоды, ссоры, а там и драки из-за наследства. По всему селу передавали люди страшные вести: будто заперлись

Сторожи в одной хате и рубят друг друга топорами, только крик слышать да кровь аж по окнам брызжет; или еще, что порешили они будто биться до тех пор, пока в живых не останется кто-нибудь один. Из всех этих рассказов было верно одно, что Сторожи не хотели обращаться в суд, а порешили поделить наследство сами, и дело, конечно, дошло до драки. Однако ж все-таки поделались, и потом уж никто не слыхал, чтоб из-за раздела наследства они жаловались друг на друга.

Но среди крестьян ожили все давнишние воспоминания. «О, поскодились уже разбойники, опять будут людям голы разбивать! Вот не привелось им сломить голову на какой-нибудь круче». Такие разговоры вела большая часть сельских богачей, покачивая при этом головами да попивая горилку. К несчастью, их слова вскоре же сбылись. В скором времени Сторожи начали по-прежнему верховодить в корчме. Однако воинская служба оставила на них след. Они ходили теперь какие-то понурые, на всякий вопрос отвечали резко, будто топором рубя, а на богачей поглядывали искоса еще смелее, чем, бывало, прежде. Тогда хоть по крайней мере они сельского начальства побаивались, а теперь — где там! Именно на начальство они теперь и точили зубы, начальству они и слова не спускали. «Кровопийцы, воры, живодеры, — раскричался было однажды Олекса на войта¹ и уполномоченных. — Разжились на крестьянском добре, а теперь еще нос задираете! Ах вы, мерзкие свинопасы, я бы вас всех...»

Но подобные нападения на словах — это еще что! Олекса не любил действовать только словами, а схватывал тотчас бутылку или какую-нибудь посудину и швырял ее в лицо. Нашего прежнего войта он таким манером изуродовал на всю жизнь, когда доведалься, что из общественной кассы пропало пятьсот золотых. Войт был человек молодой и красивый, он любил при случае поухаживать за дивчатами. Бутылка Олексы отбила у него эту охоту, сделал

¹ Войт — сельский староста.

его физиономию похожей на свежевспаханное поле. Разумеется, Олекса отсидел за это дело в «семинарии» целых шесть месяцев, но уж насолил войту, как следует.

Не только сельские власти, но даже и городские чиновники не пользовались расположением Олексы. Он относился к ним непримиримо, и в случае, если не помогали слова, пускал в ход кулаки.

Особенно судебные исполнители, сборщики податей и всякие прочие хабарники, которые обычно играют в селах роль немалых панов, проезжая через наше село, держались настороже и пуще всего опасались встречи со Сторожами. И правильно, ведь Сторожи нескольких таких «подпанков» не раз проучили, как следует, к великой радости всех бедняков, которым приходилось терпеть их придирки и ругань, и к большому неудовольствию войта, которому приходилось за все это отвечать перед уездным начальником. Разумеется, предписаний об арестах для «разбойников Сторожей» не жалели. Сам пан уездный начальник, проезжая однажды через наше село, сцепился с Олексой и, надо сказать, крепко. Было это еще в 1872 году летом, во время холеры. Приехал начальник вместе с уездным доктором, чтоб узнать, сколько имеется больных. Само собой разумеется, начальник стоял посреди улицы и только покрикивал на «хамов», а пан доктор со страхом и трепетом, проклиная всех на свете, ходил по хатам... В хату он не заглядывал, а, выслушав, что ему говорили бабы и их мужья, кричал на них, почему они не делают, мол, того-то и того-то, и убегал быстро на дорогу.

— Ну, как? — спрашивал его уездный начальник.

— Э, никаких надежд нету! — следовал ответ пана доктора, к чему он обычно добавлял: «Да чорт бы их там побрал!» или: «Проклятое мужичье! Само виновато, — помирает, а горилку однако ж пьет!»

Правда, пан доктор ничего не говорил о том, что ни одного больного он и в глаза не видал, что ему неохота осматривать их дальше, а лучше бы

ехать в соседнее село, где у помещика приготовлен для них ужин и ночлег. Уездный начальник был человек совестливый и ни за что не бросил бы своих обязанностей.

Но его и пана доктора ожидала не очень-то приятная перебранка на Стороживщине. Бабы с плачем просили доктора зайти в хату и осмотреть больного, а доктор отвечал им на это руганью и проклятиями. Люди шли по селу за бричкой уездного начальника, ближе-то уж подойти они не смели. Так дошли они до Стороживщины. Олекса в это время работал возле хаты, он заметил на выгоне доктора, которого бабы напрасно упрасивали зайти к больным. Он слышал, как доктор на них кричал, осыпал проклятиями, а затем вернулся на дорогу.

У Олексы кровь прилила к голове, когда он все это увидел и услышал.

— Что ж это он, мошенник такой, деньги берет, а на больного и посмотреть не хочет! погоди ж ты! пойду я к тебе.

И Олекса двинулся вперед. За ним, голоса, пошли женщины. Они подошли как-раз во-время, — доктор усаживался в бричку, чтобы ехать дальше.

— Пане начальник, — закричал издали Олекса, — а в чем тут дело?

Начальник обернулся и велел остановить бричку.

— Ну, что там такое?

— Да как, что такое? — говорил Олекса, подходя поближе. — Пан доктор приехал сюда больных навестить, а ни в одну хату не заглянут, а все кланут да людей бесчестят.

— Врешь, босьяк! — закричал во все горло маленький испуганный доктор.

— Пан сам врёт! — отрезал Олекса, и от ярости у него на лбу жилы налились кровью.

— Что, что, что? — затараторил уездный начальник, соскакивая с брички.

— А то вот, что и говорю! Как же это так, пан доктор деньги-то получает, а люди безо всякой помощи!

— А ты как смеешь, босьяк, мошенник ты этакий, — возмутился начальник, задетый за живое, — как ты смеешь так в глаза врать? Как ты смеешь?

Горло у начальника сжималось от ярости, изо рта брызгала пена.

— Пане, — ответил Олекса, — вы что над людьми смеетесь? Мы тут и не таких панов видывали! Время теперь не такое, никто не знает, — сегодня жив, а завтра тебя и нету.

— Что, ты еще будешь мне угрожать? Эй, войт, заберите-ка вы этого разбойника, заберите его, он собирается меня убить! — пищал уездный начальник.

Олекса больше всего недолюбливал такие вот панские шутки. В нем накопила злость. Дольше он сдерживаться не мог и осыпал начальника и доктора целым потоком не совсем салонных слов. Уездный начальник начал было кричать, но затем, видя, что и бабы стали вторить Олексе, замолчал, сел в бричку и, сплунув, велел гнать лошадей в другое село.

— А, чтоб вас тут всех холера побрала! — кричал он на людей.

— Тебя первого, хабарник, кровонийца ты этакий! — кричал ему вдогонку Олекса.

С этого времени пан уездный начальник стал считать наше село разбойничьим гнездом.

Вспоминая всю эту не совсем патриархальную сцену, я обратил внимание еще на одну интересную подробность. Если людей когда-нибудь притесняли, а надо было дать где-либо отпор, поспорить, потребовать чего-нибудь, то люди выставляли туда Олексу: «Ступай ты, ступай, тебе-то что? Тебе все ни-почем, ну, а с нами разное, знаешь, может случиться!» Олекса, голова горячая, не задумываясь над тем, что на каждом шагу он наживает себе все больше и больше врагов, шел и вцепляясь в глаза обидчику, как оса.

В таких случаях наши богачи забывали свой гнев, говорили с Олексой ласково, шутили с ним, они рады были возможности спрятаться за него.

А как нет никаких притеснений, — о, тут уж мой Олекса и разбойник, и вор, и бог знает еще что. А бедняки, те хотя не во всем и разбирались, но им-то ведь приходится жить по милости бога-

чей, им надо помалкивать, а то еще и подпевать им...

Вот этого самого Олексу и вспомнил я теперь, когда в кругу «просвещенного» и «честного» общества я оказался в таком же положении, как и он среди «порядочных» и «честных хозяев». «А что, — подумал я, — поехать бы мне да его навестить? Это была б интересная встреча двух людей, попавших в черный список, да к тому ж и за дела схожие. Что он мне скажет? Как встретит меня?»

Раздобыв денег на дорогу, я сел в поезд, да и поехал.

Разумеется, первым делом я направился в свою хату, то-есть в отцовскую, где жили теперь двое моих братьев, хлопцы еще молодые, девятнадцати и пятнадцати лет, и отчим с мачехой.

Отчим, мужчина в самом расцвете лет, считался одним из наипорядочных и самых честных хозяев. Он встретил меня очень ласково и приветливо, — и даже, казалось, уж слишком приветливо, — начал расспрашивать про текущие новости, про войну, про Берлинский договор, про покушение на императора Вильгельма, и удивительно тактично обходил всякие вопросы о моих преступлениях и наказании. Правда, беседа обо всякой всячине, мы подошли и к этому щекотливому вопросу, — но отчим как будто не проявлял к нему особенно большого интереса, сказал несколько общих, незначительных фраз, покачал при этом головой, и мы перешли на другой разговор.

Я спросил про Олексу и сказал, что хотел бы его повидать.

— Э, да что ты, такого опришка! ¹ — проговорил надменным тоном отчим, но тотчас же спохватился и заметил: — Да что ж в конце-концов, как хочешь, ступай, почему б и не пойти, пойдешь завтра, увидишь и Олексу.

Я знал хорошо характер отчима, и из этой беседы я понял, что между ним и Олексой за эти годы, наверно, что-нибудь произошло. Я начал расспраши-

¹ Опришок — так в Западной Украине называли повстанцев против власти помещиков, украинских, польских и русских; опришками руководил народный герой Устим Кармелюк.

вать, подступал с разных сторон, но ни о чем не дознался. А мачеха, та даже своим обычным льстивым тоном заметила, что «теперь тато в такой дружбе с Олексой, что даже все село удивляется».

Это меня совсем сбilo с толку. Тем с большим нетерпением я ждал за-вращного дня, чтобы повидать Олексу.

Но в этот же день вечером Олекса, узнав о том, что из Львова приехал Мирон, прибежал ко мне. Я уже поу-жинал и собирался было в овин спать, когда увидел Олексу, поднимающегося по берегу в гору своей медлительной, твердой походкой. Его приземистая фигура, длинные жолнерские усы, большие серые глаза и добродушное, чуть на-смешливое лицо, обращенное сейчас ко мне с ласковой улыбкой, — все это живо воскресило в моей памяти прежнего Олексу, молодого, бойкого солдата, приехавшего на побывку, который носил меня, тогда еще мальчугана, на речку, где мой покойный отец вместе с другим Сторожем ловил рыбу.

— Как-никак, а приехал, однако! — начал неторопливо Олекса, подходя ко мне.

Мы поздоровались.

— Что ж это ты, брат, пожил долго среди панов и на нас осерчал? — сказал он, и на его лице промелькнула ядовитая усмешка.

— Да, — ответил я, — что, брат, по-делаешь, если паны меня так полюбили, что и на вольный воздух дохнуть не пускают.

— Ага, оно и видать! — сказал Олекса.

— Чего-то они нас, Сторожей, недо-любуют, — заметил я.

Олекса как-то грустно усмехнулся. Мое замечание, видимо, задело его за живое.

— Что же ты, спать уже идешь? — заметил он.

— Да вот собрался было, но что-то неохота.

— Ну, так, может, пойдем со мной поглядеть на Стороживщину? А то по-чем знать, скоро ли тебя еще увидим.

Я, не отказываясь, пошел.

Мы некоторое время молчали. Я ви-

дел, что лицо Олексы все мрачнело, словно какие-то невеселые мысли бродили в его голове.

— Ну, что ж, Олекса, — прервал я молчание, когда мы вышли на пастбище, — расскажите мне, что тут делается, как вам эти годы жилось?

— Да, что нам делается? — ответил нехотя Олекса. — Все по-старому. Ты бы вот лучше рассказал, что там с тобой.

При этом он посмотрел мне в лицо с таким странным выражением, что я не знал, что и ответить.

— Эх, брат, брат, — молвил он грустно, — не того мы от тебя ждали! Мы думали: вот хотя один из Сторожей чего-нибудь добьется, будет и нам в по-мощь, а оно вон какой еще позор!

Олекса оборвал и отвернулся от меня.

Эти слова оглушили меня, как молотом по голове. Кровь бросилась мне в лицо...

— Как это позор? — еле смог я произнести дрожащим голосом.

— Да что ж, почет, что ли, — подхватил Олекса, — сидеть в тюрьме вместе с ворами, да еще и за что?!

— Ну, а за что, за что? — спросил я.

— А господь тебя ведает, за что. Убил ли ты кого, или ограбил, или что другое, кто тебя знает? Вот о нас уж пусть все говорят, что разбойники мы, ну, чорт их там знает, но о тебе мы этого не слыхали! А тут вдруг бах! А уж должно же что-нибудь быть, за что-нибудь да тебя засудили!..

Как обидно, тяжело, страшно стало мне от такого разговора! Глубокая, жгучая боль отозвалась в сердце, сдавила мне грудь. Так, значит, я дошел уже до того, что и родня от меня отворачивается, — где уж там, даже Олекса, этот несчастный, вечно гонимый и преследуемый, который когда-то надеялся иметь во мне опору и помощь, теперь отталкивает меня! А что же тогда должен думать обо мне отчим? Теперь мне стала понятной его холодно-слащавая беседа. Мне сделалось так противно, весь мир показался мне чуждым, холодным, неприступным. Я чувствовал, что все связи с жизнью у меня порваны, чув-

ствовал, что если так пойдет дальше, то я или с ума сойду, или покончу с собой. И я решил рассказать Олексе все, разъяснить ему мою вину.

— Ну, что ж ты молчишь, не говоришь, что там с тобой было? — спросил Олекса несколько ласково, заметив, что его слова глубоко меня огорчили.

— Молчу, да что мне сказать? Я вижу, что и ты поверил тому вранью, которое про меня разнесли: стану оправдываться, — скажешь, что говорю неправду.

— Тэ-тэ-тэ! — возразил Олекса. — Вранью поверил? Как знать: что люди говорят, то и я тебе передаю, а откуда я могу знать—вранье или нет? Скажи ты всю правду, тогда и узнаю. А то вот разнеслись было слухи, что тебя уж убили, а другие говорят: нет, в Берн¹ его отвезли да на всю жизнь! Эх, что уж мы тут и не передумали, как уж наплакались, боже ты мой! А твои братья!..

— Да как же, — спросил я, — как же тебе передавали, за что я сижу? Должны ж были, однако, сказать, за что.

— А откуда мне знать? Разное говорили но разобраться хорошенько я не мог а тут мне отчим твой говорит: «А знаешь, говорит, за что нашего Мирона посадили?» «Ну, говорю, за что?» «Э, рассказывает, да он там где-то с людьми какими-то спознался, бунт хотят подымать, бога свергают! Ну, говорит, видишь, не рехнулся ли человек?» Как услышал я это, и сам не знаю, что и говорить.

— Это так вот отчим объяснял? А не рассказывал ли он, из-за чего такой бунт должен подняться? Может, из-за Польши?

— Нет, этого он не говорил.

— Погодите, Олекса, вы ж и на военной службе служили, и всякие виды видывали. Скажите вы мне, если узнают, что кто-нибудь бунт поднимает, убийство и другие подобные вещи, то как вы думаете, какое за это наказание положено? Засудят они такого челове-

ка на месяц или два или засадят этак лет на пять, а то и больше?

— Э, да все это басни! Я это и отчиму твоему говорил. Нет, говорю, не может этого быть. Если б так, то они бы его не на месяц засудили, а уж лет на десять. А он все свое: «Э, да что ты, говорит, понимаешь!..»

Мы продолжали итти некоторое время молча, наискось по полям, покрытым зеленым овсом. Уже наступала ночь. Перед нами вдали надвигался огромным черным массивом Дил¹, над которым на западе рдели еще последние отблески света. За ним осталось позади думяное пастбище, словно зеленое, искристое озеро, на которое все плотней и плотней уже ложился вечерний густой туман. С реки доносилось кваканье лягушек. Летучие мыши взвивались в воздухе большими, черными молниями, то и дело задевая в неслышном полете верха зелени. С севера повеяло холодом.

Мы пошли быстрее, чтоб вовремя добраться до села. Олекса, казалось, хотел что-то меня спросить, но почему-то не мог решиться:

— Да уж скажи ты мне, Мирон, по правде, а может, и верно, что вы бога хотите свергнуть и власть, и все?

Я ожидал подобного вопроса и улыбнулся.

— А как ты думаешь, может, и вправду хотим или нет? — спросил я.

— А кто вас там знает! Я так думаю, что этого не может быть. Да тут вот в нашем городе есть один такой чиновник, я с ним частенько вижусь, так вот он мне однажды за выпивкой и говорит: что ты там, Олекса, говорит, понимаешь! Вы думаете, что оно так все и есть, как попы говорят, и верите всему этому и признаете, а паны и попы над этим-то смеются! Они ничему не верят, а говорят, что все это один лишь обман для простых людей, чтобы им подчинялись. Правда ли это?

— Может, и правда, а может, и нет, — ответил я, — только вот скажи ты мне, судили ли вот этого чиновника так же, как и меня?

¹ В Берне, близ Вены, находилась большая тюрьма.

¹ Дил — гора близ Борислава.

— Судили? Хе! он разгуливает себе по городу, жив и невредим, ни один волос у него с головы не слетит.

— Ну, вот видишь, он говорил тебе против бога, а его не судили, а от меня ты ничего подобного не слышал, а меня вот судили. Значит, за что-то другое.

— Да, оно так будто выходит, — ответил Олекса.

— Так вот я тебе расскажу, за что нас судили. Нам объявили, что мы, — а было нас несколько человек, — составили между собой тайное общество, чтоб распространять среди людей социализм.

— Ага, ага, — перебил меня Олекса, — мне что-то и здесь наш ксендз про этот вот социализм говорил. Скажи ты мне: что это такое?

— Социализм, — ответил я, — это такая наука, чтоб вот, к примеру говоря, если люди должны обрабатывать поле по кусочкам, каждый отдельно для себя, то чтоб обрабатывать вместе, чтобы собрать все земли в одно общественное поле и чтоб работали бы на нем все вместе, а что уродится, то чтоб тоже шло в общественный амбар, а там уж общественное правление делит после этого на каждого по его работе: больше работал, больше и получает, работал меньше, то и получает меньше.

Олекса слушал в изумлении.

— Вот оно что, — говорит, — так это наука такая?

— Да, правильно, наука.

— И эта наука запрещена?

— Нет, не запрещена.

— Так за что ж вас судили тогда, если не запрещена?

— А, понимаешь, нам объявили, что будто мы устроили между собой тайное общество, а это не дозволяется.

— Ну, а вы устраивали такое общество?

— Да, говорю, — нам-то этого не доказали, а только выводили это из того, что наши у нас письма, которые мы писали друг другу.

— Но объясни ты мне, — начал Олекса после короткого молчания. — Тут про вас говорили, что вы власть уничтожаете, а ты вот говоришь, что власть

будет общественная, чтоб делить все будто на части, что каждому полагается?

— Да, правильно, — ответил я, — мы хотим только одного, чтоб каждый работал на пользу своего общества, а тогда все общество сможет обеспечить каждому такую жизнь, какой теперь даже и у самого богатого хозяина нету.

— А как же это так? — спросил Олекса.

— Да так вот, если в обществе все будут работать вместе, то сделают значительно больше, чем каждый для себя в отдельности. Видишь ли, человек, работая честно, всегда сделает больше, чем требуется ему на жизнь. Всего хлеба в общине не поешь, никто испытывать голода не будет, а если придется продавать, то оптом и там, где платят лучше. И тут выйдет польза. Вот возьми ты, к примеру. Ты знаешь, что теперь изобретены разные сельскохозяйственные машины, плуги лучшие, сеялки, молотилки, жатвенные машины, соломорезки и много разных других: они выполняют всякую работу и лучше, и быстрее, чем делает человек руками. У одного хозяина средств нехватит, чтоб обзавестись хотя бы одной такой машиной, а вся община, ведя хозяйство сообща, как одно большое хозяйство, сможет легко обзавестись такими машинами; и тогда для той работы, на которую требуется теперь месяц, будет достаточно и двух недель, а это значит, что если теперь все люди работают обычно по целому дню, то тогда смогут работать по полдня. Еще и другая польза может из этого получиться. Теперь, как ты знаешь, каждый хозяин занят для себя все одной и той же работой: все на поле да на поле. А если все хозяйства во всей общине сольются в одно большое хозяйство, — то, имея машины для полевых работ, столько людей, как теперь, не потребуется, и часть людей должна будет приняться за всякие ремесла и торговлю. И тогда будет достаточно рабочих рук, чтоб осушить болота, построить большие, хорошие дороги, выкорчевать дебри, разводить пчел и скот. Дети, которые теперь летом пасут скотину, смогут ходить в

школу. Община ради своего же блага захочет, чтоб из детей вышли здоровые и умные люди. Таким образом, можно будет сделать, чтоб не было ни бедных, ни богатых, а были бы все люди трудящиеся равны, чтоб жили они на свои труды хорошо и зажиточно и не терпели бы такой нужды, как в нынешнее время.

Олекса молчал. Было видно, что у него в голове зашевелились мысли, что он старался понять и разобраться во всем, что слышал.

Тем временем мы дошли до хаты Олексы. Огороженная старым, полузавалившимся плетнем и обсаженная несколькими полузасохшими яблоньками, она наклонилась набок, вздымаясь в сумерках старой, дырявой соломенной крышей да покривившимися стенами, еле державшимися на подпорках.

— Вот и мои пышные хоромы! — произнес с горькой усмешкой Олекса. — Заходи, брат, посидим маленько, потолкуем.

Мы вошли. В хате находилась жена Олексы Олена, еще моложавая, но очень подурневшая от нужды молодица, а вокруг нее стояла ватага маленьких детей. Она кормила их черешнями, а самого маленького держала у груди. Она с большой радостью стала меня приветствовать:

— Вот, боже ты мой, и не думали, и не гадали вас увидеть, распустили ведь про вас слухи: «Ого, нету Мирона Сторожа!» Уж и наплакалась я тогда!

Олена и теперь начала утирать глаза рукавом. Олекса в то время, как мы здоровались, стоял в стороне, добродушно улыбаясь и оглядывая хату. Хата была крайне бедная, посуда вся старая, дети болезненные и хилые (они уже с неделю питались почти одними только черешнями, хлеба нехватало, а новой картошки, единственной поддержки до нового урожая, еще не было!).

— Видишь, вот она, моя усадьба! — отозвался Олекса. — Ну, однако ж, усаживайся!

Я сел. Олекса подвинул себе стул и уселся напротив меня. Он собрался было меня угощать, но я отказался. Олена начала рассказывать про свою

жизнь и про то, как отчим издевается над моими братьями. У меня нехватает духу повторять все эти ужасные факты, они записаны у меня глубоко в сердце, а вам до них нет никакого дела.

Олекса, хоть и вмешивался не раз за это время в разговор жены, но видно было, что думал он о чем-то другом. Когда Олена кончила, он снова обратился ко мне:

— Ну, и чудесная же у вас эта наука, о которой ты мне говорил. Мне думается, много в ней правды.

— Какая это наука? — спросила Олена. Олекса начал по-своему, своими словами пояснять ей, в чем дело. Она удивлялась, вскакивала с места и время от времени восклицала: — Ну, вот видишь! Человек додумывается иной раз и сам до чего-нибудь такого, а оно вот и в школах этому учат. — Олекса, рассказывая ей, тоже разгорячился, его серые глаза начали блестеть, он не мог спокойно усидеть на месте и наконец крикнул:

— Ох, боже ты мой, боже, отчего ж человек такой темный, почему это он не видит ничего, что на свете делается?! Ну, подумай ты, жена, если бы все люди до этого дошли, то разве трудно им было бы так сделать? И запретить бы им никто не посмел! Ну, скажи ты мне, брат, если вот эта наука не запрещена, то за что ж на вас так наговаривают?

— Разные есть на это причины, — ответил я. — Наговаривают да кричат больше всего люди плохие, дармоеды, шкуродеры, они понимают, что если бы до этого дошло, то все бы у них сразу же рухнуло. А еще наговаривают люди глупые, которые не знают, чего мы хотим: им наговорили, что мы бунтовщики, хотим панов резать, попов да купцов, ну и кричат. А мы, как сам видишь, не то, чтобы резать, а даже и выгонять никого не думаем, — нам, чем больше людей, тем лучше! Больше будет рабочих рук, и работа лучше пойдет. Разумеется, если кто не будет работать, тот ничего и не получит и может себе на все четыре стороны отправляться.

— Да, да, так оно и следует! — аж вскрикнул Олекса. — Это вот самое

не раз говорил я и нашим панам: даром кровь людскую пьете. Зачем вас бог на свете держит? Вот так, милый мой брат, и держись ты этого, не отступай от этого, хотя бы все на тебя и наговаривали, как тут вот на меня в селе!

Я улыбнулся:

— А разве уже не каркают? Не бойтесь, есть уже и теперь такие, что если б могли, то меня прямиком бы на виселицу потащили! Но если уж человек узнал однажды правду, то он от нее уж не отречется, пока разумеется, захочет быть человеком честным.

— Ну, а как ты думаешь, что будет с тобой дальше?

— Что будет? Думаю, как-нибудь заработать столько, чтоб можно было земель обзавестись, а там, пожалуй, стану хозяйством заниматься: может, чем-нибудь людям и пригожусь.

Олекса и Олена, видимо, этого не ожидали. Мои слова их изумили.

— Как же это, столько лет проучившись, и все понапрасну?..

— А почему понапрасну? Или вы думаете, что только тот учится не напрасно, кто в попы выйдет или паном делается и может людей обдирать? Нет, брат, теперь самая высокая, самая наилучшая наука: уметь жить честно на пользу бедных, а не на их нужду. Теперь самая высшая наука говорит, что должно трудиться, работать на пользу общества. Теперь наука говорит, что если ты столько лет учился, то это ты как будто взаймы брал у всех людей, они тебя содержали, давали тебе книги, одевали тебя, кормили, а всего этого ты ведь еще не заработал. Так вот этот долг следует добросовестней оплатить!

Во время моей беседы лицо Олексы

начало проясняться, наливалось кровью, он поднялся со стула и, когда я кончил, схватился за голову и крикнул:

— Слышишь, слышишь, Олена! Слушай, что он говорит! Все понимаешь? Ох, брат, милый ты мой брат! Может, даст господь, и из наших Сторожей выйдет когда-нибудь людям польза, хотя бы с маковое зерно! Пускай тебя господь удержит на этом пути, уж если ты на него вступил.

Он бросился меня обнимать и целовать. Олена, утирая рукавом слезы, тоже подошла ко мне, маленькие Сторожи обступили меня, щебеча. На глазах у меня, впервые после двух долгих-долгих лет, навернулись чистые слезы волнения. Весь мир передо мной прояснился, новые силы наполнили меня, словно каждый из этих бедных людей, прибитых и презираемых, отдал мне частицу своей жизни, своих надежд, своих сил!

Ну что ж, милостивые государи, такие минуты случаются только с попавшими в черный список, точно так же, как только тот человек ощущает десятикратное живее красоту жизни, кто стоял под топором палача! Правда, жизнь попавшего в черный список бывает иной раз и печальной, и трудной, но среди нашей прогнившей обстановки только ее и можно назвать жизнью: внутреннее спокойствие, чистая совесть и борьба, вечная, неустанная борьба с темной, фальшью и тунеядством! А к тому же вот такие минуты, из коих одна стоит всей жизни, жизни в отравленной удушливой атмосфере безмыслия!

Эх, милостивые государи, во имя самой борьбы, во имя нескольких таких минут стоит, право ж, плюнуть на всякие цепи, стоит попасть в черный список.

★

2. ДВА ПРИЯТЕЛЯ

И что вы, кум, говорите о дружбе! Приятели, приятели! А я вот готов на что хотите спорить, что нет на свете ни дружбы, ни хороших приятелей! Вы можете говорить что вам угодно, а я все-таки буду настаивать на своем. Что такое — приятель? Найдете

ли вы такого приятеля, который помог бы вам в нужде, чем может? Говорится это только так, чтобы что-нибудь говорить, а ничего такого на самом деле нет... А если хотите, так я вам это докажу, чтобы вы знали, как мало теперь можно надеяться на приятеля.

Вы знаете, в какой дружбе я был с Фомой Подгорным? Да как же нам было и не подружиться? Мы, видите, были парни на все село, здоровые такие, словно дубы; жили мы при отцах, благодарить бога, хорошо, и отцы нам волю давали. В праздники, бывало, приоденемся, как бог указал, — не стыдно и меж людьми показаться. А девки! О, эти так от нас и не отстают, везде за нами. Известно, парни мы чистенькие были, да и родители-то наши не то, что какие-либо прочие...

Дружили мы с Фомой так, что любо. В лес ли по дрова, в камыши ли на охоту за утками, в пляс ли, другое какое дело, — все вместе. И не было промеж нас никакой ругни или неприязни. Скажет, бывало, Фома: «Семен, выходи завтра на мой покос, там не все еще скошено, а твой уж покочен». «Почему не выйти? Выйду!» — говорю. Скажу, бывало, Фоме: «Дружище, у тебя сейчас нет работы, возьми-ка ты наш невод да исправь хорошенько; с воскресенья пойдем на Днестр рыбачить». «Вот это хорошо» — скажет Фома, возьмет невод и исправит.

Наше село, видите, около самого Днестра стоит, на равнине. А мы оба очень любили рыбачить. Пойдем, бывало, или с сачком, или с неводом, или с кубарями, наловим такой красоты, что просто страсть, еле дотащишь! И еще хватит и на продажу!..

Ну, ничего! Работали мы с Фомой, как родные братья. Не раз удивлялись на нас люди. Как это они дружат, говорили они про нас, ведь они — огонь и вода! Я, видите, с рождения такой, а Фома прыткий да горячий, словно искра. Ну, что тут и говорить! Подружились, назад не оглядывались. Да как еще сговорились-то! Если бы наша деревня так каждый раз сговаривалась, выбирая нового старосту, никогда бы не было у нас такого шума и драки, как бывает каждый год!

Эх, года молодые! Хороши бы вы были, золотые были бы для каждого парня, если бы не приходила на вас эта страшная ведьма — солдатчина. Что теперь есть, — это все пустяки одни. Возьмут тебя в войско и держат там

по человеческому образу, не шельмуют тебя, как скотину. Правда, и теперь придется натерпеться, пока превзойдешь эту муштровку, да что теперешнее против прежнего... Старики говорят: «До тех пор пес не научится плавать, пока ему в ухо вода не затечет». Нет науки без муки. А теперь солдатчина не так страшна, как прежде. Ставишься раз, другой, третий — не возьмут, выпишут, и ты вольный казак: хочешь — женись, хочешь — дальше гуляй. В то время не так было. Спаси, господи, нас от такого! Тогда, бывало, становой сам составлял списки для воинского присутствия, в набор посылал, кого хотел, не спрашивая о том, сколько раз человек уже ставился под красную шапку. Другой бедняга десять, пятнадцать лет живет в вечном страхе. Вот, думает себе, придут жандармы, закуют в кандалы, да и угонят к чертям на кулички! Парни не шли сами в волость, не ставились, как теперь, а прятались и убежали, кто куда мог; начальство же с жандармами гонялись за ними по всем местам. Скверно было жить на свете.

Вот раз прослышали и мы с Фомой: записаны в набор. Боже! Замерло во мне сердце, как узнал я об этом. А Фома даже остолбенел совсем, сердешный.

— Не будем дожидаться, — говорит Семен, — страшного дня. Бежим!

— Бежим! — ответил я ему, да и пошел домой собираться. Отец, мать, весь дом, как узнали, что случилось, так и помертвели от великого горя.

— Сыночек ты наш, сыночек! — голосила мать. — Один ты у меня, как одна душа, богом данная, и то тебя отнимают от меня.

— Молчи, старуха, — сказал отец сквозь слезы, — не задерживай его, пусть идет. Авось, бог милосердный устережет его от тяжелой неволи! Сбирайся, родной, прощайся с матерью, с сестрами, пойдем, провожу тебя за село. Собрался, попрощался. Матушка замлела, когда я выходил.

— Семен, Семен, вернись! — кричала она. Я вернулся.

— Дай, хоть посмотрюсь я на тебя, сыночек мой милый, радость моя не-

наглядная! Может быть, в последний раз тебя вижу!

— Будьте спокойны, мама, бог милосерден! — ответил я дрожащим голосом, целуя ее, а у самого сердце так и стиснуло.

Пошли мы с родителем по-над Днестром. Там ждал меня Фома. Батюшка благословил нас, рассказал, где и куда какие дороги лежат; мы попрощались, да и пошли. Ох, и натерпелись же мы до весны, один бог про то знает!

Вот слышим, по селам шныряют жандармы — то того поймают, то другого. Нас еще как-то господь хранил. Мы все держались приднестровских мест, болот да зарослей. В одном селе говорят нам: «Бегите в поле! Жандармы с двух сторон подошли, перешарят камыши и изловят вас, как рыбу сетью».

Долюшка наша несчастная! Куда тут повернешь? В селе спрятаться — и догадки нет. В поле бежать — наверняка пропасть: поле гладкое, ровное, ни кустика, ни деревца нет... Поймают, как ни беги; имей хоть заячьи ноги — догонят; залезь хоть в мышачьи норы — выкопают.

— Фома, придется пропадать тут! — сказал я, опуская руки.

Мы уже три ночи не спали, измучились, устали, едва дышим, нет сил и шага сделать, не то, чтобы бежать по полю.

— Знаешь что, — говорит Фома, — иди за мной!

— Куда?

— Не спрашивай, иди, если не хочешь пропадать!

Я знал сметливость Фомы, собрался с силами и пошел. Дорогой думаю себе: «Вот тебе и приятель, друг любезный. Ведет меня бог вещь куда и слова ласкового не скажет, не улыбнется, не приласкает. Ой, ой, свет мой белый, несчастная моя головушка!

Правда, и до тех пор не раз находил меня Фома в великом несчастии, не раз выручал меня из него, несмотря на опасность для него самого, ну да зато и я никогда не бросал его в тяжелую минуту, слушался его, как отца.

Так и теперь.

Думаю так про себя и иду, кое-как волочу за Фомой ноги по задворкам села. Иду и угадать не могу, куда он ведет меня.

— Стой! — сказал Фома, подходя к самой крайней хате, — тут мы отдохнем и выспимся.

— Тут выспимся! — вскрикнул я от удивления. — Фома, да ты что? Да ведь это самая крайняя хата, да еще и стоит-то она на самой дороге, совсем открыто. Тут нас накроют и изловят, как воробьев в силке!

— Тут отдохнем! — снова сказал Фома холодно и твердо. — Я не могу итти дальше!

— Бойся бога, Фома! — кричу я ему. — Ведь ты сам в пропасть лезешь! Что с тобой приключилось? Иль ты рехнулся? Я не буду здесь отдыхать, с ума я еще не сошел!..

— Не будешь? Ну что ж! Как хочешь. Я здесь отдохну...

— Идем вон к тому стогу, там зароемся в сено. Не дури ты мне голову, не толкай сам себя в беду!

— Ни шагу не сделаю! — сказал Фома и пошел в хату.

Боже мой милостивый, ведь это мой приятель, мой дорогой товарищ! И он своей волей толкает и себя, и меня под нож... и не отступит от своего, хоть пропадай! Уперся, как козел рогами! Мать пречистая богородица! Избави меня от всего злого и от такого приятеля! Но что теперь делать? — думаю себе дальше. — Придется одному пропадать... Эх, думаю, все равно пропадать мне где-либо одному, а Фоме — тут. Лучше пропадем вместе! И я пошел за Фомой в хату.

— Что, надумался? — спрашивает он меня с насмешкой.

Боже, он еще насмеяется над моим горем, а я еле на ногах стою!

Хата, в которую мы вошли, была очень ветха, в ней жил старый дед — нищий. Осенью он иногда ночевал в ней, зимой жил где-либо на селе, а летом целыми неделями мыкался по селам за подаянным хлебом. И теперь мы не застали его. Хата была затворена засовом, но Фома отпер его палкой. В хате ничего не было, кроме несколь-

ких торб, дедовской палки, шапки, сшитой из различных кусочков, и всякого другого тряпья.

Странно мне показалось — чему, думаю себе, так радуется Фома да бегаёт по хате?

— Семен, — говорит он мне, — ты, кажется, двери-то затворил? Не затвори их, отвори немного, а то здесь душно.

Боже мой милостивый, видно, сошел мой Фома совсем с ума или еще что приключилось с ним?!

— Отвори дверь-то, слышишь! — крикнул он на меня.

Что же мне было делать? Должен был я послушать его.

— Раздевайся и ложись спать! Нужно проспать. Как пора будет итти, я тебя разбуду...

Перевертывалось мое сердце, и кипело в нем, как в котле. Слезы выступили из глаз.

— Фома, — говорю я сквозь слезы, — что с тобой приключилось? Или ты сердце потерял? Или ты забыл про отца, про мать? Или ты забыл, что жандармы, того и гляди, прискачут сюда? Побойся бога, не губи нас обоих! Ведь мы с тобой когда-то были товарищами, я очень любил тебя, как своего родного брата. Что я тебе сделал? За что ты хочешь мне жизни убавить?

И что вы думаете — смягчился от этих слов Фома? Как же! Отвернулся он от меня, как зверь какой, потер себе рукой не то лоб, не то шею, да и давай хохотать.

— Ха, ха, ха!.. Вот так приятель! — хохотал он. — Учуйал нюхом беду, как слепой колбасу в борще, и ну кричать: «Пропадаю я, ау!..»

Вот видите, какой любезный приятель. Нарвешься же на такого человека! Подождите, увидите, как он меня вокруг обошел.

— Семен, — говорит Фома через минутку, немного помягче. — Семен, брат ты мой! Или ты думаешь, что я бы не отдал жизни своей за тебя? Или ты забыл, что мы оба на одной дорожке стоим? Подожди думать, что я с ума спятил или что я хочу и тебя, и себя

погубить. Делай, брат, что скажу тебе, лучше будет; а вот после увидишь, что я еще не такой глупый, как тебе кажется.

Немножко успокоили меня эти слова. Что, думаю, будешь делать? Разделся я, постелил армяк на землю и лег. Заснуть?.. Где там! Дрожу всем телом, как рыба в мотне. Кому в такой тяжелой тревоге сон в голову полезет?

Фома не ложился, шарил что-то по хате. Что он задумал? Господь его знает, я не догадывался.

— Семен, — говорит он, видя, что я не могу заснуть, — на, выпей! — И поднес мне хорошую чарку водки. Водка у него была с собой, чарку нашел он в хате. Я выпил. Водка была крепкая, меня всего теплом проняло, — усталость сказала, — и через минуту я заснул, как камень.

Не знаю, долго ли я спал, или нет, только будит меня Фома снова.

— Семен, Семен! вставай, жандармы! — Последнее слово, словно удар грома над ухом, сразу заставило меня очнуться в одну минуту.

— Где, где? — спрашиваю я, вскочив на ноги.

— Не спрашивай. Делай, что скажу тебе.

— Что ж мне делать?

— Зажмурь глаза и не открывай их, что бы там ни было, до тех пор, пока не скажу тебе. Слышишь?

— Ладно, ладно!

— А теперь бери вот это в руки!

Я взял. Это была веревка или оброть, не знаю.

— Держи крепче!

— Держу.

— Иди теперь за мною!

Мы пошли.

Дорогою слышу: крик, плач, волы режут, псы лают, под ногами грязь, лужи, — догадываюсь, идем мы селом.

— Фома, бойся бога, куда ты ведешь меня?

— Ни слова, дурак! Жандармы идут! — шепнул он мне своим твердым голосом. Я замер со страху.

Вот тут нам и крышка, думаю про себя. Пропала коза, пропала и береза! Идем дальше, а подо мной колена

диль, диль, диль! Так и подгибаются! А тут вдруг слышу.

— Откуда идете? — спрашивает грубый голос.

Это, конечно, жандармы, думаю я. Ну, господа, помилуй грешную душу. Сейчас и нас спросят. Только удивляюсь я, почему они сперва спрашивают каких-то дедов.

Смешной дедовский голос отвечает ему возле меня:

— С белого света, паночек ласковый! Мы, божьи старцы, братья родные. В реке купались, в воду нырялись; я его занырял, а он глаз потерял. Хотел найти да не мог, так домой и побег...

— Ха, ха, ха! — засмеялось несколько голосов.

Господа боже, тут их было много. И почему они не берут и не вяжут нас? И ни слова не промолвят про нас?

— Где живете? — спросил снова резкий голос, но видно было, что сквозь смех.

— У края воды, паночек, у края воды! Наша хата из лебеды, щеколда из репейника, стреха из лопуха!

Снова смех слышен, но жандармы не берут нас. Я дрожу всем телом и держусь за веревку, не смея и взаправду со страху открыть глаза. Думаю себе: пусть будет, что будет, подожду — чем все это кончится.

— Этакая бестия продувная! — сказал, насмеявшись досыта, грубый голос. — Ну, однако, идем, — продолжал тот же жандарм, — пойдем вон в ту хату; там, наверное, поймает хорошую птицу. — Я слышал, как жандармы, смеясь, удалились, и от удивления не мог понять, где стою.

— Иди, слепой братец! — кричал дедовский дряхлый голос прямо передо мною. — Иди там, где ветер свищет! На ветер мы ляжем, ветром покроемся, ветер под голову возьмем и тепленько заснем.

— Насмешил он меня своими прибаутками! — донеслось до меня издалека.

Фома дернул меня за веревку. Я пошел за ним, все еще не зная, наверное, то ли это все наяву, то ли во сне, что

со мной творится. Мы шли еще довольно долго.

— Ну, открывай глаза, слепой кот, — сказал мне весело Фома. Я открыл. Густой сумрак уже разлился кругом нас по полю; вдали виднелось село; его можно было признать по клубам дыма, который то тут, то там взвивался над соломенными крышами.

— Ну что, взяли нас жандармы? — спросил меня, смеясь, Фома. Я не отвечал ни слова, не мог еще притти в себя.

— Товарищ мой дорогой, видишь теперь, что не спихнул я тебя в пропасть, — сказал он тихо.

Я теперь в первый раз взглянул на него. Что это такое? Какой-то дед с длинной бородой стоял передо мной.

— Во имя отца и сына, что с тобой, Фома?

— То же, что и с тобой! — отвечал он.

— То, что и со мной! Что ты говоришь?

— Посмотри в воду на свою рожу! — сказал Фома дряхлым голосом. Неподалеку была широкая лужа, я поглядел. Господа, помилуй! Если бы я не знал, что это я сам, я не узнал бы себя. Дед и дед! Хоть провались, а не узнаешь Семена! Обвешанный торбами, с длинной палкой в руке, с дырявой шапкой на голове. Фома тоже такой. Вот почему он так неотступно твердил: итти спать в дедовскую хату! Вот оно что!

Так вот мы и ушли на этот раз от беды. Но что вы думаете, на этом все и кончилось? Жандармы искали, рыскали повсюду; мы шли, кидаясь в разные стороны, как вороны на ветру, колесили да колесили за Днестром. Но вот слышим: уже унялась немного погоня, нет уже жандармов у околиц. Ну, слава тебе, господа, думаем, мы на этот раз спаслись! Теперь нужно подумать, каким образом вернуться домой.

— Раскинь-ка умом, Фома! — Фома взялся проводить меня домой. Мы обратились пошел обходными тропинками, осторожно, чтобы где-либо неожиданно не попасть в руки жандармов. Бог помог нам, и мы уже подходили к наше-

му селу; осталось нам, может быть, версты две-три, не больше. Кто бы мог думать, что тут-то мы и найдем то, от чего почти с полгода бегали по чужим селам. А нашли мы свою беду на мосту, как говорится в пословице. И все через моего приятеля, через Фома.

Сидели мы два дня в камышах. Было слышно, что в нашем селе еще шныряют жандармы. На другой день вечером говорит Фома:

— Знаешь что, Семен, у меня нога болит. Может быть, ты пошел бы на село, разузнал бы, что слышно, да принес что-либо поесть. — Я пошел. Только вышел из камыша, смотрю, жандармы ходят по полю. Я увидел их, даже остолбенел с перепугу. «Господи, — думаю, — а вдруг да они увидят меня!» Эх, подобрал я полы — да в камыши драла! Но уж было поздно: увидели они меня, собачьи дети, пустились за мной вдогонку. Вспоминаю теперь, были они вчетвером. Как и куда я бежал, не помню. Помню только, что упал возле Фомы. Фома сразу понял, в чем дело.

— Вставай, — крикнул он мне, — беги под мост!

Неподалеку был мост через речку; под мостом была пещерка, которую мы оба знали. Я собрал все свои силы и встал.

— А ты куда же пойдешь? — спросил я Фома.

— Беги, я о себе позабочусь! — Я побежал, оставив его в камышах.

Не знаю и до сих пор, что за хитрость придумал тогда Фома, чтобы уйти от погони. Через минуту, дрожа всем телом, сидел я под мостом, спрятавшись очень хорошо. Сижу я, сижу, понемногу и страх прошел, всматриваюсь, вслушиваюсь, что делается с Фомой. Ничего не слышно, лишь только река шумит под мостом.

Долго я сидел, согнувшись в три погибели, не шевелясь, между двумя бревнами. Только вот слышу какие-то голоса. Вылез я немножко, смотрю через

щель, — господи милостивый, да ведь это моего приятеля, моего Фому, ведут жандармы, на руках и на ногах побрякивают кандалы, жандармы окружили его и поблескивают карабинами. У меня в глазах потемнело, сердце, словно льдом, обдало. Гляжу: Фома по самую шею мокрый, грязный; на голове — гнилые листья, осока, камыш и всякая другая болотная трава. Видно, бедняга хотел спрятаться в болото, да не удалось, нашли его, словили!

«Слава тебе, господи, что хоть я уцелел» — подумал я про себя; сжался, как только мог, и сижу тихо, едва дух перевожу.

Ну, кто бы думал, что Фома захочет теперь напортить мне! Ох, ох, боже единый! Приятель, приятель! Слушайте, на какую хитрость пустился мой любезный приятель, чтобы и меня погубить, отдав в руки жандармов. Слышу я: издали раздаются шаги. Идут жандармы на тот мост, где я сижу; слышу еще что-то. Кто-то будто поет. Прислушиваюсь — голос Фомы. Идет он и поет да так-то ли протяжно:

Ой, Семене, мій друже Семене!
Та скажи ти батькові від мене,
Що не буде вже Хома
У неділеньку дома!

— Хорошо, хорошо! — крикнул я изпод моста, встревоженный жалобным напевом Фомы.

Господи, как я тогда напугался своего собственного голоса. Жить и умирать буду, а той минуты не забуду. Зашумело у меня в ушах, замерещилось всякое в голове... Готов я был сквозь землю провалиться... А жандармы — шасть под мост и выволокли меня, голубчика...

— Дурак ты, дурак!.. — только и сказал Фома и отвернулся... Ну вот, и верьте тут дружбе! Вот вам приятели, приятели! Отвернулся от меня да еще ругается... Нет на свете ни дружбы, ни хороших приятелей!..

3. ЛЕСИХИНА ЧЕЛЯДЬ

I

Стоял великолепный летний утренник. От прохладного легкого ветерка чуть-чуть колыхалась широкая полоса рожь. Рожь — словно золото. Колосья наклонились под тяжестью зерна и крупных капель росы, свесившихся с каждого стебелька. Золотистая рожь, высокая и ровная, перемешалась с зелеными листьями плюща и других сорных трав. То там, то здесь виднелся посреди этого золотого, шумящего и пахучего моря синий чарующий глазок василька или румяная, точно лицо девушки, головка полевого мака.

Взошло солнце. Зациркали сверчки на всевозможные голоса; зажужжали большие полевые мухи; затрепыхались пестрые мотыльки над колосистым морем. Природа ожила. Ветер подул сильнее, подул теплом со стороны леса и начал сгонять серебристую росу с трав и цветов.

На селе закипала жизнь. Выгон запестрился крестьянским скотом, выпущенным на пастьбу. За стадом шли заспанные, невымытые пастухи. Некоторые из них, уже успевшие позавтракать, весело распевали песни, покрикивали и похлопывали длинными кнутами.

Над хатами закурился дым. Хозяйки спешили топить печи, чтобы скорее сварить обед; молодежь шла в поля. Лишь над хатой старой Лесихи не курится дым, хотя в ней живут три женщины: сама Лесиха, дочка Горлина и молодая невестка Анна. Они никогда не топят по утрам, а стряпают все с вечера. Вечером спекут и сварят, что нужно, — и весь день к печи не подходят. Работающий народ, хоть куда!

Хозяйство у старой Лесихи хорошее. Хата хоть и старая, но еще крепкая; амбары и клетушки — новые, просторные и опрятные; скотинка — не нарадуешься, дай бог всякому, — тучная, здоровая, словно монастырские отцы. Пасека тоже после смерти лесихиною мужа Леся не пошла как-нибудь. Лесиха приняла к себе в дом старого де-

да Заруба, давно кормившегося христовым именем; обшила его, приютила. Дед летом и за пасекой ходит, и около хаты все досматривает. Лесиха была женщина хозяйственная, усердная, нрава крутого и твердого. Бывало, как за что примется, — говори, не говори, поставит на своем. Седина уже сильно пробивалась в ее густых волосах, но с лица она была здоровая, румяная, словно красный бурак. Она не умела льстиво или красно говорить, речь ее была отрывистая, как будто сердитая. Шутки или какого-нибудь радостного, мягкого слова от нее не слышал никто. Каждого она умела достать и допечь своим остреньким язычком. Правда, говорят, не с радости стала она такой. Покойник Лесь сильно бил ее с молодых лет: привязывал к скамье за косы и бил... С горя она тогда не раз напивалась, и эта привычка осталась у ней и теперь, хотя пьянство никогда не доводило ее до того, чтобы она промотала или пропила добро, нажитое тяжелой работой. Пила она всегда одна, без компании. Ни в ее хате, ни на селе никто никогда не понюхал от нее рюмки водки. Старая Лесиха была очень тверда и скупа.

Лесихин сын Игнат долгое время не мог жениться, — ни одна девка на селе не хотела итти за него. Не знаю, что было тому причиной, — то ли, что он был злой и задира, то ли, что был очень некрасив собой. Волосы красновато-рыжие, глаза маленькие, хитрые, как у татарина; сам — длинный, голова огурцом, а губы, словно подушки, надулись и оттопырились. Ну да не про то речь, пусть его судит мать пресвятая богородица! Но долго ни одна девка не хотела итти за него.

Еще, — не знаю, отчего и почему, — говорили люди, что Игнат не совсем чист на руку, что промеж его пальцев не раз кое-что и чужое проскальзывало. Не знаю, где как, а в нашем селе нет худшей хулы, если кого вором обзовут.

Так вот и было с Игнатом; вот почему он и не мог долгое время подыскать

себе жену. Никто не хотел итти за него.

В конце-концов нашлась-таки одна — Анна Тимишина. Вышла она за Игната, да на горе себе. Бедная сирота, без отца, без матери, только и принесла она в лесихину хату, что свои черные брови, карие очи, работающие руки и терпеливое, послушное сердце. Ой, и узнала же она горя за Игнатом! Не прошло и года, а уж стала исчезать ее краса, погас блеск ее глаз, клонилась к земле ее красивая головка. Оно и понятно — грызня, ссора, драка! Кого они не пригнут к земле, у кого не отбавят веселости?..

Вот вам и вся лесихина челядь. Да, был еще у Лесихи батрак Василь; он пас скот. Его прозвали Горлопаном за то, что он всегда загонит скотину в лес, да и кричит там во все горло, не переставая ни на минуту: то затянет плясовую, то грустную бурлацкую думу, то опять веселую, а потом, смотришь, и церковный глас или тропарь жарит...

Он был неграмотный и все это перенял на слух, и хотя бы одну песню умел окончить! Напевы и песни как-то дико перепелелись в его памяти и мотались, точно клочья сена в буйном ветре. Они одурманивали его. Он, когда пел, не сознавал ни себя, ни окружающего мира. Скотина бреда, куда хотела. А если пел кто другой, Горлопан не любил слушать. Говорили про него, что он придурковат; отчего это с ним так произошло, бог его знает, — может быть, от нужды или еще от чего. Ох, и натерпелся же он всякого горя после того, как померли его родители. Они, говорят, были богатые и очень любили своего Васильчика. Холера унесла их в один день; Васильчик перешел в чужие руки, а чужие руки, известно, не глядят. Били его сильно за упрямство, за лень. Выгнали из него эти пороки, но отуманили его молодую голову, затоптали последние искорки детской свободы и живости. Наследство его расплодилось в чужих руках, как снег в воде, и Василия отдали на службу к старой Лесихе. Ох, не рай и тут он нашел!

II

Лесиха, как сказано, была усердна и жадна: первая идет она жать с дочерью и невесткой.

— Упустит ли и нынче наш ораломученик скотину в овсы, или вспомнит о вчерашней дерке? — заговорила, словно кому-то грозясь, Лесиха, идя впереди других и поблескивая новым серпом.

— Отчего же ему не упустить? Как начнет горланить, так и о свете забудет, не то что о скотине! — ответила Горлина. Ее красивое, молодое лицо, освещаемое восходящим солнцем, светилось здоровым румянцем. Она была самой счастливой в этом доме. Мать любила ее, хотя, правду сказать, не раз и Горлине доводилось попробовать всякой обиды и от матери, и от брата.

— Вот, затравили бедного парня, как кота угорелого, а теперь и добивают! — несмело шепнула про себя Анна. В сердце бедной сироты давно пробудилась жалость к несчастному.

— Ага, свой своему поневоле брат! — отрезала ей гневно Лесиха. Она слышала тихие слова невестки.

— Сирота, сирота, а глотка широка! — кричала она, идя дальше. — Небось, мое солнышко, тебя бы с ним в одну петлю! Сошлись два друга-приятеля, да и давай друг друга жальте. Эх, не дай же вам, мать божья, светлого дня за то, что мое добро даром едите, мой хлеб даром жрете...

Лесиха умолкла; она задохнулась, и никто ей больше не отзывался.

Пришла на поле Анна, выбрала местечко на меже и положила туда завтрак. Лесихино поле было большое, в шесть загонов. Втроем они с трудом могли сжать его.

Лесиха тотчас же указала каждой ее место.

— Ты, негодная, — злобно обратилась она к невестке, — становись здесь! — Она показала самый широкий загон. — Ты (к дочке) — здесь; а я — здесь. — Она стала на крайний загон, самый легкий, имеющий только одну борозду и упирающийся в межу.

— Господи, помогай! — сказала Лесиха, и первая сжала горсть спелой, ко-

лосистой ржи, первая сделала перевязь, связала снопок и отставила его в сторону. Первый снопок, как водится, — на урожай.

— Ну, за работу! — буркнула Лесиха, и три женские головы наклонились к земле и покраснели. В руках заблестели серпы, захрустели твердые стебли ржи, подкошенные блестящими, зубчатыми лезвиями, и горсть за горстью падали на землю. Красивым движением рук перекидывали жницы через голову сжатую рожь и складывали ее позади, в жнивье. Время от времени выпрямится та или другая, возьмет горсть ржи, разделит надвое, скрутит перевязь и расстелет ее на свежем пахучем поле. Сверчки, жуки и всякие другие насекомые убегают из-под серпов. Иногда вспугнутая серая мышь выскочит из своей норы, пробежит под ногами жницы и снова юркнет в норку.

Рано поутру, на холодке, хорошо жать. Хруп, хруп, хруп... только и слышно на поле, да еще шелест складываемой в снопы ржи.

Свежий, полевой воздух, уединение, тишина поля и однообразие работы располагают душу к разговору. Но беседе здесь не легко завязать. Старая Лесиха сейчас же перервет ее своим окриком. Только и остается одно — пение. И вот сквозь однообразное хрупанье стеблей ржи пробивается прелестный серебристый, тихий, несмелый голосок. Это голос Горлины. Лесиха жнет, не обращая внимания на песню. Горлина становится смелее, голос — ее сильным, из сердца льется печальная, захватывающая песня:

Туди лози хилилися, куди
ім похило;
Туди очі дивилися, куди
серцю мило.

— Эй ты, негодная тварь! — крикнула Лесиха на невестку. — Ты никак кончаешься там! Руки у тебя отсохли, что ли?!

Анна, слабая по природе, не могла на самом широком загоне итти вровень с другими. Она отстала почти на полтора снопа.

— Что вы, мама, сегодня вцепились

в меня, как оса? — ответила она, собрав всю свою храбрость, но не поднимая головы. — Не видите разве, что не могу скорее жать. Загон мой самый широкий; ваш загон — не как мой, вам легко ворчать да ругаться.

Этот ответ разозлил Лесиху.

— О-о, посмотрите на нее! Как смела и упряма! Еще и рыло свое против меня ставит! Подожди, моя милая, до вечера, придет Игнат с косовицы, не будешь ты так разливаться!

Анна хотела еще что-то ответить, но Горлина шепнула ей:

— Брось, сестрица, мама все будет ворчать... Давай скорее жать вместе!

Анна замолкла. Горлина стала помогать жать ее загон и почти половину его забрала себе. Она была добрая девушка, хорошая душа, не в мать уродилась; лишь иногда только подделывалась под ее лад, — знала она жесткую, непокладистую материнскую натуру.

Снова стало тихо; лишь хрустели стебли, иногда дребезжал серп, ударившись о камень. Горлина затаила другую песенку. Грусть, печаль какая-то охватила Анну; сердце просило вылиться, и она несмело затаила любимую свою песню:

Зайшло сонінько за віконінько,
Як промінне коло;
Вийди, миленька, вийди, серденько,
Промов до мене слово!
Рада бим вийти, рада бим вийти,
До тебе говорити, —
Та лежить нелюб по правій руці,
Боюся 'го збудити!

Лесиха слушала песню, стиснувши зубы. Несколько раз она сурово исподлобья поглядывала на невестку. Анна не заметила этого, она жала и пела. Из ее затуманенных глаз скатилась крупная слеза и упала на серп. Видно было, что и сердце ее пело ту же песню, что и уста.

— Вот что у тебя в голове, боярыня моя ненаглядная! Какие песенки выводит! — перебила ее гневно Лесиха.

— Не троньте вы, мама, Анну! — с сердцем заметила Горлина. — Что за воркотня такая напала на вас: ни говорить, ни плакать, ни смеяться не даете и петь не велите! Какой бес зудит вас?

— Ну, ну, расстрекоталась, сорока кудехвостая! — крикнула мать. — Изволь жать да молчать! Небось, знаю я, где у тебя раки зимуют. Лучше молчи, а то и ты узнаешь, чего еще не знала!

Снова пошла работа однообразно, скучно. Лесиха время от времени покрикивала то на невестку, то на дочку, точно барский приказчик.

Солнце уже поднялось высоко. Сжатая рожь устилала загоны. Три наши женщины пополудновали и, не отдыхая, снова взялись за дело. Солнце пекло, с лиц катился пот. Сверчки стрекотали громко и пронзительно. Казалось, что голос их раздастся где-то глубоко под землей и сыплется в ухо, словно острый, кремневый песок. Кроме сверчков, все затихло, все спряталось в тень от жарких солнечных лучей. Лишь люди, цари природы, мучаются тогда, когда сама природа спокойно отдыхает.

III

— Лесиха! Лесиха! — раздался голос какого-то косаря из-за леса.

Лесиха встала, приложила козырьком руку к глазам, всматриваясь в даль.

— Не видите, что ли, ваши три коровы в овсах! — продолжал кричать косарь. Из леса долетело покрикиванье и визгливое пение Василия:

Ой там на горбочку
Сидів дідько в черепочку,
А ми його не пізнали...

Гей

(и это «гей» тянулось бесконечно долго),

мати ж, моя мати,

Пусти мене погуляти...

Го-о-осподи, воззвах тобі, услиши мя!..

— Ах, чортов сын! Снова напаскудил! Небось, печенки из себя выкричал! Василь... гей! Василь, гей! Черти бы тебя разорвали! Дурак восемнадцатый, гей! Не видишь, что ли, что корова в овсах, а? Лопнули бы твои глазницы, чорт проклятый!

— Господи, помилуй! — слышался ответ из леса. И это «луй» тянулось снова очень долго и пропало, наконец, где-то в далеком, темном лесу.

— Дурень ты, пустая твоя башка! — закричал снова косарь из-за леса. —

Что ж ты не выгонишь коров с поля? Расперло бы тебя, как Бачинскую гору, чорт!

— Ой, туду, ду, ду, ду, ду, за волами я иду! — заливался Василий в лесу.

Косарь потерял терпение, схватил косу на плечо и побежал сам выгонять коров из овса. Прогнав их в лес, он исчез вместе с ними в чаще деревьев. Через несколько минут послышался крик и рев Василия.

— Вот так! Вот так! — приговаривала Лесиха, снова наклоняясь над жнивьем. — Пусть с него там хоть три шкуры спустят, слова за него не скажу! Пусть в другой раз скотину пасет, а не орет с утра до ночи!

Вечерело. Солнце пышно закатилось за синие горы. Сумерки стали спускаться на поля и клубились все шире и шире густым сизым туманом. Из-под него, словно ребята из-под теплой перины, отзывались дергачи. Перепелки перекликались во ржи. С болота повеяло теплом и запахом осоки и камыша. Любвеобильно и легко становилось на сердце.

Наши женщины дожали загоны, связали снопы и поставили их в копны.

— Славный денек будет завтра, — проговорила Лесиха несколько ласковей, чем днем. — Благодарите бога, успели-таки мы сегодня покончить с жнивьем. Завтра нужно будет ячмень на Базарище сжать.

— Ладно, и сегодня ночь будет! — прошептала Горлина, слегка покраснев, и стихла. Анна усмехнулась, глядя на нее да так печально, словно сквозь слезы. Она одна знала тайну горлиного сердца, про ее любовь с красивым чернобровым парубком Дмитрием Громом.

— Ну, что стоите? Анна! Собирай траву, коровам отнесем! А ты, девка, беги, телят напои! Ну, живей!

Анна сразу молча метнулась, чему-то обрадовавшись. Удивительная сила лежит в ласковом слове! Горлина запела и побежала домой; а старая Лесиха, положив серп на голову, острием к платку, и взвалив себе на плечо сноп-первак, гордо пошла за дочкой. Последней пришла домой Анна, неся на плечах гро-

мадную вязанку свежей, душистой полевой травы и бурьяна. Коровы оглядывались на нее и, увидевши свой обычный ужин, стали мычать от радости; они все столпились около ворот сарая, зная, что придет до каждой из них черед войти туда, полакомиться свежей, сочной травой и отдать в чистое ведро свой дневной запас молока.

Уже смеркалось. У Лесихи топится печь, и огонь пылает ярким, красным светом. Анна с Горлиной торопятся, варят, что нужно, на завтра. Дед Заруба вслух говорит молитвы, сидя на лежанке; а Василь, наслушавшись ругани Лесихи и получив не один подзатыльник, полез на печь и заснул, не ожидая ужина.

Под окном слышались тяжелые мужицкие шаги и бренчанье косы, а немного погодя вошел в хату Игнат, кинул старую соломенную шляпу на лавку и сел около стола.

— Где Василь? Прочули его, что ль?

— Прочули, — ответила Анна, перемывая посуду и суетясь около стола...

— А ты, моя краля, куда серпы сунула?

— Куда? В сенях лежат, над дверью! Где же им быть?..

— Ага! Я чуть-чуть не наступил на них, чуть было ногу на всю жизнь не испортил. Под самым порогом лежат!

— Коты свалили...

— Ой, красота моя! Присматривай ты у меня за моим добром, как за своим глазом, а то смотри — будет тебе! Своего ты ничего не имеешь! Не принесла мне ни крошки!

Анна замолчала. Ей очень были обидны эти слова. «Зачем же ты брал меня? Ведь ты и тогда видел, что я бедна!» — эти мысли теснились у нее в голове, но не хватало смелости кинуть их в глаза Игнату.

— Ну, спать! — командовала Лесиха. — Ты, Анна, смотри, огонь в печи погаси, уголья замети к стенке, слышишь? Горшки в печь поставь, крупа лучше к завтраму допреет! Горлина, а воды еще нет! Беги за водой, живей!

Анна начала хозяйничать, а Горлина выбежала в сени, зазвенела ведрками

и коромыслом, скрипнула дверью, а через минуту уже слышалась веселая песенка:

Кобим я була така красна,
Як та зоря ясна,
Світла бим я миленькому,
Ніколи не згасла!

— Ишь, какие у нее в голове сверчки шмыгают! — отозвался сердито Игнат, раздеваясь. — Мама, не посылайте вы ее никогда вечером по воду!

— Почему?

— Да разве вы не знаете? Долгоносый Громик что-то на нее очень посматривает.

— Что-о?! — вскрикнула Лесиха. — Этот сопляк смеет подмазываться к моей дочке! Да я все волосы повывергаю из его шелудивой башки. Я пойду к его матери и скажу ей: пусть она его у себя держит, если не хочет иметь неприятностей.

Игнат уже лег в постель. Лесиха долго еще ворчала и ходила по хате.

— Эх, поймаю я его своими руками! Будет он меня помнить! Попролам раздери, проклятого!

— Ой-ой, мама, да что вам-то? — начала уговаривать ее Анна. Она до сих пор все время молчала, слушая ворчанье Лесихи. — Что вам-то так приспичило? Слушайте вы больше, что Игнат плетет. Он еще, пожалуй, скажет, что своими глазами видел, как Громик к Горлине приставал.

— Ишь какой аблакат нашелся! — крикнул с постели Игнат. — Пойдешь ты спать, что ли, работница ты моя, неоцененная!

Лесиха разделась и легла на печку, где Анна постелила для нее мягкую перину и положила две подушки. На печи уже сильно храпел дед Заруба, да время от времени покрикивал во сне Василь.

— Дедушка, а дедушка, повернитесь на другой бок! Да не храпите так, печь завалится! — говорила Лесиха, толкая деда в бок.

— Бог заплатит! Ручкам работающим и ножкам проходящим и головам слушающим, — начал Заруба сквозь сон свою обычную молитву, но вдруг пере-

вернулся на другой бок и затих. Через минуту заснула и Лесиха.

Тихо стало в хате. Месяц несмело, бледно проглядывал сквозь узкие, тусклые окна. Анна еще не легла спать. Она оперлась головой об окно, а локтями о подоконник и долго стояла, глубоко задумавшись. Над чем она задумалась? Бог знает. Может быть, проходили перед ее глазами ее молодые годы, невеселые, сиротливые... Может быть, закопошилась в ее сердце первая счастливая, бесталанная любовь: в глазах закрутились две слезинки, а из уст едва слышно полилась печальная песня:

Шуміли верби в поповій Дебри,
Тай лозовое пруття;
Люблю тя, дівча, люблю, серденько,
Про людей не візьму тя.
Не так про людей, не так про людей,
Отець-мати не велить...
Мене за тобою, мене за тобою
Само серденько болить!

— Жинка моя ненаглядная! Мышей, что ли, ты собралась ловить? Чего спать не идешь? — сердито проговорил Игнат.

Анна встрепенулась, обтерла слезы и стала на молитву. Молилась она долго, горячо, простыми, сердечными словами. Под окном, на вишне соловей выводил свои звонкие трели, все, словно насмех, начиная с одной и той же ноты: сначала тихо, тихо, а потом вдруг сра-

зу цюррррр... А на выгоне прощалась Горлина с своим дружкойм.

— Горлина, сердце мое, подожди еще хоть минуточку! Мы еще не наговорились!

— Нет, Митрик, нельзя больше, мама будет ругаться. Ты знаешь, какая она! Доброй ночи тебе! А завтра...

Не договорила, схватила ведерки с водой и побежала домой.

— Завтра... — шептал Митро. Долго смотрел он с выгона на лесихину хату, а потом задумался.

«Не напрасно ли полюбил я ее? Отдаст ли ее за меня Лесиха? — подумал он. Сердце его сжалось, когда он вспомнил о своей бедности. — Нужно работать, работать, что есть силы, а выйдет ли еще что из этого?.. Такая уж наша доля...»

Он глубоко вздохнул, вынул сзирель из-за пазухи и заиграл на ней да так грустно, точно в этой песне тонули все его надежды на тихое счастье.

— Горькая моя доля! — прошептал Митро и пошел к своему выгону, к бедной, обсаженной вербами хате, где жила его старуха-мать.

Вскоре из-за густых, зеленых верб раздался мужской голос, выводивший песню:

Ой, ще кури не піли,
Кажуть люди: день білий!
Ой, вийди, вийди, хороша дівчина,
Поговори зо мною!

Генерал Кравченко

М. РОЗЕНФЕЛЬД



В штабном самолете командующий военно-воздушными силами Прибалтийского Особого военного округа генерал-лейтенант Кравченко летит в Ригу. Далеко в туманной глубине расплываются силуэты Ленинграда, но еще долго смутно светится золоченый купол Исаакиевского собора. В эти минуты командующий вспоминает странную, исчезающую из памяти картину.

На вышке колокольни Исаакиевского собора стоит изумленный юноша. Вцепившись руками в перила, застыв с замирающим сердцем он, точно в пропасть, смотрит вниз на площадь. Свиристый ледяной ветер бьет в лицо. Кружится голова и кажется, будто колоссальный собор шатается, будто вот-вот он накренится и повалится, как застигнутый ураганом корабль...

Происходило это всего лишь десять лет назад, а юноша, которого потряс «вид с птичьего полета», был восемнадцатилетний Кравченко, будущий летчик-истребитель, ныне дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации.

Знаменитый летчик-истребитель — один из самых молодых генералов Красной армии. Сейчас ему 29 лет, а изумительная его биография уже может служить благодарным материалом для захватывающих повестей.

Но мы расскажем только о боевых подвигах.

В короткой хронике не охватить всего, что пережил герой в воздушных битвах, да и сделать это не так легко. К сожалению, Григорий Пантелеевич на фронтах не имел возможности регулярно вести дневник. Правда, временами между боями он под крылом своего самолета начинал делать записи, но всякий раз при сигнальном выстреле ракетного пистолета бросал карандаш в траву, и техник на лету ловил тетрадь, подхваченную ветром пропеллера.

Не менее сложно было узнавать у Кравченко подробности боев. В далекой степи, на фронте, автор этих строк, приезжая на аэродром к Кравченко, мог получать лишь отрывочные сведения. Не раз во время таких «интервью» над замаскированной палаткой командного пункта взвивалась ракета, и в ту же секунду Кравченко взлетал в воздух, а еще через несколько минут высоко в небе слышалась отрывистая стрельба — там разгорался бой.

Свою боевую деятельность истребитель Кравченко начинал лейтенантом. Немногие знали его имя, когда оно впервые промелькнуло одной строчкой в правительственном указе: во время службы в авиационных частях он был награжден орденом «Знак Почета» за выдающиеся успехи в боевой подготовке.

Но лейтенант Кравченко страстно мечтал о том дне, когда он будет сражаться за родину в настоящих боях. И заветный час наступил.

Однажды командир и комиссар Н-ской части вызвали Кравченко для чрезвычайно важной беседы.

— Лейтенант Кравченко, — объявил командир, — вам поручается выполнение специального задания Правительства. Место явки будет сообщено особо. Собирайтесь немедленно.

I

Ранним утром, когда старинный городок П., где находилась Н-ская авиационная часть, еще спал, к дому, в котором жил лейтенант Григорий Кравченко, подъехал автомобиль. В доме этом всю ночь не гасли огни. Лишь только шофер дал гудок, сразу захлопали двери, и вскоре лейтенант, сопровождаемый своими родными, вышел на крыльцо.

Ночная вьюга замела дороги, и автомобиль, выехав за город, принужден был возвратиться обратно. Но, как видно, дело, по которому вызывали Кравченко, было экстренным и необычайно важным. Немедленно лейтенанту подали аэросани, и, не задерживаясь ни на минуту, он отправился в путь.

В вихрях взметенного снега понесли аэросани по тихим пустынным улицам и скрылись во мраке, направившись к столице.

Три дня спустя лейтенант Григорий Кравченко и еще несколько летчиков-истребителей по особому правительственному заданию выехали из Москвы в путь.

Однообразное, медлительное путешествие выводило из себя истребителей, привыкших за один час пролетать сотни километров.

Но, наконец, путешествие по железной дороге закончилось. На перроне

вокзала веяло весной; грело теплое солнце.

Дальнейший путь Кравченко и его товарищи продолжали на самолете. Истребители летели в качестве пассажиров. Это очень забавляло их. Вскоре самолет



Г. П. Кравченко.

набрал высоту, в кабине стало холодно, и веселые пассажиры в легких одеждах замерзли.

Теплый воздух подул в щели, замерзшие окна оттаяли, солнце заблестало на гофрированном металле. Под крылом зазеленели долины, и впереди показался незнакомый город.

Неизвестно, куда дальше направился

Кравченко из этого города. Не будем углубляться в подробности. Скажем только, что на одном из аэродромов он получил чудесную машину, на которой он прежде так много летал, которую любил и называл «ласточкой».

Небо закрывали низко нависшие облака, синоптики передавали безнадежные сводки, но Кравченко и его приятель капитан Антон Губенко решили лететь.

«Ласточки» скрылись в зловещей мгле. За облаками на высоте пяти тысяч метров засияло яркое синее солнечное небо, и два истребителя, покачав крыльями, унеслись туда, где, наконец, должно было осуществиться то, что до сих пор было для них лишь надеждой, мечтой и тайной.

II

Он лежал на траве у проточного пруда, в тени душистых цветущих деревьев. Свистели и перекликались, мелькая среди ветвей, пестрые птицы. С дерева осыпались пахучие цветы. Медленно кружась в знойном воздухе, они падали в воду. Невдалеке сидели летчики. К их поясам были пристегнуты шлемы. Летчики поглядывали на сигнальную мачту и стучали костяшками домино.

Глухой гул доносился с реки, протекавшей мимо города. На аэродроме под жгучим солнцем двигались рабочие в широких соломенных шляпах. Они срывали бугры, выравнивали поле и с самой зари тонкими голосами тянули одну и ту же песню.

В тени у пруда лейтенант Григорий Кравченко писал родным письмо.

«Ровно месяц, — писал он, — я ничего не делаю. Скучно и обидно...»

Да, прошел уже месяц с того дня, когда Кравченко прибыл в этот город. Терпение его уже истощалось, а он еще ни разу не был в бою.

Неприятельские самолеты не появлялись над городом Н. уже много дней. Григорий Кравченко и его товарищи, такие же молодые и такие же нетер-

пеливые истребители, с утра располагались у пруда, на краю аэродрома, и с тоской глядели на сигнальную мачту, от всей души мечтая, чтобы на ней сию же минуту взвился сигнальный флаг.

Всего досаднее и обиднее было то, что враг находился поблизости. Каждый день (летчики знали это по газетам и сводкам) враг рыскал над городами. И кто-то уже дрался с врагом, кто-то давал ему отпор. А вот они, летчики, которым поручена защита города Н., должны, сложа руки, сидеть здесь, у этого опротивевшего пруда, и ждать под этими наскучившими цветущими деревьями, бесконечно ждать...

Тихие заунывные звуки сирены перебили мысли летчика. Кравченко вскочил на ноги. Завывание усиливалось. Казалось, от жалостного воя сирены всколыхнулся неподвижный знойный воздух. Внезапно призывный и тоскливый стон настороженно оборвался, но через секунду сирена завывала еще пронзительней, и Кравченко увидел: на сигнальной мачте взвился, наконец, выцветший флаг.

Замерло, потом учащенно заколотилось сердце. Кравченко, уже не глядя на флаг, не слыша сирены, помчался к самолету. Тревожный сигнал, как будто вырываясь из-под земли, полз, рассеивался по всему аэродрому. Пригибаясь, раскинув руки, бежали рабочие:

— Тревога, тревога! Летят!

Летят! Наконец-то наступила минута, которой Кравченко ждал годы.

Летчики, сбежавшие со всех сторон, напряженно выстроились перед командиром группы. Став в строй, Кравченко услышал доклад дежурного:

— Крупный отряд неприятельских бомбардировщиков в сопровождении истребителей пересек линию фронта и идет в направлении нашего аэродрома... Тридцать шесть бомбардировщиков и тридцать истребителей. Высота 4 000—6 000 метров!

— Они будут здесь через сорок минут, — закончил дежурный, и командир повернулся к летчикам.

«Они... они будут здесь» — мысленно повторял Кравченко. И вдруг ему показалось невероятным: неужели сейчас, неужели так скоро это произойдет?

Молодой истребитель не мог себе представить, как это случится. Правда, он уже сотни раз сражался. Но ведь то были условные противники. А сейчас... Сейчас предстоит настоящее сражение.

Короткий приказ — командир группы сделал шаг вперед и скомандовал:

— Летчики, по самолетам!

В ВОЗДУХ НА ВРАГА!

(Из записок летчика-истребителя старшего лейтенанта Г. П. Кравченко.)

— Летчики, по самолетам! — скомандовал командир группы.

Признаюсь, ожидая приказа, я несколько волновался, и по спине пробегали мурашки. Я мысленно проверял себя, думал, представлял, как я себя буду вести в воздухе, в воздушном бою.

И вот встреча...

Произошло это недалеко от города. Сверкающие бомбардировщики неслись нам навстречу. Позднее мы узнали, что N-ская истребительная эскадрилья, расположенная возле нас, еще до нашего вылета поднялась в воздух и завязала бой с истребителями, охранявшими вражеские бомбардировщики.

В последнюю минуту неприятельские бомбардировщики увидели нас.

Они надеялись легко, беспрепятственно пролететь над городом и сбросить бомбы. И вдруг их охрана исчезает, остается где-то в стороне, а сейчас им перерезают путь новые истребители.

Какая неприятность!

От неожиданности строй бомбардировщиков разорвался. Они рассыпались на отдельные группы и, еще не долетая до города, начали сбрасывать бомбы.

Вот они уже близко; у самого носа моего самолета — вражеский бомбардировщик. Как будто кто-то толкнул меня, и этот толчок отдался в сознании:

— Пора!

Я открыл огонь, и струя пуль ударила в бок бомбардировщику.

«Огонь, огонь! — мелькнуло в голове. — Я дерусь!»

В воздухе сквозь рев моторов вокруг слышалась отрывистая стрельба.

Мелькнуло задранное крыло бомбардировщика, откуда-то из-под низу взметнулся черный столб дыма.

Бой в разгаре!

В воздухе уже тесно. Самолеты противника рассыпались по всему небу. Огонь наших истребителей всюду наступает вражеские машины.

В воздухе запахло едким дымом. Вспыхнули белые точки, потом сверкнули белоснежные зонты — вражеские летчики, выбрасываясь из горящих машин, спасаются на парашютах.

На полных скоростях ударили уцелевшие бомбардировщики. Догоняя одного из беглецов, который ринулся вниз, я заметил, что город подо мною исчез.

Я стрелял в хвост бомбардировщику, но он продолжал лететь, намереваясь во что бы то ни стало вырваться и ударить.

Только теперь я почувствовал, что нервы напряжены до крайности. «Почему он не горит и не падает? — злился я. И сразу догадался: — Надо быть выдержаннее, не злиться и не бить мимо».

В прицел удирающий бомбардировщик казался совсем близким, но нас еще разделяло большое расстояние.

От досады я даже вспотел. Обернувшись на миг, увидел, что позади никого нет. Наши где-то гнались за беглецами, и я остался один. Нет, не один. Нас двое, а вот сейчас я, действительно, буду один...

Сжалось сердце... Я у самого хвоста бомбардировщика. Жму на все гашетки. Струей хлещут, бьют пули... «Хорошо, отлично, — командую, кричу я про себя, до боли стиснув зубы, — еще, еще..... ура!»

Из бака бомбардировщика полился бензин. Трассирующие пули бьют по пробитому баку и...

По блестящей поверхности бомбардировщика скользнуло красное пламя. Огонь и дым, взметнувшись из-под низу, охватили бомбардировщик.

«Конец!» — мысленно воскликнул я, видя, как загорается вражеский самолет.

Но до конца еще было далеко...

★

Огнем полихал накренившийся, обреченный на гибель бомбардировщик, когда обрадованный Кравченко внезапно услышал за спиной быстрый и резкий стук, будто кто-то нервно и злобно застучал кулаком в двери.

Гулкий металлический звон отдался в ушах; в тот же миг стекла очков потускнели, в глазах помутнело, дым и небо скрылись из виду, непроницаемая синева затуманила взор, и лицо словно обожгло огнем.

Оглушенный неожиданностью, Кравченко не понял, что произошло. Острый запах бензина. Душный, горячий, обжигающий жар опалил лицо... Изю всех сил Кравченко сунул ручку вперед и бросился вниз. Он все еще не мог понять, что случилось, как вдруг на миг просветлело, и летчик увидел позади себя вражеский истребитель.

«Охранник» — догадался Кравченко, моментально забыв про жгучую боль.

Откуда же он появился?

Но раздумывать было некогда. Кравченко пустил самолет почти вертикально, свечкой взвился ввысь и бросился в атаку.

В атаку! Кравченко сорвал забрызганные очки, но стало еще хуже.

Едкий бензин больно резал глаза.

«Неужели придется умирать? — недоумеваяе подумал он: — Погибнуть? В первом же бою, после первого успеха?.. Но, если придется умирать в ясном небе, то надо прежде всего уничтожить врага!»

Превозмогая боль в глазах, Кравченко развернулся и снова кинулся на противника в лобовую атаку.

Вражеский истребитель увернулся от боя и, набирая предельную скорость, стал удаляться.

Внезапно перед глазами Кравченко промелькнул новый самолет. Глаза мучительно резало. Кравченко приготовился сражаться со вторым противником, как вдруг увидел, что это «ласточка».

«Свой!» Сквозь туманную синеву, застилавшую взор, Кравченко заметил номер: «9».

«Да это Антон Губенко. Он пришел на выручку!»

И сразу на сердце стало легко. Кравченко подлетел к «ласточке» и с радостью увидел лицо товарища.

Боль становилась все сильнее. Из пробитых баков хлестали бензин и горячее масло. Вражеский истребитель удирал. Почему Губенко не преследует врага? Летя рядом с Кравченко на своей «ласточке», Антон кивнул головой и показал на свои пулеметы. И Кравченко понял:

«Пулеметы пустые...»

Так вот почему Губенко отпустил противника! У него не было больше патронов. Но и с пустыми пулеметами он все же прилетел на выручку...

Вражеский истребитель, пытаясь скрыться, пошел на снижение.

Лететь с пробитым баком невозможно. Нужно сейчас же итти на посадку. Но Кравченко было стыдно перед товарищем, так самоотверженно ринувшимся ему на помощь. Поймет ли он? Ведь Антон не знает, что глаза Кравченко уже ничего не видят, что лицо его обожжено, что от удушливых паров бензина и горячего масла нечем дышать. И Кравченко решил преследовать исчезающего противника. Снова, развив предельную скорость, он ринулся за врагом.

Их разделяло не больше двухсот метров.

Скомандовав про себя «огонь», Кравченко нажал на гашетку пулемета.

В этот момент мотор чихнул и остановился.

Тихо стало в воздухе. Только где-то позади рокотал мотор «ласточки» Губенко. Альтиметр показывал высоту 1300 метров. Кравченко посмотрел на землю. Узкая серебристая река извивалась посреди поблескивавших на солнце болот. Впереди раскинулась деревушка, и всюду, куда достигал глаз, маячили холмы.

«Где садиться?» — снижаясь, раздумывал Кравченко. В этот момент к нему снова подлетел Губенко. Он показал рукой на шасси и покачал головой.

«Не выпускать шасси, — садись на пузо» — сообразил Кравченко и кивнул приятелю: «Есть».

Подняв руку, приветствуя и давая понять, что он не станет мешать, Губенко отлетел в сторону.

Блестят на солнце влажные кочки болот, искрится яркая зелень. Гудит ветер в ушах.

Земля... Земля...

Искалеченный самолет пронесся над землей, в вихре брызг плавно коснулся зелени, заскользил, пополз по болоту и стал. Выскочив из самолета, Кравченко сорвал с головы шлем, помахал Губенко и крикнул, словно его друг мог услышать:

— Все в порядке! Лети домой!

И «ласточка», качнув крыльями, быстро скрылась из виду.

ПОСЛЕ БОЯ

(Из записок летчика-истребителя старшего лейтенанта Г. П. Кравченко.)

Удивительное состояние переживал я, стоя у своего самолета и провожая взглядом исчезающего Губенко: спасибо, дорогой друг, выручил!

Глаза болели, кружилась голова, — при посадке я еще стукнулся челюстью, ударился левой щекой и лбом о прицел, но в горячке я не заметил боли. Мой враг исчез, но мне казалось, будто я вижу его лицо, вижу и запоминаю. Нет, это так просто ему не сойдет. Что из того, что он улетел? Нет, мы еще встретимся! Из тысячи я тебя найду и буду знать, что это ты.. Запомни этот день, как я его запомнил. И вместе с тем я испытывал радость. Мой первый бой состоялся, и я все-таки сбил одного бомбардировщика. Правда, кончился этот бой как-то несуразно, — искусный враг изуродовал мою машину, но ведь я-то остался жив, и самолет мой сохранился! Все это я передумал в первую же минуту после посадки.

Со всех сторон сбегались крестьяне. Боль в глазах и в голове усиливалась.

Приветливые крестьяне окружили меня и проводили к ближайшему телефону. Оставив охрану у самолета, я отбыл в Н.

Расстояние, которое я пролетел меньше чем за час, мне пришлось ехать целые сутки. Только к вечеру 30 апреля я прибыл в Н., явился в часть и... попал на вечер в честь Первого мая. Пером не опишешь, как я был счастлив, видя вокруг друзей, слыша их голоса! Наперебой товарищи рассказывали мне интереснейшие подробности сражения.

В этом бою мы уничтожили 12 бомбардировщиков и 9 истребителей. В обломках погибших самолетов остались 70 вражеских летчиков.

Под разноцветными праздничными первомайскими огнями мы праздновали победу.

В шуме праздника снова острое нетерпение охватывало меня. Скорей бы опять в бой, в воздух, на врага!

III

В непрерывных сражениях дни мелькают, как сверкающий пропеллер. Давно ли Кравченко волновался перед первым боем?

Сколько времени прошло с тех пор, Кравченко уже не помнил. Каждый день происходили бои, острые переживания и впечатления перемешались, и юный «птенец» со сказочной быстротой превратился в опытного воздушного бойца.

Он и раньше был спокойным, уверенным в себе, но после первых боев товарищи заметили, что Кравченко стал еще более хладнокровным, или, как выражаются в этой среде, — более «выдержанным».

Он еще крепче полюбил товарищей, с которыми вместе сражался, но теперь это была не просто дружба, какая возникает среди земляков, поселившихся в одном доме, вдали от родных мест. Их сплотили дни тревог и сражений. В жестоких боях, в минуту смертельной опасности они выручали друг друга, и у всех у них уже были общие, неразделимые воспоминания на всю жизнь.

Скоро Кравченко потерял счет боям; и, хотя один бой не походил на другой, запоминался только вчерашний день, только то, что произошло всего несколько часов назад.

С жгучим нетерпением ждал Кравченко новых и новых битв. А когда на мачте поднимался флаг и в воздух взвивалась ракета, когда он быстро усаживался в самолет и брался за ручку, ни с чем не сравнимое чувство охватывало его. Все смешивалось вместе — радость, уверенность в себе, неистовая злоба к врагу, любопытство, «что сейчас будет», и предвкушение победы. Когда он взлетал, ему казалось, что он уже видит, чувствует возле себя ненавистный металлический обрубок «хвоста» вражеского самолета.

Но ведь и вокруг него, и над ним, и под крыльями его самолета носились

враги, рассекая воздух, били струи пуль, разрывались снаряды зениток... Опасность? Чувствовал ли он опасность, страшился ли ее, остерегался ли, или, забывая все на свете, полагался только на случай и удачу? Нет, Кравченко всегда помнил о смертельной опасности, и только поэтому он становился все более и более отважным пилотом.

Продельвая поразительные, молниеносные каскады фигур, он с четкостью, не поддающейся никакому измерению, в сотые доли секунды принимал решения и выполнял их быстрее, чем мигает ресница глаза. Он поражал и ошеломлял своих воздушных противников неожиданными, и они терялись, не зная, что предпринять; а Кравченко пользовался их растерянностью и молниеносно наносил уничтожающий удар. Вместе со своими товарищами-истребителями он непрерывно искал в воздухе самолеты противника, чтобы навязать им бой.

Так, молодой лейтенант завоевал всеобщее уважение среди самых бывалых истребителей, и все забыли, что этот смельчак, виртуоз воздушного боя, еще недавно был новичком...

...С рассвета шел проливной дождь. Узкие мутные озера растекались по аэродрому. С крыльев самолетов, напомиавших под дождем нахохлившихся птиц, струями лилась вода. В рыхлом небе змешались густые тучи; медленно проплывая над полем, они затянули горизонт серым мраком.

Нескончаемый дождь как будто смыл живые краски, и не верилось, что вчера блистало солнце и небо было голубым. Мгла и унылые хлюпающие звуки дождя портили настроение. Утром объявили тревогу, всем это показалось удивительным, и вот теперь летчики, поджав ноги, сидели под крыльями самолетов и злились.

Наконец, в середине дня промокшие насквозь истребители получили разрешение командира отряда отправиться в дом. Летчики собрались в комнате, сложили в углу парашюты. Но все-таки они поглядывали на сигнальную мачту.

Невдалеке от окна, усевшись на низком табурете, капитан Антон Губенко читал книгу. За его спиной стоял Кравченко.

— Красный флаг! — порывисто крикнул кто-то у окна.

Все повскакивали с мест. И только Губенко сидел, не двигаясь и не отрывая взгляда от книги.

Стоявший у окна летчик кивнул головой, указывая на Губенко, и все расхохотались: весельчак «разыгрывал» увлекшегося романом капитана.

— Красный флаг! — снова вскрикнул летчик.

Опять все повскакивали со стульев, а Губенко, не оборачиваясь, продолжал читать.

«Розыгрыш» не удался, и весельчак отошел от окна, не зная, чем заняться.

Склонив голову, Губенко задумчиво переворачивал страницы, и вдруг... Никто еще не понял, что произошло, как Губенко уже выскочил в дверь. Точно по команде, все взглянули в окно и кинулись из комнаты.

На сигнальной мачте поднимался флаг:

— Тревога!

На бегу одевая парашюты, летчики неслись к машинам.

Лил дождь, медленно ползли густые тучи. На эти низкие свинцовые густые тучи и надеялся враг, стремясь застать советских летчиков врасплох.

Мокрый сигнальный флаг повис на кончике мачты. И в этот же момент капитан Губенко со своим звеном поднялся в воздух.

Ожидая дальнейших приказаний, остальные летчики стояли у своих самолетов.

Расхлестанная улетевшими машинами, еще шумела, шипела и бурно кружилась по траве вода. Три самолета звена Губенко уже разрезали облака.

Смутными тенями выскользнули из-за туч шесть вражеских машин. Сразу начался бой. Истребители дрались низко, под облаками, на высоте не более 600 метров.

Не сводя глаз с «ласточки» Губенко, боясь упустить ее из виду, Кравченко стоял под дождем, задрал голову, не

решаясь пошевельнуться. Вот Антон «прицепился» к хвосту вражеского самолета.

Извернувшись, противник делает отчаянную попытку ринуться в лобовую атаку. Но вдруг он замирает: Губенко длинной пулеметной очередью пробил самолет, и вражеская машина с задранными колесами падает на землю.

— О, теперь им конец! — воскликнул Кравченко. — Наш Антон со своими соколиками быстро...

Ракета. Сигнал. Кравченко не успел закончить фразы.

— По самолетам!

С шипением разлетелись брызги, ускользнула мокрая земля, тучи помчались навстречу.

Взлетая над аэродромом, Кравченко с высоты увидел, как в стороне, среди мутных луж, в дыму горели два сбитых вражеских самолета.

Покачав крыльями, он повел свое звено туда, где сражался Губенко. Некогда было раздумывать, зачем командование послало его в бой, когда и один Антон мог отлично справиться: ведь три против четырех—это совсем нормально. Кравченко присоединился к Губенко; ведя за собой свои звенья, два друга стали искать скрывшихся в облаках врагов.

Долго летали они, ныряя в тучах, как среди серых сугробов, но противник пропал. Не желая понапрасну терять дорогое время, лейтенант кивнул капитану:

«Не пора ли возвращаться?»

«Нет» — отрицательно закачал головой Губенко, и Кравченко понял, что капитан чего-то ожидает.

Темные силуэты неожиданно промелькнули перед глазами. Две стаи вражеских самолетов выскочили из разрывов облаков.

«Тридцать, — успел подсчитать Кравченко, — семь и... тридцать!»

Кравченко сделал свечку и, совершив бешеный бросок ввысь, моментально оказался позади вражеских самолетов. Звено «ласточек» следовало за ним, в точности повторяя его маневры.

В стрельбе, грохоте и реве моторов прошло всего несколько секунд. Нестер-
«Новый мир», № 5.

пимой наглостью казалось Кравченко, что вражеские машины все еще не загораются и не падают: «Когда же вы будете гореть? — словно допытывался он, стреляя в упор. — Когда?» Наконец, один, крайний правый, самолет противника клюнул носом, завертелся, задымился, полетел в пропасть.

В бою торжествовать некогда. В ту же секунду, когда сбитый самолет упал на землю, Кравченко увидел пять истребителей, которые заходили ему в хвост, и сразу же его «ласточка» оказалась под смертельным перекрестным огнем.

«Пять против одного! Их пять... а вот еще один... шесть? Нет, это «ласточка»... Да ведь это Антон!»

В одно мгновение Губенко вознесся над вражеской пятеркой.

«Он пришел на выручку, — обрадовался лейтенант, — теперь нас двое».

Капитан залетел в тыл к врагам, и пятерка противника рассыпалась. Путь свободен! Перед Кравченко открылся вольный простор. Капитан Губенко выручил друга, но сам он тотчас попал под яростный огонь вражеского звена. Кравченко подлетел к другу, но было уже поздно: с перевернутыми вверх колесами подбитая «ласточка» падала.

Выбросившись из самолета, Губенко дернул кольцо парашюта и понесся вниз. Лишь только раскрылся купол, три вражеских самолета одновременно начали стрелять по спускавшемуся на землю пилоту.

С ревом, словно предостерегая врагов, самолет Кравченко бросился в атаку на них. Между тем Губенко, подтянув стропы парашюта, камнем падал на землю.

Кружа над другом, охраняя его, Кравченко стрелял из пулеметов, не давая врагам приблизиться к нему. И когда капитан оказался на земле, Кравченко, вне себя от радости, свечкой взвился в поднебесье. Крылья рассекли густое облако, и вдруг, откуда ни возьми, рядом мелькнули две родные «ласточки».

«Победа за нами!» — решил Кравченко. Не видя вокруг врагов, он сделал знак итти на аэродром, — «домой», — как вдруг совсем близко, из

облаков выплыли три тяжелых вражеских корабля под охраной четырех истребителей.

Потерян счет врагам: шесть противников, потом тридцать, а теперь еще семь!..

Кравченко снова взвился ввысь и покачал крыльями. Это был сигнал для летевших за ним «ласточек»:

— В бой! В бой!

Уже около двух часов прошло с той минуты, как лейтенант со своим звеном поднялся в воздух. Кончалось горючее. Товарищи Кравченко были вынуждены пойти на посадку. Он остался один.

Не теряя времени, он бросился на ближайший вражеский истребитель. На предельной скорости, точно с разгону, он зашел противнику в хвост и стал стрелять.

Два истребителя кружились, гонялись друг за другом. Кравченко то-и-дело вырывался вперед, потом атаковал противника прямо в лоб.

Но что это? Кравченко невольно отшатнулся, точно огонь обжег его пальцы. Он еще и еще раз судорожно нажал на гашетку: пулеметы молчали. Все пули были расстреляны.

«Ну, что ж, — решил Кравченко с внезапной холодностью, как будто он уже давно был готов к такой беспримерной неприятности, — все равно, я не выпущу врага!»

Он снизился над вражеским истребителем и стал «прижимать» его к земле.

Несколько раз противник, ускользая, вырывался из-под удара, но лейтенант настигал его и все более и более упорно прижимал книзу.

Вражеский летчик растерялся. Он даже не пытался стрелять, — настолько грозен был вид нависшего над ним истребителя.

Браг никуда не мог укрыться от немолчаливого преследователя, который висел над его головой, почти прикасаясь, прижимал, давил...

И вдруг Кравченко увидел, что мотор вражеского истребителя задымился от перегрева.

«Не отставать... Еще немного... Еще!»

В последний раз противник попробовал извернуться, но тут Кравченко едва не обрубил ему хвост пропеллером. Мотор врага задымился сильнее, совсем близко промелькнули лужи, вражеский самолет рванулся вниз и врезался в землю.

И в ту же минуту в баках у самолета Кравченко иссякла последняя капля бензина и остановился мотор. С остановившимся мотором Кравченко бесшумно приземлился на краю аэродрома.

...По навесу веранды барабанил дождь. Тучи тянулись над аэродромом, и холодная мгла ползла по залитой водой траве. Вдали смутно дымились догорающие обломки вражеских самолетов. Не выпуская рук друг друга, стояли лейтенант Кравченко и капитан Губенко. Они смотрели на небо.

— Великолепная погодка для авиации, — сказал Кравченко, — не правда ли?

— Совершенно верно, — ответил Губенко, — редко бывает такой чудесный день!

IV

До сих пор он был только лишь воздушным бойцом. Отличным бойцом называли его командиры и товарищи; потом его прозвали немного неуклюжим, но искренним именем «выручальщик», а вскоре он услышал еще более почетное слово — «учитель».

Несмотря на то, что ему изо дня в день приходилось испытывать острые переживания в опасных боях, ежеминутно видеть перед глазами смерть, он по-прежнему оставался уравновешенным, спокойным человеком, очень строгим к себе и точным во всех случаях жизни.

Ночью он крепко спал, утром бежал купаться в бассейн или принимал душ, как физкультурник, который точно исполняет правила режима, готовясь к соревнованиям. Бодрый с зари, он оставался весь день энергичным, жизнерадостным, и даже в самые серьезные моменты его глаза смеялись. Он одинаково переносил жару и холод. На немислимой высоте, если случалось лететь без кислородного прибора, он ни на мгновение не терял выдержки.

В свободные минуты лейтенант мысленно вспоминал минувшие сражения до незаметных мелочей и учился на боевом опыте. За отвагу он вскоре был награжден Орденом Красного Знамени.

Так прошло несколько месяцев. И вот однажды во время очередного сражения произошло нечто такое, что ошеломило даже привыкших ко всему, хорошо знавших Кравченко, выдавших виды друзей-истребителей. Свидетелям этого поразительного эпизода в первую секунду показалось, что лейтенант сошел с ума.

В один из жарких дней «ласточки», кружась на высоте семи тысяч метров, охраняли свой аэродром. Накануне командование получило сведения, что вражеские бомбардировщики задумали совершить внезапный налет на этот аэродром.

Солнце слепило глаза.

Насторожившись, летчики вглядывались в редкие облака, ожидая с минуты на минуту, что вот-вот из-за сияющей завесы выскочат бомбардировщики. Так и случилось: Кравченко заметил, как из пышного розового облака вынырнуло чуть заметное пятнышко.

— Летят!.. Бомбардировщики!..

На полной скорости, заходя бомбардировщикам в тыл, Кравченко повел эскадрилью в атаку.

Сверкая на солнце, огромные бомбардировщики плыли навстречу. Они уже заметили «ласточек» и открыли стрельбу.

Кравченко не отвечал. Только приблизившись на четыреста метров, он нажал на гашетку, и все следовавшие за ним истребители тотчас открыли огонь.

Девять бомбардировщиков, растерявшись, умолкли. Крайний правый самолет закружился спиралью и, вспыхнув, рухнул на землю.

Остальные бомбардировщики устремились к аэродрому. Но истребители настигли их и заставили отступить.

Неожиданно для всех Кравченко свечкой взвился вверх.

Восемь вражеских бомбардировщиков, восемь кораблей, удаляясь, летели плотным строем. Впереди плыл флагман, его

охраняли два корабля. Чуть отступя, летели два корабля слева и три справа.

И вдруг над флагманом появился Кравченко. Он ринулся вниз, потом взмыл вверх, «пристроился» к хвосту флагмана и... полетел в строю вражеских машин.

Советские истребители, преследовавшие бомбардировщиков, не верили своим глазам. Чудовищная, фантастическая картина! Летят восемь вражеских кораблей и между ними «ласточка» Кравченко...

Странно и поразительно было видеть маленькую «ласточку», как ни в чем не бывало летевшую в стае огромных неприятельских бомбардировщиков. Истребители мгновенно перестали стрелять. «Ласточка» Кравченко продолжала лететь у хвоста флагманского корабля. Экипажи семи бомбардировщиков, сопровождавшие флагмана, ничего не могли предпринять: они и не пытались стрелять, — иначе бы неминуемо попали в флагманский корабль.

Никогда еще в воздухе не случилось ничего подобного! Кравченко летел, чуть не врезаясь винтом в хвост врага. Не горюясь, точно рассчитав прицел, он открыл, наконец, стрельбу из всех пулеметов.

Пули моментально пробиты крылья и фюзеляж флагмана. Громадный бомбардировщик закачался, потом выровнялся, — очевидно, второй уцелевший летчик схватился за управление.

Пламя скользнуло по металлу. В огне взорвались бензиновые баки, вспыхнули и закружились в языках пламени клубы черного дыма. Объятый огнем, полыхающий бомбардировщик провалился и полетел на землю.

В дыму Кравченко ускользнул от врагов и исчез из виду. И вдруг, словно родившись в воздухе, он появился где-то далеко-далеко в стороне.

★

Много времени провел лейтенант Григорий Кравченко в воздушных сражениях. Слава непобедимого истребителя сопровождала его в боях, и один вид

«ласточки» Кравченко вызывал у противника ужас.

Наконец, он приехал домой — веселый, невредимый, возмужавший. Кравченко стал дважды орденосцем: в Кремле ему вручили Орден Красного Знамени.

Наступила зима, 22 февраля, накануне XXI годовщины Красной армии, когда во всех домах авиационного городка готовились к празднику, Григорий Пантелеевич Кравченко сидел за столом со своим приятелем летчиком Борисом Бородаем. Они вспоминали дни своей командировки, боевые дни.

— ... передаем последние известия, — заговорил репродуктор радио. — Слушайте указ Президиума Верховного Совета СССР!

Бородай сделал знак, прося тишины.

В комнате стало тихо, и голос диктора зазвучал громче. Он сообщил, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении государственного задания по обороне страны, старшему лейтенанту Кравченко Григорию Пантелевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Друзья крепко обнялись. А радио, продолжая передавать указы, сообщило о награждении Бородая Орденом Ленина.

Так, в день XXI годовщины Красной армии страна узнала имя нового Героя Советского Союза.

Не прошло и трех месяцев с этого дня, как Кравченко, уже майор авиации, вновь простился с родными и покинул Москву.

V

В конце мая на расположенном в степи N-ском аэродроме раздался сигнал боевой тревоги. Три самолета поднялись в воздух, и вскоре вслед за исчезнувшим звеном вылетели еще пять истребителей. Они улетели сражаться, и ни один из них не вернулся. Восемь бесстрашных истребителей погибли в бою.

В пустынной степи стоит невысокий холм. На тонком шесте — звезда, под

ней — пропеллер и надпись с именами восьми храбрецов.

На заре ветер всколыхнет траву, и засверкают в лучах восходящего солнца дрожащие капли росы. Орел, распластав крылья, неслышно проплывает в застывшем голубом зное дня, а на закате, когда степь окрашена багряным светом, всадник далеко-далеко видит красный от зарева одинокий холм.

Скрывается солнце, последний луч огненной стрелой касается вершины холма, — и тогда вспыхивает, зажигается звезда и горит над окутанной сумерками степью...

История сохранила лишь краткие, но трагические подробности этого скорбного дня.

На границе беспрерывно происходили боевые схватки. Днем и ночью стреляли орудия, танки неслись через сопки, со штыками наперевес сражалась отважная пехота, лихие конники настигали и рубили вражеских кавалеристов. Но в воздухе еще ни разу не появлялись неприятельские самолеты. Однажды утром в середине мая на N-ском аэродроме, где разместился наш небольшой отряд, было получено срочное и тревожное сообщение:

«Неприятельские истребители в составе отряда перелетели границу на высоте двух тысяч метров».

Сигнал, тревога... Завертелись пропеллеры, и мгновенно летчики сели в машины. Но сразу за первым пришло второе донесение: отряд противника изменил направление и повернул обратно.

Отбой! Но летчики не вышли из машин. Через несколько минут три самолета звеном поднялись в воздух и отправились на разведку. Они быстро скрылись по направлению к границе. Неожиданно отряд вражеских истребителей выскользнул из-за облака со стороны солнца и обрушился на трех смельчаков. Хищники окружили попавшее в ловушку звено и открыли перекрестный огонь. В это время с аэродрома снялся еще один самолет, чтобы узнать, где товарищи и не нужна ли им помощь. Отряд кинулся и на этого одиночку. Летчик отстреливался

до последнего патрона. Но мог ли он победить один в борьбе с бесчисленным множеством врагов? Спеша на выручку, один за другим вылетели еще четыре самолета. Стаи вражеских истребителей перехватывали пилотов и, окружая их, расстреливали из пушек и пулеметов.

Когда закончилась расправа, неприятельские самолеты построились и, торжествуя легкую победу, поплыли обратно. Два из них отделились от отряда, пролетели над сиротевшим аэродромом и, задержавшись на минуту, чтобы поиздеваться, закувыркались в воздухе, проделали несколько фигур высшего пилотажа и тотчас исчезли.

В первый же день после прибытия на фронт майор Кравченко и прилетевшие с ним товарищи услышали эту историю.

То, что узнал Кравченко, глубоко взволновало его. Он последовательно, до мельчайших подробностей, изучил события трагического дня. В походном дневнике майора сохранилась запись, посвященная гибели восьми истребителей.

ЖДИТЕ СКОРОЙ ВСТРЕЧИ «КОРОЛИ ВОЗДУХА»!

(Из записок майора Г. П. Кравченко.)

Как могло случиться, что мы понесли такую тяжелую утрату и потеряли восемь чудесных товарищей, искусных, смелых воздушных бойцов?

На войне, конечно, не без жертв. Но ведь на этот раз и боя-то, по существу, не было: враги напали внезапно.

Да, противник силен. По имеющимся сведениям, на фронт посланы лучшие из лучших, сильнейшие летчики. Это «ассы» — «короли воздуха», — не раз сражавшиеся на войне в последние годы. И все-таки они стремятся действовать без боя. Коварство — вот их тактика.

Будем же беспощадны, отомстим за товарищей.

Ждите скорой встречи «короли воздуха»!..

...Вечером у командующего воздушными силами фронта комкора Я. В. Смушкевича¹ состоялось большое совещание. В

юрте, на кошке, мы сидели, поджав ноги, тесно прижавшись друг к другу. Я огляделся по сторонам, — у всех на груди ордена Ленина и Боевого Красного Знамени. Сколько боев за плечами этих людей, сколько героических сражений! Замечательные мастера воздушного боя, они прибыли сюда передать свой большой опыт молодым «необстрелянным» летчикам, которые рвутся в бой, но еще не знают, что такое война. Рядом со мной на кошке сидели знаменитые истребители: Герои Советского Союза Денисов, Грицевец, Лакеев, Герасимов, Гусев, Коробков, бомбардировщики: Шевченко, Душкин, Зверев.

Я глядел на них, слушал их высказывания, предложения и думал: «Не поздоровится неприятельским летчикам, когда они встретятся с этими соколикками».

Тихо, спокойно, ровно говорил Смушкевич. Всем нам он дал важные задания. Потом, взглянув на часы, забеспокоился и велел итти спать.

Завтра — да нет, уже сегодня — с майором Смирновым я выведу в N-ское соединение. Летчики с нетерпением ждут боев. Нельзя терять драгоценное время. Любую спокойную минуту следует использовать для неустанной тренировки.

...По приказу командующего воздушными силами фронта майор Кравченко принял командование N-ским полком¹.

VI

На небе еще светились угасающие звезды, а в степи уже гудели моторы, у машин сновали техники, и издалека было видно, как на всех аэродромах от ветра пропеллеров волнами бушевала трава. Стоя со своим комиссаром у юрты, Кравченко оглядывал степь. Был пятый час утра.

— Ну, как, комиссар? — многозначительно сказал Кравченко. — Погода сегодня летная! У меня какое-то предчувствие, что сегодня мы будем разбирать... конфликтные дела...

— Совершенно точно, — понимающе сощурил глаза комиссар Калачев, — в такой денек может наверхняка кое-что состояться...

— А знаешь, комиссар, — произнес Кравченко таким тоном, будто ему только в эту секунду пришла в голову вне-

¹ Я. В. Смушкевич — ныне генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.

¹ Это был тот самый полк, который в майские дни потерял восемь истребителей.

запная мысль, — давай мы первые возьмем слово... как говорится, проявим инициативу... Будем надеяться, что ругать нас не станут. Порешили? Так и быть! Отдайте, пожалуйста, распоряжение командирам и комиссарам, чтобы они явились сюда через час. К этому времени я закончу «теоретический труд»...

Ровно через час слетевшиеся со всех аэродромов N-ского полка командиры и комиссары собрались в юрте у Кравченко.

— Боевой порядок таков... — сообщил Кравченко и огласил приказ.

Тринадцать минут длилось совещание командиров.

— ...Вылет в девять ноль-ноль, — закончил Кравченко приказ. — Все ясно? Вопросов не будет? Прошу всех вылететь на свои аэродромы.

За полчаса до назначенного срока Кравченко связался по телефону с командующим, и между ними произошел следующий странный разговор:

— Разрешите сходить в гости... — начал Кравченко, — недалеко... несколько десятков шагов...

Командующий промолчал, очевидно, раздумывая, затем спросил:

— У вас все в порядке?

— Нам все известно... Знакомый давно ждет меня...

— Разрешаю, — согласился командующий, — счастливо!

Ровно в девять часов Кравченко взмыл в воздух. Немедленно со всех сторон взвились краснозвездные истребители, и весь полк строгим строем, набирая высоту, полетел к дальним сопкам.

Впереди гудящей армады летел Кравченко. Лучи солнца переливались на покрытом лаком крыле.

Напрягая зрение, проверяя себя, то жмуря, то снова широко раскрывая глаза, Кравченко смотрел вниз. Конец пути! Впереди, слева, продолговатое узкое поле... Он четко увидел маленькие, блестящие силуэты чужих истребителей. Командир поднял голову, обернулся, оглядел «ласточек» и качнул крыльями.

С левого разворота Кравченко скользнул вниз. «Ласточка» понеслась к земле, а за ней, не меняя строя, двинулись все истребители.

Стрелка прибора высоты повернула в обратную сторону, земля помчалась навстречу.

Неприятельские машины стояли треугольниками. Возле них копошились, мелькали тени. Сверкали пропеллеры.

С бешеной быстротой мелькнул под крыльями аэродром. Кравченко заметил, как, бросая самолеты, выпрыгивая на траву, вражеские летчики разбегались по щелям, валились на землю. Поздно!

Пикируя со стрельбой, ураганом пролетел Кравченко над хребтами брошенных машин. Треск пулеметов налетевших «ласточек» доносился сзади. Огонь охватил один неприятельский самолет, потом вспыхнул второй, и пламя заметалось по всему аэродрому.

В сорока метрах от горящих машин пронесся Кравченко.

В дыму по аэродрому промчалась бензиновая автоцистерна.

«Сейчас взорвется!» — мелькнула мысль; он стремительно развернулся, и в тот же миг цистерна взорвалась.

Чудовищное пламя закружилось, забушевало посреди аэродрома.

Взлетая ввысь, Кравченко по номеру узнал ближайшее звено Красноюрченко. Три самолета Красноюрченко из пушек били по зенитным орудиям, охранявшим аэродром. Зенитки не успели дать ни одного выстрела.

И снова командир ринулся к земле, но... земли уже не было видно. Черный дым покрыл весь аэродром.

Солнце, огонь, дым... Скрылось небо, и все вокруг потонуло в дыму...

... В 10 часов 12 минут все самолеты Кравченко совершили посадку. В 10 часов 25 минут начальник штаба полка докладывал командующему о результатах. Короткий доклад он закончил рапортом:

— Все прибывшие самолеты в полном порядке и снова готовы к вылету...

ДЕНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

(Из записок майора Г. П. Кравченко.)

...Итак, мы встретились.

Вернувшись «домой», мы без конца пили воду: летать между огнем и солнцем довольно жарко. Товарищи вспоминали подробности разгрома, а комэск Чистяков настойчиво упрашивал меня разрешить ему слетать к уничтоженному аэродрому и разведать, что там происходит.

Разрешил с условием: если откуда-либо появятся истребители, боя не принимать и немедленно возвращаться.

Ну, что же, продолжим приятную встречу!..»

И мы полетели на фронт.

Уже издалека можно было видеть горящие факелы падающих самолетов. Подлетев ближе, я заметил группу Рахова, наседавшую на противника.

«В нашей помощи Рахов не нуждается» — заключил я и, заранее зная, что к противнику в любую минуту может подойти подкрепление, направился с моими «ласточками» к ближайшей вражеской базе.

«Правильное решение!» — убедился я, увидев вдалеке неприятельскую базу: во-



На командном пункте.

(Снимок сделан во время боевых операций.)

— Все будет в порядке, — ответил Чистяков и быстро скрылся.

Прошло 35 минут, а Чистякова нет. Телефонный звонок. «Неужели, что-нибудь случилось с Чистяковым?» — подумал я, беря трубку.

Сомнение не исчезло. С командного пункта требовали три эскадрильи. Немедленно вылетел мой помощник Виктор Рахов.

Отправив Рахова, я остался у телефона. Через 10 минут второй звонок:

«Бой начался. Силы равные, но к противнику подходят резервы, высылай остальных».

— По самолетам! — командовал я, усаживаясь в свою «ласточку». «День только начинается!» — сказал я себе. —

семь самолетов стояли, вытянувшись в линейку. Шести мы не дали взлететь. Два поднялись, но мы их сразу зажгли в воздухе.

Окрыленные новым успехом, мы двинулись к группе Рахова. Но бой уже закончился, и все «ласточки» возвращались домой.

Вернувшись на аэродром, мы выяснили: за два вылета уничтожены двадцать семь неприятельских истребителей.

Звонок. Беру трубку и слышу голос командующего.

— Славный денек! — сказал командующий. — Поздравляю с успехом!

Поздравление командующего много значит.

— Славный денек, — повторил я летчиком его слова.

Они поняли меня, посмеялись, а тут уже повар позвал обедать.

Шумно, делясь впечатлениями, мы направились в столовую. Чистякову понесли обед в палатку: отправившись на разведку, он попал в бой, и его легко ранили в ногу¹.

Возбужденные, веселые, мы сели за стол. Зазвенели ложки, ножи, вилки. Но только мы принялись за обед, как послышался гул моторов. Я выбежал из юрты.

Туча вражеских истребителей со стороны солнца быстро надвигалась на наш аэродром.

— По самолетам!

Не задерживаясь ни на секунду, летчики кинулись к машине.

Я остался на земае следить за тем, чтобы все наши машины взлетели навстречу врагу.

Со всех сторон наши самолеты перерезали противнику путь.

Никогда еще я не видел такого большого и ожесточенного боя: сто самолетов противника с безумной яростью бросались на «ласточек». Но наши орелики взвивались свечками, делали боевые развороты и бросались в ошеломляющую лобовую атаку.

Унеслась в воздух последняя эскадрилья. Настала моя минута.

Ревет небо над головой.

Набирая высоту, я вижу впереди одну «ласточку». Она поднялась в воздух за несколько секунд до меня. И вдруг сверху на нее свалился вражеский истребитель. Ничего не замечая, «ласточка» продолжала подниматься, а в это время противник зашел ей в хвост и открыл огонь. В последнее мгновение «ласточка» взвилась вверх, но было уже поздно, и, точно прощаясь с голубым небом, она в последний раз рванулась ввысь и полетела на землю.

На моих глазах погиб товарищ. Что бы ни случилось, я расплачусь с врагом!

Но хищник заметил меня еще раньше. С высоты он кинулся в пики и зашел ко мне в хвост.

«Наметил вторую жертву? — Не пройдет!»

Пули били, хлестали по хвосту моего самолета.

И сразу я почувствовал, что противник необыкновенно силен. На мгновение мне вспомнилась мой первый бой. Силен! Это, наверно, «асс».

Умирать? На глазах у товарищей умирать над своим аэродромом в такой великопленный день? Нет, мой день не кончился!

Моя машина проделывала чертовские каскады фигур.

«Силен, — повторял я про себя, устремляясь на неуязвимого противника, — такой заслуживает уважения».

Еще упорней я стал добиваться пренужества. И вскоре огонь охватил машину «короля». Соперник мой выпрыгнул из горящего самолета. Раскрылся купол парашюта, и «асс» стал спускаться на наш аэродром. Я оставил его в живых, зная, что на земле он будет захвачен в плен.

... Надвигались сумерки. Все самолеты приземлились. Горел закат. Бесперывно звенели телефоны: нас поздравляли... с днем рождения.

★

Ночью командующий воздушными силами фронта отправил в Москву народному комиссару Обороны СССР маршалу Ворошилову следующую телеграмму:

«Истребительный полк, командир которого Герой Советского Союза Кравченко, провел сегодня два налета на передовые аэродромы противника, и два воздушных боя — один над фронтом, второй при налете у себя на аэродроме. Уничтожено тридцать два неприятельских истребителя. Потерян один наш летчик, о чем считаем нужным вам доложить...»

... Три дня Кравченко собирался съездить посмотреть на захваченного в плен «асса», которого он сбил в бою и оставил в живых, дав ему возможность спуститься на парашюте. Улучив свободное время, Кравченко поехал в N-ск, куда отправили пленника. Переводчик подвел его к палатке, у входа в которую стоял часовой. По пути переводчик рассказал, что накануне вражеский летчик открыл свое имя и звание. Он майор авиации М., 41 года от роду. Некоторое время тому назад он принимал участие в боевых операциях. Майор М. получил задание высшего командования разгромить соединение Кравченко в ответ на налет.

Ускорив шаг, Григорий Пантелеевич подошел к палатке и поднял полог. Пленный майор сидел на кошме, поджав ноги. Он оступело, исподлобья посмотрел на появившихся возле него людей. Увидев на груди вошедшего ордена, он встал и по-военному вытянулся. Переводчик сообщил пленному, что перед

¹ Во время разведки на Чистякова напали восемь вражеских истребителей. Чистяков вступил в бой, но вскоре на выручку подоспела группа Рахова. — М. Р.

ним Герой Советского Союза майор авиации Кравченко.

Седящая голова майора чуть дрогнула, глаза его вспыхнули и сразу погасли. Сжав губы, он вежливо улыбнулся и поклонился.

И вдруг Кравченко почувствовал непонятное волнение.

— Скажите, майор, — через переводчика обратился он к пленному, — мне передали, что в прошлом вы участвовали в боевых действиях?

— Участвовал, — ответил пленный, — и очень продолжительное время.

— Не участвовали ли вы в бою над городом Н.?

— Да... я участвовал в бою над Н... Этот день я хорошо помню!

— Не помните ли вы, не случилось ли вам видеть в этом бою истребителя, который, оставшись один, гнался за вашим бомбардировщиком и сбил его?..

— Превосходно помню! — оживился майор. — Заметив этого истребителя, я бросился к нему, удачно зашел в хвост и сбил...

Молча, Кравченко подошел вплотную к пленнику.

— Отчего вы так... пристально смотрите? — отступая на шаг, промолвил пленный майор и, попробовав улыбнуться, добавил: — Хотите запомнить, как, наверное, запомнил меня ваш соотечественник... тот истребитель?

— Это вы запомните меня! — ответил Кравченко. — То был я! И третьего дня — это тоже был я...

VII

По степи без огней мчался автомобиль.

Машину вел майор Кравченко, рядом с ним, погруженный в раздумье, сидел капитан Леонид Орлов. Долго они ехали под звездами и весь путь молчали.

Час назад, когда закончились полеты, их вызвал по телефону командующий в Н-ск для важного разговора. Летчики догадывались, вернее, они знали, зачем вызывает их командующий.

С некоторых пор над фронтом стал появляться таинственный вражеский разведчик. На ранней заре, когда по берегам реки тянулся туман, он парил над позициями в темном небе, еле видимый среди мерцающих звезд. Потом он внезапно исчезал. Иногда разведчик неожиданно прилетал днем. Высматривая пространство, занятое нашими войсками, он кружил на огромной высоте, потом, постепенно смелея, опускался все ниже и ниже. Когда советские истребители отрывались от земли, разведчик мгновенно набирал высоту и пропадал. Скрываясь, как будто испаряясь в воздухе, он снова возникал под куполом ясного неба, быстро снижался и, словно подхватив добычу, с невероятной скоростью улетал на восток. На следующее утро разведчик, как бы насмехаясь над тщетными усилиями советских летчиков, снова сверкающей точкой скользил над рекой.

В это время советская авиация уже господствовала в воздухе. Близились час окончательной победы... и вдруг этот неуловимый таинственный разведчик!..

В темноте летчики подъехали к юрте командующего. Неслышно ступая по кошке, Смушкевич вышел к ним навстречу, дружелюбно пожал им руки и пригласил сесть.

— Вам известно, — спросил он, — зачем я вас вызвал?

— Не знаем, — ответил Кравченко, — но... догадываемся.

— Превосходно, — сказал Смушкевич. Затем, пытливо посмотрев на летчиков, он внезапно спросил:

— Как вы думаете, долго ли мы будем терпеть?..

Кравченко поднялся с места и энергично объявил:

— Разрешите, товарищ командующий, заверить: этот бывший «асс»...

— Почему бывший? — перебил Смушкевич. — Он настоящий «асс»!

— Бывший, — повторил Кравченко, — потому, что завтра он перестанет существовать.

— Завтра? — словно изумляясь, переспросил Смушкевич. — Вы убеждены?

— Убеждены...

— Странно, — тихо проговорил Смушкевич, — если это осуществимо, если вы так твердо в этом убеждены, — почему же вам до сих пор не удалось его поймать?

— В эти дни, — сообщил Кравченко, — мы разрабатывали план, и по этому плану мы будем действовать завтра.

Командующий кивком головы пригласил летчиков снова сесть и готовился слушать.

— Разрешите доложить? — осведомился Орлов.

— Пожалуйста...

— Завтра ранним утром, — начал Орлов, — мы будем действовать вдвоем. У нас намечены сигналы, затем мы распределим, кто вылетит первым на встречу разведчику. Второй в нужную минуту придет на выручку...

Со всеми подробностями Орлов передал Смушкевичу план. Кравченко молчал и пытливо наблюдал за командующим.

Командующий слушал с интересом. Но он не задал ни одного вопроса и ни разу не перебил Орлова. Кравченко не мог понять, какое впечатление производит на Смушкевича их план. Всматриваясь в командующего, Кравченко случайно обратил внимание на его руки. Смушкевич крепко сжимал пальцами конец погасшей папиросы и время от времени, словно в такт словам Орлова, дергал и теребил ее. И теперь Кравченко уже не сводил глаз с его пальцев.

Закончив доклад, Орлов выжидательно замолчал. Кравченко смотрел на папиросу.

— Хорошо, — сказал командующий, — план правильный. Постарайтесь выполнить.

— Даем слово, — поднялся Кравченко, — завтра он будет уничтожен.

— Завтра? Посмотрим! — не меняя тона, произнес командующий, и Кравченко увидел, как он резко оторвал и отбросил конец папиросы.

— Итак, до завтра, — попрощался Смушкевич, — желаю успеха!

— Но завтра, — бросив взгляд на

Кравченко, неожиданно произнес Орлов, — первым вылету я.

Предвидя возражения, он торопливо воскликнул:

— Вылететь первым должен я, потому что Кравченко бесподобный выручалышник. В случае чего он моментально подоспеет на выручку!..

Удивленный Кравченко хмуро посмотрел на Орлова.

Так три героя в эту ночь решили судьбу таинственного «асса». Они все заранее предвидели, рассчитали; они верили в успех. Но мог ли кто-либо из них вообразить, что произойдет, какая необычная история разыграется, когда взойдет солнце и наступит «завтра».

VIII

В пути летчики продолжали возбужденно спорить о том, кому лететь первым. Наконец, уже подъезжая к аэродрому, Кравченко уступил, и Орлов обрadowанно умолк. Они спали всего два часа; еще не начинался рассвет, когда друзья отправились к самолетам. При лунном свете техники опробовали моторы.

— Он скоро будет здесь, — сказал Кравченко, — сегодня он обязательно прилетит.

Орлов остался у самолета, Кравченко отправился на командный пункт. Возле палатки лежало свернутое приготовленное полотнище для сигналов.

Медленно краснел горизонт. Самолеты чуть вырисовывались на фоне светлеющего неба.

Прозвенел телефон. С передового наблюдательного пункта сообщили:

— Разведчик на большой высоте перелетел границу и идет в северо-западном направлении...

Орлов моментально взлетел. Кравченко развернул полотнище, чтобы при появлении разведчика выложить на земле сигнал — «стрелу» — и показать Орлову направление.

И вдруг высоко над аэродромом, в темном небе, среди звезд промелькнул разведчик. Кравченко еще не успел растелить «стрелу», как Орлов сам увидел «асса» и понесся ему навстречу. С по-

лотнищем в руках Кравченко напряженно наблюдал. В темносинем небе огненной струей били трассирующие пули. Орлов уже сражался с разведчиком.

«Орлов его не отпустит, — заключил Кравченко, видя, как разведчик отлетает в сторону. — Он не уйдет!»

«Стрела» теперь уже была не нужна. Кравченко бросил полотнище и подбежал к своему самолету.

Майор знал горячий характер замечательного истребителя, храбреца Леонида Орлова: ни за что он не отпустит разведчика, если даже вокруг него появятся десятки вражеских истребителей. И Кравченко, не теряя времени на размышления, взлетел. Вместе с ним в воздух поднялись еще четыре «ласточки». Солнце взошло. Ясное безоблачное небо открылось перед глазами. Но Орлов и разведчик исчезли бесследно. Пять самолетов Кравченко, набирая скорость и высоту, летели на восток.

И вдруг Кравченко увидел далеко у горизонта два сверкающих на солнце самолета. Бой — в полном разгаре.

«Не уйдет. Он не уйдет от тебя, — словно подбадривая Орлова, твердил Кравченко. — Разведчик этот уже «бывший асс»...»

И, действительно, самолет разведчика задымился. Кружась, рассыпаясь в воздухе, он полетел вниз и ударился о землю. Вспыхнул ослепительный столб огня.

— Готов! — воскликнул Кравченко и в ту же секунду увидел совсем близко эскадрилью вражеских истребителей. Они летели прямо на аэродром. Приближаясь к этой стае, Кравченко сосчитал двадцать семь бомбардировщиков и семнадцать истребителей.

Стая с бешеной быстротой приближалась. По сигналу Кравченко, пять «ласточек» накинулись на бомбардировщиков.

«Огонь!»

Вспугнутые бомбардировщики повернули обратно и сбросили бомбы над пустынной степью. Семнадцать истребителей кинулись на пятерку Кравченко, и завязался жестокий бой.

Один из вражеских истребителей смело напал на Кравченко.

«Нахал! — выругался майор, стреляя в упор. — Нет, не нахал...» — быстро переменил он мнение, видя, с каким упорством дерется противник.

Все же схватка продолжалась недолго: вражеский истребитель загорелся и упал на землю.

Кравченко поднял голову и... заметил подозрительный моноплан. Он кружил высоко над аэродромом, отделившись от стаи. Кравченко моментально понял, что этот истребитель ищет, высматривает, где расположены советские аэродромы.

Кравченко полетел ему навстречу. Заметив «ласточку», истребитель унесся в сторону от аэродрома. Стараясь избежать преследования, он быстро снизился и перешел на бреющий полет. Кравченко погнался за беглецом и у самой земли открыл огонь из пулеметов.

В стороне промелькнули река, окопы. У Кравченко уже иссякали патроны, пулеметы останавливались, когда удирающий истребитель вдруг ударился о бугор. Раздался взрыв. Кравченко, не успев развернуться, пролетел над бушующим пламенем.

Разбившийся вражеский самолет, полыхая огнем, горел на бугре. Кравченко обернулся, чтобы еще раз посмотреть на пламя, и внезапно, каким-то чутьем почувствовал, что близко, рядом, кто-то летит. Он быстро оглянулся. Четыре истребителя летели на него, как на мишень. Откуда они взялись? И Кравченко догадался, что он наскочил на аэродром противника. Он бросил взгляд на бензочасы. Горючего осталось на четыре минуты полета. Вот еще несколько истребителей поднимаются с земли. Сколько их? Но не все ли равно? Как драться с умолкшими пулеметами, как лететь без бензина?..

С четырех истребителей застрочили пулеметы. На бреющем полете, едва не касаясь травы, уносился Кравченко от преследователей. Теперь он следил только за тем, чтобы не разбиться о землю.

В долине, пролетая между двумя извилистыми холмами, майор внезапно заметил, что гул моторов замирает. Кравченко оглянулся по сторонам, потом посмотрел вверх. Четыре истребителя поднялись на восемьсот метров и повернули обратно.

«Кажется, мы с тобою перехитрили их» — обратился Кравченко к своей «ласточке» и дернул крючок бензиномера.

«Ноль!»

«Бензина нет» — убедился майор, и, как бы подтверждая точность показания прибора, мотор остановился.

В пустынной долине у двух холмов приземлился Кравченко. Неприятельские истребители ворчливо рокотали где-то далеко. Спрыгнув на землю, Кравченко взглянул на часы. Ровно семь. Вытирая рукавом горячее лицо, майор прислушался и застыл в недоумении. В первое мгновение он не мог понять, что заставило его насторожиться в этой безлюдной, пустынной степи. Не двигаясь с места, он еще напряженной вслушался и понял: его поразила тишина.

IX

В знойной тиши испарялась роса и никла, усыхая, спутанная светлая трава.

Медленно и осторожно Кравченко поднялся на ближний холм.

«Где же я нахожусь?» — раздумывал он, обозревая с вершины холма бескрайнюю, залитую солнцем степь.

Надо ко всему быть готовым. Он достал из кармана все бумаги, записную книжку и сжег. Теперь следовало как можно быстрее уходить.

Кравченко искоса поглядел на утихшую «ласточку», и сердце его сжалось. Блестящий пропеллер и покрытые лаком крылья блистали на солнце зеркальным блеском. «Ласточка» сверкала, искрилась под солнечными лучами. Сжечь, уничтожить ее? У пилота не поднялась на это рука. Он надрал сухой травы, прикрыл связанными пучками винт, настелил траву на крылья, чтобы замаскировать машину. «Ласточка» в мох-

нате уборе выглядела странно и печально.

Забравшись в кабину, майор попытался выдрать компас, но без ключа отвернуть болты оказалось невозможным. Однако и без компаса было ясно, что нужно итти на запад. И он, не оглядываясь, побрел по степи, забыв свой шлем, волоча за собой кожаный рюкзак.

Сухая трава цеплялась за сапоги, солнце обжигало непокрытую голову. Кравченко ускорил шаг, потом побежал.

Он бежал, не останавливаясь, час, два часа, бежал, пока не подкосились ноги и не остановилось дыхание. В горле пересохло.

... Солнце клонилось к закату. С трудом глотая раскаленный воздух, Кравченко остановился. В стороне мелькнула голубая полоска: там виднелось большое озеро. Что это — мираж или удача? Но мираж возникает в полдень, а сейчас уже близок вечер.

Озеро голубое, чистое. Зачарованный, не сводя глаз с озера, майор свернул в сторону и побрел к воде. Да, это, действительно, было озеро. Изнуренный летчик остановился на берегу и увидел в воде свое отражение. Сорвав с ног сапоги, он вошел в озеро. Расплылся, заколыхался круг теплой воды, и майор почувствовал щемящую боль. Кравченко зачерпнул воды, жадно глотнул — и отшатнулся: озеро было соленым. Сухие, потрескавшиеся губы запылали от соли. Он двинулся обратно, но уже нельзя было сделать и шагу: соль растравила потертые ноги. Майор не смог обуться. Закусив губы до крови, он пошел босиком по мелким острым камням.

Тащить за собой сапоги было трудно, и Кравченко бросил их в траву.

Солнце скрывалось. Летчик продолжал итти, глядя на закат. Тревожная мысль заставила на минуту остановиться: как итти, когда наступит ночь? По звездам? И он вспомнил: когда, бывало, в сумерках ему приходилось возвращаться к себе на аэродром, луна оставалась у правого борта. Взглянув на

небо, он успокоился: бледная луна светила с правой стороны.

Ноги одеревятели, и боль притупилась. Он долго шел в сумерках, звездный купол шатался, луна раскачивалась, все пропадало из глаз, и опять звезды загорались, как яркие свечи. Наконец, все исчезло, пропало, скрылось в душной тьме...

... Он проснулся от холода. Ослепленный восходящим солнцем, Кравченко силился раскрыть глаза, но они были давно открыты: зеленая, огненная муть застилала зрение. Долго не приходя в себя, озираясь и щупая пальцами редкую траву, он сидел на песчанике — там, где упал ночью, и, напрягая память, силился вспомнить вчерашний день. Наконец, в глазах посветлело. Очнувшись, Кравченко захотел вскочить, рванулся и упал.

Встать! Во что бы то ни стало встать и итти! Он перевернулся на грудь, уперся о землю локтями и коленями и, раскачиваясь, сился удержать равновесие, встал. Шаг, один только шаг... Удержаться на ногах и итти!

Протянув руки, балансируя, напрягая мускулы, точно ухватившись за невидимые канаты, он двинулся. Шаг, еще шаг, еще...

Он пошел тихо, осторожно, потом быстрее... И все время он неотступно думал о своем полке. Как закончился бой? Загадочный этот разведчик уничтожен. Он уже «бывший асс»... С ним покончено. Но Кравченко чувствовал себя так, как будто этот «асс» еще существует, издалека следит за ним и ждет, что вот скоро он упадет... И Кравченко охватил гнев.

Не останавливаясь, на ходу, он осмотрелся вокруг. До сих пор Кравченко все еще не знал, где он находится. Выжженная солнцем бесконечная степь простиралась перед ним. Нигде не было видно ни одного дерева, ни клочка тени от куста.

Пустыня!.. На ходу Кравченко вынул револьвер, пересчитал патроны. Семь патронов. В случае чего шесть будут израсходованы на врагов, а седьмой...

Вперед! Боясь остановиться, исто-

щенный, Кравченко рывками двигался по степи.

Солнце стояло в зените. У горизонта, справа, вдруг показалось большое, оживленное селение. В тени домов сновавали люди; кто-то разъезжал в узких теснинах улиц. В нерешительности Кравченко повернулся и сделал несколько шагов. Он не успел решить: итти ему или удалиться от неизвестного селения, как вдруг дома, людская толпа, всадники — все задрожало, растянулось, поплыло, превратилось в призрачный туман и растаяло.

Мираж!

Он оглянулся и влево от себя увидел другое селение. Серебристый голубой туман поглотил и это видение. Снова вырисовалась четкая, синяя линия горизонта.

Взобравшись на пригорок, он пошатнулся, плавно опустился: горячая темнота закрыла глаза, окутала голову и с силой прижала к земле.

X

Два дня самолеты и автомобили, кавалеристы и разведчики искали по степи Героя Советского Союза майора Кравченко. В последний раз его самолет видели из окопов, потом в стороне, за бугром, взметнулся столб огня. С рассвета до ночи летчики искали Кравченко; к концу второго дня розыски прекратили, и в Москву была отправлена скорбная телеграмма о гибели героя.

★

В прохладе вечерних сумерек Кравченко проснулся. С усилием, но быстро, он поднялся на ноги и побрел дальше.

В полночь он все еще передвигался, следя за фосфорным свечением стрелок часов. Ночью в степи посвежело, итти стало легче, и он шел, пока не упал. Еще не ударившись о землю, — он уже заснул.

Утром Кравченко разбудил ледящий холод. Он приподнялся, но на ноги встать не смог. Два часа просидел на месте. Наконец, точно обманывая изможденное тело, зарывшись ру-

ками в песок, вытянулся, изогнулся и встал.

— В полк! В полк! — твердил он, делая шаг за шагом.

Когда он произносил слово «полк», его сознание прояснялось, неизвестно откуда прибавлялась сила. Закрывая глаза от резкого света, он представлял, что сейчас делается на аэродроме, как его ждут друзья. Они верят, должны верить, что командир вернется. И, опять напрягаясь, сжав руки в кулаки, он шел, повторяя:

— В полк! В полк!

Жажда жгла, душила, раздирала горло и грудь огнем. И на ходу он мгновениями терял сознание от головокружения.

Раскидывая руки, он удерживался и, раскрыв онемевший рот, шатаясь, брел дальше.

Черное искристое пятно мелькнуло впереди, на пути. Кравченко подумал, что это мираж или галлюцинация. Крадучись, опасаясь спугнуть видение, он приблизился к пятну и опустился на колени.

Черное пятно зашевелилось, тихо загудело, и теперь перед самым лицом блеснула вода.

С остановившимся дыханием Кравченко прильнул к воде. Черные, тяжелые, горячие мухи облепили лицо. Они не боялись человека и снова набросились на сверкающую лужу.

Раздвигая руками мух, Кравченко с упоением пил, пил без остановки. Мухи злобно жужжали, и, отрываясь на мгновение, Кравченко бормотал, отстраняясь ладонями:

— Подвиньтесь, приятели, дайте воды... расступитесь!..

Он пил до тех пор, пока мухи не улетели и губы не ощутили сухой песок. Все еще не веря, что вода кончилась, он долго шарил рукой по растрескавшейся земле.

Третий день подходил к концу. Вечером на огромном багровом закате зачернели камыши. В зарослях хрупких камышей высохшего болота Кравченко почудилось птичье гоготанье. Притаившись, Кравченко залег в камышах и стал незаметно, неслышно ползти.

Осторожно и долго полз Кравченко, не решаясь поднять голову.

Гуси были все еще далеко. Прицелившись из пистолета, Кравченко выстрелил. Гуси разлетелись.

Солнце до половины зашло за горизонт, Кравченко, волоча реглан, вышел из камышей и двинулся прямо на солнце.

Но, что это? Голова закружилась, остановилось сердце... На горизонте в золотистой пыли быстро мчалась грузовая машина. Вскинув голову, приподнявшись на носки, Кравченко всмотрелся и распознал: «Наша машина!» Он закричал, но не услышал своего голоса. Машина неслась в клубах пыли и уже поворачивала в сторону. Кравченко выхватил револьвер и выстрелил.

Зеленый грузовик остановился. Красноармеец-шофер открыл дверцу, осмотрелся и опасливо сошел на землю.

Кравченко снова выстрелил. Шофер, наконец, увидел его, попятился, спиной влез в кабину, и Кравченко, волнуясь, подумал, что грузовик сейчас умчится. Он побежал к машине. Шофер выглянул из кабины и спустился на землю уже с винтовкой в руках.

С винтовкой наперевес, боком он пошел на Кравченко. Красноармейская звезда блеснула на фуражке.

Не помня себя от радости, Кравченко шопотом прохрипел:

— Я летчик... майор Кравченко...

Раскинув руки, в рубище, с обожженной грудью, обросший бородой, с отряпьями на ногах, шатаясь, стоял он, поджидая красноармейца.

Пригнувшись, вытянув винтовку, шофер обошел вокруг странного человека. Кравченко устремился к машине и цепко схватился за дверцу.

Пораженный красноармеец-шофер, выслушав обрывистые слова, онемел и долго не мог ответить ни на один вопрос.

— Хлеб есть?.. — спросил Кравченко. — Хлеб и вода?

Шофер безмолвно развел руками. Он ничего не захватил с собой.

Но Кравченко уже не слушал. Он не мог поверить. Хлеб должен быть, если здесь живой человек! Он заглянул в

кузов, стал искать в щелях досок. В углу валялась засохшая, пыльная корка. Шофер с ужасом смотрел, как странный незнакомец стал рвать зубами корку сухаря.

И вдруг вторая машина запылила издалека. Шофер стал на дороге, и легковой автомобиль остановился, затор-мозив на полном ходу.

Молодой капитан ехал в машине. Увидев черного, обросшего, дикого человека в рубище, он замер от изумления, не зная, что предпринять...

... Спустя полтора часа автомобиль въехал в Н-ск. Кравченко указал на юрту командующего, но бдительный капитан наотрез отказался остановиться и повез его к оперативному дежурному. Кравченко схватил шофера за руки:

— Стоп! Мне сюда!..

— Нет, — громко запротестовал капитан, — я вас не знаю. Я должен вас доставить к дежурному.

Шум привлек внимание проходившего командира. Он заглянул в машину и удивленно воскликнул:

— Кравченко?

Шатаясь, Кравченко встал у входа в юрту. Кто-то тихо произнес его имя. Он прислонился к двери, выпрямился, и тут его увидели товарищи. Он сделал шаг вперед, перед глазами закружились дорогие лица.

★

Он просил, убеждал, молил отвезти его в полк. Врачи перевязали ему ноги, велели спокойно лежать, но они не могли переспорить Кравченко и, боясь волновать его, разрешили выехать.

Ночью в автомобиле его привезли в полк.

Летчики сбежались к машине. Не веря своим глазам, они осторожно щупали руки и ноги уснувшего Кравченко.

Прошло несколько дней. По приказу командующего, Кравченко должен был лежать в юрте. Но он не мог больше ждать и беспрестанно твердил о своей «ласточке».

Он хотел видеть ее. Миновало еще два дня. Воспользовавшись отсутствием врача, Кравченко с бинтами на ногах

вышел из юрты, сел в машину и поехал к самолетам. Летчики и техники не могли ему воспрепятствовать.

— Здесь — я командир, — сказал Кравченко, — и все тут подчиняются мне.

Майор взобрался в самолет и в сопровождении истребителя полетел в степь. Он с трудом разыскал холмы, лощину, где ему пришлось совершить вынужденную посадку, и, наконец, увидел свою «ласточку». Приземлившись, он подбежал к самолету и прижался щекой к пропеллеру...

... На следующий же день он снял с ног бинты и по первой тревоге на своей неизменной «ласточке» взвился над степью и повел крылатый полк в бой.

XI

В глубокой тайне хранились планы командования. Наконец, приказ о генеральном наступлении был отдан. И вот, однажды ночью, под покровом темноты, пустынная степь вдруг ожила, послышался глухой ровный гул, и к реке двинулись замаскированные танки, броневики. Колонны войск потянулись в автомашинах к переправе.

Тишина... Загадочные шорохи, таинственный шопот. Густой туман покрывал реку и обрывистые песчаные берега.

Взошло солнце, и вдруг ясное небо потемнело. В вышине, нарастая с каждой секундой, несся рокот моторов. Сотни бомбардировщиков в сопровождении множества истребителей пролетели над войсками, над рекой и повернули к неприятельским сопкам.

В пять часов утра гулко ударило первое орудие. Снаряд разорвался на вершине сопки, и сразу сотни воздушных кораблей, появившиеся над неприятельскими позициями, сбросили бомбы.

То был первый сигнал. В следующую минуту артиллерия всех калибров открыла ураганный огонь; все новые и новые бомбардировщики, кружа над сопками, сбрасывали сотни тонн бомб.

Четыре часа бушевал огонь над неприступными бетонированными укреп-

плениями противника, и ровно в девять часов пехота ринулась в атаку.

Неприятельские сопки скрывались в дыму. Ослепительными молниями блистал огонь. Издалека казалось, что за холмами бушует гроза, и странно было под ясным безоблачным небом слышать потрясающие раскаты грома...

... Несколько дней происходило генеральное сражение.

Полк, которым командовал майор Кравченко, почти непрерывно находился в воздухе, — на аэродромах каждую минуту взлетали сигнальные ракеты. Сам Кравченко по восемь-десять раз в день вылетал в бой.

В боях и налетах полк уничтожил около трехсот неприятельских самолетов. Но когда у Кравченко спрашивали «счет», он отвечал:

— Пусть враги считают, — наше дело сражаться...

С воздуха летчики наблюдали, как за рекой вокруг обреченной на гибель неприятельской армии сжимается кольцо наших войск. И вскоре противник был окружен со всех сторон.

Победные флаги развевались на всех сопках вдоль границы.

Накануне окончательного разгрома, с разрешения командования, самолеты полка Кравченко демонстративно, парадным строем проплыли над вражескими укреплениями. Два летчика-истребителя Герасимов и Николаев, сопровождая парад, делали изумительные по красоте фигуры высшего пилотажа.

Под ровный гул нескончаемой армады они бросали свои машины ввысь, переводили в мертвые петли, потом скользили и снова кружились в сверкающем каскаде ошеломляющих фигур.

Вражеские войска зарывались в землю, а красноармейцы бросали вверх фуражки, рукоплескали и в восторге кричали:

— Ура сталинским соколам!..

★

... Удивительная, необычайная мирная тишина наступила в степи у развороченных снарядами сопки.

В конце августа после победы теле-

граф передал из Москвы на фронт указ о награждении героических защитников родины.

В числе награжденных было много бойцов N-ского полка, которым командовал Кравченко. Четырнадцать истребителей полка правительством присвоило звание Героев Советского Союза. Высокими наградами были удостоены также командиры и бойцы других полков, совершивших выдающиеся подвиги во время боевых действий и генерального сражения.

Особый указ Президиума Верховного Совета СССР сообщал о присвоении Кравченко звания дважды Героя Советского Союза.

СЛАВА ПОЛКА

(Из записок полковника Г. П. Кравченко.)

В жестоких боях — кто может мыслить о наградах? Защита родины — твой священный долг, твоя клятва народу, великому Сталину.

Но вот телеграф из далекой Москвы приносит радостную весть...

Я от всей души, всем сердцем рад и счастлив, что награждены мои бойцы, а четырнадцать истребителей полка присвоено звание Героев Советского Союза. Храбрецы заслужили награду¹. Но славой своей полк обязан не отдельным выдающимся летчикам, а сотням самоотверженных людей. Будь ты непревзойденный «асс», — одиночки никогда не решат судьбы врага. Славой своей полк обязан всем без исключения беззаветным бойцам, летчикам, техникам, оружейникам — это они завоевали победу. И всему полку я лично обязан тем, чем я стал, получая самую высокую награду партии и правительства.

... В начале сентября командиры и бойцы N-ского авиационного полка задушевно провожали своего товарища, командира, дважды Героя Советского Союза полковника Кравченко.

XII

Днем девятого сентября, как и всегда, в Московский аэропорт по расписанию прилетали самолеты.

¹ N-ский полк истребительной авиации, которым командовал Кравченко, был награжден Орденом Красного Знамени. — М. Р.

В половине третьего на аэродроме появились командиры из Управления военно-воздушных сил; с ними приехала мать Кравченко Мария Михайловна, отец Пантелей Никитич и младший брат Иван.

В три часа дня вне всякого расписания на аэродром опустились два больших скоростных самолета типа «Дуглас» с Героями Советского Союза, участниками боев.

Москва не знала об их прибытии. На аэродроме не было ни музыки, ни цветов; только родные обнимали героев.

Вереница машин с военными летчиками быстро промчалась по улице Горького. Не замеченные никем автомобили подъехали к Центральному дому Красной армии, где в честь приезда героев состоялся парадный обед.

Полковник Кравченко с матерью, отцом и братом сели за отдельный столик, как вдруг по залу пробежал гул, раздались бурные рукоплескания и крики «ура».

В зале появился маршал Ворошилов.

Долго под сводами зала бушевала овация и гремело «ура». Когда аплодисменты утихли, товарищ Ворошилов оглянулся и спросил:

— А где наши орлы, дважды герои Грицевец и Кравченко? Прошу ко мне.

Маршал обнял летчиков и усадил их возле себя. Он радушно угощал сидящих с ним героев, он радовался их приезду, поздравлял и горячо благодарил.

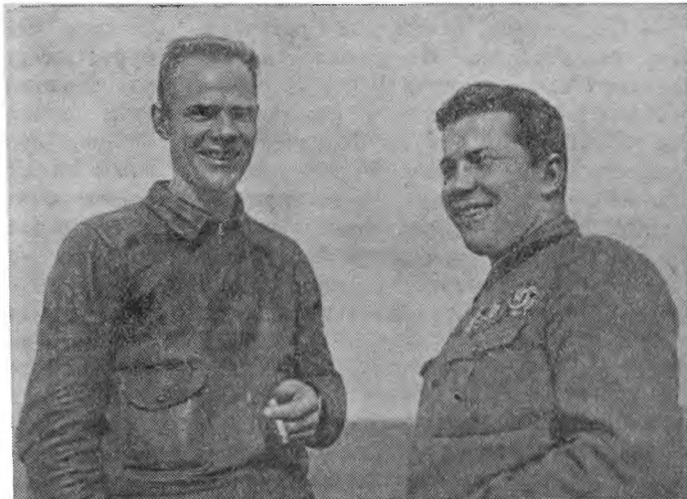
Товарищ Ворошилов провозгласил здравицу в честь победы, в честь героических защитников родины, в честь сталинских соколов, совершивших исключительные подвиги, и поднял бокал за дважды Героев Советского Союза Кравченко и Грицевца.

Несмолкаемое «ура» оглашало парадный зал. Закончился обед. Кравченко и

Грицевец, провожая маршала, шли с ним через зал. Внезапно товарищ Ворошилов взглянул на стол, за которым сидели родные Кравченко, и остановился.

— А вот это мать и отец Кравченко, — сказал он и подошел к столу. Он крепко пожал руки старикам и проникновенно сказал: — Поздравляю вас с таким сыном!

Маршал увидел за столом подростка-



Дважды Герои Советского Союза Грицевец (слева) и Кравченко. (Снимок сделан во время боевых операций.)

школьника и протянул ему руку:

— А это брат Кравченко. Вижу по лицу. Желаю вам быть летчиком.

— Есть! — горячо ответил школьник. — Буду летчиком, товарищ Ворошилов!¹

По освещенным вечерними огнями шумным столичным улицам ехал Кравченко со своими родными. Покинув глухую степь всего лишь третьего дня, он теперь с изумлением смотрел на огромные здания, на кипящие народом площади.

¹ Иван Кравченко немедленно стал учиться в аэроклубе, затем отлично выдержал испытания, поступил в Качинскую авиационную школу, где учился Григорий Пантелеевич. В настоящее время Иван Кравченко, закончив школу, выпущен летчиком-истребителем и служит в Н-ской авиационной части. — М. Р.

Дома его ожидала большая дружная семья. В то время, как Григорий Пантелеевич сражался на фронте, брат Федор, с которым он в былые годы пас овец у берегов Тобола, стал научным работником и готовился к работе над диссертацией. Младшая сестра Ольга поступила в Авиационный институт.

Всю ночь мать и отец, братья и сестры, тесно прижавшись друг к другу, сидели вокруг дорогого гостя, знаменитого героя. Они просили его рассказов, а он смеялся и отшучивался:

— Собственно, о чем мне рассказывать, что говорить? Я занимался исключительно «арифметикой»!

Несколько дней спустя дважды Герои Советского Союза Кравченко и Грицевец, командовавший воздушными силами фронта Смушкевич и летчики — участники боев — были приглашены в Кремль. Героев сердечно принимал, поздравляя с победой, великий вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин.

XIII

Вскоре с Московского аэродрома улетел на юго-запад самолет с Героями Советского Союза. Полковник Кравченко отправился участвовать в освобождении трудящихся Западной Украины. Истребители вместе с войсками Красной армии гнали и громили полчища польских панов.

В Москву Кравченко возвратился с Карпатских гор.

Седьмого ноября во время октябрьского парада, когда над Красной площадью строгим строем проплывали сотни самолетов, над звездами кремлевских башен со скоростью ураганного вихря промелькнули пять красных истребителей. По радио и из газет стало известно, что стремительную «пятерку» истребителей вел дважды Герой Советского Союза Кравченко.

В конце ноября Кравченко с матерью и отцом выехал в Сочи. Но он недолго отдыхал на Юге: ровно через неделю начались военные действия с финской

белогвардейщиной. Мог ли он оставаться у моря среди пальм? Немедленно, вместе со своими товарищами, летчиками-истребителями, Кравченко отправил срочную телеграмму маршалу Ворошилову с горячей просьбой разрешить выехать на фронт и принять участие в боях. Два дня летчики, волнуясь, ждали ответа. Наконец, из Москвы на имя Кравченко была получена короткая телеграмма:

«Согласен. Выезжайте. Ворошилов».

В морозных туманах над льдами и снегами Финляндии, в ветрах снежных бурь, на горизонте появилась «ласточка» Кравченко. Он командовал большим авиационным соединением, и его бойцы, отличаясь в сражениях, совершали подвиги; многие из них стали героями и орденосцами. Но об этих днях может быть написана отдельная большая книга.

В разгар войны Кравченко был награжден вторым Орденом Красного Знамени, и ему было присвоено звание комдива.

После разгрома финской белогвардейщины вернувшегося в Москву Г. П. Кравченко правительство присвоило звание генерал-лейтенанта авиации.

Герой и Маршал Советского Союза, народный комиссар обороны СССР С. К. Тимошенко принимал в своем кабинете двадцативосьмилетнего генерал-лейтенанта.

— Передавайте ваш большой опыт молодым бойцам на новом посту, — сказал маршал. — Поздравляю вас, генерал!

★

... Высоко над Финским заливом в Прибалтику летит самолет. Командующий Кравченко смотрит на скрывающийся из виду Ленинград. Рассеиваются, исчезают силуэты огромного города. В тумане смутно сквозит золоченый купол Исаакиевского собора. Самолет поднимается все выше и выше, и сияющая точка светится в глубине, как далекое воспоминание...

Наша винтовка

Проф. В. Г. ФЕДОРОВ

доктор технических наук

★

Э то было без малого полвека тому назад. В один из солнечных летних дней 1898 года группа молодых подпоручиков-артиллеристов, среди которых находился и автор этих строк, подъезжала к Сестрорецку. Мы только-что закончили переходные курсовые экзамены в Михайловской артиллерийской академии, и нам предстояло провести три недели в одном из старейших заводов России, чтобы на практике познакомиться с оружейным делом.

Мы ехали в Сестрорецк с огромным воодушевлением: Сестрорецк и его завод, созданный Петром I в 1714 году, теперь вновь приобретал огромное значение — на старом заводе изготавливались новые русские винтовки, конструкция которых заслуженно считалась наилучшей в мире. Здесь же, в Сестрорецке, работал отец русской винтовки — 49-летний генерал С. И. Мосин, с которым всем нам хотелось познакомиться поближе.

Русская трехлинейная винтовка, принятая на вооружение в 1891 году, имела свою длинную и запутанную историю, детали которой мне лично стали известны много позднее, когда я уже работал в оружейном отделе артиллерийского комитета; о них я расскажу ниже. Теперь же нам было известно лишь в общих чертах, что талантливый русский изобретатель был обойден, что его незаслуженно обидели и что вся эта история нанесла С. И. Мосину тяжелей, непоправимый удар.

И вот, наконец, мы в Сестрорецке. Тихий, живописный городок производил на нас наилучшее впечатление. Все вокруг было овеяно воспоминаниями о далекой героической эпохе Петра: приземистые старинные корпуса завода, знаменитая роща «Дубки», дубы которой были посажены самим Петром. С роскошного морского пляжа виднелся в туманной дымке остров Котлин, с грозными бастиянами основанного Петром Кронштадта.

К сожалению, Сестрорецкий оружейный завод мог изготавливать всего 75 тысяч винтовок в год. На нем работало лишь 2 тысячи рабочих. Правда, это были редкие мастера своего дела, воспринявшие искусство оружейного дела от своих дедов и прадедов. С первых же шагов мы познакомились с печальной практикой, составлявшей трагедию русских оружейников: на протяжении многих десятилетий работы по вооружению царской армии нам так и не удалось ликвидировать пагубный разрыв между передовой технической мыслью русских изобретателей и нищенскими средствами, которые ассигновывались на конструкторские работы.

Уже пять лет работали русские заводы над изготовлением новых винтовок. Однако всем трем оружейным заводам — Тульскому, Ижевскому и Сестрорецкому — удалось изготовить всего лишь около миллиона ружей...

Генерал Мосин встретил нас, молодежь, у самого входа на завод, на верх-

ней площадке лестницы. Видимо, он возлагал большие надежды на своих будущих помощников. Вместе с ним находился его верный сотрудник, капитан А. П. Залюбовский, который с первых же дней работы Мосина над новой винтовкой оказывал ему большую помощь.

С. И. Мосин, человек высокого роста, плотный, широкоплечий, с небольшой бородкой, окаймляющей его энергичное лицо, сразу же произвел на нас впечатление деловитого и требовательного начальника. После официального представления он сам проводил нас в цехи и вместе с нами обошел несколько мастерских, обращая наше внимание на некоторые характерные особенности производства и в первую очередь — на изготовление калибров или лекал — инструментов, поверяющих изделия.

Лекальная мастерская была любимым детищем С. И. Мосина. Дальновидный конструктор, он больше, чем кто-либо, понимал, что в будущих войнах армии потребуют огромного количества вооружения и что успех войн решит организация массового производства взаимозаменяемых деталей. Теперь уже нельзя было делать винтовки кустарно, как когда-то, в петровские времена, изготавливали фузеи с их багинетами. По настоянию С. И. Мосина, особый инструментальный отдел был переведен из Петербурга в Сестрорецк, и здесь, под его руководством, было налажено производство всех необходимых калибров.

Генерал показал нам самые разнообразные типы лекал, начиная от простейших и кончая сложными, показал мерительные станки и приборы, служащие для проверки точности изготовления этих калибров. Потом он провел нас на заводское стрельбище, где испытывались сдаваемые заводом винтовки. Здесь он выбрал несколько экземпляров уже отстрелянных и принятых винтовок, приказал разобрать их, смешать отдельные части и вновь собрать винтовки из перепутанных частей. Все части идеально примкнули одна к другой. С нескрываемым удовольствием генерал предложил нам самим произвести стрельбу из вновь собранных винтовок,

чтобы удостовериться, насколько четко поставлено на заводе изготовление деталей.

Три недели проработали мы в Сестрорецке, переходя из цеха в цех. С. И. Мосин заставлял нас глубоко вникать в сущность производственных процессов, серьезно знакомиться с технологией, заниматься кропотливым изучением рабочих чертежей, заставлял проставлять на размерах определенные допуски, изучать проектирование калибров. Одним словом, мы работали, как самые настоящие техники и инженеры, забыв о том, что на наших плечах красуются погоны. Это было нечто новое — далеко не всюду, к сожалению, молодые офицеры проходили такую хорошую производственную школу.

Как ни далеко стояли мы по своему положению от рабочих, нам бросалось в глаза, что на этом заводе существуют необычные для того времени взаимоотношения между рядовыми оружейниками и их начальником. С. И. Мосин великолепно учитывал, что в конечном счете успех вооружения армии решает тот, кто изготавливает это вооружение. И он заботился по мере возможности о том, чтобы кадры рабочих были стабильными.

В прежнее время оружейные заводы работали крайне неравномерно. Только в годы войн и перевооружения они действовали полным ходом. Но как только выполнение заказов кончалось, заводы оставались без нарядов, начиналось сокращение рабочих, начиналась безработица. Особенно тяжело переживали такие периоды жители Сестрорецка, которых кормил лишь оружейный завод, — других предприятий в этом городе не было.

В 1898 году как-раз заканчивалось выполнение основных нарядов, и рабочим грозило большое сокращение. И вот С. И. Мосин все силы своей недюжинной энергии вкладывал в переустройство завода, при котором он мог бы выполнять, помимо оружейных, и побочные заказы. Об этих хлопотах своего начальника рабочие были хорошо осведомлены и потому очень ценили его.

Три недели — небольшой срок. Однако практика наша была организована так, что мы довольно обстоятельно изучили производство новой русской винтовки.

Прощаясь с С. И. Мосиным, я, конечно, никоим образом не мог предполагать, что судьба накрепко, на всю жизнь, свяжет меня с мосинской винтовкой и что Сестрорецкий оружейный завод будет играть весьма значительную роль в моей деятельности. Покинув Сестрорецк, мы переезжали с завода на завод; другие люди, иные картины различных военных производств оставляли более свежий след в памяти. Много забывалось. Но образ С. И. Мосина, который так радушно встретил нас, молодых слушателей академии, который так горячо пришел нам на помощь, — навсегда сохранился в душе.

★

Прошло два года. В мае 1900 года мы закончили Артиллерийскую академию. Разборка вакансий в различные артиллерийские научно-технические учреждения и на заводы производилась в порядке старшинства баллов, полученных на выпускных экзаменах. Я попал в артиллерийский комитет и вскоре был назначен в его оружейный отдел.

С чувством большого волнения подходил я к большому особняку на Литейном проспекте, у подъезда которого на высоких постаментах красовались старинные орудия, отлитые в минувшие века.

Артиллерийский комитет был высшим научно-техническим учреждением, на обязанности которого лежало руководство испытанием и введением в армию всех образцов вооружения как артиллерийского, так и стрелкового. Комитет этот был организован еще в 1803 году военным министром Аракчеевым.

Обширный зал заседаний комитета находился на втором этаже. Его громадные окна выходили на Литейный проспект как-раз над главным подъездом. Длинный стол, покрытый темно-зеленым сукном, тянулся вдоль окон. На стенах висели портреты отличив-

шихся деятелей артиллерийского комитета. Портреты вывешивались после смерти этих деятелей, в знак особого уважения, по особому постановлению комитета.

Нетрудно понять, как неловко чувствовал себя я, совсем еще молодой капитан, в этом чинном здании среди старших и знатнейших деятелей русского оружейного дела, крупнейших ученых, мировых светил. Здесь были и участники венгерского похода 1849 года, и герои Севастопольской обороны, и участники Русско-Турецкой войны 1877—1878 годов. Недаром высокий, сухой и седой, как лунь, профессор Эгерштром шуточно говорил мне: «Я представляю в оружейном отделе древнюю историю, когда наша армия была вооружена кремневыми, а затем ударными ружьями. Генералы Ридигер и Чагин являются представителями средней истории, когда у нас появились первые винтовки, заряжающиеся с казны. Генерал Мосин, со своей трехлинейной винтовкой, — это уже новая история. А капитан Филатов и вы олицетворяете грядущую новейшую историю, появление первых образцов автоматического оружия».

Надо сказать, однако, что преклонный возраст многих работников оружейного отдела отнюдь не способствовал продуктивной работе артиллерийского комитета. Когда человеку исполняется семьдесят лет, он уже лишен, естественно, той энергии и инициативы, которые бьют ключом в более раннем возрасте. Многих ветеранов оружейного отдела тянуло на покой, тем более, что осуществление каких-либо новшеств в условиях царской России было сопряжено с огромными трудностями.

И все-таки многие члены нашего комитета работали, не покладая рук, с огромной энергией. К числу таких передовых работников бесспорно должен быть отнесен и С. И. Мосин, с которым мы снова встретились в артиллерийском комитете. Несколько лет просидели мы рядом, — почтенный знаток оружейного дела, выдающийся конструктор, генерал и юный капитан, еще не обладающий достаточным опытом и

знанием. Нетрудно понять, с каким уважением и почтением относился я к своему соседу.

Сколько раз я сожалел о несовершенстве учебного дела в военных учебных заведениях того времени! Ведь вся моя специальная подготовка заключалась лишь в изучении принятых на вооружение главных государств систем оружия — и то не по образцам, а по чертежам в учебниках. Единственно, чем я мог гордиться, — это практической работой на оружейном заводе под руководством С. И. Мосина. К сожалению, ценность и этой работы была несколько снижена тем, что мне было поручено крайне ограниченное, куцое задание — «разработка протирки». Это был весь мой специальный багаж, который я вынес для занятий по моей должности. Пришлось приналечь на самообразование. К счастью, имея таких высоко компетентных советчиков, было не так трудно наверстать упущенное.

С. И. Мосин редко принимал участие в прениях. Он выглядел замкнутым, малоразговорчивым человеком. Однако он с огромным вниманием относился к каждому из дел, которые у нас рассматривали.

Особенно оживлялся он, когда заходила речь о применении его винтовки в боевых действиях. По жалкой иронии судьбы, самое передовое оружие того времени получило первое боевое крещение в самом реакционном и грязном военном деле — в китайском походе 1900 года, — когда русские войска усмиряли боксерское восстание.

«Войска не нахвалятся на свою винтовку» — доносил в Петербург генерал Стессель после взятия Пекина. Помню, как председатель комитета генерал Ридигер в прочувственной речи благодарил в этот день С. И. Мосина за его труды на пользу русской армии.

Вспоминается мне рапорт нашего военного агента в Черногории о применении наших трехлинейных винтовок черногорцами в пограничных стычках с албанцами. Черногорцы, которых русское правительство рассматривало как свой форпост на Балканах, очень хвалили винтовку Мосина. Агент доносил также

о прекрасных качествах русских патронов. Во время разгрузки парохода Добровольного флота, доставившего наши винтовки черногорской армии, одна из лодок, перевозившая патроны, затонула. Патроны подняли со дна моря только через полгода. Один из ящиков с цинковыми коробками был вскрыт. В присутствии агента была произведена поверочная стрельба. Патроны не дали ни одной осечки.

Помню, как накануне столкновения Италии с Абиссинией, в 1895 году, абиссинской армии было отправлено несколько десятков тысяч трехлинейных винтовок.

С особым интересом С. И. Мосин относился к рассматривавшимся у нас в отделе отчетам штаб-офицеров, которые осматривали оружие в частях, доносили о различных недостатках, замеченных при осмотре, об испытании и о выборе для войсковых частей надлежащих приборов и пособий для обучения стрельбе. То было время Англо-Бурской войны. Одной из причин тяжелых поражений англичан являлось тогда превосходство бурских стрелков, которые с детства учились владеть огнестрельным оружием. Во всех государствах принимались особые меры для поднятия стрелкового дела, и С. И. Мосин, естественно, интересовался этой проблемой.

Начало моей службы в оружейном отделе совпало по времени с распространением автоматического оружия. Широко испытывались пулеметы, автоматические пистолеты. Появлялись единичные опытные образцы автоматических винтовок. Мне было поручено докладывать оружейному отделу все сведения, какие удавалось собрать на страницах иностранной периодической печати. С. И. Мосин проявлял большой интерес и к этой, самой передовой, проблеме оружейного дела.

Одним словом, не было ни одного серьезного вопроса в области нашей работы, которым бы не интересовался самым живейшим образом талантливый конструктор. И все-таки сразу же бросалось в глаза, что в отношениях между членами оружейного отдела и главным

конструктором русской винтовки чувствовалась какая-то странная и, на первый взгляд, необъяснимая холодность. Только теперь, работая в комитете, я узнал все детали печальной истории, связанной с изобретением русской трехлинейной винтовки образца 1891 года.

История эта настолько интересна, настолько поучительна, что ее стоит изложить здесь хотя бы коротко.

★

Войны второй половины XIX века — Австро-Прусская. 1866 года, Франко-Германская 1870—1871 годов и в особенности Русско-Турецкая 1877—1878 годов — показали острейшую необходимость дальнейшего увеличения скорострельности оружия.

Военная техника прогрессировала. Появились образцы магазинного оружия — такого, в конструкцию которого входил «магазин», содержащий запас патронов. И у нас, в России, уже в 1883 году под председательством генерала Чагина была организована комиссия по испытанию магазинных ружей. В состав этой комиссии вошел и скромный капитан С. И. Мосин, служивший тогда на Тульском оружейном заводе. Уже тогда он получил известность своими работами — ему удалось приспособить к старой винтовке Бердана особый механизм, помещавшийся в прикладе.

Стоит отметить, что уже в 1885 году, на основании предварительных испытаний, оружейный отдел счел необходимым немедленно заказать 1000 винтовок с приспособлением Мосина. При царском правительстве не умели сохранять военную тайну, и об этом заказе сразу же стало известно за границей. Во Франции в то время усиленно работали над магазинной винтовкой, и фирма Рихтер немедленно обратилась к Мосину с предложением продать свое изобретение за 600 тысяч франков. Это был первый случай в истории оружия, когда иностранцы обратились к русскому изобретателю с предложением купить разработанную им систему.

Сам Мосин еще не был доволен сво-

ей конструкцией. Между тем во всем мире происходило лихорадочное состязание конструкторов. Уже в 1886 году французская армия приняла на вооружение малокалиберную винтовку Лебеля, стрелявшую патроном с новым бездымным порохом. Два года спустя германская армия приняла на вооружение малокалиберную винтовку с более совершенной конструкцией магазина, которая допускала возможность заряжать ружье пачкой с пятью патронами так же легко, как одним.



Главный конструктор русской винтовки образца 1891 года С. И. Мосин (снимок сделан в начале 90-х годов, когда он служил на Тульском оружейном заводе).

И только русская армия все еще не имела современной винтовки.

Высшие военные круги были крайне встревожены. Здесь хорошо помнили катастрофу русской армии при Севастополе, когда одной из причин поражений русских войск в полевых боях была отсталость вооружения. В заседаниях оружейного отдела еще присутствовали деятели, которым пришлось пережить не только кошмар этой войны, но и последующую «ружейную драму», знаменитую в истории оружейного дела в России: шесть систем оружия сменили

друг друга на протяжении каких-нибудь четырех лет.

И вот в 1889 году особое совещание, под председательством военного министра Ванновского, выносит постановление — разделить вопрос о конструировании новой винтовки на две части и в первую очередь заняться разработкой только одного патрона и однозарядной системы малого калибра.

Трудно подыскать более убедительный пример для иллюстрации трагизма конструкторского дела того времени! В эпоху, когда все армии мира вооружаются многозарядным магазинным оружием, русская армия, в силу технической отсталости своей страны, вынуждена ограничиваться однозарядной системой...

К счастью, русские конструкторы с честью справились с задачами, поставленными перед ними временем.

Уже в том же 1889 году комиссия представила первый образец усовершенствованной однозарядной винтовки. Почти одновременно С. И. Мосин берется за приспособление к этой винтовке прогрессившего на весь мир изобретения бельгийца Леона Нагана, который предложил высокосовершенную конструкцию магазина — она заряжалась обоймой; эта обойма вставлялась в пазы ствольной коробки, затем стрелок продавливал пальцем патроны в магазин, а обойму отбрасывал в сторону.

Исконное подобоострастие перед всем иностранным, распространенное в те времена в России, сказалось и здесь. Иностранец Наган был встречен в России с огромным почтением. Ему было заказано 300 винтовок, причем Наган поставил условием, что ему будет выплачено 200 тысяч рублей в случае, если его винтовка в целом будет принята на вооружение с правом изготовления ее как в России, так и за границей. Мосину же было назначено лишь 30 тысяч рублей.

С. И. Мосин выполнил свою работу в короткий срок. Его винтовка представляла собой результат коллективной работы: ствол с прицельными приспособлениями и патрон были разработа-

ны упоминавшейся выше комиссией генерала Чагина; способ заряжания и обойма были заимствованы у Нагана; основной же механизм винтовки — затвор с соединительной планкой и магазин с подающим механизмом и знаменитой отсечкой-отражателем — был разработан самим Мосиным. С декабря 1890 года по апрель 1891 года обе конструкции были испытаны в армии, и 16(28) апреля 1891 года образец Мосина, как более простой и более дешевый, был утвержден для перевооружения русской армии. Все же Леону Нагану было решено выплатить 50 тысяч рублей. Наган потребовал 75 тысяч. В это время выяснилось, что русские заводы не смогут полностью обеспечить винтовками армию и что 500 тысяч винтовок придется заказать за границей, во Франции. Наган воспользовался этим обстоятельством и потребовал полностью уплатить ему 200 тысяч рублей, согласно условий.

Но дело даже не в деньгах. Мосин был оскорблен до глубины души другим. До этого обычно новая винтовка именовалась по фамилии ее главного конструктора. В частности, в русской армии последовательно, одно за другим, были приняты на вооружение ружья Терри-Мормана, Карле, Крнка, Бердана. И только теперь, когда винтовка была создана русским, правительство решило оставить ее безыменной.

Любопытно отметить, что во все время работ С. И. Мосина над конструкцией винтовки, начиная с 1882 года по апрель 1891 года, все образцы назывались его именем. Другого названия не было. И даже в заключительном журнале от 9(21) апреля 1891 года при выборе образца винтовки оружейный отдел указывает: «Ружье капитана Мосина, приспособленное к обойме иностранца Нагана, может служить руководством для изготовления на Тульском оружейном заводе справочных ружей, если это ружье удостоится высочайшего утверждения». Таким образом, всего за семь дней до этого «высочайшего утверждения» оружейный отдел называл винтовку образца 1891 года ружьем Мосина.

И вдруг совершенно неожиданный поворот:

Резолюция военного министра Ванновского гласит:

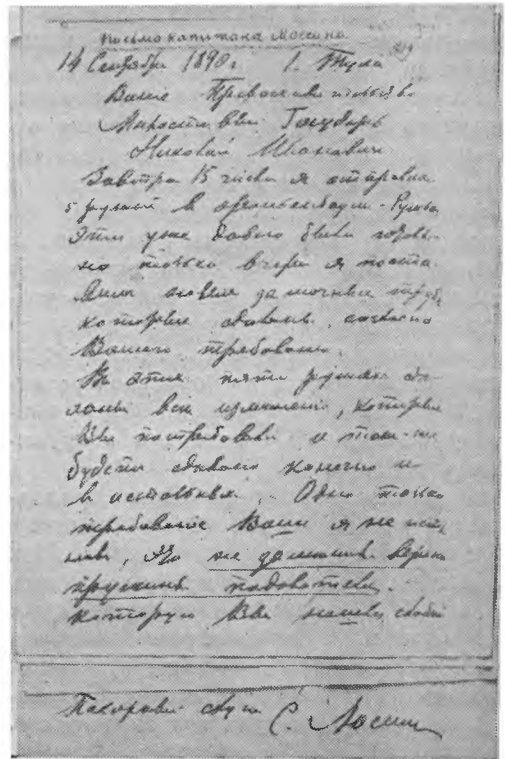
«Решение сего важного вопроса зависит от благоусмотрения государя императора. 6 апреля в 3 часа пополудни государь император изволил смотреть сравнительную стрельбу образцов ружей на Гатчинском военном поле. В изготовленном новом русском образце имеются части, предложенные комиссией генерала Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, поэтому целесообразней, дабы выработанный образец наименовался русской трехлинейной винтовкой образца 1891 года.

Петр Ванновский».

Мосин горячо протестовал против несправедливости. В одной из своих записок он, между прочим, писал: «...я, правда, привилегий не имею, но никак не следует придавать значение, умаляющее мою работу по устройству и скombинированию всего ружья. Раз, если оружейный отдел признал, что запирающий механизм построен мною, то само собой следует, что и ствольная коробка, которая есть как бы футляр для запирающего механизма, может быть построена только мною. То же самое я должен сказать и о наружных начертаниях и о всех прорезях этой коробки. Так как отсечка-отражатель и магазин по отдельности признаны построенными мною, то, следовательно, и соединение их с коробкой произведено мною. Проектируя ствольную коробку и магазин, я должен был иметь в виду и устройство ложи, т.-е. должен был придать такое очертание коробке и магазину, чтобы, вревая их в ложу, не ослабить ее излишними вырезами. А потому постройка ложи и скombинирование ее с частями ружья принадлежит мне, а также в ней длина и изгиб приклада даны мною. Комиссия по выработке образца признала предложенную мною ложу за самую удобную для вскидки ружья при скорой стрельбе... Я считаю, что достаточно всего вышеизложенного, чтобы составилось убеждение, что раз главные части ружья по-

строены мною, то и скombинирование всего ружья принадлежит мне...»

Но все эти протесты остались без последствий. Скромный тульский оружейник, сын армейского офицера из захудалого местечка Рамонь, Воронежской губернии, хотя и получил генеральские погоны, не пользовался тем авторитетом, которого заслуживала его работа. И хотя сам военный министр признавал,



Письмо С. И. Мосина председателю комиссии по разработке малокалиберной винтовки Н. И. Чагину об отправке на испытание опытных образцов.

что «главные существенные части винтовки образца 1891 года выработаны исключительно капитаном Мосиным», эта винтовка осталась безыменной.

★

С. И. Мосин скончался в 1902 году. Ему не удалось довести до конца дело полного обеспечения русской армии достаточным количеством своих винтовок. Царское правительство не сумело со-

здать достаточных запасов оружия. Зато иностранная разведка позаботилась о том, чтобы срочно ознакомиться во всех деталях с совершеннейшей конструкцией русской трехлинейной винтовки.

В секретных делах того времени сохранились любопытнейшие документы, свидетельствующие о том, как охотились иностранные шпионы за русской винтовкой. Разведчики одной из держав опередили других. Им удалось выкрасть не только винтовку, но и большое количество патронов для ее испытания.

Некоторые государства стремились получить образец русской винтовки открытым путем. Так правительство США, через своего военного агента в Петербурге, просило уступить один экземпляр с надлежащим количеством патронов для производства испытаний, имевших целью выяснить вопрос о возможности принятия русской винтовки на вооружение армии США. Сербское военное министерство просило разрешить ему заказать трехлинейную винтовку образца 1891 года для вооружения своей армии.

В артиллерийском комитете продолжалась серьезная работа по созданию совершенных образцов оружия. Мы, работники комитета, по праву гордились и своей трехлинейной винтовкой, и превосходным револьвером образца 1895 года, и новым русским пулеметом образца 1910 года (на станке Соколова), который был куда совершеннее пулеметов, стрелявших на полях Манчжурии, и русской 76-миллиметровой полевой пушкой, считавшейся одной из лучших в мире, и нашей полевой гаубицей образца 1909 года, и 107-миллиметровой скорострельной пушкой, и 152-миллиметровой тяжелой гаубицей.

Но что мы могли поделать, если все эти образцы не изготовлялись в достаточном количестве вследствие технической отсталости России?

И вот грянул гром мировой войны. И... уже через двенадцать дней после объявления войны мне пришлось отправиться в командировку в далекую Японию, чтобы там вымалывать у японских генштабистов винтовки и патроны

образца Арисака. Двадцать два года спустя после того, как совершеннейшая винтовка Мосина была принята на вооружение, наша армия не имела достаточного количества этих винтовок!

Какие только проекты не пришлось выдвигать. Где только не приходилось искать оружие! Мы разыскивали его всюду, во всех частях света, за исключением, пожалуй, одной лишь Австралии. Винтовки искали и в Северной и Южной Америке, и в Африке, и в Азии. Вспоминается предложение парижского отделения Петроградского международного коммерческого банка о покупке в Бразилии двух партий винтовок Маузера по 79 долларов за винтовку. Винтовки, по заявлению продавцов, находились в Рио-де-Жанейро и были готовы к погрузке. Главное артиллерийское управление немедленно командировало за океан приемщиков и зафрахтовало 2 парохода добровольного флота, но... никаких винтовок в Рио-де-Жанейро не оказалось.

Делались попытки приобрести обратно наши старые трехлинейные винтовки, переданные русским правительством Абиссинии перед ее столкновением с Италией, а также уступленные Монголии и даже находившиеся у населения Манчжурии — взятые у наших убитых и раненых и вообще утраченные во время Русско-Японской войны. Однако командированные лица, осмотрев эти винтовки, нашли их в таком запущенном виде, что скупать их у населения не было смысла.

Мне пришлось тогда исколесить всю Европу. Вспоминается зима, занесенные снегом окопы на Равке, Бзуре, Пилице; организация починочных мастерских и осмотр оружия в ослабленных колоссальными потерями пехотных частях; командировка за оружием в Англию; бурные воды Ледовитого океана, бросающие наши утлые шлюпки после взрыва крейсера, на котором мы ехали; конференция союзников в Лондоне под председательством Ллойд-Джорджа, у которого мы, как нищие, выпрашивали оружие; заседание в Париже у Альберта Тома все по тому же делу. С какой завистью осматривал я части союзни-

ков на французском фронте, — как великолепно были они вооружены! Ценою больших унижений, за огромные деньги нам удавалось раздобыть самые разнокалиберные устарелые винтовки. Русские солдаты получали винтовки Гра и Гра-Кропачек, Лебеля, мексиканские Арисака, японские Арисака. Но и этих разнокалиберных ружей не хватало. До какой степени возрос недостаток винтовок к летней кампании 1915 года, видно хотя бы из следующей телеграммы начальника штаба верховного главнокомандующего Янушкевича военному министру Сухомлинову:

«В XII корпусе из 7 дивизий—12 000 штыков. Нет винтовок, и 150 000 человек стоят без ружей. Час от часу не легче. Ждем от вас манны небесной. Главное — нельзя ли купить винтовок...»

★

С тех пор прошло много лет. Наша армия не та, с которой мне и моим товарищам пришлось иметь дело в годы своей молодости. Теперь сбылись все мечты прежнего оружейника, все то, о чем в прежние время мы могли только мечтать. Совершенно изменилась сеть заводов, вырабатывающих военное снаряжение, неизмеримо выросло количество предприятий, которые во время войны будут ковать оборону. Изменились методы производства оружия, введены самые современные технологические процессы, в корне изменены приемы проектирования новых образцов вооружений, организованы проектно-конструкторские бюро с подготовленным персоналом в помощь изобретателю. Улучшена подготовка лиц, работающих по оружейному делу. Само оружие теперь в руках народа, оно теперь призвано решать прогрессивные задачи борьбы за освобождение человечества.

Вооружение Красной армии состоит из самых совершенных образцов, имеющих к тому же в достаточном количестве. Однако старая русская винтовка, полувековой юбилей которой мы отмечали в апреле этого года, не утратила своего значения.

Модернизированная в 1930 году русская трехлинейная винтовка остается на вооружении Красной армии. С нею наши бойцы разили врагов у озера Хасан, с нею они громили захватчиков на берегах Халхин-Гола, с нею шли в освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию, с нею уничтожали белофиннов на Карельском перешейке.

Но наряду с этим боец Красной армии теперь вооружен более мощными огневыми средствами. Творческая мысль русских оружейников работает много и плодотворно.

Мне вспоминается статья в газете «Трудящаяся беднота», написанная по поводу признания местным бюро профсоюзов В. Дегтярева Героем Труда в 1921 году. «Придет время, — указывалось в этой статье, — и Дегтяревы будут изобретать вместо оружия тракторы и сельскохозяйственные машины для обработки земли».

Можно ли, однако, считать, что это время уже наступило?

Мы, люди старшего поколения, еще застали ту эпоху, когда наиболее распространенными были слова: «Вечный мир возможен только на кладбище», «Вся история народов земли показывает, что на каждый год мира приходится тринадцать лет войны».

Мне вспоминаются слова Моргана после Версальского мира: «Мы разрушили 35 000 германских орудий, мы превратили в лом несколько миллионов винтовок, мы взорвали крепости и пороховые заводы, мы остановили военное производство Круппа, но есть три вещи, которые нельзя разрушить: человека, науку и промышленность».

Прошло всего четверть века, и мир снова объят пожаром войны. Человек, наука и промышленность капиталистических стран опять направлены по пути войны. Капиталистический мир не может отказаться от свойственных ему стремлений и методов.

И до тех пор, пока этот мир существует, наши оружейники не смогут переменить свою специальность!

Рейдеры

В. КРАМЕР, В. ЛИНЕЦКИЙ



I

Иностранная печать и агентские телеграммы сообщают о разгорающейся на море борьбе за пути сообщения, ведущие к Британским островам. Минувшая зима принесла усиление этой борьбы. Германское командование стремилось извлечь возможно больше выгод из новой стратегической обстановки, создавшейся в результате летней кампании 1940 года. Овладение западным берегом Европы на всем его протяжении от Нордкапа до Пиренеев открыло перед германским морским и воздушным флотом новые возможности для действий против британских коммуникаций в Атлантическом океане.

В этом отношении германские рейдеры, действующие на океанских просторах, находятся теперь в лучших условиях, чем в годы первой империалистической войны, когда для них единственными воротами, ведущими в океан, было Северное море, перегороженное барьерами английских мин и дозорных кораблей. Нынешние германские рейдеры могут опираться на базы, путь к которым уже не таит в себе столько неожиданностей и опасностей. При возросшем радиусе действий рейдеров и уменьшении их зависимости от питания на море это искупает в некоторой степени отсутствие опорных пунктов вдали от европейского материка.

В первые месяцы прошлой мировой войны рейдеры могли находить пристанище и пополнять свои запасы в гаванях африканских колоний Германии, в Циндао, на островах Маршаловых и Самоа. Здесь их ожидали этапные станции, организованные еще до войны, транспорт, зафрахтованные для доставки топлива, снаряжения и продовольствия, здесь к их услугам были мощные радиостанции и сводки агентурных бюро. Но положение их резко ухудшилось после того, как на картах Тихого океана и Африки изменились цвета германских колоний.

Отсутствие дальних опорных пунктов и гостеприимных нейтральных баз и повлекло за

собой гибель в декабре 1939 года германского «карманного» линкора «Адмирал граф Шпее». Находившийся в полной зависимости от вспомогательных судов, что облегчало работу английской разведки, капитан Лангсдорф вынужден был принять бой в невыгодных для себя условиях, а затем и прервать в водах Монтевидео рейдерство линкора, столь благополучно начатое у восточных берегов Африки. Но изменившаяся стратегическая обстановка в Западной Европе создала иные условия для крейсерских операций преемников «Адмирала графа Шпее».

25 марта этого года «Ньюс кроникл» опубликовала сведения о появлении в Атлантическом океане германских линкоров «Шарнгорст» и «Гнейзенау», а 5 апреля в сообщении английского министерства авиации указывалось, что оба эти линкора находятся в военно-морской базе Бреста.

Та же «Ньюс кроникл» сообщает, что радиус действий «Шарнгорста» и «Гнейзенау» приближается к 10 000 миль; это означает, что германские линкоры могут находиться в открытом море без пополнения горючим в течение 25—30 дней. «Нее цюрхер цейтунг» сообщает, что «по английской оценке период операций «Шарнгорста» и «Гнейзенау» может равняться трем месяцам». Но эта оценка может быть признана правильной в том только случае, если предположить, что линкоры сопровождают на море быстроходными транспортом, которые снабжают их в пути всем необходимым.

Между тем такая свита не всегда может сослужить рейдеру хорошую службу. Первое требование, которое предъявляет итальянский военно-морской журнал «Rivista maritima» к современному рейдеру, заключается в возможности большей его автономности в отношении снабжения горючим и боеприпасами. Этим требованием и объясняется, как это парадоксально ни звучит, что современному рейдеру выгоднее обладать паровыми машинами, чем дизелем, хотя дизель и обеспечивает больший радиус действий и большую скорость хода.

Рейдер, оборудованный паровыми машинами, скорее найдет в море необходимое для себя топливо, чем рейдер, зависящий от дизеля: большая часть кораблей океанского флота работает на угле.

Вопросы снабжения всегда играли решающую роль в судьбе крейсерских операций. Легко разрешимые в эпоху парусного флота, когда корабли не нуждались ни в угле, ни в нефти, а воду и продовольствие, с легкой руки елизаветинских адмиралов Дрейка или Кумберланда, они могли получать в любом беззащитном прибрежном городке, пригрозив жителям огнем и мечом, — эти вопросы в эпоху парового флота выросли в серьезную проблему, от разрешения которой зависел уже весь успех операции.

Война 1914—1918 годов показала, что снабжение является ахиллесовой пятой рейдеров.

Еще в 1863 году, когда Россия переживала лихорадку строительства крейсерского флота, а из Кронштадта выходила в Атлантический океан эскадра контр-адмирала Лесовского, послужившая серьезным козырем в руках русской дипломатии, — газета «Яхта» опубликовала интересные «Письма и заметки» адмирала В. А. Римского-Корсакова, посвященные тактике крейсеров. «Назначение выслаемой эскадры, — писал Римский-Корсаков, — состоит в том, чтобы в случае войны с морскими державами всеми средствами тревожить неприятельскую торговлю и колонии, чтобы отвлечь для защиты их возможно большее число неприятельских сил и тем самым ослабить средства для нападения на наши берега. Из этого само собою следует, что характер действий эскадры должен быть наступательный, что все действия начальника эскадры должны отличаться возможной предприимчивостью, смелостью, быстротой, внезапностью».

Этой предприимчивости, смелости и других возможностей лишен рейдер, у которого остался ограниченный запас горючего и снарядов.

Повышенные требования предъявляются и к скорости рейдера, и к его артиллерийскому вооружению. Скорость хода и мощь огня должны обеспечить внезапность нападения на торговые суда противника и их конвой, а также быструю расправу и быстрый выход из боя, — до того, как сможет подоспеть помощь, вызванная судами, подвергшимися нападению.

Итальянские газеты рассказывают следующее о нападении германского рейдера на караван английских судов в начале ноября прошлого года: «Это был один из наиболее ярких эпизодов действий надводных кораблей против конвоев. Английский караван в составе 37 судов был атакован германским кораблем. Кроме вспомогательного крейсера «Джервис бай», эскортировавшего караван, были потоплены торговые суда общим водоизмещением в 50 000 тонн. Остальные рассеялись. Англичане признали потопление 5 судов, американские источники говорят о гибели 16 судов. Английские военные корабли, немедленно прибывшие к месту боя, не нашли и следов гер-

манского корабля, который успел скрыться от воздушной разведки».

Такое стремительное нападение германского рейдера, повидимому, линкора «Лютцов», столь значительный ущерб, нанесенный им и столь быстрый его выход из района боя могли быть осуществлены так, как это описывает итальянская пресса, в том только случае, если этот рейдер располагал мощной артиллерией, способностью действовать по нескольким целям сразу, и рекордной быстротой хода.

По мнению «*Rivista maritima*», скорость хода современного рейдера должна доходить до 30 узлов в час, во всяком случае быть не ниже скорости линейного корабля, а вооружение — состоять из орудий 90, 120 и 350-мм калибра. «Надо иметь в виду, — пишет при этом журнал, — необходимость широкой возможности автономного огня против многочисленных мишеней (в случае, например, нападения на охраняемый караван судов), необходимость обладать сильным зенитным оружием и торпедными аппаратами для боя против линейных кораблей».

В журнале дается поэтому довольно сдержанная оценка роли и значения вспомогательных крейсеров в войне за морские коммуникации, поскольку суда этого класса не в состоянии нести на себе столь мощную артиллерию. Журнал предсказывает, что не только вспомогательные, но и простые крейсера должны будут исчезнуть с арены борьбы за морские коммуникации, «подобно тому, как исчез линейный крейсер из современного флота, когда его тактико-технические данные были поглощены современными линкорами».

Эта оценка, быть может, вызвана неудачными действиями итальянских рейдеров в Тихом океане, судьбой хотя бы быстроходного «Рамба», который в начале марта этого года спустил свой флаг в новозеландских водах после пяти оружейных залпов британского военного корабля «Лэндер».

Германское же командование, как известно, пользуется для рейдерских операций вспомогательными крейсерами, вооруженными торговыми пароходами и транспортом специальной постройки, ставя на них крупную артиллерию, вплоть до 203-мм калибра. Корабли такого типа имеют три несомненных достоинства: они дешевы, убыль в их составе легко пополнить, а воздушная разведка неприятеля не всегда их обнаружит, потому что своим внешним видом они не отличаются от обычных торговых кораблей.

Контр-адмирал Гадов в одной из своих статей, помещенной в сентябре прошлого года в «Дейче альгемайне цейтунг», подчеркивал выдающееся значение рейдерских операций, отвлекающих силы британского флота с основного театра военных действий. «Присутствие германских броненосцев в Атлантике, — писал он, — потребовало усиления английского атлантического флота. Торговые суда стали конвоироваться английскими военными кораблями». Перед германскими рейдерами, появляющимися то у берегов Бразилии, то на торговых путях

между Индией и Австралией, и была поставлена задача — отвлечь возможно больше сил неприятельского флота от Британских островов и тем самым облегчить действия германских подводных лодок и бомбардировщиков на близких коммуникациях, на непосредственных подступах к островам.

Пока еще нет данных для суждения о том, в каком объеме разрешается эта задача в нынешней войне. Но история прошлой мировой войны рассказывает, что преследованием каждого рейдера было занято не меньше четырех военных кораблей. За неуловимым «Эмденом» охотилось 16 военных судов. Преследованием «Кенигсберга» было занято 10 крейсеров.

Необходимой предпосылкой для успешных действий рейдера служит основательная разведка, и не только в период самих военных операций, но и задолго до наступления войны. Генеральные штабы стремятся поэтому заблаговременно получить исчерпывающие сведения о грузообороте будущего противника, о его портах, о его торговом флоте. Современный рейдер, не располагающий всеми этими данными, не связанный по радио с центрами разведывательных бюро и с самолетами, обладающими большим кругозором, не многим бы отличался от корсаров шарусного флота, рыскавших вслепую по морям в поисках своей добычи. Это была бы игра в жмурки.

II

О действиях рейдеров на океанских просторах написано немало книг. История морской войны рассказывает о пиратах средневековья, о храбрых и отважных адмиралах королевы Елизаветы и Людовика XIV, о крейсерах времен наполеоновских войн...

Большая литература посвящена операциям германских рейдеров во время первой империалистической войны.

Операции рейдеров не случайно окружены ореолом своеобразной романтики. Их подстерегают многочисленные опасности и в их действиях, как бы удачны они ни были, заложены элементы огромного риска.

По меткому выражению Черчилля, германская эскадра адмирала Шпее в прошлую мировую войну была «срезанным цветком, обреченным на смерть». В битве у Коронеля адмирал Шпее благодаря двойному превосходству в силах наголову разбил эскадру адмирала Крадока, потопив два крейсера: «Гуд Хоуп» и «Монмут». Но через пять недель англичане взяли реванш в сражении у Фалклендских островов — ледяные волны южной Атлантики сомкнулись над «Шарнгорстом», «Гнейзенау», «Лейпцигом» и «Нюрнбергом», и только быстроходному «Дрездену» удалось ускользнуть от гибели, да и то ненадолго.

Для ликвидации эскадры Шпее первый лорд британского адмиралтейства Фишер решил на крайнюю меру: энергично поддержанный Черчиллем, он направил к Фалклендским островам два новых линейных крейсера «Инвинсиль» и «Инфлексиль», обнажив этим

защиту Англии. Как позднее признавался Фишер, он испытывал в те дни сильнейшее беспокойство и «обливался кровавым потом»: в Северном море в составе «Гранд-Флита» оставалось только три линейных крейсера: «Ляйон», «Куин-Мэри» и «Нью-Зиланд» против четырех германских крейсеров: «Зейдлица», «Дерфлингера», «Мольтке» и «Фон-дер-Танна».

«Обреченным на смерть» был и германский «карманный» линкор «Адмирал граф Шпее», когда в декабре 1939 года в территориальных водах Уругвая он встретил вместо зафрахтованного танкера превосходные британские силы. На этот раз британское адмиралтейство без всякого ущерба для «Гранд-Флита» смогло сосредоточить у выхода из Монтевидео столь подавляющие силы, что «Адмирал граф Шпее» предпочел покончить самоубийством, чем выйти на бой, суливший верную победу противнику.

В мировую войну 1914—1918 годов на морских просторах оперировало немало германских рейдеров, но лишь немногие из них благополучно возвратились в свои отечественные базы, избежав встречи с британскими дозорами. Таким «счастливым» был «Меве», который дважды выскальзывал из Германии и благополучно возвращался обратно. Во второй раз «Меве» вышел в море в ноябре 1916 года. Потопив несколько судов, он на одном из своих многочисленных призов — «Ярудэйл» — отправил в Германию 470 пленных. Эта пловецкая тюрьма благополучно пробралась в Германию. А в марте 1917 года вернулась в Киль и «Меве», потопив 20 пароходов и 3 парусных судна, общим водоизмещением в 123 тысяч тонн.

Не менее удачлив был и другой германский рейдер — «Вольф», снабженный самолетом для разведки. Он пробрался вдоль норвежских берегов и вышел в океан. «Вольф» разбросал свои мины по всем морям — у мыса Доброй Надежды, в Аденском заливе, у Бомбея, у Цейлона, у берегов Австралии и Новой Зеландии. Он вернулся в Германию в феврале 1918 года, уничтожив и повредив 210 тысяч тонн торгового тоннажа.

Но «Меве» и «Вольф» были исключением. Иная судьба ожидала остальные германские рейдеры. Вспомогательный крейсер «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» прорвался в Атлантический океан в первые дни войны, когда еще не был организован «Северный патруль». Выйдя из Бремена в августе 1914 года, он прошел незамеченным вдоль скандинавского берега и, минуя Исландию, вышел на просторы Атлантики. Здесь он потопил несколько пароходов, но уже на десятый день своего рейдерства был настигнут британским крейсером в испанских водах у Рио-де-Оро (Западная Африка). После неравного боя команда германского рейдера потопила свой корабль и скрылась на берегу.

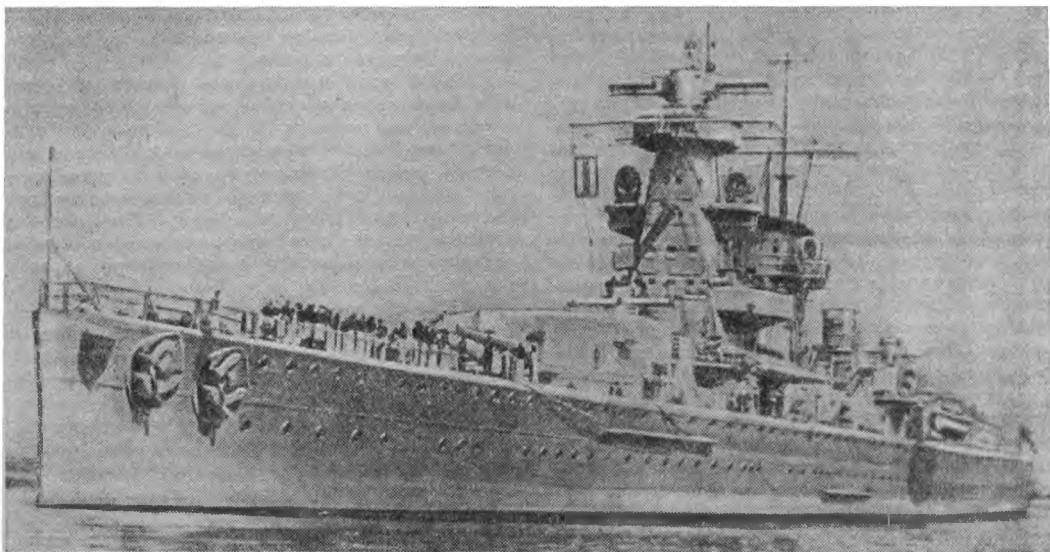
Много хлопот причинили англичанам в прошлую войну германские крейсера «Кенигсберг» и «Эмден». «Кенигсберг», уничтоживший у берегов Занзибара старый британский крей-

сер «Пегасус», укрылся в дельте реки Руфиджи (Восточная Африка) и был заблокирован британскими крейсерами. Они не могли добраться до него, потому что река была мелководна, не могли и поразить его своим огнем, так как он не был виден с моря. Конец «Кенигсберга» наступил только через полгода, когда на помощь британским крейсерам были доставлены мелкосидящие мониторы и самолет, корректирующий стрельбу.

Знаменитый «Эмден» крейсировал в Индийском океане. Неуловимый в течение почти четырех месяцев, удачно маскировавшийся

ские деньги, масло, мясные консервы, обувь: одним словом, все, на чем глаз мог остановиться, было норвежское... Были там и подушки из Норвегии с вышитым национальным флагом». «Зееадлер» был остановлен английским крейсером и после тщательного обыска... пропущен в океан.

Действуя на британских торговых путях в Атлантике и Тихом океане, этот парусник уничтожил 16 судов, в том числе 4 крупных парохода. Погиб он не в бою с противником, а вследствие катастрофы, которую нельзя было предотвратить: во время стоянки у островов



Германский линейный корабль «Адмирал граф Шпее», погибший в декабре 1939 года близ Монтевидео.

фальшивой четвертой трубой, он захватил 22 парохода и потопил несколько военных судов. Британский крейсер «Сидни» настиг «Эмден» у Кокосовых островов, где этот германский рейдер высадил десантный отряд для захвата английской радиостанции. После длительного сопротивления рейдер был пущен ко дну. Командир германского крейсера и часть команды попали в плен. Десантный же отряд сумел захватить в порту парусную шхуну, принадлежавшую местному владельческому князю, ускользнуть от преследования и совершить полный приключений переход через океан на аравийский берег.

Как увлекательный роман, читается книга капитана Ф. Лукнера «Зов моря», повествующая о каперских операциях парусника «Зееадлер», вышедшего в море в декабре 1916 года.

«Я, — пишет кап. Лукнер, — выписал из Норвегии для 23 лиц бутафорской команды всю одежду, пейзажи для развешивания по каютам, книги, секстанты, карты, инвентарные списки, посуду и чашки с норвежским клеймом, карандаши и ручки для перьев, норвеж-

Товарищества «Зееадлер» был выброшен на берег гигантской волной, возникшей в результате землетрясения на дне океана.

Случайная катастрофа погубила и другой германский рейдер — легкий крейсер «Карлсруэ», оперировавший в Вест-Индии. «Карлсруэ», захвативший за короткий период своей деятельности 18 пароходов общим водоизмещением 76 500 тонн, находился в 350 милях к востоку от острова Тринидад, когда неожиданно взорвался один из его пороховых погребов. Агония рейдера продолжалась всего лишь несколько минут. Погибло 260 матросов и офицеров. Угольщик «Рино-Негро», сопровождавший «Карлсруэ», спас 146 человек и спустя месяц, удачно прорвав блокаду, возвратился в Германию. Но еще долго английские крейсеры рыскали по морям в тщетных поисках «Карлсруэ»...

Английский историк морской войны 1914 — 1918 годов Х. Вильсон указывает, что «Карлсруэ» и другим германским рейдерам много способствовала бесперывная работа раций, выдававшая британских преследователей. Прак-

тика нынешней войны показывает, что и самая строгая радиодисциплина не всегда предотвращает неудачу. В «Пополо д'Италия» был напечатан в начале этого года следующий рассказ офицера одного из норвежских пароходов, потопленного германским рейдером в Тихом океане.

«Закончив погрузку шерсти в Аделаиде (Австралия), мы взяли курс на Европу. Мы должны были обогнуть мыс Доброй Надежды и затем вдоль западных берегов Африки выйти в Северную Атлантику. У нас на борту находился офицер австралийского флота, который запретил пользоваться радиотелеграфом. Но эта мера не помогла. 4 декабря на заре мы увидели силуэт корабля водоизмещением около 10 000 тонн, который, ускоряя ход, взял курс на сближение с нами. Еще до того, как можно было связаться с этим кораблем сигнализацией флажками, раздался первый выстрел; снаряд упал в 100 метрах от носа нашего судна. Вскоре последовал второй залп. Мы остановились. От германского корабля отошла шлюпка и вскоре на борт нашего судна взшел германский офицер в сопровождении вооруженной охраны. Он спросил, какие мы имеем запасы съестных продуктов и горючего. Мы были обеспечены запасами на большую часть пути. Узнав это, германский офицер взял на себя командование судном; один из его людей просигнализировал о чем-то германскому кораблю, который приблизился к нам; началась быстрая перегрузка всего угля и съестных припасов с нашего судна на германское. После того, как была закончена погрузка, германский офицер приказал нам собрать свои личные вещи и перейти на борт рейдера. На наше судно поднялось четверо матросов с каскетами в руках — это был динамит. Видимо, немцы сэкономили снаряды. Матросы спустились в трюм и заложили динамит. Через 10 минут раздался взрывы. Судно дало крен и начало быстро погружаться в воду».

III

Особый интерес представляют рейдерские операции русского флота. Отважные русские моряки вписали немало славных страниц в историю этих операций.

В 1805—1807 годах, во время войн с наполеоновской Францией и Турцией, русская эскадра адмирала Сенявина господствовала не только в греческом Архипелаге, но и в западной бассейне Средиземного моря. Адриатическое море было буквально «*mare nostra*»¹ для русского флота. Эскадра Сенявина не только блокировала порты противника, но и успешно действовала на его торговых коммуникациях.

Сенявин выдавал каперские патенты корсарам из порта Покка-де-Катарро в нынешней Югославии. В апреле 1806 года он сообщал адмиралу Чичагову: «Покка-де-Катарры имеют своих судов до 400, им нужны теперь па-

тенты на поднятие российских флагов. Есть у них также несколько судов, вооруженных артиллерией очень сильно, — имеют иные от 12 до 20 пушек довольно величины и желают многие из тех быть корсарами».

В 60-х годах прошлого столетия, когда возникли европейские осложнения, эскадры Попова и Лесовского, сосредоточенные в портах Америки и угрожавшие крейсерскими операциями в Атлантике и Тихом океане, сыграли свою роль в мирном разрешении конфликта. Это был, несомненно, удачный маневр.

С новой силой идея крейсерской войны воскресла в России в 1878 году, когда зародился Добровольный флот, создаваемый на пожертвования, которые собирались по городам Российского государства.

В 1885 году продвижение России в Средней Азии снова вызвало значительные международные осложнения. В морских кругах в связи с этим вновь повысился интерес к крейсерской войне. К этому времени русское морское министерство приняло на вооружение тип быстроходного для той эпохи броненосного крейсера, способного продолжительное время находиться в море без возобновления запасов топлива. «Владимир Мономах», «Азов», «Рюрик» и «Россия» явились тогда образцами для первоклассных морских держав. Любопытным документом возросшего интереса к крейсерской войне служит вышедший в 1887 году в Петербурге приключенческий роман «Крейсер «Русская Надежда». Автор этого романа, скрывшийся под инициалами «А. К.», описывает одиннадцатимесячный рейс русского крейсера на океанских просторах и его каперские операции.

Когда вспыхнула русско-японская война 1904—1905 годов, два парохода Добровольного флота «Петербург» и «Смоленск» были направлены на крейсерскую службу в Красное море.

И «Петербург» и «Смоленск» строились специально для крейсерской службы в военное время. Оба парохода обладали хорошим ходом, имели все приспособления для установки скорострельной артиллерии и помещения для снарядов. Снабжение их топливом в море должен был обеспечить специально зафрахтованный германский пароход «Гользация». Для организации разведочной службы в Суэц был направлен специальный агент — отставной контр-адмирал Пташинский.

В конце июня 1904 года «Петербург» и «Смоленск» миновали Суэцкий канал и, войдя в Красное море, подняли военный флаг. Установив на палубе артиллерию, покоившуюся до этого времени в трюмах, рейдеры начали свои операции. Действуя раздельно, они вскоре встретили свои первые трофеи. Это были пароходы «Малакка», «Ардова», «Скамбия» и «Формоза», направлявшиеся в Японию с военным грузом. Захваченные пароходы были направлены под русским флагом в качестве военных призов в Ливану.

Крейсерство «Петербурга» и «Смоленска» было, однако, быстро прервано известием о

¹ Наше море.

том, что в Красное море направился японский броненосный крейсер. Перспектива встречи с этим врагом отнюдь не улыбалась слабо вооруженным пароходам, и они поспешили перейти в Индийский океан, где их нагнал приказ вернуться в Россию. Позже выяснилось, что сообщение о японском крейсере было всего лишь газетной уткой.

Бездарное царское правительство немало повинно в том, что крейсерские операции в Красном море имели столь ограниченный успех. Контр-адмирал Пташинский — в роли суэцкого агента — выглядел буквально анекдотической фигурой. Уезжая из Петербурга, он умудрился неправильно записать шифр для телеграфной переписки и вследствие этого был лишен возможности разбирать директивные телеграммы из столицы. Серьезная работа агента, который должен был поддерживать деятельную связь с рейдерами, снабжать их информацией, назначать пункты для randevu с угольщиками, — могла проводиться успешно только в условиях глубокой тайны. Но Пташинский, хотя и переименивший свою фамилию, был слишком хорошо известен в Суэце по своей долголетней службе на кораблях Добровольного флота. Наконец, уже в Красном море капитаны рейдеров обнаружили, что значительная часть снарядов, которыми они были снабжены в Севастополе, не калибрована. И если в этих тяжелых условиях рейдерам все же удалось посягнуть смятение среди отправителей военных материалов в Японию, — то честь этого успеха безраздельно принадлежит славным русским морякам, сумевшим преодолеть самоотверженной работой немало препятствий.

В дни русско-японской войны крейсерские операции на коммуникациях противника вела и владивостокская эскадра крейсеров. Броненосные крейсеры, входившие в состав этой эскадры, — «Россия», «Громобой», «Рюрик» и «Богатырь», — были блокированы во Владивостоке превосходными силами адмирала Камимурь. И тем не менее русские корабли регулярно совершали смелые вылазки в море.

Доля участия рейдеров в борьбе за морские коммуникации значительно уменьшилась после того, как появилось новое и более грозное оружие — подводная лодка.

«Когда последний бродячий германский крейсер был загнан в тропическое болото у берегов Африки и выброшен на берег, чтобы избежать взятия в плен, германское адмиралтейство стало больше доверять маленькой подводной лодке, которая за один месяц погубила больше неприятельских судов, чем крейсерам удалось потопить во всю их славу, но непродолжительную деятельность» — так писал Ллойд-Джордж в своих мемуарах.

В нынешней войне, судя по германским сообщениям, на долю надводных морских сил приходится около трети всего потопленного тоннажа. Первое место уже прочно занято подводными лодками. Но рейдеры, притягивая к себе силы неприятельского флота, об-

легчают операции подводных лодок и требуют более мощной обороны караванов судов.

Меры обороны, предпринимаемые теперь английским адмиралтейством против нападений на торговые суда, возникли не сегодня и не вчера. Еще в XVII веке и Англия, и Голландия, скрестившие на море свое оружие, постоянно прибегали к конвоированию купеческих кораблей и вооружали торговые суда.

Первая империалистическая война воскресила систему караванов и конвоев.

Охраняемые караваны судов появились вновь с самого начала нынешней войны. Польза конвоев была уже доказана. Однако в то же время новая война с ее возросшими средствами нападения и изменившимся стратегическим положением сторон показала и недостаточность этой меры: под угрозой коротких ударов рейдеров караван судов, охраняемый даже крейсерами, не может чувствовать себя в полной безопасности.

В связи с этим в английской и американской прессе оживленно обсуждаются за последнее время различные новые способы конвоирования судов, возрождаются и модернизируются старые, отвергнутые в свое время, планы охраны торгового пароходства. В газетах все чаще мелькают проекты организации между США и Англией своеобразного «морского шоссе» — строго установленного пути движения судов, охраняемого на всем своем протяжении постоянными патрулями.

Лет сорок назад в морских кругах подобный проект уже выдвигался. «Предлагают еще один способ для охраны безопасности плавания судов, — читаем мы в книге И. Блиоха «Будущая война», вышедшей в свет в конце прошлого века, — а именно установление для них определенных, обязательных путей плавания, причем явилась бы возможность наблюдать за безопасностью на известных линиях с большей действительностью, чем возможно наблюдать за всей поверхностью моря. Для этого могли бы назначаться небольшие крейсера, которые бы охраняли эти линии, крейсируя между некоторыми сборными пунктами, в которых находились бы крейсера более сильные или даже броненосцы III класса. Между стоянками таких более сильных военных судов полагают возможным допустить расстояние в 350—400 миль, и вот по этому-то участку постоянно ходил бы крейсер, оберегая его и поддерживая сообщение. Сверх того, на линию большего протяжения был бы назначен патрульный отряд из трехклассных крейсеров, который наблюдал бы за всей линией».

Этот проект был отвергнут. Не трудно было подсчитать, что «такого количества конвоиров в Англии, а тем более в всякой другой державе быть не может».

Нынешняя война выдвинула вопрос о новых мерах, гарантирующих безопасность торгового мореплавания. Будут ли такие меры найдены? Получат ли морские торговые артерии Британии надежные средства защиты от подводных лодок, авиации и от векового своего врага — рейдера? Это определит весь дальнейший ход борьбы за морские коммуникации.

Франко - поэт

(К 25-летию со дня смерти)

В. ЩЕРБИНА

★

Иван Франко — крупнейший художник и общественный деятель Украины конца XIX и начала XX веков, яркий революционер и публицист, талантливый писатель и критик, философ, экономист, историк, этнограф, подлинный народный политический трибун.

Внешний облик поэта лаконично и верно нарисовал известный украинский писатель М. Коцюбинский:

«Небольшой, но сильный мужчина. Высокий лоб, серые, немного холодные глаза, в линиях подбородка нечто энергичное, настойчивое. Рыжеватые волосы непокорно вздымаются, усы торчат. Скромно одетый, он тих и незаметен, пока молчит. А заговорит — и вас удивит, как эта невысокая фигура растет и растет перед вами, словно в сказке. Вам станет тепло и ясно от света его глаз, а его речь кажется не словом, а сталью, которая бьет о камень и высекает искры»¹.

Занимаясь литературным творчеством Франко начал с ранних лет. Еще в гимназические годы собирал он народные песни. Первые стихотворения и переводы Франко из античных и западноевропейских поэтов написаны им на народном украинском языке. Когда, окончив гимназию, он отправлялся в Львовский университет, то в его литературном багаже было все: и любовные стихи, и драмы, рассказы, переводы Софокла, Гомера, «Уриель Акоста» Гуцкова, Краледворская рукопись и

т. д. В 1873 году Франко написал первое стихотворение «Народная песня». В этом же году печатается стихотворение «Наймит». В нем ярко показан страдающий, но полный творческих сил украинский народ:

Той наймит — наш народ, що поту лле
погоки

Над нивою чужою.
Все серцем молодий, думками

Хоч топтаний судьбою.
Своєї доленьки він довгі жде
століття,

Та ще надармо жде;
Руїни перебув, татарські лихоліття
І панщини ярмо тверде.
Та в серці, хоч і як недолею прибитім,
Надія кращая жиє;
Так часто під скали тяжезной гранітом
Нора холодна б'є,

Лиш в казці золотій, мов привид сну
чудовий,

Він бачить доленьку свою,
І тягне свій тягар, понурий і суровий,
Волочить день по дню.¹

В это время Франко учится в Львовском университете. Здесь он вначале примкнул к студенческой группе, объединявшейся вокруг журнала «Друг». В университете писатель знакомится с социалистическими учениями. Особенно внимательно изучает он Маркса и Чернышевского.

В 1877 году Франко был арестован австрийской полицией и обвинен в организации тайного общества в целях социалистической пропаганды.

Тюремное заключение не сломило воли Франко, не прервало его творче-

¹ М. Коцюбинский. Иван Франко. Реферат, читанный в Черниговской «Просвіте» в 1908 году. Издание «Криница», 1917.

¹ «Твори», т. XX, стр. 44.

ской деятельности. Напротив, политические репрессии закалили писателя. С этих пор Франко всецело посвящает себя революционной работе, направленной к улучшению жизни родного народа.

В заключении ему приходилось встречаться с множеством людей, доведенных до тюрьмы нищетой и бесправием. Пришлось выслушать много скорбных рассказов о тяжелой участи трудящегося человека в буржуазном обществе. Некоторые из них он в дальнейшем использовал как материал для своих произведений. Еще более крепко воспринимает писатель освободительные идеи, еще сильнее убеждается в необходимости борьбы против угнетателей.

Поэтическим отражением мыслей и чувств Франко в это время является цикл лирических стихов, впоследствии собранных в книге «С вершин и низин». Из тюрьмы бросает он бодрые слова, призывающие к борьбе и победе (цикл «Думы пролетария»). Знаменитая песня «Товарищам из тюрьмы» так же как и песня «Вечный революционер» в дальнейшем стали популярнейшими, после революционной лирики Т. Г. Шевченко, произведениями украинской поэзии. Революционным вызовом старому миру звучат слова стихотворения «Товарищам из тюрьмы»:

Обриваються звільна всі пута,
Що в'язали нас з давнім життєм:
З давніх брудів і думка, розкута, —
Ожиємо, брати, ожием!
Ожиємо новим ми, повнішим
І любов'ю огрітим життєм;
Через хвилі мутні та бурливі
До щасливих країв попливем.
Через хвилі нещастя і неволі,
Мимо бур, пересудів, обмов,
Попливем до країни святої,
Де братерство і згода й любов.¹

Деятельность писателя связывала самые глухие углы Украины с передовыми социальными учениями России и Западной Европы. Все это происходило в эпоху преобладания в украинском на-

циональном движении буржуазной интеллигенции. Франко смело поднимал свое перо против угнетателей народа, — его устами говорил сам народ.

Франко — один из первых, после Шевченко, крупных проповедников социалистических идей на Украине.

Художественное творчество Франко неразрывно связано с его революционной деятельностью. Одно из самых ярких по своему революционному устремлению — стихотворение «Вечный революционер» (1880): оно стало впоследствии революционным гимном демократического украинского движения.

Работать Франко приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях. Он три раза был арестован.

Обстановка его жизни представлялась тяжелой даже врагам. Один из жандармов, осуществлявших надзор за писателем, считая его положение безвыходным, назойливо рекомендовал ему принять монашество. Украинской буржуазии, преследовавшей Франко, много помогли польские шляхтичи. В то время в Западной Украине, входившей в состав Австро-Венгрии, фактически господствовала польская шляхта, которая всячески старалась раздавить национально-освободительное движение среди украинцев. Для выполнения своего плана разгрома украинских прогрессивных организаций шляхта старалась всяческими способами натравить на них австро-венгерскую полицию. Происками польской шляхты объясняются многие аресты и преследования деятелей национально-освободительного украинского движения. Шпионаж полиции, материальная нужда и лишения преследовали Франко. Полицейские преследования усиливались в атмосфере ненависти, которую окружила Франко украинская буржуазия и ее прислужники. Украинские помещики и капиталисты ненавидели Франко за то, что он смело защищал интересы рабочих и крестьян Украины, разоблачал предательскую роль различных националистических партий, пытавшихся подчинить своему влиянию широкие народные массы. Франко, несмотря на все преследования, не падает духом и защищает родной народ.

¹ «Творі», т. XX, стр. 44.

Сфера творчества Франко с течением времени все расширяется и обогащается. В первые годы своей поэтической деятельности он проявляет себя как творец революционных гимнов, призывов к борьбе, песен общественного гнева. Лирика его посвящена политическим темам. Из стихов такого рода составлен сборник «С вершин и низин». С течением времени, наряду с боевой политической поэзией, Франко увлекает лирика тончайших интимных переживаний и размышлений. Лирика Франко дополняет политические стихи поэта, способствует более широкому художественному освещению действительности. Образ поэта-борца проявляется более многосторонне, во всей полноте человеческих чувств. Лирические произведения Франко, собранные в книгах «Зів'яле листя» («Увядавшие листья») и «Мій измарагд» («Мой измарагд»), — образцы оригинального поэтического мастерства.

Наблюдая за развитием поэзии Франко, можно с полным основанием утверждать ее непрерывный рост и совершенствование художественного мастерства поэта. Франко меньше всего относился к своим произведениям, как к историко-литературным документам, которые обязательно печатать, не изменяя ни одной буквы. Поэзия для него являлась прежде всего делом живой жизни, выражением живых человеческих чувств и мыслей. И потому он при переиздании книги «С вершин и низин», выбрасывая целые произведения, потерявшие для него интерес, оставляет много поэтических отрывков и фрагментов, близких его переживаниям. Это отношение к своим стихам подлинного художника, для которого искусство — часть его жизни; отсюда нежность и любовь Франко к некоторым, возможно незаметным для других, поэтическим фрагментам. «Словно бревна старой разваленной хаты, в которой много пережить и перетерпелось, эти стрывки напоминают мне не одно то, без чего и жизнь не была бы жизнью». Франко оставляет лишь то, что, действительно, отвечает его художественному сознанию, — «остальное пускай идет

мышам на съедение». Слова эти написаны поэтом в предисловии ко второму изданию книги «С вершин и низин».

По отдельным стихотворениям этого поэтического сборника можно видеть, как поэт беспощадно правил свои стихи, все более совершенствуя их художественную форму, приближая свой язык к народному. Так, например, Франко значительно переработал свое первое стихотворение «Народная песня». Если ее первый текст 1873 года написан «язычнем» — наречием, далеким от живого народного украинского языка, то второй вариант «Народной песни» для издания в 1914 году (сборник «Из лет моей молодости») отвечает всем требованиям живой украинской речи. Здесь образы рельефнее, поэтическая форма более тонка и законченна. Достаточно сопоставить эти два варианта стихотворения, чтобы убедиться в вечном стремлении поэта вперед, увидать у него постоянное творческое беспокойство и неудовлетворенность, являющиеся чертами подлинного художника.

Творческая энергия поэта Франко изумительна. Он не топтался на месте, как многие его современники, и все время искал новых поэтических форм, обогащая ими украинскую поэзию. Стих его чрезвычайно разнообразен: здесь встречаются такие новые в украинской поэзии стиховые формы, как сонет, терцины, октавы. Поэзия Франко многогранна по своим настроениям — от боевого социального призыва («Камнеомы») до тончайшей лирической грусти («Увядавшие листья»). Гамма переживаний и оттенков их у Франко необычайно богата: здесь и философское раздумье («Моисей»), и юмористическая шутка («Цехмейстер Куперьян»).

Цикл стихов «Увядавшие листья» написан Франко за время с 1885 по 1896 год. В него входит более шестидесяти стихотворений. Большая часть их посвящена душевным переживаниям поэта, навеянным неудачной любовью.

Автор назвал сборник лирической драмой. Стихи эти полны глубокого, искреннего чувства. Лирика Франко необычайно красочна и глубока в изображении оттенков сокровеннейших челове-

ческих переживаний. Любящий и страдающий человек пред нами предстает во всей силе и чистоте своих чувствований. В передаче лирического настроения Франко исходит из художественных особенностей украинской народной песни, сопоставляющей душевное состояние с явлениями природы, радующейся и тоскующей вместе с человеком:

Безмежне поле в сніжному завою,
Ох, дай мені обширу й волі!
Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною,
І в серці нестерпні болі.

Неси-ж мене, коню, по чистому полю,
Як вихор, що тутка гуляє,
А чень утечу я від лютого болю,
Що серце мое разриває.¹

Лирические стихи Франко — убедительное свидетельство творческой многосторонности автора. Некоторые педанты критики ставили поэту в упрек чувство тоски, излившееся в стихах циклов «Увядшие листья» и «Из дней печали». Они в обращении Франко к интимной лирике видели признак внутренней борьбы в сознании автора, двойственность внутреннего мира писателя в то время. Настроение стихов «Увядшие листья» они объясняли, как проявление дисгармонии между Франко-гражданином и Франко-человеком. Именно в этом националистическая украинская критика видела поступательное творческое движение, обогатившее поэзию Франко.

Франко — человек большой души и пламенного сердца. Ничто человеческое ему не было чуждо. Каждый, кому близки и дороги чувства искренней любви, — а они понятны всем, кто жил настоящей здоровой жизнью, — найдет в своей душе созвучие или, по крайней мере, сочувствие благородным переживаниям поэта. И люди нашей страны, люди, умеющие и любить, и ненавидеть, не поставят в упрек Франко его стихи, наполненные тоской. Заключительным и характерным аккордом цикла стихов «Увядшие листья» звучит «Эпилог»:

Розвійтєся з вітром, листочки зів'ялі,
Розвійтєся як тихе зідхання!
Незгоєні рани, невтишені жалі,
Завмерлеє в серці кохання.

В зів'ялих листочках хто може вгадати
Красу всю зеленого гаю?
Хто взнає, який я чуття скарб багатий
В ті вбогії вірші вкладаю?

Ті скарби найкращі душі молодій
Розтративши марно, без тямі,
Жебрак одинокий назустріч недолі
Піду я сумними стежками.¹

Мотив этих лирических стихов ни в какой степени не связан с каким-либо упадком сил революционного борца, с явлениями общественного равнодушия, как это пыталась утверждать тенденциозная буржуазно-националистическая критика. Попрежнему Франко оставался непримиримым борцом:

Не боюсь я ні бога, ні біса,
Маю серця гіпотєку чисту;
Не боюся я й вовка із ліса,
Хоч не маю стрілецького хисту.

Не боюсь я царів, держилюдів,
Хоч у них є салдати й гармати;
Не боюся я людських пересудів,
Що потраплять і душу зламати.²

Свою любовь и свое человеческое достоинство и в лирике Франко противопоставляет царям «держилюдам». Недаром царская цензура запретила перепечатку стихотворения «Не боюсь я ні бога».

Лирическое направление в творчестве Франко продолжено им в книге «Из дней печали» («Из днів журби», 1899—1900). Стихи этого периода отмечены несколько иными настроениями, нежели в «Увядших листьях». Тема мучительной любви перестает быть главной. Прошла острота свежих обид. Остались только глухие отзвуки прошедшего чувства. Поэт начинает размышлять над своей жизнью. Он острее, чем когда-либо, чувствует свое сиротство среди самодовольных польских и украинских буржуазных националистов. И временами Франко кажется, что его самоотверженная и упорная борьба не дала результатов. Тогда поэту представляется страшно далеким осуществление его мечтаний о радостной жизни. Тема несбывшихся

¹ «Творі», т. XXIII, стр. 28.

¹ «Творі», т. XXIII, стр. 41.

² Там же, стр. 18.

надежд лежит в основе стихов цикла «Из дней печали». Все эти стихи проникнуты чувством неудовлетворенности поэта достигнутым в жизни. Воспоминания о прошлом окрашены в мрачные тона.

Франко и в минуты отчаяния не думает сворачивать со своего революционного пути. Он ясно говорит о своей готовности тянуть «тачку жизни». Но он грустит о том, что трудовой люд еще не организован в такой степени, чтобы разорвать оковы. Какой ненавистью к угнетателям народа дышит стихотворение «Вот панский двор». И именно в нем мы находим объяснение тяжелому духовному состоянию Франко, сказавшемуся на его лирике этого времени. Много лет стоит на краю бедного села роскошный панский двор. Презрительно обращено к нищим селянским хатам его великолепие.

Прошло время. Многие новые идеи стали достоянием людей. Но «панский двор» попрежнему стоит на месте, будто бы его обходят гигантские бури.

Лиш се «гніздо культури» знай ціло,
пишалося і з села всі соки ссало.¹

Классовая ненависть к угнетателям кипит в этих строках Франко. Но поэт ясно видел неорганизованность в то время народа Западной Украины для успешного решительного выступления против «панских дворов». И тяжелое, мрачное настроение овладевало Франко. Иногда им владели сомнения, как Моисеем в его поэме «Моисей». Однако сомнения преодолевались, и хотя и в одиночестве, но писатель упорно и самоотверженно продолжал борьбу. Поэт просит оправдать грусть своих стихов. Он говорит о своей невинности в этом, так как стихи его рождены не радостью, не пустой утехой:

Іх шепчуть бессонний робітник закладий,
Склада їх — сум:
Моя бо й народня неволя, то мати
Тих скорбних дум.²

Стихи цикла «Из дней печали» дали повод говорить об упадке духа и песси-

мизме поэта. Действительно, обстановка преследований и узкой националистической нетерпимости угнетала поэта. Истинные друзья его — рабочие и крестьяне Украины — стояли вдалеке от литературных дел. Украинская пресса находилась в то время в руках буржуазной интеллигенции. Поэт остро чувствовал свое одиночество. И у него бывали минуты грусти. Франко надолго не поддавался настроению, охватывавшему его в минуты скорби. «Нет, я еще не пессимист!» — восклицает он. И действительно, поэзия его остается свободоловной, боевой, зовущей вперед.

Минуты печали и раздумья выливались у Франко в прекрасные лирические стихи. Однако настроение скорби не определяет общего характера поэзии Франко. Не нужно забывать, что именно в это время, в 1889 году, Франко в тюрьме пишет свои «Тюремные сонеты», полные призывов к борьбе, ненависти к врагам.

Писатель подчеркивает случайность минорных нот в его произведениях. Особенно характерным в этом смысле является предисловие к сборнику «Увядшие листья». Стихотворение «Эпилог» и другие, включенные в него, великолепны во всех отношениях. Тем не менее, мотивы интимной грусти и тоски несколько стесняют автора — активного и непримиримого борца. Он старается объяснить и оправдать их. Франко пишет в первом предисловии к сборнику: герой этих стихов — «человек слабой воли и буйной фантазии, с чувством глубоким, но мало пригодным в практической жизни».

Судьба чрезвычайно зла к таким людям. Кажется, что сил, пригодности, охоты к работе у них много, а между тем они никогда ничего путного не делают, ни на что великое не отважатся, ничего в жизни не добьются. Самые их порывы не видны для стороннего ока, хотя безмерно болезненны для них самих». Писатель здесь отказывается от своего авторства, уверяя, что стихи достались ему от некоего самоубийцы, обладавшего сильными чувствами и слабого в практической жизни. Причина самоубийства — несчастная любовь.

¹ «Творі», т. XXIII, стр. 140.

² Там же, т. XX, стр. 27.

Книга разделена на три части, отражающие самые драматические моменты в жизни автора. И, печатая свои лирические, грустные стихи, Франко не забывает сказать читателям о том, что не следует заражаться мрачными настроениями, временно овладевшими им. «Моя цель, — пишет он, — состояла не в том, чтобы ввести в круговорот нашей современной жизни несколько произведений, отравленных пессимизмом и безнадежностью. Этого добра у нас и так много... Мне вспомнился гетевский Вертер и вспомнились те слова, какие Гете написал на экземпляре своей книги, посылая ее одному своему знакомому. С этими словами я передаю эти стихи нашему молодому поколению: «Sei ein Mann und folge mir nicht nach»¹.

Не пессимистические раздумья хотел вызвать Франко этими своими стихами, которые принято считать проявлениями безнадежности и якобы отступлением от прежних идеалов борьбы и свободы. Поэт ничуть не перестал быть борцом. В предисловии ко второму изданию сборника «Увядшие листья» Франко указывает, что стихи имеют автобиографический характер, а герой, о котором говорилось в первом предисловии, есть «литературная фикция» (1914). Писатель резко протестовал против плоского понимания его лирических стихов, как проявления пессимизма и отхода от боевых задач поэзии. Свои лирические стихи поэт называет субъективнейшими из всех, появившихся в украинской поэзии после автобиографического поэтического цикла Шевченко, и вместе с тем наиболее объективными в изображении сложного человеческого чувства. «Не могу сказать, — замечает он, — чтобы тогдашняя литературная критика хорошо поняла интонации и характер моего сборника. Наиболее развернутые писания о нем Василия Щурата в «Зоре» стремятся осудить его, как проявления пессимизма. Не только сам я, но — это стало мне известно еще тогда — также значительная часть

публики совсем иначе понимала те стихи, и я надеюсь, что и теперешнее поколение найдет в них не одно такое, что отзовется в его душе совсем не пессимистическими тонами»¹.

На статью критика В. Щурата, увидевшего в поздних стихах Франко веяния декадентства², поэт ответил блестящим стихотворением «Декадент». Стихотворение это является программным для Франко периода создания им стихов цикла «Увядшие листья».

Франко имеет полное право сказать: «Моя бо й народня неволя — то мати тих скорбних дум».

Скорбь никогда не подчиняет себе поэта полностью. Он всегда уверен во временности народных страданий, убежден в победе:

Я декадент? Се новина для мене!
Ти взяв один з мого життя момент,
І слово темне відшукав та вчене
І Руси сповістив: «Ось декадент!»

Що в мій пісні біль і жаль і туга,
Се лиш тому, що склалось так життя.
Та є в ній, брате мій, ще нута друга:
Надія, воля, радісне чуття.

Я не люблю беспредметно тужити,
Ні шуму в власних слухати вухах;
Поки живий, я хочу справді жити,
А боротьби життя мені не страх...

Який я декадент? Я син народа,
Що в гору йде, хоч був залертий в льох:
Мій поклик: праця, щастя і свобода,
Я хлопський син, пролог, не епілог.³

Понимание недостатка революционности в массах своего народа — это трагедия многих великих революционеров прошлого. Чувства Франко в этом смысле перекликаются с чувствами Чернышевского, с тоской смотревшего на ликовавших врагов, русских либералов, обманувших народ.

С тоской смотрел Франко на разгул в современной ему Украине буржуазных националистов, не заботившихся о развитии народного самосознания. Как рус-

¹ «Творі», т. XXIII, стр. 11.

² Заметка Щурата о стихах цикла «Зів'яле листя» была напечатана в «Зоре», 1897, № 5.

³ «Творі», т. XXII, стр. 19, «Мій измагд».

¹ Будь мужественным человеком и не иди по моим следам. «Творі», т. XXIII, стр. 78.

ские либералы свершили сделку с царизмом за счет крепостного крестьянства, так же буржуазные украинские националисты пошли на сделку с польской шляхтой, предав интересы трудящихся своего края. Массовое революционное движение в Западной Украине еще не было организованным. И естественно чувство одиночества у Франко, тяжелое сознание того, что в родном краю попрежнему господствует польский шляхтич. Чувство это у Франко свидетельствует о подлинной любви к родине, любви, смешанной с горечью и тоской, вследствие сознания неволи украинского народа. Франко чрезвычайно скромно оценивал результаты своей деятельности, но на самом деле он был великим деятелем украинского национально-освободительного движения.

Важнейшее свойство поэта Франко — его постоянная и величайшая человечность, отзывчивость на все живые запросы и нужды людей. Таким он остается и в своих поэтических произведениях. Сборник «Увядшие листья» — это богатейшая гамма человеческих переживаний поэта, остро чувствовавшего противоречия жизни. Поисками «подлинного человека» насыщены и другие более поздние создания поэзии Франко, завершением которых является поэма «Моисей». Стихи, напечатанные в сборнике «Увядшие листья», своими художественными особенностями и направленностью напоминают «Книгу песен» Гейне. «Человек, как бы он силен ни был, не может жить только борьбою, только общественными интересами. Трагизм собственной жизни часто вплетается в терновый венок народной жизни. У Франко есть прекрасная вещь — лирическая драма «Зів'яле листя». Это такие легкие, нежные стихи, «с широкой гаммой чувства и пониманием души человеческой»¹.

В год двадцатипятилетнего юбилея литературной деятельности Франко (1898) вышла книга стихов «Мой измарагд» («Мій измарагд»).

Стихи, содержащиеся в этом сборни-

ке, еще более расширяли сферу и формы поэтического творчества Франко. Они написаны в другом плане, нежели циклы «Увядшие листья» и «Из дней печали». Поэзия Франко обогащается философской лирикой. Направленность стихов данного цикла определена поэтом в предисловии к сборнику «Мой измарагд». «Мне давно хотелось, — пишет он, — написать подобную книжку тем языком, который должен на теперешнее поколение производить впечатление, кое-чем похожее на то, которое на старых русин производил язык церковный, — то-есть языком поэзии. В поэтической форме я мечтал дать современному русскому читателю ряд расказов, притч и других проявлений чувства и фантазии, темы которых почерпнуты из разных источников, домашних и чужих, восточных и западных, которые бы объединялись не какой-либо тенденцией, не одной догмой, религиозной или эстетической, а только общим диапазоном морального чувства и темперамента, через который прошли, пока вылились в форму». Поэт в художественной форме стремится передать мудрость некоторых исторических деятелей Украины, а ряд стихотворений он посвящает современным темам. Современной жизни посвящены разделы: «Поклоны», «По селам», «В Бразилию». Несмотря на тематическое различие, все стихи сборника «Мой измарагд» объединяются единой гуманистической социалистической точкой зрения автора. Обращаясь к читателю, он говорит: «А тебе, любимый брат или любимая сестра, которая будет читать эти стихи, «не мудрствуя лукаво», желаю того душевного покоя, того мягкого, нежного настроения, какое находил я, складывая (среди боли и тяжелой грызни) часто скорбные, иногда, может, сухо учащие и морализаторские стихи. Когда с них упадет на твою душу хоть капля доброты, нежности, спокойствия, то не напрасна моя работа». На настроении цикла стихов «Мой измарагд» не могло не сказаться то обстоятельство, что значительная часть стихов, помещенных в нем, написана полуслепым Франко в темной комнате с закрытыми глазами.

¹ М. Коцюбинский. Иван Франко, стр. 31.

«Измарагдом звался в старой Руси сборник статей и притч, частью оригинальных, частью выбранных из греческих писаний отцов церкви, подобранных так, что в целом получался будто полный кодекс практической христианской морали для людей как светского, так и духовного положения»¹. Писатель не без основания назвал свой сборник «Измарагдом». Он, очевидно, имел в виду то, что говорится об этом камне в известном апокрифическом сказании: «Измарагд светел есть, яко лице человеце видети в нем, яко в зеркале». В этих простых словах высказано высшее стремление Франко-писателя: «сделать свое слово ясным, чтобы в нем, как в зеркале, виднелось человеческое лицо». И поэт достиг своей цели. Лицо его ясно отражается в книге стихов «Измарагд». Стихи эти сохранили для последующих поколений думы и переживания великого украинского гуманиста, смело отстаивавшего свои убеждения.

Стихи Франко обращены к родине, Украине, с судьбой которой он навсегда и неразрывно связал свою жизнь. Однако одиночество тяготит поэта, и тогда ему кажется, что еще слишком мало сделано для родного народа. И главным образом это вызывает у Франко настроение грусти. Показательно в этом смысле первое стихотворение цикла «Измарагд» — «Поэт говорит» («Поет мовить»).

Поэт остается в конце-концов, несмотря на все грустные размышления, довольным пройденным жизненным путем. Оглянувшись на пройденное, он приходит к выводу о правильности избранной им дороги. Франко особенно остро волновали нахлынувшие на него мысли о том, что он еще мало сделал для Украины. Причина этого в ожесточенных нападениях буржуазных националистов на писателя. Как-раз в это время в связи с его предисловием к изданию «Галицких образков» ему посмели бросить упрек в отсутствии любви к родине. Поэта все время мучает мысль о том, все ли он сделал, что мог, для Украины. И в итоге всех поэтических

размышлений поэт еще раз подтверждает свою верность революционному знамени, которое он с честью нес много лет. Ответом на тяжелые сомнения, высказанные в стихотворении «Поэт говорит», является стихотворение «Украина говорит» («Україна мовить»). Оно звучит бодро и оптимистично, призывом к продолжению борьбы.

Лирика Франко ярко рисует нам духовную жизнь писателя. «Измарагд» отличается предельной ясностью: писатель не скрывает своих сложных, подчас противоречивых чувств и раздумий. И в великой искренности лирики Франко — ее сила. Перед нами живой человек, живущий кипучей жизнью. Он иногда не чужд тоски и сомнений, но он прежде всего борец за лучшую жизнь своего народа. И в тоскующей лирике Франко, преодолевая все сомнения и пессимистические порывы, окончательно побеждает оптимистическое, жизнеутверждающее начало.

Философия лирических стихов Франко, относящихся к циклам «Увядающие листья», «Из дней печали», «Мой измарагд», «Semper tigo»,* противоречива. Мотивы разочарования, жизненной усталости и сомнения рождались тягчайшей жизненной обстановкой, в которой проходила деятельность Франко. Сознание своего долга перед народом, темперамент деятеля освободительного движения призывали к борьбе и непримиримости. И это революционное оптимистическое начало победило.

Философия творчества Франко — философия борьбы. В лирике Франко гораздо больше, нежели в прозе, сказалась внутренняя борьба писателя. Духовный мир его предстал пред нами во всех этапах и сторонах формирования. И именно это делает лирические стихи Франко особенно ценными и близкими всем любящим жизнь и борьбу. Жизнь, оптимистическое начало в сознании поэта беспощадно подавляет мимолетные сомнения и разочарования.

Философия борьбы проникает лирику Франко, утверждает себя прочно и нерушимо, преодолев все препятствия.

¹ Предисловие к сборн. «Измарагд», «Творі», т. XXII, стр. 7.

* Всегда новичок, ученик.

В отличие от циклов стихов «Увядавшие листья» и «Из дней печали» тема личных переживаний поэта, вызванных неудачной любовью, не занимает большого места в «Измарагде». Основное содержание книги составляет философская лирика, посвященная темам родины, общего смысла жизни, назначению человека и поэта. Не случайно именно в книге «Измарагд» помещено воинствующее стихотворение, представляющее программу реалистического демократического искусства, — «Декадент».

Идея гуманизма вдохновляет Франко, определяя общественную направленность его лирики и всего литературного творчества. Причем гуманизм писателя не есть беспредметная отвлеченность. Франко не проповедует любовь к ближнему вообще. Любовь к трудящимся вызывает ненависть к их врагам. Об этом поэт ясно говорит в стихотворении «Не следует всякого любить без разбора». Гуманность и любовь у Франко — социально определенные понятия. Писатель прекрасно разбирается в лицемерии буржуазных разговоров о человеколюбии. Он испытал на собственной судьбе истинную цену такой любви к человеку. В «Притче о любви» Иосиф отвечает одному придворному египетского фараона, признавшемуся в любви к коноше:

Минуше ти збудив сумне...
 Мій друже, не люби мене!
 Отець любив мене й жалів —
 За се братів на мене гнів,
 За се в рові я смерти ждав,
 За се невольником я став.
 Потім Пентефрія жона —
 Любила страх мене вона,
 Та за любовь її дарму
 Попав я на сім літ в тюрму,
 Тож нині... щиро признаюся,
 Любови твоєї страх боюся!¹

Франко чувствовал себя чужим в обстановке беспринципной борьбы различных буржуазно-помещичьих партий Западной Украины. Узкая нетерпимость и чуждость лучшим гуманистическим стремлениям времени, враждебность к революционным социалистическим идеям придавали партийной борьбе украинских

буржуазных партий корыстный и мелочный характер. Все это было ненавистно Франко. Сторонник социализма, борец за народное счастье, он резко выступил против мышинной возни в среде буржуазных националистических и шовинистических партий. Узости буржуазных партийных лидеров он противопоставил широкие гуманистические и социалистические идеалы.

Как и Шевченко, Франко сохранил силу духа, твердость своих демократических убеждений. Его можно назвать одним из самых светлых и жизнерадостных поэтов Украины. Мощь духа Франко питалась твердой уверенностью в человеке, в своем народе, в его силах и достоинстве.

С самого начала поэтическая деятельность Франко проникнута высокими идеалами гуманности. Среди стихов Франко имеются «увядшие листья», но они не представляют главного идейного содержания поэзии Франко. Если иногда и охватывало Франко чувство скорби, то оно было вызвано отчаянием благородного сердца. Поэт сам подвел итоги своей работе поэта в 1893 году в следующих строках предисловия ко второму изданию книги «С вершин и низин»: «Пересматривая теперь эти стихотворные листочки, между которыми так много подчас увядших листьев, чувствую одновременно и грусть и радость. Двадцать пять лет жизни и работы... продиктованной искренним желанием общего добра и прогресса, искренней любовью к родному народу, к родному краю. Не один полет мысли, не одна блестящая идея, — а какие скромные достижения! Но, с другой стороны, утешает меня убеждение, что лед тронувшийся, наше общенародное движение, такое слабое, несмелое и неосведомленное 20 лет раньше, сегодня стало уже совсем не тем... ... И в этом радостном сознании я смело говорю сам себе, что те 20 лет... хотя и не дали мне того, о чем я когда-то мечтал зеленым юношей, но все-таки они для меня и для моего родного края не прошли даром»¹.

¹ «Творі», т. XXII, стр. 67.

¹ «Творі», т. XXI, стр. 285—287.

Линия лирической поэзии, представленная в цикле «Мой измарагд», продолжена книгой «Semper turo». Стихи этой книги представляют как бы эскиз крупного художественного полотна, каким является «Моисей». Писатель в прологе поэмы «Моисей» разъясняет смысл и направление своей поэтической деятельности последнего времени. Разъяснение писателя не оставляет камня на камне от различных поверхностных теорий о пессимизме Франко, его отказе от борьбы и социалистических идеалов в стихах, начиная с 1896 года (в этом году вышел сборник стихов «Увядшие листья»).

Поэма «Моисей» — драгоценнейшее художественное творение, наглядно показывающее преданность поэта до конца жизни идее народного освобождения. «Моисей», несмотря на библейский сюжет, является по своему содержанию и идейной направленности в эпоху Франко вполне современной поэмой. Она была актуальной и для более позднего времени, всегда отвечала на духовные запросы угнетенного украинского народа. Разве не чувствует читатель в характеристике героя поэмы живых черт самого Франко: «Все, что имел в жизни, отдал одной идее, и горел, и радовался, и страдал, и трудился для нее».

Сам автор протестовал против попыток объяснения содержания поэмы библейскими сказаниями: «Основной темой поэмы, — замечает он, — я сделал смерть Моисея как пророка, не признанного своим народом. Эта тема в такой форме не библейская, а моя собственная, хотя и основана на библейском рассказе»¹. Из библейского сказания видно, что Моисей умер в немилости у бога израильтян, обвинившего пророка в непочтительности и непослушании. В поэме у Франко тема трактуется иначе: смерть Моисея на вершине горы мотивирована тем, что его оттолкнул его собственный народ, изверившийся в его 40-летней деятельности.

Посвящена поэма украинскому народу, замученному годами неволи. Поэт в эпилоге обращается к нему с вопросом

о дальнейшей судьбе Украины. Боль и тоска звучат в этом вопросе. Трагическое положение родины, закабаленной польской шляхтой и австрийской жандармерией, волнует Франко, так как судьба Украины была его собственной судьбой:

Народе мій, замучений, разбитий,
Мов паралітик той на раздорозжж,
Людським призи́рством, ніби струпом
вкритий!

Твоім будучим душу я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізніх
Палитиме, заснути я не можу.
Невже тобі на таблицях залізних
Записано в сусідів бути гноєм,
Тяглом у поїздах їх бистроїздних?
Невже повік уділом буде твоім
Укрита злість, облудлива покiрність
Усякому, хто зрадою й разбоєм
Тебе скував і записяг на вірність?
Невже тобі лиш не судилося діло,
Щоб виявило твоїх сил безмірність?¹

Тяжелое положение родной страны Франко воспринимает как личное несчастье: не может быть сын счастливым, когда мать в неволе. Франко ставит вопрос о будущем Украины, в то время разьединенной, униженной захватчиками. Неужели напрасно поля твои, Украина, политы кровью твоих борцов? Неужели даром столько сердец горело к тебе любовью? Разве даром в родной речи искрятся и сила, и ласка, радость и печаль? Поэт не может ответить на эти вопросы отрицательно. Он уверен в силе народа и его жизнеспособности. Франко воспевает мощь народного сознания, которое должно привести к победе народа.

Вдохновенные высокохудожественные образы воспроизводят горестные думы Франко о современной ему Украине и его светлые надежды на ее великое будущее. Эпилог поэмы убедительно и ярко разъясняет творческий замысел автора. Судьба Моисея, его размышления и борьба, сомнения и надежды — это судьба и думы самого поэта, чувствовавшего величайшую ответственность перед народом. Мало было защитников тогда у украинского народа, и потому поэт еще острее чувствовал

¹ «Твори», т. XXIV, стр. 68.

¹ «Твори», т. XXIV, стр. 369—370.

свою ответственность перед ним. Сорок лет своей борьбы и деятельности поэт воплощает в сорокалетних поисках Моисея — великого пророка еврейского народа, взявшегося вывести народ из неволи на свободу.

Поэма насыщена подлинно драматическим действием. Содержание ее было отзвуком живых современных событий, несмотря на библейский сюжет. Сорок лет блуждал Моисей со своим народом по арабской пустыне. Народ шел вперед, увлекаемый надеждами на новую свободную жизнь, которые в него вселяла пламенная проповедь пророка Моисея. Но далекая обетованная земля Ханаан была далеко, за горами Моава. Нужно было перейти голые скалы Моава, но изнемогшие сыны Израиля потеряли надежду и веру. За горами блещет чудесный обещанный край, но никто не хотел идти вперед. Разуверился еврейский народ в проповеди пророка. Безнадежность и отчаяние овладели им. Все погрузилось в сон и мелкие дела.

І зневірився люд і сказав:
«Набрехали пророки!
У пустині нам жить і вмирать!
Чого ще ждять? І доки?»
І покинули ждять і бажать
І десь рватись в простори,
Слать гонців і самим визирать
Поза ржавії гори.
День за днем по моавських ярах,
Поки спека діймає,
У драгтивих наметах своїх
Весь Ізраїль дримає.

Одинок и презрен всеми Моисей, словам которого перестал верить Израиль. Но дух его не сломлен. Жизнь свою пророк посвятил народу, — и хотя бы ее ценой он решил заставить народ пойти на дорогу к счастью. Образ Моисея в высшей степени поэтичен: по силе своего идейного и художественного напряжения он стоит наряду с лучшими образами мировой литературы, ведущими свое начало от Прометея. Вся жизнь он отдал одной идее освобождения народа.

Тоска и грусть овладели Моисеем. Народ не верил больше его словам. И когда он зовет идти дальше в обетованный край Ханаан, то призыв его встречает насмешку и преследования. Во гла-

ве еврейского народа стали малодушные, корыстолюбивые и недалководные Авирон и Датан. Пророк Моисей вывел народ из Мицраима — страны неволи и рабства. Но поход еще не окончен. Пустыня окружает табор Израиля. Призывы Моисея идти дальше не встречают отклика. Ему грозят за пророчества оплывать и побить камнями. Датан и Авирон имеют много черт украинской буржуазно-помещичьей интеллигенции, променявшей на мелкие подачки коренные интересы своего народа. Много видел Франко на своем веку ренегатов Авиронов, изменявших своей вере, не меньше встречалось писателю малодушных и трусливых Датанов, боящихся всяких решительных действий. Такие люди обвиняли Франко в предательстве, в отступничестве от Украины. Решительность и величайшая гуманность Моисея кажется Авиронам и Датанам безумием или бесплодной фантазией. Они не смотрят в будущее, ссылаясь на «благоразумие», мирятся с рабским и унижительным положением своего народа. Сколько страданий причинили такие люди украинскому народу? И Моисей не смирился. Престарелый и слабосильный, он один идет к вершине горы, чтобы, поднявшись на нее, указать путь к счастью своему обманутому народу.

Бог покарал Моисея. Но горькая судьба пророка, пример самоотвержения, поданный им, движет народ. Авирона пробудившийся народ побивает камнями, Датан повешен. И через горы, через все препятствия, оставляя по дороге жертвы, пойдет Израиль по неизвестной дороге вперед. Воля, настойчивость и любовь пророка побеждают косность и малодушие, освобождают народ. Такова идея поэмы «Моисей». По богатству чувства, по силе художественного воплощения поэма «Моисей» принадлежит к крупнейшим созданиям мировой литературы.

Франко поэмой «Моисей» еще раз подтвердил свою веру в творческие силы народа. Он не мог указать практических путей народного освобождения: здесь на его взглядах сказалась определенная историческая ограниченность.

Но он горячо любил свой народ и страстно желал новой, достойной его участи. Франко уверен, что народ придет в движение и найдет свою дорогу. Деятельность Моисея не осталась бесплодной. Поэт не скрывает свою надежду, что и его сорскалетняя деятельность на пользу Украины не пройдет даром.

Франко, изображая трагедию Моисея, затронул важнейшую историческую проблему, имеющую непосредственное отношение к его собственной деятельности, вопрос об отношениях вождя и массы. Моисей обладает гигантской волей, но он ведет народ, иногда сомневаясь в верности избранного им пути. Сомнения эти были присущи Франко. Но у Моисея есть качество подлинного вождя. Он считает своей основной задачей привести народ в движение, разбудить его творческие силы. И Франко, как и его Моисей, считает, что мощные силы пробужденного народа преодолеют всяческие препятствия. Такой народ вдохновит своих вождей, даст им силы для совершения великих исторических дел. И если сам Франко чувствовал, что иногда колеблется, то в то же время он был уверен, что революционный народ даст твердость, уверенность и точное знание своим вождям. И поэт стремился во что бы то ни стало сделать освободительные идеи достоянием народных масс, привести их в движение. Трагедия Моисея — это трагедия самого Франко. Трагедия эта говорит не только о благородстве и величии характера Франко, но и об исторической плодотворности его деятельности, составившей замечательную главу в истории Украины.

Поэма «Моисей» создана в грозные дни революции 1905 года в России, грома которой были слышны и в Западной Украине. Она завершает славный путь поэтического развития и представляет как бы венец всей гражданской лирики Франко. Поэт, посвящая украинскому народу свой «скромный дар», имел полное право назвать его «полным веры». Полны веры в народ и его будущее все стихи Франко, в том числе и полные грустного раздумья.

Скорбь поэта порождалась не унынием и безверием, как это пытались утверждать различные клеветники и вульгаризаторы, а глубокой любовью к народу, любовью тоскующей вследствие того, что панская неволя еще не сброшена. Пролог к поэме «Моисей» является эпиграфом как бы ко всей поэзии Франко предшествующего десятилетия, начиная со сборника «Увядшие листья».

Из пролога к поэме «Моисей» мы видим, что грусть и скорбь, вылившиеся во многих стихах поэта, не означали пессимизма и разочарования в своих освободительных идеалах. Печаль поэта — следствие тяжелых раздумий поэта над тяжелой участью украинского народа.

На призыв поэта шел революционный украинский народ. В боях добыл он свободу Украины.

Поэзия для таких людей, как Франко, есть отзвук их внутреннего богатого мира. Активный и страстный участник жизненной борьбы, он далек от тех поэтов, которые замыкаются в своем художественном мире. Для Франко поэзия — одно из проявлений многосторонней жизни, общественной борьбы и чувствований. Поэзия Франко — это зеркало, в котором отражены не только личные чувства и думы ее создателя, но и переживания целой эпохи исторической жизни украинского народа. Обращаясь к своим стихам, поэт говорит о том, что они прежде всего должны поведать о бедности, вечных слезах и стремлении бороться с темными силами, царившими в угнетенной Украине:

Післанці півночі, в далекім юзі,
В прекраснім краю барв, багатства, пісні,
Перекажіть про сірі, безутішні
Мгли, що стоять на нашім віднокрузі!

Перекажіть про бідність, сльози вічні,
Про труд бессонний в болю і натузі,
Про чорний хліб, твердий, печений в спузї*,
Про спів жалібний мов вітри, долішні.¹

Хорошо о Франко-поэте недавно сказал украинский поэт Максим Рыльский:

* Спузю — пепел.

¹ «Творі», т. XX, стр. 24.

«Существует мнение, будто Франко как поэт «тяжел», будто ему не известны были чистое вдохновение, ясная и прозрачная легкость стиха. Мнение это по меньшей мере легкомысленно. Да, Франко был, по собственному определению, «каменщиком». Тяжелые глыбы приходилось ему разбивать тяжелым молотом, резец его был подобен резцу сурового Микель-Анджело. Совершенно сознательно вводил великий поэт Западной Украины в обиход украинской культуры сложнейшие поэтические формы, а это было куда труднее, чем уныло подпевать на одну единственную ноту, выхваченную из богатейшей сокровищницы Шевченко, как это делало большинство его современников.

И еще одно не надо забывать: Франко был прозаик, ученый, публицист, общественный деятель, всюду старался он заполнить пробелы в украинской куль-

туре. Когда-то говорили: «Апокрифы съели Франко», — то-есть: увлечение научной работой убило Франко-поэта. Это неверно, ничто не могло «съесть» Франко, но он сам иногда сознавал, что, быть может, слишком мало уделяет времени и сил тому, что в нем, пожалуй, было сильнее всего: поэзии. Об этом свидетельствует потрясающее стихотворение: «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер віє». К поэту являются видения. Кто-то стонет, кто-то плачет, кто-то жалуется:

Тату! Тату! Тату!
 Се ми, твої невроджені діти,
 Се ми, твої невиспівані співи...

Правда, много осталось у Ивана Франко «неспетых» песен. Но за спетые им песни — вечная ему слава!»¹

¹ «Литературная газета», 1939 г., 5 октября.

О поэзии Веры Инбер

Ф. ЛЕВИН

★

Литературные репутации бывают иногда очень устойчивы, слишком устойчивы. Автор растет, развивается, создает новые вещи, но о нем уже сложилось определенное представление, оно стало традицией и начинает даже преследовать писателя, закрывать ему дорогу к читательской аудитории.

Преодолеть это традиционное представление нелегко, но иногда это совершенно необходимо.

Вера Инбер выступила со своими стихами еще до нашей революции. Она писала книги, самые названия которых говорили о характере ее поэзии: «Печальное вино» в 1914 году, «Горькая услада» в 1917 году, «Бренные слова» в 1922 году. Вера Инбер вырастала под влиянием символистских и акмеистских поэтических традиций, тем и настроений, мир ее переживаний был тесным, узким, камерным, очень внутрিলитературным. Она родилась и воспиталась в такой атмосфере, которая отнюдь не возбуждала в ее сознании острых социальных вопросов, не толкала к борьбе со старым обществом. Свое мировоззрение или, точнее сказать, мироощущение она не выстрадала и не выработала самостоятельно, а получила почти-что готовым, — оно сложилось из скрещения влияний Блока и Анны Ахматовой, Гумилева и Виктора Гюффмана. Поэзия ее была амальгамой, в которой своеобразие собственной личности не было определяющим, ведущим началом, а проявлялось лишь в оттенках, в черточках. Теперь,

когда мы знаем последующий путь Веры Инбер, мы вправе сказать, что как самостоятельный поэт она тогда еще не родилась.

Скажем сразу, что сложившееся о ней представление основывается не на этом периоде ее творчества, а на поэзии Веры Инбер следующего большого периода ее жизни — от 20-х годов и до самых последних лет.

Наша революция произвела самый глубокий во всей истории человечества социальный переворот.

Вера Инбер, до революции жившая в Париже, почти француженка, была застигнута величайшими в истории событиями, что называется, врасплох. Ее отношение к происходящему в тот период можно «определить» как неопределенное. В сущности говоря, только теперь и начался процесс ее рождения, тем более сложный и длительный, что она уже была рождена и воспитана и ей предстояло воспитываться вновь. У нее уже сложился свой мир интересов, чувствований, он был мал и очень личен, но был ей близок и дорог. Отбросить его, начать жить заново, — это необычайно сложно, это могут быстро сделать лишь очень сильные, дерзающие люди, да и для них такой процесс сбрасывания ветхого Адама связан с жестокой ломкой самого себя. Вера Инбер не столь сильный, не столь мужественный человек, она долгое время лишь выглядывала из своего маленького мира в мир большой, в мир, где дей-

ствуют миллионы, где идет упорная и кровавая борьба.

Мы знаем, что люди приходят к признанию коммунизма — не на словах, конечно, а на деле — разными путями, через данные своей профессии, через свою особую биографию, свой жизненный опыт. Понимание нашей революции, приобщение к ней, органическое освоение ее идей совершалось у Веры Инбер не сразу, а постепенно и притом путем накопления небольших, не сразу заметных глазу изменений. Я имею в виду отнюдь не, так сказать, признание советской власти или понимание справедливости революции, освобождающей массы рабочих и крестьян, свергающей власть эксплуататорских классов. Я говорю о проникнутости человека идеями и интересами революции, о таком слиянии с нею, когда социалистическая идея определяет повседневные интересы человека, его мораль, его культурную жизнь, весь круг его чувств и поведения.

Я думаю, например, что Вере Инбер не так просто было написать эти слова:

Уж свою Францию
Не зову в тоске...

Они означали для нее признание, что родина ее здесь, в нашей стране, и родина не в смысле только места, откуда произошел человек, а в более широком и глубоком значении отечества, с которыми связаны все помыслы и чувства.

Когда человек жалеет о том, что жизнь его в прошлом сложилась не так, как он теперь хотел бы, это значит, что он уже начинает стремиться к иной жизни, что он рванулся к ней душою. Вот почему мне представляется весьма знаменательным стихотворение Веры Инбер «Вполголоса», которое составляет как бы окончательное, последнее «прощание с прошлым».

Например, я хотела бы помнить о том,
Как я в Октябре защищала ревом
С револьвером, в простреленной кожанке.
А я, о диван опершись локотком,
Писала стихи на Остоженке.
Я писала лирически-нежным пером,
Я дышала спокойно и ровненько,
А вокруг, наступая на юнкеров,
Разгорались боями Хамовники.
Я хотела бы помнить пороховой
Дым на улице Моховой,

Возле университета.
Чужа смертный полет свинца,
Как боец и жена бойца,
Драться за власть Советов.
Невзирая на хлипкий рост,
Ходить в разведку на Крымский мост.
Но память твердит об одном лишь:
«Ты этого, друг мой, не помнишь».
История шла по стране напрямик,
Был полон значения каждый миг,
Такое не повторится,
А я узнала об этом из книг
Или со слов очевидцев.
А я утопала во дни Октября
В словесном шитье и кройке.
Ну что же! Ошибка не только моя,
Но моей социальной прослойки.

Но Вера Инбер не ищет здесь оправдания, чтобы примириться с этим фактом.

Если бы можно было, то я
Перекроила бы наново
Многие дни своего бытия
Закономерно и планоно.
Чтоб раз навсегда пробиться сквозь это
Напластование фактов,
Я бы дала объявление в газету,
Если б позволил редактор:
«Меняю уютное, светлое, теплое,
Гармоничное прошлое с ванной —
На тесный подвал, с золотушными стеклами,
На соседство гармоники пьяной».
Меняю. Душевною болью плачу,
Но каждый, конечно, в ответ: «Не хочу».

Все это высказано Верой Инбер в свойственной ей манере, с примесью легкой иронии, относящейся к себе самой, и с несколько юмористической окраской, которую придает ее стихотворению мысль о том, чтоб дать объявление в газету об обмене прошлого. И, может быть, поэтому критика и так называемая литературная общественность прошли мимо той подлинной душевной боли, которая выразилась в этом стихотворении, но выразилась по-своему, без широких жестов, без биения себя в грудь, без преклонения колен на площади с восклицаниями: «Mea culpa, mea maxima culpa!»

За десятилетие с 1922 по 1932 годы Вера Инбер написала много произведений так называемого интимно-лирического характера, ряд рассказов, роман «Место под солнцем», сюжетно-описательные стихи, детские стихи, и на основании всего этого и сложилась та традиционная оценка, о которой я говорил вначале.

С поэтическим творчеством Веры Инбер довольно прочно связались такие характеристические определения, как нейтральность в отношении к теме, к явлениям жизни, как стремление утеплить бушующий мир, сделать его уютным и комфортабельным. В ее творческом облике усматривали словесную хозяйственность и элегантность, в утеплении мира усматривали, так сказать, философию ее творчества, ее стиль определяли, как улыбчивую иронию. Это делали и литературные друзья Веры Инбер, и первый из них — К. Зелинский. С его легкой руки так же трактовали ее творчество литературные противники и те, кто были просто ни за, ни против; затем эта оценка нашла свое заостренное выражение в пародиях Архангельского, по-своему блестящих, изображающих поэта то как домовитую хозяйку, то как сюсюкающую с детьми добрую тетю, и, наконец, все это, казалось, уже навсегда отложилось в формулировках энциклопедий, где именно и написано об элегантности, камерной интимности, уютности, комфортабельности, улыбчивости и прочих утепляющих мир качествах поэзии В. Инбер.

Судьба поэта, казалось, была уже окончательно решена, — ему отводилась роль как бы некоего домашнего калорифера, отныне он мог, сколько угодно, барахтаться, мнение о нем уже сложилось; и Вера Инбер могла рассчитывать лишь на собственные силы, чтобы преодолеть, опровергнуть эту оценку. В повседневной практике это мнение выглядело так: Вера Инбер пишет не то, чтобы хорошо, а вернее — мило. Милые стихи! Что может быть, в сущности, обиднее?

Стихотворение «Вполголоса» было написано в 1932 году, и надо сказать, что хотя оно и составляет некий важный рубеж в творческом развитии Инбер, но звучит еще декларативно. «Поэтова победа над своей старинной душой» была больше ощутима им самим, чем читателями его стихов; сама Вера Инбер уже знала о совершившихся в ней переменах, но накопление их шло так медленно и проявлялось в таких деталях, рассыпанных в ее стихах, что это еще не могло

быть вполне воспринято читателем и почти не было замечено критикой.

Справедливости ради скажем, что до известного времени это было понятно: мир стихов Веры Инбер оставался все же тесным, а «слабый голос», «неширокий жест» не способствовали тому, чтобы она была услышана. К тому же после слишком еще декларативного «Вполголоса» прошло еще шесть лет, пока появилась в 1938 году поэма «Путевой дневник», заставляющая во многом пересмотреть сложившуюся характеристику поэзии В. Инбер.

И вот тут-то сказалась сила инерции, традиции, привычки. Пересмотр не был произведен. Больше того, так уж не повезло поэту, что появление «Путевого дневника» сопровождалось досадным литературным спором. При обсуждении поэмы в Союзе писателей выступавший там А. Фадеев, говоря о формальной стороне поэмы, о ее композиции, вспомнил о путешествии Чайльд-Гарольда. Кое-кто усмотрел в этом сопоставлении преувеличенную оценку Веры Инбер, будто бы возвышающую ее до Байрона. В возникшем основанном на недоразумении споре, который к тому же проник в печать, Вера Инбер и ее поэма оказались отесненными на задний план, а когда спор улегся, никто уже не стал возвращаться к поэме. Дело ограничилось несколькими рецензиями.

Между тем в «Путевом дневнике», который, несомненно, стоит выше всего того, что до тех пор было написано Инбер, заключено большое содержание. Эти записи о поездке в Грузию, на родину Сталина, Руставели, Маяковского, полны чувствований и размышлений о жизни, революции, о прошлом и настоящем, о человеческой культуре, о любви, о поэзии. Мир Веры Инбер как будто сразу раздвинулся, стал шире. Поэма написана превосходными стихами. Вера Инбер не отреклась здесь от того, что было лучшего в ее натуре, в ее поэзии, она не изменила себе и в лиризме, в ироничности, в чувстве юмора, в тонкости эмоций, в своеобразном изяществе и мягкости изображения душевных переживаний. Голос ее не стал громче, а жест стремительнее. И вместе

с тем присущие ей черты выступили в новой функции, в новом качестве. Вера Инбер описала Грузию по-своему, восприняла ее не так, как другие поэты, побывавшие там, но именно потому, что восприятие это у Инбер не книжное, не готовое, а глубоко личное, прошедшее сквозь призму ее собственного сознания, все увиденное и продуманное ею становится интимно-близким читателю.

Как далеки мы от земли московской,
От нашей русской, северной земли.
Вот зданье, где учился Маяковский,
У нас вокруг березы бы росли,
А здесь, как бы явился на урок он,
Зеленый лавр стоит у самых окон.

И может быть, вот этот самый лист
Или не этот, но ему подобный,
Видал, как Маяковский-гимназист,
Клонясь над партией в позе неудобной,
Писал стихи до самого звонка, —
А лавр стоял, готовый для венка.

Подобными неожиданно остроумными, легкими, образными сопоставлениями, столь приближающими предмет изображения к читателю, полна поэма. Вера Инбер обладает даром своеобразного поэтического мышления, улавливает в обыденных явлениях особые детали и, сопоставляя их, образно передает их особенность и новизну.

Но дело не только в зоркости глаза поэта, в тонкой игре мысли и чувств. Главное, это — отношение к жизни. И вот тут мне хочется провести некоторое сопоставление кое-кого из молодых поэтов с Верой Инбер. В печати уже отмечалось, что есть у нас молодые поэты, которым, кстати сказать, не приходилось воевать со своей старинной душой, потому что родились и воспитались они в наше время. И, тем не менее, они возвратились в своих стихах к давно забытым мыслям и настроениям. Это — ленинградец Вадим Шефнер, призвавший:

Не у камней бессмертию учись,
А у цветов и у стеблей полыни.

Это талантливый поэт Маргарита Алигер, которая в своей последней книге «Камни и травы» потянулась к «мудрому одиночеству» среди природы. «Путевой дневник» написан раньше этих стихов Шефнера и Алигер. Но насколько

ко же ближе к нам ощущение жизни у Веры Инбер. В ее поэме есть строки, как бы прямо отвечающие этим настроениям молодых:

Бездонный воздух. Тишина и свет.
Снега и небо. Оторваться трудно.
И спутник наш, украинский поэт,
Вдруг произносит: «Здесь легко быть
мудрым...»

А ведь не плохо, разве он не прав,
Прожить здесь век, среди камней и трав.

Описывать одну — от а до зет —
Природу, как Вергилий, как Гораций...
Но разве тучи сводок и газет,
Но разве жар и трепет наших радий,
Но разве гром военных телеграмм
Оставят нам спокойствия хоть грамм?

Они домчатся. Ветер их домчит,
Воображение подскажет. Память.
И мир наш, как бы ни был нарочит,
Он разлетится в прах, как этот камень,
Который мы для шутки, просто так
Бросаем вниз, и он летит, бедняк.

Но пусть не так. Пусть год и два, и три,
Извне пускай ничто нас не тревожит.
Но сердце — жить во льдах оно не может.
Его взорвет давлением изнутри,
Как рыбину, чьи перья-плавники
Вдруг окровавили бы ледники.

Идиллия пастушеских буколик,
Альпийский воздух, горное плато...
Но разве приступы душевных колик
От мысли, что ты пинешь все не то,
Но разве эти тягостные мысли
Меня и здесь бы по ночам не грызли?

Когда-то за окном комнаты Веры Инбер, здесь же, рядом, на улицах, шли бои за революцию, а она, «опершись локотком», писала лирически-нежные стихи. Теперь она не может жить вне эпохи, ее дел и интересов, она не могла бы отдалиться от них, ее взорвало бы давлением изнутри. Вот победа поэта над своей старинною душой. И Вера Инбер права, когда говорит:

Поэзия, звучи хоть как ни глухо,
Дойдет до сердца, если не до уха.

Ее «Путевой дневник» дошел до сердца многих и многих читателей так, как не доходили никакие ее прежние стихи, кроме лишь стихотворения «Пять ночей и дней», написанного на смерть Ленина.

В данной связи нет нужды рассказывать здесь о содержании «Путевого дневника», это было бы ненужным пере-

ложением многообразного поэтического богатства на язык неуклюжей прозы. Отмечу лишь в заключение, что наибольшее впечатление в поэме производят небольшая четвертая глава «Иду на почту», в которой с такой щемящей грустью звучат слова о любви и разлуке, и глава восьмая «Мы приглашены на елку», где подлинно поэтически описан новогодний вечер и праздничный ужин, и тосты гостей и хозяев за Грузию, за нашу прекрасную жизнь, тосты, которые так естественно завершаются здравицей в честь товарища Сталина. Здесь, в Грузии, на родине Сталина, эта здравица звучит особенно горячо и близко сердцу и, действительно, как венец, завершает все приветствия в честь нашей жизни.

Прошло еще два года, и в 1940 году Вера Инбер написала еще одну поэму «Овидий». Весьма интересен самый ее замысел. За кратким вступлением следует биография Овидия, и за нею глава «Фаэтон» по Овидию. В этой главе Вера Инбер целиком следует великому римскому поэту, и надо удивляться, с каким искусством передано ею бессмертное произведение поэта: кажется, что даже русский язык стихов Веры Инбер звучит в этой главе, как величавая латынь.

Но, изложив повествование Овидия о Фаэтоне и Фебе, Инбер в следующей главе своей поэмы дает свое толкование драмы Фаэтона. Он видится ей не безрассудным юнцом, который вздумал править огненной колесницей Феба, не сдержал четверки коней, чуть не сжег все живое на земле и сам пал жертвой своей необдуманной дерзости, — нет, Фаэтон рисуется ей как бунтарь, как человек, дерзнувший восстать против богов, как олицетворение творческой жажды сделать мир иным, лучшим, как воплощение революционного духа.

Так раскрывается по-новому, по-иному сказание о Фаэтоне — сыне Феба, убитом стрелой Юпитера. Творение Овидия сначала передано поэтом, а затем оспорено им. И с этим образом Фаэтона-бунтаря соединяются у Инбер в следующей главе детские воспоминания о похоронах убитого юноши-револю-

ционера, дерзнувшего восстать против земных богов во имя человечества, оплодотворяющего землю, но лишенного ее плодов.

Мне думается, что этот, так осуществленный поэтом замысел также более или менее сознательно связан у Веры Инбер с путем ее духовного, творческого развития. Фаэтон Овидия когда-то и ей, Вере Инбер, рисовался так же, как великому поэту древности. Смелый, но неразумный юноша взялся за непосильное дело, натворил бед и сам погиб от справедливой кары богов. Быть может, именно такими дерзкими безумцами казались ей когда-то, в дни Октября, бойцы восстающих Хамовников, когда она «лирически-нежным пером» писала стихи на Остоженке. И лишь потом, пройдя путь размышлений и проверив все пережитое, она по-новому поняла ту борьбу, свидетельницей которой, а не участницей была. Юноша, павший в дни 1905 года, был Фаэтоном, погибшим в своем дерзостном порыве, но бойцы Октября 1917 года стали победителями. Так, в сложной форме, в споре с Овидием за Фаэтона против Юпитера, еще раз осмысливает Вера Инбер события нашей эпохи, снова побеждает свою старинную душу. И эта творческая победа уже не декларативна и не носит характера беседы с самой собою; результат этой победы — поэма, воспевающая революционное дерзание и прометеев подвиг во имя человечества, страны, Земли:

Вечная молодость сердца. Упорство.

Дерзанье.

Зарево мысли. Горение страстной души, — Юность, летящая ввысь на любое терзанье, Неустрашимая, как ты ее ни страши.

Искра. Горящая точка. Одна, из которой Вспыхнуло пламя ярчайшего в мире огня.

Это заря революции, это «Аврора», В пурпур одетая вестница нашего дня.

И вот, когда перечитываешь давно знакомые стихи Веры Инбер и сопоставляешь их с ее двумя последними поэмами, становится очевидным, как, в сущности, отстала от жизни так давно сложившаяся и так долго державшаяся характеристика ее поэзии. Существо ее творчества, оказывается, было не в том, в чем его хотели видеть; оно только

медленно складывалось, пробивалось. Вера Инбер умела и умеет писать многое: и прозу, и лирику, и рассказы в стихах, и либретто оперы, и детские стихи, кстати сказать, очень хорошие. Но разве не нелепо было бы видеть душу поэта в очень милых «Сороконожках», в очень милом стихотворении «Сдается квартира» и не почувствовать настоящих переживаний Инбер за этой «улыбчивой иронией» и мягким юмором?

У Веры Инбер в «Путевом дневнике» есть такие строки:

Так иногда в космической задаче
Допущена ошибка. Мелочь. Дробь.
И навсегда осталось неоткрытым
Движенье двух сердец по их орбитам.

Творчество Веры Инбер отнюдь не космическая задача. Но даже движение этого одного сердца по его орбите долго оставалось неоткрытым. «Открытие» Веры Инбер, переоценка ее поэзии как будто уже произведены читателями после появления «Путевого дневника». Нужно положить начало такой же переоценке и в нашей критической литературе.



Мемуары генерал-майора А. А. Игнатьева

А. ДЕРМАН

★

1

Мемуары генерала А. А. Игнатьева имеют огромный успех. И успех этот прочен, устойчив. По истечении полутора лет с момента опубликования первой части труда Игнатьева в библиотеках на нее записи громадных очередей, аудитории, где автор выступает с чтением еще не опубликованных отрывков, — переполнены и т. д.

Признаемся, однако, что причина этого успеха нашей прессой, в частности нашей критикой, не раскрыта, не объяснена. Отзывы о мемуарах в большинстве сводятся к пересказу тех или иных интересных эпизодов или событий, в обилии представленных на страницах труда генерала Игнатьева, к щедрому цитированию с добавлением нескольких фраз, нехитрое назначение которых — как-нибудь сцементировать этот ряд цитат, к напоминанию, что самодержавие — это был колосс на глиняных ногах, что с полной очевидностью подтверждается мемуарами Игнатьева. И, наконец, к тому, что последние — чрезвычайно интересны.

Особенно часто повторяется именно это емкое слово «интересно». Его вы всегда услышите и в устных беседах о названных мемуарах. Интересно. Очень, очень интересно! Иной при этом добавит, что многих привлекает сенсационность воспоминаний, другой отметит, что своим успехом мемуары обязаны тому, что они «разоблачают». Нередко, наконец, вы услышите, что некоторая часть читателей смакует как-раз то самое, что автор разоблачает, и что описания высшего света и придворных сфер составляют главный магнит мемуаров.

Повидимому, какая-то доля правды заключается в каждом из этих объяснений. Надо ли, однако, доказывать, как эта доля относительно невелика? Было бы нелепо думать, что тысячи читателей, переполненные советской молодежью аудитории, длинные списки жаждущих получить книгу Игнатьева в бесчисленных фабричных и заводских библиотеках, — что все они состоят из людей, смакую-

щих картины великосветской жизни и придворного быта. Абсурдность такого предположения избавляет от необходимости его опровергать. Можно лишь отметить, что такого рода картины, с одной стороны, — не такая уж редкость в нашей мемуарной и художественной литературе, а с другой — что как-раз в нашей стране, в противоположность, например, Англии, Франции, а особенно Германии, они никогда не пользовались успехом в широких читательских кругах и культивировались в произведениях писателей второго и третьего «сорта», вроде Болеслава Маркевича, Муравлина (кн. Голицына) и т. п.

В противоположность этому разоблачительное течение в мемуарной литературе всегда пользовалось у нас большим интересом, но оно и представлено в ней довольно богато, и уже по одному этому момент разоблачительный не может служить удовлетворительным объяснением исключительного успеха записок Игнатьева. Мало ли ценного материала в данном роде заключают в себе, например, воспоминания графа Витте, игравшего столь видную роль в механизме самодержавной России? Всякого рода разоблачений, сопровождаемых притом целым рядом самых сенсационных, а зачастую и пикантных подробностей, у Витте сколько угодно. Но, как ни был значителен интерес, уделенный его мемуарам нашими читателями, он не идет ни в какое сравнение с тем, который выпал на долю записок генерала Игнатьева.

Мне кажется, что критика наша должна подойти к вопросу о причинах успеха рассматриваемой книги со своими собственными литературными критериями. Такая попытка может оказаться не безрезультатной.

2

Нам представляется, что дело в самом генезисе мемуаров, предопределяющем их тип и удельный вес. Если мы вспомним, что в старину слово «анекдот» значило не то, что сейчас, и применялось к наименованию изолиро-

ванного отрывочного эпизода, случая и т. п., то Пушкин нам поможет наметить какую-то существенную черту, разграничивающую два типа исторических сведений. Пушкин говорит, подчеркивая характерный дилетантизм образования Онегина:

Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.

Здесь оставлен широкий простор для догадок, что подразумевал Пушкин под словами «рыться в хронологической пыли», но одно несомненно: нечто противоположное пассивному хранению в памяти изолированных, меж собой ничем не связанных, фрагментов знания, как бы ни был велик их ряд, — хотя бы протяжением через всю обозримую историю: от Ромула до наших дней. Противопоставление Пушкин делает именно на этом признаке, на основе его отделяя какое-то серьезное знание от поверхностного дилетантизма.

Думается, что здесь проходит и водораздел между мемуарами двух основных типов. Одни представляют собою собрание «анекдотов», другие — какое-то обобщение. Последнее может быть и чрезвычайно обширным по размаху, и очень скромным, а первое — и богатейшим собранием драгоценных жемчужин разрозненного знания и жалкой коллекцией пустяков, — все равно, видовое отличие между теми и другими при внимательном анализе всегда выступает с большей или меньшей отчетливостью.

Я поясню свою мысль на материале, где это различие двух типов выступает с особенной резкостью. Вспомните десятки мемуаров различных деятелей сцены, — мемуаров, в подавляющем большинстве состоящих именно из «анекдотов». Их авторы — люди порой очень крупные в своей области. Их творческий опыт богат, интересен, поучителен. Но в силу причин, о которых здесь не место распространяться, их воспоминания о прошлом по большей части отливаются в форму театрального анекдота, который так хорошо всем известен. Опять-таки — и в этом жанре, как и во всяком ином, есть свои вершины, свой блеск. Да и вообще, мемуары эти читаются обыкновенно очень охотно, нередко они заключают в себе много живой наблюдательности, остроумия, характерности. В каком-то отношении они походят, однако, друг на друга. В каком именно? А вот в этом самом: их база — изолированный фрагмент, и сами они представляют собою *fragmenta fragmentarum*.

Но вот появляется книга, тоже театрального деятеля и тоже заключающая в себе изрядное количество разного рода «анекдотов», в том числе и самых забавных, — «Моя жизнь в искусстве» Станиславского, и мы сразу чувствуем, что это принципиально иное явление литературы, что это — какой-то организм прежде всего, а не совокупность фраг-

ментов. И различие это обусловлено отнюдь не размерами литературной одаренности авторов первого рода — с одной, и второго рода — с другой стороны. Ведь Станиславский, не забудем этого, совершенно не был писателем. С другой стороны, среди авторов, представляющих фрагментарный вид мемуаров, есть и заправские писатели, и видные драматурги.

3

Если мы взглянем пристально в те задачи, которые ставят себе авторы мемуаров, то заметим, что у представителей первого и второго вида они несхожи, но что они в каком-то отношении, напротив, сходны в рамках каждого из двух видов при всем индивидуальном разнообразии авторов. Я назову наиболее популярные произведения мемуарной литературы как одного, так и другого вида, — и указанный признак выступит, надеюсь, с достаточной ясностью. Для мемуаров фрагментарного типа: Болотов, Авдотья Панаева, Витте; для мемуаров второго порядка — назовем их условно синтетическими — «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» Короленко, «Моя жизнь в искусстве» Станиславского.

Какова задача автора драгоценнейших «Записок» Андрея Тимофеевича Болотова?

В своем «Предупреждении» он поведал об этом с простодушием и обстоятельностью, присущими всему стилю его обширного труда: спасти от забвения и передать потомству сведения о том, как жили в его время. Именно ради этого он «рассудил употребить некоторые праздные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего того, что случилось». Это определило и структуру «Записок». «При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до которого достигала только моя память, и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые маловажные». Для внутреннего мира самого Болотова эти «Записки» решительно ничем не служили. Это была консервация того, что застряло в памяти, своеобразная «бухгалтерия» прожитой жизни.

Воспоминания Панаевой были написаны даже и не в порядке удовлетворения внутренней потребности, а по совету со стороны. Книга составлена также путем перенесения на бумагу того, что сохранилось в памяти, и в таком именно виде, как сохранилось: без колебаний, сомнений, без контроля и критики, со всеми привкусами симпатий, антипатий, ревности, зависти, раздражения и злоязычия, со всеми оттенками стародавних мнений. И опять: самой Панаевой, для ее «душевного хозяйства», для приведения его в какой-то порядок, эти воспоминания нисколько не были нужны.

Очень определены в своей целеустремленности «Записки» графа Витте. Их цель двоякая: оправдать перед потомством себя и обвинить своих врагов. Это — довольно распространенный тип мемуаров государственных и

политических деятелей, посмертно сводящих незакрытые счета со своими современниками, это — посмертная полемика, и, как таковая, она, разумеется, целиком направлена вовне. Для самого автора все совершенно ясно, все давно взвешено и разрешено в сфере тех явлений, фактов, событий и ситуаций, которые он описывает. В этом смысле очень характерно, что самый процесс создания «Записок» Витте абсолютно не сопровождался какими бы то ни было «родовыми муками». Автор пригласил стенографистку и в течение очень короткого времени продиктовал ей по памяти, прогуливаясь взад и вперед по кабинету, эти обширные воспоминания о сотнях лиц, о крупных событиях, свидетелем и участником которых он был: обдумывать ему здесь было нечего, он сообщал уже ранее зафиксированные итоги.

С итогами имеют дело и представители второго мемуарного направления, но существенная разница заключается в том, что, когда они приступают к работе, итог для них самих еще не приведен в полную ясность, и самый процесс создания мемуарных трудов сводится для них к процессу анализа прожитого для уяснения его самому себе.

Нужды нет, что сами авторы таких мемуаров не формулируют своих задач подобными словами и даже порой предвещают, что задача их сводится к стремлению поделиться своим опытом с читателем, предостеречь его от ошибок и т. д. Эту роль — сообщения читателю житейского опыта, добытого автором, — выполняют в конце-концов любые мемуары. Важно то, что в одном ряде случаев опыт этот уже готов и подытожен к тому моменту, как автор приступил к работе, а в другом ряде — процесс работы над мемуарами и есть процесс уяснения, оформления и кристаллизации жизненного опыта. Осмысливание минувшего путем его воспроизведения — вот формула самой сущности того, что собой представляют эти мемуары второго ряда для самих авторов.

Страшные несчастья личного и семейного порядка постигают Герцена, переплетаясь с трагическими переживаниями краха Февральской революции и с наступлением мрачной реакции в Европе. Герцен чувствует себя потрясенным, выбитым из колеи, растерявшимся. Он почти случайно попадает в Лондон. Удаление от людей, одиночество приходится ему по настроению, он остается здесь и, чтоб разобраться в хаосе обуревающих его чувств, чтоб уяснить себе свое положение, чтобы во всей наготе правды показать нескольким ближайшим друзьям свою семейную трагедию, — он делает попытку проанализировать и воспроизвести только-что пережитое. И эта «попытка» обрывается лишь смертью Герцена, а ее результатом становится величайший памятник мемуарной литературы «Былое и думы», важнейшее из созданий Герцена.

Отличительная особенность Короленко состояла, во-первых, в том, что ему в равной

мере были чужды и даже враждебны непрочувствованная мысль и непродуманное чувство. Первое воспринималось им как сухое и мертвое доктринерство, второе — как слепая страсть. Осмысленная страсть, проникнутая живым чувством мысль — были его девизом.

Вторая столь же характерная черта восприятия у Короленко состояла в живом ощущении монистичности всего многообразия жизненного процесса. Не устывая указывать на сложность жизни, он воспринимал эту сложность в единстве общего творческого процесса, охватывающего все разрозненные факты и явления действительности. И это порождало в нем постоянную потребность сопоставлять далекое с близким, устанавливать связь давно минувшего с настоящим и намечать, как эта цепь непрерывности протягивается в будущее.

Обе указанные особенности служат истоком того историзма, который так обильно представлен в творческом наследии Короленко. Писатель постоянно стремился осмыслить не только текущий, но и вчерашний день. И когда на исходе прожитого полувека он почувствовал непреодолимую потребность перейти от осмысливания кусков жизни путем их анализа и художественного воспроизведения к попытке осмыслить обобщенно и целокупно весь пройденный путь, то это и отразилось в «Историю моего современника», о которой Д. Н. Овсяннико-Куликовский не случайно писал: «Яркостью изображения эпохи, а равно глубиной и значительностью ретроспективных размышлений она напоминает «Былое и думы» Герцена».

Мне пришлось бы в значительной мере повторить сказанное о мемуарах Герцена и Короленко, чтобы охарактеризовать генезис книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Совершенно бесспорно, что и она создавалась, как осмысливание, путем анализа и воспроизведения, всей прожитой артистической жизни.

Итак, подводя итог сказанному, устанавливаем следующие признаки данного вида мемуаров.

Импульсом к работе над ними служит потребность автора осмыслить пройденный жизненный путь в целом или, по крайней мере, существенной его части.

Отсюда и работа над такими мемуарами сводится не к перенесению на бумагу готового запаса хранящихся в памяти фактов, событий и образов, но к переплавке этого запаса, к переработке его из состояния аморфного в кристаллическое, к установлению закономерной взаимной связи и значимых отношений между разрозненными фактами, событиями и лицами прошлого.

Этим, в свою очередь, обуславливается цельность структуры подобного вида мемуаров.

Наконец, два сопутствующих признака таких мемуаров. Во-первых, как правило, они чрезвычайно трудоемки. Для своих авторов они обычно приобретают значение дела жизни, и им нередко посвящаются годы и даже

десятилетия самого напряженного труда. На пятнадцатом году работы над «Историей моего современника», проходившей с перерывами и в очень сложной и трудной обстановке, Короленко, уже серьезно больной, в мае 1918 года сообщает А. Г. Горнфельду: «Работал с великим удовольствием. Если бы пришлось умирать, не сделав этой работы, — чувствовал бы большое раскаяние».

Второй сопутствующий признак: удельный вес таких мемуаров почти всегда бывает значителен. Это едва ли требует объяснений: трудно представить себе, чтобы долгий труд был отдан теме мелкой и ничтожной. И, таким образом, почти всегда здесь получается соединение серьезной темы с серьезной работой над нею автора, т.е. максимально благоприятные условия для получения значительного результата.

4

Мемуары А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», напечатанные в № 9 «Знамени» за 1939 год и в № 10 за 1940 год, должны быть причислены именно к данному разряду мемуаров, — и этим, думается, следует объяснить их исключительный успех. Мы, конечно, не сравниваем эти мемуары с книгами Герцена, Короленко или Станиславского по существу, разница здесь очевидна. Мы говорим только о типе мемуаров.

«Стояла солнечная ранняя весна. Цвели каштаны и белая акация. Киев благоухал. Меня в этот день подняли рано. После торжественного родительского благословения мать повезла меня в корпус, находившийся на окраине города. И ни свежее бодрящее утро, ни живописная дорога не могли рассеять того волнения, которое я испытывал перед вступлением в новый, неведомый мне мир. И когда швейцар в потертой военной ливрее открыл передо мной громадную дверь корпусной передней, я почувствовал, что домашняя жизнь осталась там, в коляске».

Так изображает автор знаменательный момент своей жизни — вступление в строй, в котором он до сих пор и остается вот уже более полувека. И это — типичное для подобного рода мемуаров изображение: не изолированный факт является его объектом, а факт, занимающий свое место в жизненной перспективе, в этом своем значении и осмысленный. Мы не сомневаемся, что вступающий в двери корпуса мальчик, действительно, испытал какое-то очень волнующее чувство. Но едва ли также можно сомневаться, что в характере этого чувства он тогда не давал себе ясного отчета. Не исключено, конечно, что позднее, взрослым человеком, Игнатьеву случилось уяснить себе то смутное чувство, скажем он переступал порог Киевского корпуса. Но я думаю, что свою законченную четкость и характеристику это чувство получило именно тут, под пером мемуариста: здесь оно названо, а стало быть, и окончательно известно.

Сплошь да рядом автор сам заявляет и

подчеркивает, что смысл происшедших перед его глазами событий был ему не ясен либо воспринимался ошибочно. Когда царь проявил совершенное равнодушие к гибели тысяч людей во время своей коронации и в самый день ходынской катастрофы отправился на бал во французское посольство, молодой офицер Игнатьев приписал это бездушие тому, что, «видно, царь, исполняя тяжелую обязанность монарха, хочет скрыть от иностранцев наше внутреннее русское горе». Впоследствии он думал об этом, конечно, иначе. Но, может быть, только в качестве автора мемуаров он поставил это явление в его органическую перспективу: «Я не мог себе представить, что этот бездушный сфинкс через несколько лет с таким же равнодушием отнесется к цусимской трагедии, к расстрелу народа 9 января — в день кровавого воскресенья, к гибели русских безоружных солдат в окопах империалистической войны и будет способен играть с своей мамашей в домино после собственного отречения от престола».

Вот Игнатьев тотчас по окончании Академии генерального штаба: «Вечером в тот же день чествовали меня лейб-гусары, где служили мой зять и младший брат. Сперва обычный скромный обед в громадном и мало уютном белом зале собрания, построенном Николаем II, который командовал эскадронem этого полка в бытность свою наследником. Сюда, как и в другие собрания Царского села, любил он ездить в последние годы царствования, вероятно, чтобы забыться от своих семейных дряг и, может быть, для того, чтобы в верноподданности гвардейских офицеров ощутить опору против грозы надвигающейся и неизбежной революции».

Но все это было уже гораздо позже, тогда как в тот вечер, когда в гусарском собрании сидела наша маленькая компания, о революции никто еще не помышлял, а война представлялась совершенно независимым от нашей воли явлением природы, вроде налетевшей среди бела дня грозы».

Опять тот же стиль сознания мемуарного факта в ретроспективном историческом освещении. Как характерен в этом смысле мелкий штрих, которым автор заканчивает рассказ о своей службе в качестве офицера, прикомандированного к иностранным агентам, «назначенным состоять при русской армии во время русско-японской войны»: «В награду за все мои хлопоты с иностранцами у меня осталась большая коробка иноземных орденов, пожалованных мне после войны. Они когда-то украшали широкой разноцветной полосой мою грудь, а теперь кажутся красивыми игрушками и привлекают внимание гостей, когда жена моя, по капризу своему, украшает ими елку». Или финал очень яркого описания придворного бала в самый канун войны с Японией: «Мог ли я думать, покидая этот пышный, раздушенный бал, что он был последним в Российской империи, что революция 1905 года закроет двери Зимнего дворца для самого Николая II и он в страхе навсегда за-

прет себя и всю свою семью в Царском селе? Наконец, мог ли я представить, что попаду в этот дворец только много лет спустя и уже советским гражданином?..»

Даже отдельные портреты и притом не только деятелей, занимающих более или менее видное место в повествовании Игнатьева, но и фигуры, так сказать, «проходящие» изображены мемуаристом в этом характерном перспективно-историческом освещении: «Глава германской миссии генерального штаба полковник Лауэнштейн, будущий командующий одной из армий в мировую войну и бывший военный атташе в Петербурге, был старым служакой, выдавшим виды на своем веку. В своем синем сюртуке, в каске с шишаком, в высоких до колен сапогах и с тяжелым стальным палашиом, Лауэнштейн воссрашал в памяти старую прусскую армию, победительницу 1870—1871 годов. Его воинственная внешность не могла скрыть тонкого дипломата старой школы, старую лису, приверженца испытанной политической европейской формулы «драйкайзербунда»... Он еще считался с англичанами, но уже на французов и особенно на представителей малых держав смотрел с высоты бисмарковского мировоззрения».

Трудно допустить, чтобы портрет этот, со всеми его историческими красками и чертами, именно так и воспринят был в ту пору молодым офицером Игнатьевым. Нет, это позднейшая реконструкция, это продукт осмысления «натуры» в историческом стиле, и свою последнюю чеканку он получил, конечно, в самом процессе работы над мемуарами.

В другом месте («Красная новь», №№ 7—8 и 9—10 за 1940 год, статья «Проблемность как фактор художественного творчества») мне пришлось подробно говорить о некоем явлении в области художественного творчества, довольно неуклюже названном мною «проблемностью». Я пытался там доказать, что в ряде случаев художники слова освещают для самих себя еще не ясные проблемы путем создания художественных произведений, где эти проблемы ставятся в конкретном, образном воплощении. Именно такие произведения были мною названы «проблемными» в отличие от тех, где художник либо никаких проблем не освещает, либо ставит и разрешает проблемы, для него самого уже решенные, — проблемы не для автора, а для читателя.

Мне кажется, что точно в таком же смысле позволительно говорить и о проблемных мемуарах, т. е. о таком воссоздании прошлого, в котором автор ставит перед собою главнейшую цель — уяснить для него самого нечто очень важное, сложное, но еще не получившее в сознании твердого, кристаллического оформления. Та проблема, тот вопрос, который в подобного рода мемуарах является центром, где сходятся все радиусы, конечно, не ставится в них в виде какой-нибудь формулы, но каждая строка пропитана им.

«Пятьдесят лет в строю» А. А. Игнатьева

должны быть по справедливости названы проблемными мемуарами. Вопрос, ощущаемый в каждой строке мемуаров, — приблизительно таков: какими путями перешел он из сферы придворной, дворцовой в сферу советскую, социалистическую?

Тот «историзм» частностей, примеры которого были приведены выше, свое происхождение ведет из этой именно проблемы, потому что сама она по сути дела исторична. Этим же обусловлено точно так же и то, что, изображая тот или иной этап пройденного им пути, автор сохраняет за ним тот именно колорит, в котором он некогда его воспринимал, потому что осознать свое прошлое — это значит сопоставить свое давнее, изжитое отношение к нему с нынешним отношением. По тем самым путям, по которым проходил некогда Игнатьев своей «житейской походкой», он в мемуарах проходит и сейчас, но проходит творчески. Он объективирует прошлое. А в данном случае это значит то, что не только вещи и людей он изображает такими, каковы они были, но и себя самого, каким он был на каждом пройденном этапе, — как он вступал в высокие двери корпуса, как, преисполненный благоговения, первый раз предстал перед императрицей в качестве ее камер-пажа, как дирижировал танцами на придворном балу и т. д.

И именно потому, что сохранен колорит каждого из пройденных этапов, читатель точно проходит вместе с автором весь этот процесс превращения камер-пажа, потом кавалергарда и т. д. и т. д. — в работника Красной армии. И этим, я думаю, объясняется огромный успех книги: проходимый читателем путь почти фантастичен и потому увлекателен, но он показан в процессе, а потому убедителен и почителен.

Необходимо, в частности, сказать, что даже чисто разоблачительное значение книги лишь выигрывает от этого изображения самого процесса движения. Читая книгу, мы осязаем всю прочность первоначальной связи автора с отринутым миром, мы видим воочию, как много для него дорогого должен был он оставить, покинув его, — и мы чувствуем, что не шуточно были и те мерзости, которые все же принудили его отрясти прах от ног своих и порвать свою кровную связь со старым миром. Иной раз даже кажется, что какие-то стголоски старых оценок и вкусов дальней тенью проходят по страницам мемуаров. В иных случаях — какое-то смягчение характеристики лица или факта; в другом — какой-то легкий оттенок лирической эстетики в тех или иных изображениях... Что ж, — ведь это книга, изображающая процесс нешуточного преодоления. Эти мелочи одновременно свидетельствуют и о правдивости повествования, и о том, что не так просто и легко было то движение, живым графиком которого являются эти мемуары.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОВЕСТЬ О ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ*

Повесть Б. Полевого «Горячий цех» лишена остроты ситуации и внешней занимательности, но вызывает подлинный интерес. Герои повести — рабочие, мастера и инженеры крупного завода — показаны в будничной повседневной обстановке. Но с каждой страницей все сильнее ощущаешь творческий смысл их работы, душевное величие хозяев замечательной страны.

Молодой писатель одним из первых подошел к решению той центральной темы советского искусства, о которой говорил М. Горький: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, т.-е. человека, организуемого процессами труда... Мы должны выучиться понимать труд как творчество». «Рассказывая о фактах, которые знаменуют интеллектуальный рост рабочего фабрик и превращение векового собственника в коллективиста-колхозника, мы, литераторы, именно только рассказываем, очень плохо изображая эмоциональный процесс этих превращений».

Слова Горького, произнесенные семь лет назад, приобрели в наши дни особенную значительность. В рабочем классе произошли чудесные превращения. Возникло и окрепло стахановское движение. Всенародную славу приобрели передовики армии социалистического труда. Между тем, как часто в нашей литературе картины трудовых процессов выглядят простым перечнем фактов.

Фактография возникает там, где писатель не умеет в будничных событиях и поступках разглядеть их внутренний смысл, побудительный стимул и ту температуру сердца, которой они согреты. Подлинно героическое в нашей стране лишено крикливости, помпезности, позы. И нужно уметь почувствовать пафос повседневной работы в той душевной заинтересованности, которая отличает создателя от ремесленника, от исполнителя.

Этот внутренний, психологический, фактор шире использования нового отношения к станку, цеху, заводу. Здесь сказывается новое отношение трудящихся к своему государству, к миру, к жизни в целом, понимание значения и силы передовых идей в «умных руках».

Горький говорил: «Процесс социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем

поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга».

Не обязан ли советский писатель, «инженер душ», уметь изобразить особенный эмоциональный облик людей социалистического труда? Ответ predetermined. Но что же мешает этому? Нам кажется, что одна из помех — неверное понимание существа занимательности художественного произведения. Писатели как бы стесняются писать о будничном и повседневном. Лежащее рядом оставляет их творчески равнодушными. Примелькавшееся становится синонимом обыденного и тусклого. Меряя значимость своих книг внешним успехом, авторы зачастую стремятся заинтересовать читателя только неведомым, неизвестным.

Несколько упрощенное представление о вкусах и потребностях читателя увело некоторых прозаиков от наиболее существенных проблем нашей жизни. В своих поисках «поэтического» они зачастую увлекаются экзотическим материалом.

А ведь для советского писателя открытие сложного процесса тех превращений, которые происходят на наших глазах с людьми труда, может представлять подлинно творческий интерес. Тема труда содержит в себе не меньше поэзии, чем, например, тема освоения окраин нашей страны. Хорошие книги о труде способны взволновать и заинтересовать читателя с неменьшей силой, чем изображение подвигов наших пограничников.

Автор «Горячего цеха» сумел почувствовать поэзию труда, его решающую роль в становлении нового типа людей советской эпохи.

Тема повести — стахановское движение на крупном заводе. Основные герои — знатный стахановец Лузгин и его бригада, которая воспитывает молодого рабочего Женьку Сизова.

В движении образов Лузгина и Сизова сосредоточен основной смысл повести. Читатель знакомится с Женькой в самый критический момент его жизни, когда парню по заслугам грозит увольнение с завода.

В этот тупик Женьку завело сложное переплетение жизненных обстоятельств и влияний. Беспорядочное детство, жизнь в людях, батрачество у кулака воспитали в нем черты анархического эгоизма: «В школе... никогда ни у кого не просил помощи, но и сам никому

* Б. Полевой. «Горячий цех». Повесть. Гослитиздат. М. 1940. Стр. 286. Тираж 20 000. Ц. 4 р.

не помогал». Природная одаренность и смелость, легкость овладения профессией породили самонадеянность.

Как это часто бывает у натур порывистых и неустойчивых, лишенных правильного трудового воспитания, Женьку привлекала в мастерстве только «удачливость». Психологически это вполне объяснимо. Ему слишком часто везло в том, чего другие добивались настоящим трудом. К тому же музыкальные способности принесли юноше легковесную клубную славу. А вредитель и пошляк Пороцкий (завклубом), неустанно твердивший о том, что Сизов «рожден для задытых огнями встар», обострил в нем черты зазнайства и высокомерия.

Сущность подлинного конфликта Женьки с коллективом заключается в том, что он до прихода в бригаду Лузгина, да и на первых порах в бригаде, только служит, отбывает урок, орудует руками, не вкладывая в свой труд души, творческого порыва. Психологически Женька — одиночник, стартер в заводском коллективе. Успех в работе интересен ему как личный, корыстный — и только. Ценность образа Женьки в том и заключается, что вся глубина и сложность борьбы за советское отношение к труду показаны в нем, как процесс обновления сознания.

Пока не поняты Женькой интересы производства, пока чужды они личным его желаниям, — он обречен на прозябание. Внутренняя опустошенность прорывается беспричинной злобой, хулиганской разнузданностью, мелочными обидами. Отсутствие цели отдаёт его во власть настроений, в зависимость от мимолетных успехов или неудач. Даже соглашаясь перейти в бригаду Лузгина, Женька, собственно говоря, поддался очередному настроению. Возможность участия в прославленной бригаде льстила самолюбию, сулила новизну обстановки и высокий заработок. Но его чувства и мысли в первые дни бригадной работы очень верно вскрывают роль и сущность могучего средства перевоспитания людей — социалистической дисциплины.

В бригаде Лузгина дисциплина не простое подчинение нормам и распорядку, а кодекс зловых отношений между людьми на почве правильно осознанных интересов государства. Вот почему Женька, прилежно подражая приемам работы лучших стахановцев, терпит все же неудачу за неудачей до тех пор, пока психологически ощущает себя одиночкой. Настоящий, согласный ритм труда приходит вместе с творческим его ощущением. Умно и правдиво подводит автор своего героя к тому переломному рубежу, когда Женька ощущает как основную поеху свой «трудный характер». Ломка эгоистических навыков, пережитков честолюбивого чванства расширяет душевный кругозор Женьки. Стахановский труд научил Евгения Сизова внимательному отношению к людям, помог осмыслить существо рабочей гордости. В образе Женьки детально и конкретно показан путь нравственного формирования молодого человека наших дней. Мы видим,

как стахановский труд обостряет политическую зоркость, повышает внутреннюю ответственность.

Повесть Полевого показывает, что коллектив энтузиастов труда воспитывает в людях благородную дружбу, требовательную и нежную любовь.

Сложность перестройки сознания особенно ярко раскрыта в эпизоде, рисующем отношение Женьки к передаче опыта стахановской работы Лузгина другому заводу. Бригадир охотно отдает своему «сопернику» чертежи нового усовершенствования. Женька поражен. Это выше его понимания, противоречит всему его житейскому опыту. «Чего ему нужно? Чего? — недоумевал Евгений. — Разве не лучше, не почетней итти вперед, оставив остальных далеко позади себя? Славы, что ли, ему не хватает? В газетах о нем мало пишут?»

Искренность этих размышлений несомненна. И она-то особенно убедительно показывает, что, даже пробыв немалое время в стахановской бригаде, Женька не понимает сущности социалистического соревнования, воспринимая его делачески, как соперничество, а Лузгина мерит на свой аршин.

Тут резко выступает противоречие духовного роста. В образе Сизова оно дано как противоборство разума и инстинктов, справедливых истин и привычных представлений. Перевес социально осмысленного отношения к жизни над импульсивным и стихийным дается ему далеко не сразу.

Путь к этому ясно обозначен автором повести в образе Лузгина. Самое основное, что определяет ценность передовых людей нашей эпохи, — коммунистическое отношение к труду, — является стержнем его характера.

Прямота, добродушие, справедливость и умелость Лузгина сразу подкупили Женьку. Но по-настоящему он оценил Лузгина только тогда, когда сам ощутил моральное величие трудовой доблести. До этого он способен был воспринимать внешние черты характера, не видя их источника.

Читатель гораздо раньше обнаруживает в этих чертах Лузгина характер нового человека. Лузгин работает с вдохновением, его увлекает поэзия труда. Его постоянная творческая взволнованность, естественно, заражает других. Но самое значительное в психологии Лузгина — враждебность ко всякому равнодушию. Читая книгу, видишь, как Лузгин по собственному почину вмешивается во многое, что лежит за пределами его работы.

Автор «Горячего цеха» — инженер-коммунист — знает и любит заводскую жизнь. Это чувствуется в той приподнятости, с которой описаны просторные и высокие заводские цехи, ладные и умные машины. Автор умеет передать в изменившемся заводском пейзаже обновленный облик страны. Три кузницы, описанные в повести, предстают перед читателем, как символ трех эпох нашей производственной жизни. Та кузница, в которой работает бригада Лузгина, олицетворяет пере-

довую технику нашей родины, зовущую к радостному труду.

Мотивы трудовой доблести органически вплетены в художественную ткань повествования. Заинтересованность героев повести в общем производственном подъеме слита с их личными чувствами и помыслами. В радостях творческого труда — источник их душевного расцвета и счастья.

К сожалению, далеко не все в равной мере удалось автору. Ряд второстепенных персонажей повести обрисован слишком бегло (Ваня Овчин, Петр Жолобов, инженер Апт). Им не хватает жизненного полнокровия и психологи-

ческой глубины. Композиция повести нарушается номенклатурной условностью этих фигур и несколько искусственным введением биографий других персонажей. Художественное впечатление местами ослабляет также излишняя доза очерковой дидактики. Неудачна, надуманна фигура Егора Решетова. Наконец, книга недостаточно отработана стилистически. И все же эти существенные недостатки «перекрыты» в повести ценными ее качествами. Успешное решение центральной темы определило полезность книги в целом. Обыденное и повседневное получило в ней конкретную, эмоциональную выразительность.

О. Резник

★

УДАЧА ГАЙДАРА *

„Я утверждаю — с ребенком нужно говорить «забавно».

Эта мысль А. М. Горького, к сожалению, часто забывается детскими писателями. Многие из них еще продолжают «говорить детям сухонным языком проповеди», вызывая в ребенке лишь «скуку и внутреннее отталкивание от самой темы проповеди».

Вполне справедливый упрек великого писателя меньше всего относится к литературной работе Арк. Гайдара, особенно к его последней книге «Тимур и его команда».

Это — умная, жизнерадостная и по-настоящему «забавная» книга. Вначале даже кажется: не слишком ли много тайн и сюжетной занимательности в этой маленькой книжке? Не обедняется ли ее реалистическая основа ярко выраженными элементами приключенческого жанра?

Однако очень скоро начинаешь убеждаться, что эти первоначальные впечатления ошибочны и преждевременны: занимательность книги не только не обедняет ее содержания, но, наоборот, придает особую привлекательность и ясность. И если Арк. Гайдар действительно говорит с читателем «забавно», то в этом проявляется лишь мастерство настоящего литератора.

Повесть «Тимур и его команда» — поистине книга тайн! С первых же страниц герои книги, а вместе с ними и юный читатель, попадают в сферу неожиданных и волнующих странностей. Волнующих особенно потому, что тайны обнаруживаются в простейших и обыденных условиях, когда кажется, что никаких тайн не только нет, но и быть не может! И тем не менее — тайны обступают читателя сразу же, как только он начинает знакомиться с жизнью героев.

Вот Ольга, восемнадцатилетняя дочь полковника Александрова, находящегося на фронте, приезжает на дачу. Она идет по мирному дачному садику, и вдруг флаг, только-что реявший над сараем, исчезает; в кустах раздается настороженный шопот; лестница, стоявшая

у сарая, с грохотом падает в лопухи... Спустя полчаса словоохотливая молочница сообщает Ольге о других «темных делах», творящихся в округе. И вот — тайны начинают окружать героев со всех сторон, создавая веселую путаницу в их судьбе, увлекая внимание читателя.

Сестра Ольги, тринадцатилетняя Женя, заблудившись, попадает в чужую, пустую дачу. «Арестованная» собакой-овчаркой, Женя засыпает там. А утром обнаруживается, что ночью кто-то заботливо охранял ее сон, кто-то отправил вместо нее забытую телеграмму, кто-то нашел и прислал потерянный Женей ключ от городской квартиры...

Добрый гений царит в поселке! По его приказу аккуратно уложены дрова во дворе слабосильной бабки и найдена пропавшая коза. По его приказу налита в бочку старухи-молочницы вода, охраняются от хулиганов сады мирных граждан и организуется досуг поселковой детворы.

Добрый гений поселка носит странное имя: Тимур. И читатель, еще не зная тайны Тимура, уже начинает любить его за одни поступки: Тимур проявляется в них, как умный, благородный и деятельный человек. Он проявляется в них, как человек широкого сердца и благородного сознания.

Как и следовало ожидать, тайна Тимура обнаруживается при неожиданных и странных обстоятельствах: на чердаке сарая Женя случайно наталкивается на телефон, карту местности и большое штурвальное колесо с идущими от него сигнальными проводами... Играя, девочка приводит колесо в движение, — и вдруг в одной из дач звонит бронзовый колокольчик, в другой — звякает жестяная банка, в третьей — дребезжит пружина, в четвертой — раздается подозрительный стук... Минуту спустя в сарай к увлеченной игрой Жене влетает встревоженная кучка ребят пионерского возраста. И тогда выясняется, что сарай — это штаб, что начальник штаба — Тима Гараев, он же Тимур. Это он — источник всяческих «тайн», «добрый гений» поселка. Это по его инициативе и прямому приказу школьники-пионеры борются с хулиганами и сильно по-

* Арк. Гайдар. «Тимур и его команда». Детиздат. М.—Л. 1941. Стр. 72. Тираж 50 000. Ц. 2 р. 25 к.

могут семьям бойцов и командиров Красной армии, призванных на фронт.

Теперь, казалось бы, тайна Тимура открыта, интерес читателя удовлетворен, все ясно...

Однако именно в этот момент с особенной отчетливостью выступает глубокая содержательность книги Арк. Гайдара. Автор как бы снимает внешние покровы с «тайн» сюжета — и тогда открывается самое важное: глубоко волнующее идейное содержание образов и событий повести. Теперь книга начинает увлекать читателя уже не столько внешней занимательностью, сколько красотой и силой заложенных в ней чувств и мыслей, благородством жизненных целей и поступков героев.

Правда, сюжетные «тайны» еще остаются: автор раскрывает их с интригующей последовательностью, и это заставляет читателя до самого конца книги ждать, что вот — будет сброшено еще одно «покрывало». Достаточно вспомнить хотя бы образ странного старика-калека, с револьвером в руках поющего оперные арии и в конце-концов оказывающегося дядей Тимура, молодым инженером Георгием Гараевым. Но интерес событий в дальнейшем строится не на этих «тайнах». Он строится на глубоко волнующем раскрытии благородного содержания советской действительности — в пределах маленького поселка и маленькой группы людей.

На советской границе идет война. Отцы и старшие братья ребят защищают на фронте мирный труд советских людей. И это накладывает определяющий отпечаток на содержание всей жизни Тимура и его боевой команды. Разделяя общие чувства советского народа, Тимур и его друзья питают горячую любовь и преданность к Красной армии.

Это сказывается во всем. Вот проезжает мимо походная красноармейская мотоколонна, и —

«из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще незрелые яблоки, кричали эдогонку «ура» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в поляны и крапиву стремительными кавалерийскими атаками».

На фронте погиб лейтенант Павлов. И советские люди — каждый по-своему — позаботились о вдове: со всех сторон в тихий дачный поселок понеслись телеграммы и письма.

Тимур и его команда заботятся о вдове по-своему: они развлекают ее маленькую дочку.

Любовь к Красной армии движет поступками ребят, осмысливает их игры и привязанности. Недаром Тимур и его команда имеют свой знак: красноармейскую красную звезду, которой они отмечают дома людей, нуждающихся в охране и помощи. Рисуя этот знак на воротах, Тимур объясняет Жене:

«— Это значит, что из этого дома человек ушел в Красную армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?»

— Да! — с волнением и гордостью ответила Женья. — Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже».

Ольга, старшая сестра Жени, в конце повести говорит Тимуру:

«— Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же».

И этот подлинно социалистический моральный принцип является определяющим не только в облике пионера Тимура, но и всей его замечательной ребячьей команды. Характерны в этом смысле перипетии «войны» Тимура и его команды с хулиганствующей компанией Мишки Квакина. В их столкновениях — много веселого азарта и чисто детской игровой изобретательности. Тимур и его друзья проявляют в «войне» с компанией Квакина хорошие навыки прекрасных советских ребят. Они обладают инициативой и волей, по-детски выраженным, но правильным пониманием законов советского общежития, советской социалистической морали. Тимур и его друзья — по выражению Ольги — «думают о людях», помогают людям. Они это делают хорошо: «Взяла сделать — сделал хорошо» — говорит Тимур Коле Колокольчикову, и это становится одним из руководящих принципов всей команды. Они дисциплинированы; им в высшей степени близки чувства дружбы и товарищества.

Особенно ярко эти качества выражены в образе самого Тимура. Он, по выражению «атамана» Квакина, — комиссар. И действительно: «комиссар» Тимур — необычайно привлекательный образ честного, любознательного мальчика. У него золотые руки деятельного советского школьника-пионера; он любит технику и умеет поставить ее на службу своим, пусть еще детским, интересам; он обладает навыками и волей организатора и руководителя; он — принципиальный и верный товарищ, культурный пионер и школьник.

Все это Арк. Гайдар показал в своей книге ярко, увлекательно и с хорошим юмором. С блеском настоящего мастера он продемонстрировал в ней и своеобразный лаконизм, и живописную энергию своей повествовательной манеры: в книге нет пространных описаний, утомительных мотивировок и характеристик; нет самостоятельного, многословного пейзажа, длинных авторских комментариев или «жидких» диалогов. Действенность, лаконизм и точность — вот определяющие начала его повествования.

Мастерство А. Гайдара, как писателя, очень ярко сказалось в этой способности достигать предельного, если можно так выразиться, лаконизма подробностей. Чтобы не задерживать внимания читателя, укажем только на один-два взятых наугад примера.

Вот характерный диалог:

Женья попадает в пустую, охраняемую собакой квартиру. Девочка хочет уйти, но собака, «тихо зарывчав, легла поперек пути у двери.

— Ты глупая! — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женья. — Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женья, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хорошая собачка... Такая с виду умная, симпатичная...

Но едва Женья дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычанием вскачила, и, в страхе прыгнув на диван, Женья поджала ноги.

— Очень странно, — чуть не плача, заговорила она. — Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек. Да! — Она показала собаке язык. — Дура!.

Это рассказано очень просто и точно. А вот пример повествовательной авторской речи:

«По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие одетые в ремни и железо кони быстро взлокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездоные, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще».

Лаконизмом подробностей отличаются характеристики событий и персонажей в целом. Эти качества особенно важны в книжке, обращенной, в основном, к читателю-подростку.

Нельзя не отметить и недостатков книги: не все в ней сделано одинаково хорошо и к стати. В частности, нам представляется мало удачной «интимная» линия Ольги и Георгия Гараева. Без достаточной необходимости подчеркнута также приверженность Ольги к аккордеону и встрадно-сольному пению: это явно перекечвало в хорошую книгу Гайдара из всякого рода любовно-музыкальных комедий.

Однообразна и несколько затянута история с козой и Нюркой: для действия и речи Нюрки у автора не нашлось выразительных, свежих красок. Не лишена эта хорошая книга и чисто языковых промахов.

Однако отмеченные недостатки не имеют при оценке книги Арк. Гайдара существенного значения: «Тимур и его команда» — безусловно талантливое, яркое и нужное произведение. Пользуясь выражением Горького, идейная «проповедь» книги доносится до сознания читателя так легко, с такой глубиной и правдивостью, что повесть Арк. Гайдара, естественно, становится не только эстетическим фактом, но и орудием воспитания советских ребят в духе социалистических норм морали и поведения, в духе советского патриотизма и гуманизма.

Дм. Еремин

★

ПОЭТИЗАЦИЯ НАИВНОСТИ *

На протяжении последних трех лет рассказы Ив. Меньшикова появлялись в наших журналах довольно часто. Они открыли читателю мало знакомый далекий край, суровую и прекрасную природу тундры, рассказали о ненцах — народе, который десятилетия жил в темноте и бедности, угнетаемый царскими колонизаторами, шаманами и кулаками.

Поэтизируя душевную чистоту и непосредственность ненцев, Меньшиков вместе с тем, как наблюдательный и чуткий художник, отражает реальные процессы, происходящие сейчас в их жизни. Эти процессы характерны в то же время для многих, населяющих окраины Советского Союза, народов, которые в силу исторически сложившихся причин находились на чрезвычайно низком уровне экономического и культурного развития.

В тундру пришел друг — советский человек. Он помогает маленькому народу осознать свои силы, пробуждает в людях жажду к знаниям и культурной жизни, помогает преодолевать сопротивление враждебных сил и пробуждает чувство человеческого достоинства.

Такова тема Ив. Меньшикова. И каждый его новый рассказ в той или иной мере раскрывает эту тему.

Конечно, значение творчества Ив. Меньшикова отнюдь не ограничивается познавательной

ценностью его рассказов. Он привлекает читателя поэтической приподнятостью речи, выразительным лаконизмом и подлинной лирической взволнованностью.

Недавно вышла новая книга Ив. Меньшикова, которую автор посвящает «ненецкому народу, возрожденному Великой Октябрьской социалистической революцией». В ней собраны лучшие его рассказы, подведен итог определенного творческого периода. Следовательно, книга эта должна всесторонне раскрыть тему писателя, в данном случае — собрать разрозненные впечатления читателя и дать конкретное, максимально полное представление о народе, о процессах, происходящих в его материальной и духовной жизни.

Почему же, по мере чтения книги, растет неудовлетворенность? Дело, очевидно, не в том, что некоторые рассказы менее удачны, чем другие.

Меньшиков своеобразный и, в известной мере, определившийся писатель. Рассказы, собранные в последней книге, с наглядной убедительностью отражают достоинства и недостатки его творчества. Поэтому говорить о них только в плане сравнительных оценок, не пытаясь определить хотя бы главные из причин, приводящих писателя к неудачам, значит сознательно ограничить себя и, по существу, мало сказать о его работе.

«Ветер крепчал. Он гул тундровый лозняка, и тот жалобно свистел; казалось, что и лозняк тоскует по ушедшему лету и кланяет-

* Ив. Меньшиков. «Друзья из далекого стойбища». Повести и рассказы. Изд-во «Советский писатель», М. 1940. Стр. 256. Тираж 10 000. Ц. 5 р.

ся, и машет улетающим лебедям ветвями на прощанье. Девочка позавидовала птицам. Будь она гусенком, она бы взлетела выше сопки, к солнцу. Высоко взлетела, так что были бы видны деревянные чумы русских. Опустившись около дома, она вновь превратилась бы в человека и пошла бы к русским в гости.

— Здравствуй, — сказали бы русские, — садись чай пить с сахаром.

— Нет, — ответила бы она, — мне не надо чаю с сахаром. Дайте, лучше мне картошки.

Принесли бы тогда русские Няревей картошку величиной с голову Ванюты, и стала бы Няревей есть. Она бы откусила три раза и спрятала картошку на живот под малицу, чтобы съесть потом. Сделалась бы снова птицей и улетела...»

Уменье Меньшикова поэтически передать трогательную наивность людей, тянущихся к лучшей жизни, едва ли не основное достоинство и наиболее характерная черта его творчества. Однако увлечение этой наивностью приводит Меньшикова к ряду ошибок.

Необычное, накапливаясь, становится обычным. Повторяясь из рассказа в рассказ почти в одних и тех же ситуациях, с весьма незначительными отклонениями, наивность теряет первоначальное очарование и постепенно превращается в прием, которым автор пользуется безотносительно к характеру героя. Если наивность Няревей или Хойко, или Тэнэко оправдана всей их жизнью, то никак нельзя этого сказать о Егоре Ивановиче Пыерко — депутате Верховного Совета.

«Для того, чтобы ему было легче выполнять роль депутата, ему выстроили в Красном Городе домик». Можно поверить в удивление Егора Ивановича перед электричеством, в то, что он ставит на огонь электрический чайник вместо того, чтобы включить его в сеть. Можно, наконец, согласиться с тем, что Егор Иванович, «подложив под голову малицу, засыпает на полу рядом со своей койкой». Автор, однако, не останавливается на этом. Он заставляет своего героя, который уже испытал удобства деревянного закрытого жилья, поставить свой чум рядом с домиком и жить в нем, несмотря на то, что «в мокодан падали хлопья снега, дул пронизывающий ветер, и Няревей готовила свои первые уроки, щурясь при бледном свете костра. Ежились от холода ребяташки...»

Меньшикова увлекает контраст между значительностью дел, совершаемых человеком, и его внутренней неуксущенностью. Конечно, заманчиво рассказать о стахановце, знатном охотнике тундры, который, будучи вызван на совещание, испугался поезда и пошел в Москву пешком по шпалам («В синеву уходящие рельсы»). Однако при всей заманчивости подобных ситуаций реальность их часто вызывает законное сомнение. Прием, примененный без учета изменений, произошедших в психологии и быте людей, приводит в противоречие с благородным замыслом и свидетельствует о том, что жизненные наблюдения автора отстают от реальных процессов. Герои

выросли, а в представлении автора они остались на уровне первичного овладения культурой.

Это печальное обстоятельство, в ином преломлении, сказывается и на других произведениях. Исходя из общих положений, автор чувствует необходимость показать культурный рост народа. Он пишет такие рассказы, как, например, «Шах и мат, товарищ!» или «Наш собственный корреспондент».

Неграмотный Яптэко Манзадей в течение и е д е л и научился играть в шахматы настолько, что превзошел в этом искусстве своего учителя, профессора-геолога, и обыграл его четыре раза подряд («Шах и мат, товарищ!»). Тэбко был неграмотен. Журналистка Маруся сказала ему: «Приходи вечерами, и я из тебя сделаю грамотея». Так Тэбко нашел себе учителя, а еще через два месяца он принес первую заметку в редакцию («Наш собственный корреспондент»).

Излишняя легкость подобной стремительности — очевидна. Слишком быстро и легко, без всяких трудностей происходит это в рассказах. Тема не получает конкретного воплощения, она остается тезисом, лишенным художественных доказательств.

Причина здесь, очевидно, в ограниченности круга наблюдений автора. Этим же объясняется и чрезвычайное однообразие ситуаций и характеристик, незаметное при чтении каждого рассказа в отдельности и рельефно выступающее в книге. Чем отличается поведение русской девушки Тони Ковылевой от поведения другой русской девушки Наташи? Обе они учительницы, обе едят по стойбищам, уговаривают ненцев отдавать детей в школу (на что ненцы совершенно одинаково реагируют), действуют при этом одними и теми же методами. При некотором различии характеров они все же повторяют друг друга.

Однообразие характеристик и поступков относится не только к положительному ряду персонажей, на стороне которых явные симпатии автора. Совершенно одинаковы и отрицательные фигуры — кулаки Выль Паш, Васька Харьяг, Делюк Вань.

Повторяемость явлений, с которой мы часто сталкиваемся в жизни, иногда становится в этой книге простым дублированием, приобретающим подчас назойливый характер.

Прозрачный язык Ив. Меньшикова, его лическая приподнятость, взволнованность и умение передать суровую красоту и величие тундры, — все это спасает многие отдельно взятые рассказы, но никак не спасает книгу, в которой частные неудачи предстают как общие, свойственные творчеству этого автора недостатки.

Меньшиков пишет только о ненцах. Такое ограничение круга жизненных наблюдений кажется нам опасным для молодого писателя, который уже начинает повторять самого себя. Не таится ли в этом самоограничении прямая опасность экзотики — увлечения необычностью материала, внешним эффектом за счет всесторонней обрисовки человеческого характера и

глубокого раскрытия реальных жизненных процессов?

Поэтизация наивности, возведенная Ив. Меньшиковым в творческий принцип, приводя к приемам, внешне эффектным, но лишенным глубины и правдивости, выражает именно эту весьма опасную тенденцию.

Тоня Ковылева из повести, открывающей книгу и давшей ей название, привлекает своей наивностью и детской беспомощностью. С первых же страниц она пробуждает к себе симпатии читателя. Но волнение, с которым следить за вступлением Тони в новую жизнь, постепенно сменяется жалостью к ней. В самые трудные минуты она плачет, по-детски сливая слезы с губ, обращается мыслями к матери. «Но мать была далеко, и Москва далеко». И слезы Тони, и ее обращения к матери — естественны. Но, кроме этого, нам кажется, есть другие, более характерные, определяющие черты советской девушки, сознательно пришедшей к незнакомому народу, в суровую непривычную природу.

В поступках Тони Ковылевой нет ощущения необходимости, не говоря уже о законной гордости и увлечении, свойственных советскому человеку в его борьбе за лучшую, светлую жизнь угнетаемого ранее народа. Тоня делает все, что нужно, но делает это так, словно отбывает наказание. Что привело ее в тундру, под ледяные ветры? Во имя каких идеалов ушла она от привычной жизни в Москве и

подвергает себя опасностям? Ответа на эти совершенно законные вопросы повесть не дает. И, естественно, жалость читателя к этой беспомощной девочке переходит в раздражение: зачем она здесь? Кому нужны ее страдания? Десятки, сотни юношей и девушек едут на далекие окраины нашей родины помогать братским народам строить новую, лучшую жизнь. Они горды своей ролью, ими движет сознание исторической необходимости совершаемого. А все, что делает Тоня Ковылева, носит характер слепого подчинения неизбежному: «пусть будет так».

Увлечись контрастами между значительностью дел и наивной беспомощностью своих героев, отталкиваясь от приема, а не от реальной жизни, Иван Меньшиков не заметил, что Тоня Ковылева предстала перед читателем в ореоле слезливой, сентиментальной жертвенности, отнюдь не характерной для советской молодежи.

Таковы, на наш взгляд, причины той неудовлетворенности, о которой мы говорили вначале. Отмеченные недостатки свойственны, конечно, не всем рассказам этой своеобразной и интересной книги, говорящей о больших творческих возможностях автора. Нет сомнений в том, что Ив. Меньшикову удастся преодолеть устаревшие представления о своих героях, расширить круг жизненных наблюдений и уйти от власти установленного им же самим приема.

★

Лев Шапиро

ПОЭЗИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА*

Вышедшая в Гослитиздате «Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней» — бесспорно выдающееся культурное событие в жизни нашей страны.

Известно, как высоко ценили армянскую поэзию А. М. Горький и В. Я. Брюсов. Валерий Брюсов, выпустивший в 1916 году первую книгу «Поэзии Армении», писал:

«...Изучая поэзию Армении, я много раз останавливался прежде всего в изумлении перед исключительным совершенством ее отдельных созданий. Народная армянская поэзия принадлежит к числу наиболее замечательных среди всех, какие мне известны; немногие народы могут гордиться, что их народные песни достигают такого же художественного уровня, так изысканно пленительны, так оригинально самобытны, при всей их непосредственной простоте и безыскусственной открытости...»

Эти слова невольно приходят на память, когда знакомимся с монументальным, величественным эпосом «Давид Сасунский», представленным довольно широко в первом разделе антологии — в избранных отрывках, связанных прозаическим изложением. Подобно греческому эпосу «Давид Сасунский» дает живое

и яркое представление о прошлом народа, который ее создал.

Эта грандиозная эпопея состоит из четырех частей в соответствии с четырьмя поколениями сасунских героев-богатырей.

Нас пленяет и волнует гордый образ патриота, неустрашимого защитника родной земли, Давида из Сасуна. В образе этого главного героя, имеющего, по всей вероятности, свой исторический прообраз, очень правдиво показано, какими исполнинскими силами обладает народ, выступающий на борьбу за свою свободу и самостоятельность.

Представленное довольно широко в антологии национальное лирическое народное творчество (трудолюбие, военные песни, чудесные песни о любви и песни харибов) говорит об удивительной глубине чувства народа, о его духовном богатстве, о высоком творческом мастерстве. Здесь выражена присущая народу потребность в труде, радость труда, любовь и уважение к труду. У народа-поэта, несмотря на все бедствия и тяготы, ощущение труда сливается с ощущением силы, радости и веселья. Только трудящийся познает радость жизни. В этом глубокая мудрость народной поэзии. Замечательны и характерны в этом отношении опубликованные в антологии «Песня пахарей», «Песня ткача», «Полоть иду под горой».

* «Антология армянской поэзии». Под редакцией С. Арутюняна и В. Кирпотина. Гослитиздат. М. 1940. Стр. 719. Тираж 20 000. Ц. 23 р.

Армянский фольклор вводит нас в круг исторических бедствий народа, связанных с чужеземным игом, с кровавыми погромами, с преследованием армян. Очень немногим известно, что в армянской народной поэзии и у поэтов очень часто встречается тема хариба. Хариб — это странник, не имеющий свободной родины, живущий на чужбине. Он скитается по дальним странам, бездомный и тоскующий по родной земле. Находясь в далеких краях, хариб слагает дивные песни о своей родине.

Читатель с особенным интересом познакомится в антологии с военной лирикой — с военными песнями: «Зейтунский марш», «Военная эрзерумская песня», «Песня удальцов». В них выразительно запечатлена самоотверженная любовь к родине, вольный дух, величайший патриотизм армянских трудящихся. В грозную минуту, когда враг покушается на независимость родины, весь трудящийся люд идет на него войной. Никому не хочется остаться дома, все стремятся на поле брани. Это высокое чувство долга хорошо передано в «Военной эрзерумской песне»:

Поднялся крик с огромных гор, где дремлет
Эрзерум,

Сердца армян потрясены, услышав
бранный шум.

Крестьянин, знавший до того лишь ремесло
свое,

Бросает старое село, держа в руке ружье.
Старик, на посох опершись, с слезами

крестит лоб.
«Свободной родину узреть, а там хотя б и
в гроб!»

Ласкаясь, женщины мужьям сурово говорят:
«Ступай, сражайся и без ран не приходи
назад!»

И девам легкая их жизнь отныне тяжела;
Они торопят женихов на славные дела...

Народная любовная песня выделяется в богатейшей поэтической сокровищнице армян не только своей глубокой нежностью, проникновенной человечностью, благородством чувств и переживаний, но и исключительной художественной выразительностью. Оптимизм, воля к жизни, столь органически присущие армянской народной поэзии, правдиво и сильно выражены в любовных песнях: «Ах дева! Твой стан...», «Ты румяна и бела», «Обед я в поле принесла», «За бумагой я бегала полдня», «Все небо в облаках», «Ах, если алым стал бы я». Народные певцы воспевают цельное чувство, чистую и большую любовь, любовь навеки, красоту реальных, земных армянских женщин. Армянское народное творчество ставит женщину в равные отношения с мужчиной и хорошо показывает ее свободное чувство, ее человеческое достоинство. Вот некоторые образцы:

Я пишу: как жить, если друга нет?
Я тобой дышу, я тобой полна.
А любовь твоя, — дышит ли она?
Я нежна, как лань, только друга нет.

Или:

Если в сад ты войдешь, — как стан твой
высок!

Поцелует тебе ноги каждый цветок,
Все деревья тебе отвесят поклон,
И стыдно луне блистать в вышине.

Как павлин, ты идешь, хороша и стройна,
В переливных цветах, и ала, и бледна.
Да какую из птиц с тобою сравнить?
И чайке морской не спорить с тобой!

В антологии глубоко разработан раздел средневековой армянской поэзии. Наш читатель узнает, что армянская средневековая поэзия подарила мировой литературе творения выдающихся лириков, как Григор Нарекаци, Нерсес Шнорали, Фрик, Ованес и Константин Ерзынкаци, Григорис Ахтамарци, Наапет Кучак, Мкртич Нагаш. Все эти прославленные мастера продолжают замечательные народные поэтические традиции «Давида Сасунского».

В. Брюсов, характеризуя достоинства армянской средневековой лирики, писал, что это «одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира. Поэзия совершенно своеобразная, новая для нас по своим формам, глубокая по содержанию, блистательная по мастерству техники, армянская поэзия средних веков в своих лучших образцах может и должна будет еще многому научить современных поэтов: к ней еще предстоит обратиться за уроками и за художественными откровениями».

В блестящей плеяде поэтов средневековья особое место занимает Григор Нарекаци — им завершается древняя поэзия и начинается средневековая. Его поэтическое наследие состоит из целого цикла замечательных песен, поразительных по своей форме.

Чрезвычайно интересен поэт-мыслитель Нерсес Шнорали (XII в.). Он первым из средневековых армянских поэтов шел по пути народного творчества, живого народного слова. Очень показательны в этом отношении сочиненные им притчи, загадки, песни и стихотворения. Он оставил потомству крупные поэмы на исторические темы: «Элегия на взятие Эдессы», «История Армении» и «Сын Иисуса», свидетельствующие о его высоком поэтическом даре и большом знании истории родины.

С величайшим мастерством написана Шнорали поэма «Элегия на взятие Эдессы», посвященная национальной обороне отечества, данная в антологии в отрывках, переведенных В. Брюсовым. Так же, как и Григор Нарекаци, Шнорали — виртуоз формы, и вся его поэма написана на одной рифме, повторяющейся через все четыре тысячи двести ее строк. У Шнорали есть стихи, где начальные буквы строчек дают последовательное перечисление букв алфавита.

В XIII веке творил великий армянский поэт-вольномудрец Фрик, творчество которого открывало новый период в национальной средневековой поэзии. Представленные в антологии

два стихотворения Фрика «Колесо судьбы» и «Жалобы» говорят о том, что он задумывался над социальными противоречиями современной ему действительности и не мог примириться с тяжелым положением социальных низов, страдавших под гнетом монголов. Горе народа было его горем, и Фрик хорошо запечатлел горькие думы бедняка:

Тот родом знатен и богат,
А этот подаяню рад;
У одного нет ни овды,
А у другого сотни стад.

Одъа спустил последний грош,
А у другого клад найдешь;
Один сверкает в жемчугах,
Другой на нищего похож.

Один всегда по горло сыт,
Другой от голода дрожит;
Один в порфиру облачен,
Другой лохмотьями прикрыт.

Читатель будет пленен поэтами субъективно-лирического направления — Константином и Ованесом Ерэнкаци, Ованесом Тулкуранци, Григорисом Ахтамарци, Наапетом Кучаком и другими, создавшими своими произведениями драгоценную сокровищницу лирики. В их творчестве с замечательной полнотой и глубиной воплотился дух армянского народа — оптимизм, жизнерадостность и жизнестойкость. Их стихи пронизаны идеей освобождения человека от социального и идеологического гнета феодализма. Продолжая лучшие традиции народной лирической поэзии, средневековые поэты талантливо воспевают живые человеческие страсти, славят любовь к жизни, красоту родины, цветущую природу:

Весна пришла! Весна пришла! Сады — в
убранстве роз,
И горлинка, и соловей поют, поют до слез,
Горя любовью к цветку, что краше всех
возрос,
Чей в зелени румяный лик влечет
бессчетность грез!

Я опьянен! Я опьянен! Любовью опьянен!
Я опьянен! Я опьянен! При солнце взят
в полон!
Я спьянен! Я опьянен! Все дни мои — что
сон!

(Григорис Ахтамарци. — «Песня».)

Глубокой нежностью пронизаны песни, посвященные любимой женщине, нежной подруге. Средневековые поэты очень хорошо запечатлели сильные душевные переживания молодости.

Достоин занять место рядом с крупнейшими лирическими поэтами мира великий армянский певец любви Наапет Кучак, творчество которого знаменует собой высшую ступень национальной средневековой лирики. Кучак — один из самых любимых поэтов средневековья. Его поэзия отмечена близостью к народным

формам, тонким мастерством образов и поэтической речи, нежными и чистыми излияниями пылающего сердца, мечтающего о счастье:

О ночь, продлись! Останься, мгла! Стань
годом, если можешь ты!
Ведь милая ко мне пришла! Стань веком,
если можешь, ты!
Помедли, утра грозный час! Ведь игры
двух тревожишь ты!
Где радость? В скорбь ты клонишь нас!
Ты сладость гонишь темноты!
Мне быть бы ласточкой-птенцом: и днем
вошел бы я в твой дом,
Я б на балконе, под окном, устроился
с своим гнездом;
Во мгле, когда все полно сном, к тебе б я
приникал крылом,
А с первым утренним лучом вновь был бы
скрыт в гнезде своем.
Мне б быть шелковым кушаком и обнимать
твой пояс днем,
Иль быть гранатовым вином и днем быть
в кувшине твоём,—
Ко мне б ты приникала ртом, а я б долбал
его огнем;
Иль золотым воротником мне б облекать
тебя тайком!

В XVIII веке неугасимый поэтический гений армянского народа вспыхнул с новой силой в творчестве народных певцов-ашугов — поэта и художника Нагаша Овнатана и знаменитого Саят-Нова. Овнатан прежде всего — проникновенный поэт любви и счастья, радости любви.

Совершенно исключительное явление в мировой народной поэзии — творчество популярнейшего ашуга Саят-Нова, творившего на армянском, грузинском и азербайджанском языках. Выдающийся лирический талант, широта философских и социальных мотивов Саят-Нова привлекли к нему внимание широких литературных кругов народов Закавказья, вызвали целую школу последователей его традиций. Впервые ознакомил с произведениями Саят-Нова русского читателя Валерий Брюсов. Он дал ряд прекрасных переводов стихов и песен Саят-Нова, вошедших вместе с новыми переводами М. Лозинского, С. Шервинского и К. Липскерова в «Антологию армянской поэзии».

Саят-Нова знал силу своих песен и высоко ставил свое призвание поэта-ашуга. Он сам называл себя «учителем народа», «слугой народа». Он гордо утверждал свою независимость перед властелинами своего времени — царями, феодальной знатью, — свое стремление к свободному мышлению, к свободе творчества:

Не всем мой ключ гремучий пить: особый
вкус ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл
у слов моих!
Не верь: меня легко свалить! гранитна
твердь основ моих!
Так наводнем без конца их тщетно
подрывать зачем?

В простых и радостных песнях Саят-Нова — пламенная любовь к человеку, желание помочь всем обездоленным, простым, бедным людям Армении. В антологии читатель найдет яркие, совершенные по форме песни, прославляющие любовь, счастье, красоту и труд, песни, затрагивающие социальные проблемы своей эпохи, проникнутые горькой скорбью о трагической судьбе родного народа.

Саят-Нова явился общепризнанным учителем своих младших современников и ашугов, поэтов нового времени. Его творчество, несомненно, представляет собой важную веху на пути развития армянской поэзии.

Присоединение Армении в 20-х годах XIX века к России открывает новый этап развития армянской литературы. Это понятно. В это время армянская культура начала приобщаться к прогрессивным началам русской и европейской культуры. Армянских писателей коснулись передовые идеи русских шестидесятников, передовая философия, публицистика. Лучшие сыны армянского народа — писатели и поэты нового времени — связали свою судьбу с судьбою русского народа.

Рецензируемая антология дает довольно широкое и верное представление о крупнейших поэтах нового времени. Она в этом отношении неизмеримо полнее Брюсовской «Поэзии Армении», давно ставшей библиографической редкостью. Русскому читателю впервые предлагаются образцы творчества революционного демократа Микаэла Налбандяна, не вошедшие из-за цензурных преследований в антологию Брюсова. Из новой поэзии впервые включены в нашу антологию лучшие стихотворения основателя новой армянской литературы и великого реформатора армянского языка Х. Абовяна, поэтов М. Ачемяна, Л. Манвеляна, В. Миракяна, Р. Севака, Сиаманто.

М. Налбандян (1829—1866), к сожалению, до сих пор мало известный советским читателям, — один из выдающихся писателей, публицистов и общественных деятелей XIX века. С его именем связано создание гражданской лирики, поэзии, пронизанной передовыми революционными идеями. В 1862 году он уехал за границу, побывал в Константинополе, Париже, Лондоне. Здесь он сблизился с Герценом, Бакуниным, Огаревым. В Париже Налбандян издал свой знаменитый трактат «Земледелец как верный путь», направленный против частной собственности на землю.

По возвращении в Россию Налбандян был арестован. Более трех лет он просидел в Петропавловской крепости, после чего был сослан в Камышин, где и умер от туберкулеза.

В антологии помещены два характерные для его творчества стихотворения — «Свобода» и «Дни детства», проникнутые революционной волей к действию, к непримиримой борьбе, к сражению с тьмой и эксплуатацией. В стихотворении «Свобода» великий поэт — вождь армянских революционных демократов — восклицает:

Свобода! — и пускай враги
Ждут, гибелью грозя!
Пускай огонь, пускай ни эги,
Пускай ревет гроза!
До виселичного столба
Я руки к ней тяну,
Свободу милую любя,
Одну ее, одну!

Армянские поэты — величайшие оптимисты. Их творчество проникнуто глубокой верой в лучшее будущее, в торжество социальной справедливости, в возрождение армянского народа. В самые трагические годы они обнаруживали упорство и силу духа, верили в грядущую свободу.

Великий армянский поэт Ованес Туманян, создавший своими произведениями целую эпоху и выразивший в своем творчестве лучшие стремления народа, писал в стихотворении «В армянских горах»:

Нелегко был путь, полночный наш путь...
Но выжили мы
Средь горя и тьмы:
Веками идем, чтоб в выси взглянуть
В армянских горах,
В тяжелых горах...

Надо сказать, что читатель получает возможность познакомиться достаточно полно с богатым и разнообразным творчеством О. Туманяна, с необъятным миром его замечательных творческих образов. В антологию вошло 19 произведений поэта — здесь стихотворения, легенды, сказки, баллады, известная лирическая поэма «Ануш», прославляющая героизм, известная каждому крестьянину Армении.

Здесь его сокровенное, трогательное стихотворение «Поэтам Грузии», в котором великий национальный классик воспевает дружбу и братство народов Кавказа. Здесь его многочисленные традиционные для Востока меткие четверостишия, посвященные размышлениям о смысле жизни и правилах человеческого поведения. Мы поражаемся огромному диапазону его творчества: им даны совершенные образцы всех поэтических жанров!

К старшему поколению армянских поэтов принадлежит и ныне здравствующий большой талантливый художник Аветик Исаакян. Однако этот старейший национальный лирик — тонкий, нежный и грустный — представлен в антологии далеко не полно. Ничем не может быть оправдано отсутствие в антологии его стихотворений «Колокол воли», «Сон», давно пользующихся заслуженной известностью. В них певец страстно призывал братские народы Кавказа к свободе, к борьбе против угнетателей. И в дореволюционных произведениях Исаакяна чувствуются бунтарские настроения, достигающие своей кульминационной точки в его знаменитой поэме «Абул Ала Маари», включенной в антологию.

Герой поэмы — великий багдадский поэт — Абул Ала, протестуя против не удовлетворяющей его социальной действительности, против

всякого рабства, устремляется от земли, где разгораются бои, в пустыню, в мир природы и духовного одиночества, к солнцу.

Исаакян сам прошел через многое из того, что было сродни его герою, что волновало и терзало его. Певец любви, певец душевной красоты и сыновней, патриотической верности не мог долго уединяться, скитаться вдали от родины. Взор его всегда был обращен к родной Армении.

Приехав на новую социалистическую родину, Исаакян написал небольшое стихотворение «Возвращение Абул Ала Маари», которое еще раз подтверждает автобиографичность его лирической поэмы. В нем поэт передает свою радость возвращения «из стран чужеземных к пенатам родным». К сожалению, это характерное стихотворение, очень много прибавляющее к поэтическому образу Исаакяна, почему-то отсутствует в антологии.

Некоторые возражения могут быть сделаны также в отношении расположения стихов Исаакяна. Все его творчество, в том числе произведения, написанные в годы социалистического строительства, включено в раздел «Поэты нового времени». Это может читателя только дезориентировать. Было бы целесообразнее выделить его произведения в отделе «Советская поэзия», куда справедливо включен Акоп Акопян — пионер армянской пролетарской поэзии и один из старейших поэтов Советской страны.

Антологию завершает творчество советских армянских поэтов, произведения советского фольклора и песни ашугов, всем богатством образов запечатлевшие современную действительность Армении, героике будней сталинских пятилеток, величайшие победы социализма, силу и торжество мудрой ленинско-сталинской национальной политики.

За минувшие два десятилетия в условиях Советской Армении, в условиях новой жизни выросла целая плеяда талантливых поэтов — Наири Зарян, Гегам Сарян, Согомон Таронци, Рипсиме Погосян, Сармен, Гурген Борян, Ованес Шираз, С. Вагуни, А. Граши, В. Григорян, Т. Гурян, Ахавни и др. Разнообразен их творческий путь и поэтический стиль. Произведения Наири Заряна — одного из популярнейших поэтов Армении — отличаются своим гражданским пафосом, острой публицистичностью. Зарян написал ряд прекрасных стихотворений, славящих героев великих и суровых боев, в которых выросла и окрепла советская власть. Вызывает большое недоумение отсутствие в антологии отрывков из его крупнейшего произведения, рисующего величественную эпопею коллективизации армянской деревни, — «Рушанская скала».

Очень интересен армянский поэт Гегам Сарян. Его произведения окрашены мягким и нежным лиризмом, тонким чувством природы.

Говоря о молодой советской поэзии Армении, нельзя не упомянуть о творчестве весьма популярного в республике Ованеса Шираза, рост которого за последние годы особенно заметен. Ованес Шираз еще недавно был пас-

тухом, и почти каждое его стихотворение отражает счастливую судьбу автора, получившего широкий простор для свободного творческого развития.

Очень выразительно его стихотворение «Старый мир мне незнаком»:

Старый мир мне незнаком,
Я его не знаю ран, —
Что мне помнить о таком,
Где все сумрак, все туман?

Но, когда гляжу в глаза
Матери моей седой,
Воскресает он, грозя
Смертью, сумраком, бедой.

Старый мир мне незнаком,
Я его не знаю ран,
Но в зрачке ее слепом
Он оставил свой туман.

Глубина восприятия жизни и чистосердечность переживаний, богатство, свежесть и яркость поэтических образов делают Шираза одним из значительных лирических поэтов Армении. Следует отметить, что выбор стихов Шираза для антологии мог бы быть куда более разнообразным. В антологию не вошли его замечательные стихи: «Песня садов», «Земля моего отца», «Садовод», «Родина», «Тониры».

Успешно развивается и другой молодой поэт Г. Борян. Его «Песня, написанная в городе Гори», помещенная в антологию, свидетельствует о большой силе, искренности его творчества.

Освобожденная Армения исключительно богата творчеством ашугов. Могучие творческие силы пробудились в армянском народе. Ашуги, безыменные народные певцы и сказители, создают замечательные духовные ценности, новый героический эпос, былины, сказания, вольные песни, новую лирику, лирику великой сталинской эпохи.

Раздел советского фольклора открывается «Сказом о Ленине», являющимся одним из замечательных творений социалистического народного творчества. Это подлинно художественное произведение, проникнутое идеей классовой борьбы, идеей союза рабочего класса и крестьянства, пониманием всемирно освободительного значения деятельности Ленина и его соратников, продолжает замечательные поэтические традиции армянского богатырского эпоса «Давид Сасунский».

«Сказ о Ленине» является как бы историей борьбы армянского народа за революцию, за коммунизм.

К сожалению, не все лучшие, характерные произведения советского армянского фольклора и ашугов вошли в антологию. Совершенно непонятно отсутствие здесь такой популярной в Армении песни, как «Парень Хачо», таких известных майских шуточных песен, как «Джан-Гулюмы» («Милая роза»), песен ашугов Есаяна и Григора.

Антологии предпослан «Очерк истории раз-

вития армянской поэзии». На нем необходимо остановиться. Естественно желание увидеть в этом сводном, обобщающем очерке хотя бы краткое изложение истории древнейшего народа, древнейшей страны. Ведь Армения — родина высокой культуры, прошедшей длительный путь развития. Однако вступительная статья, особенно в части, касающейся древней истории армян, очень поверхностна и не дает ясного и четкого представления об историческом развитии этого народа, не рассказывает об исторических и культурных условиях, подготовивших появление в Армении ряда величайших памятников поэзии, ряда великих поэтов. Нельзя умолчать также о том, что история Армении и ее поэзии дается совершенно изолированно от соседних народов Закавказья. Между тем известны культурные взаимоотношения народов Грузии, Азербайджана и Армении, их друж-

ба, общность интересов, взаимопомощь в деле борьбы за самостоятельное, независимое существование, за свою свободу от иноземного гнета. Наконец, надо указать, что данные в антологии литературные характеристики поэтов — далеко не все хорошо. Литературная характеристика Аветика Исаакяна, одного из крупнейших лириков мира, дана очень сухо и вовсе недостаточно. Вся характеристика А. Исаакяна сведена к его дореволюционному творчеству. Чрезвычайно скупо говорится о гениальном певце любви Н. Кучаке и других поэтах, вошедших в антологию.

Все же в целом надо признать, что, несмотря на некоторую неполноту, издание «Антологии армянской поэзии» знаменует собой начало серьезного изучения монументального литературного наследия братского армянского народа.

Е. Сикар



ПЬЕСА И СКАЗКА *

Не приходится сомневаться, что «Индюшечий король» — пьеса подлинного художника. Но Юлиус Гай, венгерский драматург, живущий и работающий в Советском Союзе, автор известных нам пьес «Бог, император и крестьянин» и «Иметь», — художник сложный, иногда и путанный, ищущий собственные пути, думающий не о том, чтобы «сделать» пьесу, а только о том, чтоб дать жизнь своей поэтической концепции.

«Индюшечий король» не составляет исключения в этом смысле. Однако в отношении этой пьесы Гая гораздо больше, чем в отношении других, уместен вопрос: нашла ли поэтическая концепция драматурга нужное выражение, прозвучал ли его замысел, воплотившись в драматургическую форму, так сильно и убедительно, как стремился к тому автор?

Действие пьесы происходит, очевидно, судя по некоторым намекам в тексте, после первой империалистической войны, в имении венгерского помещика Андора Тури. Сюжет ее — он разворачивается в течение двух-трех дней — заключается в том, как помещик хотел продать свой урожай. Но это лишь внешний сюжет. Пьеса Гая символична, причем символы ее переходят в аллгорию.

Семнадцать действующих лиц в пьесе Гая, но нетрудно заметить, что пятнадцать из них ведут в пьесе жизнь весьма случайную и ничем не характерную, служат только для сюжетных функций. Повидимому, Гай, умеющий метко и ярко характеризовать своих персонажей несколькими репликами в незначительных эпизодах, — он это доказал раньше, — на этот раз откровенно махнул на них рукой. Ему словно и неинтересны эти лица, окружающие венгерского помещика Андора Тури, — его семья, челядь, агенты по покупке его зерна, ветеринар, лечащий его скот, соседний свя-

щенник и т. д. При большом желании можно найти кое-какие зачатки характера у побочного его сына Яноша, служащего в его имении лейб-кучером и становящегося, вследствие ссоры отца с законным сыном Отто, наследником имения; но и Янош нарисован натуралистически, вялыми и банальными штрихами. А об остальных и этого не скажешь: перед нами просто едва очерченные силуэты, за исключением одного чисто аллегорического персонажа, — к нему еще вернемся.

Остаются двое. Помещик Андор Тури и пастушонок Имре, четырнадцатилетний мальчик, пасущий индюшек, к которым с фантастической нежностью относится жена помещика Амалия, — штрих, столь же эффектный, сколь и откровенно гротескный.

Итак, остаются двое. Но двое ли? Роль пастушонка Имре в пьесе достаточно скромна. Он пасет индюшек, ухаживает за ними, кормит их по своеобразному рецепту, придуманному Амалией: разжевывает крутые яйца и вкладывает их индюшкам в клюв — это и изображено в одном из натуралистически-гротескных эпизодов пьесы. И вот в центральной сцене пьесы — это чудесная сцена, насыщенная подлинной поэзией и волнующим драматизмом, — пастушонок Имре рассказывает помещику и его семье старинную народную сказку об индюшечьем короле. Эта сказка раскрывает центральную мысль пьесы, образует ее внутренний сюжет; идея сказки — бесполезность существования помещика. И сказка принимает такой оборот, что помещик приказывает Имре замолчать. Имре настаивает: «Я все равно буду верен моим сказкам... мои сказки услышат все на свете, а если кто и не захочет слушать, как он уши ни затыкай, все равно сквозь пальцы просочатся слова индюшечьего короля». Помещик бьет мальчика, швыряет его на пол. Дальше следует ремарка: «Тело его судорожно приподнимается, вдруг как-то все оседает и остается неподвижным».

* Юлиус Гай. «Индюшечий король». Трагикомедия. Изд-во «Искусство». М.—Л. 1941. Стр. 72. Тираж 2 000. Ц. 2 р.

Мальчик убит, сказка его осталась недосказанной, забава закончилась трагедией. Повторяем, эта центральная, узловая сцена пьесы очень сильна, но, к сожалению, она единственная в пьесе и возникает неожиданным холмом на голой, плоской равнине...

Имре убит, но он еще раз появляется в пьесе: в пятом акте он снится помещику Андору Тури, он обвиняет Тури в своей смерти и досказывает ему сказку об индюшечьем короле, страшную для Тури сказку.

Конечно же, нельзя считать пастушонка Имре героем пьесы Гая. Ярка и поэтична его речь, трогателен его образ и, однако, это не реалистический образ. Перед нами условно символический персонаж. К сожалению, Гай не сумел сочетать символ с реальностью, как это умел делать Ибсен. Существование Имре в пьесе обусловлено лишь необходимостью рассказать сказку об индюшечьем короле и, как всякий неприземленный символ, он превращается в алгебраический знак, отвлеченную аллегорю.

Итак, остается один помещик Андор Тури. Но остается ли и он? В пьесе идет речь о «некоем среднем банке в столице», который должен финансировать помещика Тури. Невольно думаешь, что и Андор Тури — это «некий средний помещик», который должен служить точкой приложения морали, идеи пьесы, должен выслушать сказку об индюшечьем короле. В этой сказке фигурирует помещик — вообще, некий абстрактный помещик, что в сказке вполне уместно. Переводя его из сказки в пьесу, драматург, естественно, должен был стремиться к созданию живого человека, со своей судьбой, развивающейся не только по законам, существующим извне, но и обусловленным его специфической индивидуальностью: в гениальном сочетании двух этих планов — существо поэтаки ибсеновской драматургии. Создается, однако, впечатление, что Гай словно и не стремился к такому сочетанию в своей пьесе. В развертывающейся перед нами судьбе Андора Тури не звучит мотив индивидуальности; она нарочито и подчеркнута иллюстративна, причем иллюстрация эта дана в тонах гротеска.

Финансовый кризис грозит помещику Тури разорением. И в этот момент к нему является Камилла Беренгоц, владелица фабрики погребальных венков, явно гротесковый персонаж, выполняющий характерно-аллегорическую функцию. Она предлагает ему посеять на всей его земле цветы-бессмертники. При нынешнем финансовом и сельскохозяйственном кризисе «хлебные злаки не находят спроса. Сейчас предпочитают могильные венки из бессмертников». Она хочет организовать экспорт бессмертников в Америку в грандиозных масштабах — «один из средних столичных банков весьма заинтересован в этом деле», нужно лишь раз навсегда отказаться от посева зерна. Андор Тури возмущен этим предложением.

«Моя земля — земля черная, жирная! В ней зарождается жизнь, из нее брызжет жизнь, она дает жизни жить. Сама жизнь творится

здесь. Все, что растет у меня, — все для жизни... Из всего живого на земле, из всех людей, зверей, птиц, рыб, червей, из всех, кто были в ноевом ковчеге, и тех, кто прибавились потом, я, помещик, считал бы себя самым бесполезным существом, если бы я все, что растет на моей земле, сеял бы в зависимости от курса, а не от пользы».

И когда Камилла Беренгоц отвечает на этот монолог Андора Тури, — «Для пользы батрак посеет и без помещика. Современный помещик сеет в зависимости от деловой конъюнктуры», — Тури недоуменно говорит себе: «Я существую для того, чтобы превращать полезное в бесполезное? И это мне осмелились сказать в лицо... Никогда я не мог себе представить, что это будет возможным».

Все это условно и неоправданно. Данный монолог нужен не Андору Тури, а Юлиусу Гаю; вся гротескная ситуация обусловлена не судьбой персонажа, а стремлением драматурга осюжетить абстрактную идею, заложенную в сказке об индюшечьем короле. Мы ни на йоту не верим данному помещику Андору Тури, хотя и заинтересованы сюжетным ходом.

Сюжет разворачивается дальше. Агенты по скупке зерна предлагают Тури комбинацию: они заинтересованы в комиссионных и согласны заключить сделку задним числом по докризисным ценам. Но для этого нужно обмолотить и свезти все зерно на станцию за два дня.

Тури считает себя спасенным — ему не придется засеивать свою землю бессмертниками. Но тут возникает новое и на этот раз непреодолимое препятствие. Батраки, батрачки, возчики — все они объявляют себя родственниками убитого пастушонка Имре. Они пойдут на его похороны, они не будут работать — зерно останется необмолоченным, невывезенным, предложенная сделка не состоится.

Мы у финала пьесы. Андор Тури посылает своего незаконного сына Яноша сговориться с батраками, а сам засыпает и видит сон. К нему приходит Имре и досказывает ему сказку об индюшечьем короле — это сказка о том, кто полезен для человечества и кто бесполезен. Тури считает себя полезным — ведь он помещик; Тури полагает, что явившаяся к нему Камилла Беренгоц — «исчадие ада», но Имре отвечает: «Она исчадие того же ада, что и вы, барин. Только этот ад здесь, на земле. Вы, барин, называете его «обстоятельствами». И если обстоятельства того захотят, вы начнете сеять вместо живых плодов земли, необходимых людям, цветы для мертвецов». Сказка индюшечьего короля, говорит Имре о помещике, «который из всего полезного делает вредное, у которого богатая, обильная жизнь превращается в голодную смерть, который своим амбарным ключом делит мир надвое: на одной стороне — человек, на другой — его пища... Тук, — сказал тебе индюшечий король, — в каждом живом существе есть что-нибудь полезное, а что ты несешь миру? Твоя кожа — проказа, твои кости — гниение, твоя кровь — ядовита, твое дыхание — чу-

ма, в твоих слезах иссякла соль, твой дух — дух дьявола, твои благие намерения — камни, которыми вымощена дорога в ад...»

Тури просыпается. Возвращается Янош. Все надежды рухнули. Батраки побили его, отказались работать. Тури разорится. Янош не получит наследства и богатой невесты, за которой он охотился, и Тури говорит под занавес: «Что я за несчастный человек! До чего ж я боюсь будущего! Ой, как я его боюсь! Ой, как мне страшно! Как бы со мной чего не приключилось от страха...»

Нетрудно заметить, что и эта последняя реплика пьесы несет на себе нагрузку аллегории, должна работать в тех двух планах, в коих построена вся пьеса. И нельзя не увидеть, что не только Имре, но и помещик Тури не является героем пьесы — ведь и он фигура условная, такой же алгебраически-аллегорический знак. Герой же, единственный, — индюшечий король и его сказка.

Сказка эта, основанная, очевидно, на мотивах фольклора, высоко поэтична, особенно в том полудетском звучании, какое придает ей интерпретация пастушонка Имре. Однако Юлиус Гай сделал ее костяком сюжета, пружиной действия, связал индюшечьего короля с реальными индюшками, помещика из сказки — с реальным помещиком; сюжет стал поэтому громоздким и навязчиво аллегорическим, символы переключились в натуралистический гро-

теск, поэзия потеряла запах, цвет, объемность и застыла алгеброй; социальная идея пьесы — о трагической бесполезности собственника на земле — реализовалась абстрактно-этическим морализированием. К этому ли стремился Юлиус Гай?

Подлинно талантливого драматурга — это видно и по данной пьесе — постигла определенная неудача. И неудача эта важна и поучительна.

Наша действительность — ведь о ней пишет драматург, действие его пьесы происходит в наши дни — сама по себе волнующа и драматична. В каждой частной ситуации заложено достаточно материалов и мотивов для большого художественного обобщения — это доказал сам Юлиус Гай в своей пьесе «Иметь». И нет нужды «обогащать» жизненную ситуацию переводом ее в символический план; нет необходимости добиваться желаемого обобщения путем отказа от реалистического письма.

★

Издательство «Искусство», опубликовавшее пьесу Гая, не сочло нужным ни указать имени переводчика, ни даже того, что эта пьеса переводная. Пьесе не предпослано даже самое краткое предисловие, знакомящее читателя с венгерским драматургом. Если это небрежность, то она непростительна; если это сделано сознательно, то в чем тут дело?

Мих. Левидов

★

В МИРЕ ПОДРОБНОСТЕЙ*

С тихи Николая Ушакова останавливают внимание читателя не столько своим непосредственным лиризмом, сколько обилием и точностью реалистических деталей, посредством которых и проявляется у Николая Ушакова лиризм. Это не вина и не беда поэта, а его особенность, ставшая явной уже в первых книгах стихов («Весна республики», «30 стихотворений» и др.).

За редкими исключениями, каждое стихотворение Н. Ушакова организовано вокруг двух-трех наблюдений им подробностей. Вот, например, стихотворение «Северо-Запад»:

Весь город —
избы да поляны,
да на амбарах невода.
Мгновенной рябью от моряны
как будто стянута вода.

А небо свисло для просушки
со всех жердей.
И вдалеке
лежит орел
на медной пушке,
как бы на бедном пятаке.

И царь в зеленой треуголке
по целым дням
скакать готов
в залапняной своей двуколке
вдоль плотников
и верстаков.

Поток реалистических подробностей порой настолько увлекает Н. Ушакова, что он решительно обо всем говорит, прибегая к посредству только «вещественных доказательств».

Иногда, теряя чувство меры, в погоне за необычным углом зрения на вещь, за новым ракурсом, Н. Ушаков превращает стихи в гербарий реалистических подробностей. Я имею в виду большое стихотворение — в некоторой степени программное — «Круглый год», которое закрывает книгу.

В четырех разделах этого стихотворения Н. Ушаков описывает смену времен года. Каждому из четырех времен года подыскан свой — ему свойственный — поток деталей. Прекрасное в своих частностях стихотворение это в целом проигрывает. Оно рассыпается, потому что детали, подысканные Н. Ушаковым, не обязательны, они могут быть заменены другими. Стихотворение носит регистрирующий, фотографический или, вернее, кинохроникальный характер. В стихотворении нет общего на-

* Н. Ушаков. «Путешествия». Стихи. Гослитиздат. М. 1940. Стр. 75. Тираж 5 000. Цена 2 р.

строения, состояния, и по этой простой причине детали повисают в воздухе. После Запорожья, Хибинских гор, Кировска, кольских вод, Севера, нарисованного палашанами, Н. Ушаков уводит нас в Балкарию.

Балкария завесой скрыта мгlistой.
Из тучи возникают альпинисты.
Они идут туда,

а мы сюда...

Так пароходы в тихом океане
встречаются,
чтоб разойтись в тумане.

И вдруг светает.
И на все свистки
звонят леса у розовой реки.
Днепровский в фонарях застыл фарватер.
Из цинка замок — всходит элеватор.
К нему всю ночь бегут грузовики,
пред фарами толкутся мотыльки.
Но разрывают зори сизый тюль их,
и аисты на пурпурных ходулях
внимательно осматривают мель,
где чибисов и чаек канитель.
И приближается пора отлёта.

И затем третий раздел:

В Америку влетают самолеты,
а ножницы срезают виноград.
Прилежный школьник новой книге рад,
и т. д. и т. п.

Читатель поставлен в положение зрителя, просматривающего хроникальный фильм. Кстати, конец второго раздела (приближение поры отлета птиц) и начало третьего (самолеты, влетающие в Америку) создают положение, часто применяющееся в киноискусстве. В стихотворении есть последовательность кадров (именно кадров!), кое-где найден интересный ракурс. Но это похвала оператору, а не поэту. В стихотворении нет напряжения, нет единства поэтической мысли, нет самого поэта — не автора этого стихотворения, а человека хотя бы со своим настроением.

Слов нет, на такие стихи требуется много заготовок из записных книжек. Нужно проявить большой поэтический вкус в подборе и организации отдельных зарисовок. Все это так. Но этого мало для такого поэта, как Н. Ушаков. Подсобное, — реалистическую деталь, которая призвана закреплять и делать материальным, земным, зримым поэтическое состояние, — Н. Ушаков кое-где сделал основным. Получается, пользуясь удачным выражением сдного поэта, «обед из соусов». Лиризм тонет в деталях, а мысль отгоняется желанием во что бы то ни стало «обыграть» тему, а не раскрыть ее.

Этот культ реалистической детали у Н. Ушакова находится в явной связи с философским положением, выраженным в его поэтической формуле: «...мир творился в мелочах». Поэма Н. Ушакова «Герой» (книга «Повести») декларировала это положение с предельной четкостью. Героем поэмы оказался средний, ничем не замечательный человек. Он благоуро-

ден, ушаковский герой, но он довольствуется малым — отраженным светом больших дел, скромным местом в тени. Поэт хорошо делает, что прославляет незаметных, скромных людей. Однако за образом такого «не-героя» скрывался зачастую просто серый человек, иногда даже мелкий. В недавнее время с такими «героями» мы столкнулись в книгах прозаиков: А. Письменного, М. Юфит, Н. Атарова, в стихах Сергея Смирнова и некоторых других поэтов. Явление это было подвергнуто обсуждению и критике в нашей печати, и остановившись на нем подробней нет необходимости. Надо только отметить, что в стихах Н. Ушакова его герой («не-герой» в действительности) казался более художественно убедительным и появился на свет намного раньше, чем у вышеназванных прозаиков и поэтов.

Эти устремления Н. Ушакова следует учесть, потому что они во многом определяют его средства поэтической изобразительности.

Но Николай Ушаков лучшими своими стихами доказал, что не только отдельные строки-находки есть в его запасе, но и оригинальные мысли, цельные лирические образы. Такие стихи были и в «Весне республики», и в «Горячем цехе» и в «Мире для нас», есть они и в «Путешествиях». Лучшие стихи Н. Ушакова те, в которых реалистическая деталь, так для него характерная, подчинена общему замыслу и как бы выносятся наружу лирической волной.

В этих случаях она выполняет свои высокие поэтические, а не только служебные функции. В таких стихах и точность поэтических формулировок, и — зачастую — афористичность, и лаконизм, свойственные Н. Ушакову, и подчеркнутая значимость концовки, иногда иронической, иногда сюжетно-неожиданной, но почти всегда оригинальной. К числу этих удач поэта надо отнести «Старый Киев», «Стихи о Шевченко», «Русь», «Стойкий солдат», «Старцы», «1837—1855» и некоторые вещи из цикла «Дорога в горах». В них-то Н. Ушаков и достигает лирической выразительности и подлинного мастерства.

Н. Ушаков, к сожалению, печатается весьма редко. «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь» — так сказал он сам. Каждая новая книга Н. Ушакова, закрепляя художественные принципы поэта (вплоть до графического начертания стихов), приносит нечто новое, найденное в упорном труде. И в «Путешествиях» есть это новое. Речь идет о поэтической иронии. В книге «Путешествия» есть два прекрасных, проникнутых народным юмором стихотворения: «Стойкий солдат» и «Старцы». В первом дан образ солдата, который прошел огонь и воду, и медные трубы. Ни бомбы, ни «шрапнельный горох», ни азиатская холера, ни мороз, ни «жандармы полевые» не одолели его. Он шел по жизни веселый, красивый и рябой.

Только баба голосиста —
сладкоглаза

и бела —
встретила
того артиста
и вокруг палца
обвела.

Книга «Путешествия» тематически примыкает к уже знакомой нашим поэтам теме больших расстояний, огромности нашей страны. У Н. Ушакова речь идет об Украине, о Заплярье, о Северо-Западе, о Кавказе, о Крыме. Внимательный взгляд подмечает и первый дом, прибывающий в тундру на оленях, и электровоз в Хибинах, и кавказца Тазирета, который следил за маневрами ястребят, и, наконец, был зачислен в летную школу. Поэт зорко подмечает черты новой действительности и передает их иногда посредством таких бытовых и ландшафтных деталей, которые приобращают общественную остроту и значимость.

Необходимо отметить маленькую поэму «Кровник», в которой былые законы родовой вражды, кровной мести (замечательна картина похорон свана) противопоставлены обычаям советского общежития. К этому же циклу при-

мыкают стихи: «Шота Руставели», «Красные в горах», легенда «Шоссе» и «Тазирет». К сожалению, в этот цикл автор не включил ранее печатавшееся стихотворение «Путь в Сванетию». Но некоторые стихи из книги «Путешествия» дублируют прежние достижения поэта и являются скорее новым количеством, чем новым качеством в поэзии Н. Ушакова. Сюда относятся: «Ночной поезд», «Вышивка», «Библиотекари и счетоводы».

В книге собрано 29 оригинальных стихотворений и шесть переводов из Сулеймана Стальского. Это не так много, если учесть, что со времени выхода предыдущего сборника Н. Ушакова прошло шесть лет. Можно по-разному относиться к его стихам, но никто не станет отрицать того, что Ушаков «писатель терпеливый», что в его погребках поэтическое вино отстаивается столько, сколько этого требует вкус взыскательного художника. Тем более досадны крайности, к которым приводит поэта его культ детали («Круглый год»), его стремление доказать, что «мир творился в мелочах».

Лев Озеров

★

СТИЛЬ ВЕЛИКОГО САТИРИКА *

В богатой дарованиями русской литературе второй половины XIX века очень мало писателей, которые могли бы соперничать с М. Е. Салтыковым-Щедриным в глубине и силе революционной мысли, в яркости и мощи художественной формы. Сквозь десятилетия жестокой политической реакции, повального ренегатства и теоретических заблуждений Щедрин пронес незапятнанным знамя Белинского — Чернышевского, знамя революционного просветительства. Но столь же силен был Щедрин и как художник. Он создал свой язык, свои жанры, свой стиль. Силою своего слова и своих образов он вооружал грядущие поколения на борьбу. В Щедрине соединились, в столь счастливом и редком для старой литературы сочетании, пронизательный исследователь социальной жизни и передовой мыслитель и борец, с одной стороны, и гениальный художник слова — с другой.

Изучение литературного наследия Щедрина — одна из существенных задач нашего литературоведения. Опыты создания монографических очерков жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина были до сих пор не вполне удачными, и это объясняется, прежде всего, тем, что авторы монографий не имели хоть сколько-нибудь основательной опоры в своих суждениях о важнейшей стороне творчества Щедрина — его художественной форме. Суждения этого рода были слишком краткими, беглыми, поверхностными. Проблемы стиля Щедрина до сих пор еще не были поставлены в научной литературе с достаточной

полнотой и серьезностью. Очень ценная по материалу и характеру обобщений книга А. Лаврецкого «Щедрин — литературный критик» (Гослитиздат. 1936) лишь подводила исследователя к постановке этих проблем, а несколько статей в периодических изданиях по отдельным, частным вопросам ни в какой мере их не исчерпывали.

И вот перед нами новая книга Я. Эльсберга — «Стиль Щедрина». Несомненная заслуга автора этой книги состоит в том, что он подверг серьезному изучению большую и важную тему современной науки. Щедрин — читаем мы в введении к книге — «хотел свои идеалы видеть осуществленными в жизни».

Это стремление отражается в самом стиле слова и мысли Щедрина, всегда конкретных, точных, веских, суровых, впитавших в себя громадное знание действительности и непоколебимую волю к ее перделке. В этом корни того, что стиль Щедрина так близок нашему времени, что стиль этот так остро и ярко воспринимается в наши дни...»

Разбираемая книга содержит разделы: эзопская манера Щедрина, язык Щедрина, методы типизации у Щедрина, жанр Щедрина и юмор Щедрина. Исследование отличается большой обстоятельностью и стройностью изложения. Как это видно уже из перечня глав книги, автора интересуют, прежде всего, частные вопросы литературной формы. Разрешение этих вопросов должно в совокупности своей дать представление о стиле писателя в целом. Я. Эльсберга нельзя упрекнуть в каком-либо пристрастии к формалистическим изысканиям. Понимая форму как выражение

* Я. Эльсберг. «Стиль Щедрина». Гослитиздат. М. 1940. Стр. 463. Тираж 5 000. Ц. 8 р. 56 к.

мысли, мировоззрения, он на протяжении всей работы стремится к выяснению сущности и специфики щедринского стиля и далее — к определению места его в истории русской и мировой литературы. Этот большой угол зрения определяет собою достоинство книги. Щедрин выступает здесь перед нами как гениальный художник, который творчески продолжил лучшие традиции русской реалистической сатиры (Радищев, Фонвизин, Грибоедов, Пушкин, особенно Гоголь) и западноевропейской сатиры эпох Возрождения и Просвещения (Сервантес, Свифт, Раблэ, Вольтер и др.).

Суждения на эту тему встречались и в других работах о Щедрина, но до последнего времени они так и оставались суждениями, не раскрытыми, ничем не доказанными. Оставаясь неосвещенным вопрос, в чем же именно, как художник, превзошел великий русский сатирик своих русских и западноевропейских предшественников и в чем состоит его своеобразие, его сила. В книге Я. Эльсберга подвсвргаются детальному анализу все эти связи и отношения. «Щедрин, — говорит автор, — оставаясь верным идеалам просветителей, вслед за Гоголем и передовой западноевропейской литературой, достигает величайшей конкретности в обрисовке человека и общества. Стиль Щедрина обладает сатирическим обобщающим размахом великих западноевропейских сатириков, но он лишен черт рационалистической отвлеченности, он гораздо более конкретен и историчен, ибо творчество Щедрина до предела насыщено материалом самой действительности, изображением ее мучительных противоречий».

Эти общие положения убедительно раскрываются в процессе анализа всех важнейших компонентов стиля Щедрина.

В книге Я. Эльсберга следует отметить ряд недостатков частного характера.

В главе об эзоповской манере Щедрина мы считаем важными суждения о переводе в его произведениях политических понятий и явлений на язык быта и о насыщении его бытовых образов политическим содержанием. Анализируя эту особенность манеры Щедрина, автор развивает положение М. Горького: «Только Щедрин-Салтыков превосходно улавливал политику в быте...». Свежей и несомненно интересной в этой главе является трактовка характера образности Щедрина. Мы привыкли говорить об его аллегорических образах, об его аллегорическом языке. Я. Эльсберг утверждает, что «образами щедринского эзоповского языка совершенно чужды собственные аллегории рассудочная отвлеченность, традиционная обусловленность, склонность к рационалистическому и шаблонному олицетворению». Язык Щедрина, говорит он, не аллегоричен, а метафоричен. Для подтверждения этого цитируются слова Белинского: «Басня не есть аллегория и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повестью, драмою, с лицами и характерами, поэтически

очеркнутыми». Цитата эта не к месту. Все же и такая басня, о которой говорит Белинский, есть аллегория. Белинский требовал от басни, как и от всякого другого художественного произведения, естественности и правдивости и был противником аллегорий, абстрактных и надуманных. Сказкам Щедрина присуща исключительная наблюдательность и меткость в характеристике иносказательных образов, но язык и строение сказки Щедрина отличаются от языка и строения басни. По методу сложения сказка Щедрина отличается от басни Крылова тем же, чем отличается народная басня от сказки об Ерше Ершовиче. «Медведь на воеводстве» или «карась-идеалист» — это, действительно, метафоры, и таким является язык большинства иносказательных произведений Щедрина. Вот это и есть то «остроумнейшее переплетение сказочной наивности с четкой идейной целеустремленностью политического иносказания», о котором говорит автор.

Признавая главенствующим в сатирическом языке Щедрина тропом метафору, нельзя вместе с тем согласиться с автором в том, что этот язык абсолютно чужд аллегоричности. Когда Щедрин неоднократно говорил о своем «рабьем», эзоповском, аллегорическом языке, он был прав не только по существу, но и в самом доскональном смысле этих слов. Дело вовсе не в том, что, как полагает Я. Эльсберг, аллегория есть разновидность метафоры и что в учебниках теории литературы времен Щедрина эти понятия четко не разграничивались, а в том, что нашему сатирику нередко приходилось прибегать к тщательной цензурной маскировке и писать, действительно, по эзоповски, т. е. в аллегорической форме. Разве сказки «Богатырь», и «Ворон-челобитчик», в целом взятые, не аллегорические произведения? И разве нет аллегорических картин в «Истории одного города» и во многих других произведениях Щедрина?

Образы Щедрина, говорит далее автор, чужды не только аллегоричности, но также и символичности: «Щедрин создавал не символы, которые своей неопределенностью и туманностью могли бы вызывать различные толкования, а силой своей мысли, художественной фантазии и знания жизни находил подлинные бытовые и сатирически разоблачающие соответствия политическим понятиям и облекал их в яркую форму сравнений и метафор». В основном это верно. Но символ символу рознь. И у Щедрина, хотя и не столь часто, все же встречаются символические образы.

Я. Эльсберг цитирует в качестве примера обычного у Щедрина пейзажа картину из сказки «Коняга»: «Из века в век цепенест грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена?..» Это — особый у Щедрина пейзаж, и он столь же символический, сколь символический образ замученного Коняги. Можно указать еще на образы в сказках «Пропала совесть», «Рождствен-

ская сказка» и особенно в сказке «Христовая ночь», как на яркие образцы щедринской символики.

В главе о языке Щедрина часто поражает какой-то странной непродуманности и наивности суждений автора. Я. Эльсберг подчеркивает неоднократно, что обращение Щедрина к языку бюрократии было вынужденным. Он цитирует следующие слова писателя, не обнаруживая понимания их сатирического смысла: «Всю жизнь я ничего другого не видел перед собою, кроме начальников...» И заключает: «Щедрин вынужден был писать о «начальстве» и выслушивать его предписания, но он боролся с ним средствами сатиры...» Писать о начальстве, особенно так, как это делал Щедрин, и выслушивать предписания начальства — вещи разные, и соединять их союзом «и» никак нельзя. А затем, что значит это «но»? Вынужден был писать и выслушивать, но боролся! Что за странная логика!

Я. Эльсберг несколько упрощенно истолковывает то, что Щедрин называл «клеямым словом». Он пишет: такие типические выражения «клеямого словаря», как «публицист», «лабиринт», «логический», «принципы» и т. д., превращаясь в систему, извращали, прикрашивали подлинную суть обозначенных ими жизненных явлений». Читателю начинает казаться, что Щедрин, подвергавший критике либерально-интеллигентскую фразеологию, был вообще против таких слов и что вместе с ним и Я. Эльсберг считает эти слова «незаконнорожденными».

До сих пор очень мало затронутой серьезным изучением была проблема жанров Щедрина. Вошло в привычку называть почти все произведения сатирика «циклами», а что скрывается за этим общим определением, — этот вопрос исследователей почти не занимал. Я. Эльсберг вносит много нового в изучение этой проблемы. Он рассматривает эволюцию публицистических и беллетристических жанров в русской литературе и преимущественно в журналистике 50—80-х годов и на этом историческом фоне раскрывает то, что было сделано в области жанра великим русским сатириком. «...Щедрин искал большую художественную форму, искал жанр «общественного романа», который мог бы вместить и осветить

«злобы дня», явиться доказательством того, что «литература и пропаганда одно и то же», а вместе с тем по своей художественной силе, по своему художественному мастерству стать достойным соперником «ярких картин беллетристики сороковых годов».

В результате этих поисков был создан своеобразный щедринский жанр сатирического обозрения-романа. Этот жанр выступает перед нами как историческая необходимость и как акт творчества гениального художника-новатора. Но исследователь увлекается вопросом об отношении творчества Щедрина к журналистике и публицистике его времени и очень мало говорит об отношении его жанров к важнейшим литературно-художественным жанрам русской литературы того времени.

Что большой жанр Щедрина содержит в себе множество других разнообразных жанров, иногда в самых неожиданных сочетаниях, этот вопрос Я. Эльсберга мало интересует. Проблема композиции произведений Щедрина в разбираемой книге как самостоятельная проблема не поставлена. Нельзя согласиться с Я. Эльсбергом, когда он говорит о происхождении сказок Щедрина. Здесь он исследование подменяет абстрактными и путанными силлогизмами, затемняющими сущность дела. «...развитие пословиц и поговорок, — говорит Я. Эльсберг, — привело к созданию щедринской сказки». На деле история возникновения жанра сатирической сказки Щедрина гораздо более сложна, она связана со всем его творчеством и своеобразием его отношения к фольклору в целом.

В разбираемой книге впервые поставлен и освещен, в общем довольно удачно, вопрос о характере юмора Щедрина. Но почему-то именно в главе о юморе автор счел необходимым объяснить сущность и значение щедринской гиперболы и фантастики. Это — особый и большой вопрос, и его следует рассматривать не вскользь, не мимоходом, к тому же щедринская гипербола и фантастика — вовсе не частные формы проявления его юмора, а одна из самых существенных особенностей его сатирического стиля.

В заключение нельзя не сказать о языке и стиле самого исследователя. Это, пожалуй, самое слабое его место.

Я. Лебедев

КОРОТКО О КНИГАХ

«ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР». Том I. —

Предпринятое Госполитиздатом трехтомное собрание «Документов по истории гражданской войны» имеет целью воссоздать последовательно и подробно картину замечательной революционной эпохи. Вышел в свет первый том «Документов», охватывающий период от Великой Октябрьской социалистической революции до VI Всероссийского съезда советов.

Наряду с официальными материалами, рисующими ход военной борьбы молодой республики, в первый том включены документы, характеризующие внутреннюю и внешнюю политику советской власти, экономическое положение страны и т. д.

Составители первого тома широко использовали центральные и местные военные и гражданские архивы. Большое количество материалов публикуется впервые. Нельзя без волнения читать документы, сохранившие пафос тех пламенных дней, своим суровым и лаконичным языком воссоздающие дела и дни этой замечательной эпохи.

Для удобства пользования материалы первого тома систематизированы по отдельным периодам. Каждая глава открывается вводной статьей.

В подготовке первого тома «Документов» принял участие коллектив научных сотрудников секретариата Главной редакции «Истории гражданской войны».

«**НАУКА ПОБЕЖДАТЬ**». — Наука побеждать давно известна народам СССР. Один из самых блестящих ее представителей — фельдмаршал А. В. Суворов — оставил свод немногих правил воспитания бойца, доведенных до афористического лаконизма и концентрированной силы.

Суворовская памятка состоит из двух частей: 1) «Вахт-парад — от одного главного влияния на обучение» и 2) «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом».

«Наука побеждать» А. В. Суворова сейчас переиздана Воениздатом с вступительной статьей полковника Е. Болтина. Нужно отметить, что суворовская наука побеждать давно уже вошла в золотой фонд нашей героической Красной армии. Полковник Е. Болтин приводит чрезвычайно интересный факт, что главнейшие положения суворовской «Науки побеждать» были включены в первую «Книжку красноармейца», образец которой утвердили Ленин и Свердлов. В этой книжке, изданной в 1918 году, несколько правил суворовской тактики были сформулированы в виде десяти лозунгов, причем в основном был сохранен подлинный текст Суворова.

«**ЛЕНИН О ЛИТЕРАТУРЕ**». — В книге собраны главнейшие высказывания Ленина о писателях и литературе. Составитель использовал также и отдельные суждения, заключающиеся в ленинских работах, не касающихся непосредственно литературы, письма и распоря-

жения Ленина и, наконец, свидетельства Н. К. Крупской, Клары Цеткин и А. В. Луначарского.

Материалы сборника дифференцированы по тематическим разделам: партийная организация и партийная литература; Ленин о Герцене, Белинском, Чернышевском, Некрасове, Салтыкове-Щедрине, М. Горьком; статьи о Л. Толстом; значение правдивости в художественной литературе; главные этапы освободительного движения в России и печать; Ленин о социалистической культуре и культурном наследии; о национальной культуре и языке; из воспоминаний о Ленине.

Напечатанные в сборнике материалы образуют стройную концепцию идейного содержания истории русской литературы. Значение их для истории литературы и литературной критики подчеркнуто во вступительной статье В. Щербины «Ленин и литература».

«БЕЛИНСКИЙ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ДОБРОЛЮБОВ В БОРЬБЕ ЗА РЕАЛИЗМ». —

Автор книги А. Лаврецкий анализирует создание революционно-демократической концепции реализма, ее конкретное содержание у Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

Наиболее полно и подробно в книге освещено развитие философских, социально-политических и эстетических воззрений Белинского в их органической связи и взаимодействии.

А. Лаврецкий полемизирует с мнением Плеханова о неизменности эстетических взглядов Белинского. Он показывает, как у великого критика постепенно выработывалось подлинно диалектическое представление о реалистическом искусстве, как «искусстве для жизни». «Идеи Белинского об отношении искусства к действительности, — подчеркивает А. Лаврецкий, — советская критическая мысль сохранила до сих пор».

Реалистическая концепция Белинского, развитая и обогащенная Чернышевским и Добролюбовым, достигала своего дальнейшего развития в критических высказываниях М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Революционно-демократическая критика после Добролюбова, — пишет А. Лаврецкий, — работая уже на новом материале — на материале революционно-демократической литературы, используя художественный опыт ее творцов, — Некрасова и Щедрина, — могла, наконец, прийти к разрешению противоречия между художественностью и тенденцией, к чему она стремилась со времен Белинского. Разумная тенденция, то-есть совпадающая с направлением самой жизни, стала внутренним условием новой художественности, необходимым для ориентации в социально осложнившейся жизни и для воссоздания целостной картины действительности».

Широкое распространение интересной книги А. Лаврецкого, несомненно, ограничивает ее недостаточно популярное издание.

Издана книга Гослитиздатом.

«ПОЭТИКА МАЯКОВСКОГО». — Изучение поэтики Маяковского еще только начинается. Одним из пионеров в этой области является Л. Тимофеев, небольшая книжка которого на эту тему вышла в издательстве «Советский писатель». Автор считает необходимым оговориться, что он подходит «к изучению поэтики Маяковского, беря ее в большом масштабе, выделяя лишь основные линии».

Л. Тимофеев начинает свой разбор поэтики Маяковского с установления его места в литературе XX века. Он говорит о внутренней аналогии между творчеством Маяковского и А. М. Горького. «Тот основной круг идей, тем, характеров и сюжетов, который определился в творчестве Горького, Маяковский творчески переплавлял в лирические образы».

Далее Л. Тимофеев дает анализ основных элементов поэтики Маяковского — его лексики, интонационно-синтаксической структуры стиха, рифмы. Кратко рассматривается творческая эволюция Маяковского в ее основных моментах.

«РОДОНАЧАЛЬНИК УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» — СБОРНИК СТАТЕЙ ОБ АЛИШЕРЕ НАВОИ.

— Осенью текущего года народы СССР празднуют 500-летие со дня рождения величайшего узбекского поэта, основоположника узбекского языка и литературы, Алишера Навои. Юбилейным комитетом издан на русском языке сборник статей, посвященных его жизни и творчеству. Собранные здесь материалы знакомят не только с биографией поэта и с крупнейшими его произведениями, но и с эпохой, в которой он жил и действовал. Эти статьи, открывающие нам блистательного поэта и мыслителя, великого государственного деятеля и друга народа, читаются с большим интересом.

Однако сборник дает русскому читателю лишь предварительное знакомство с великим поэтом. Подлинное знакомство с замечательными произведениями Алишера Навои может и должно произойти на основе готовящихся сейчас художественных переводов. В самом деле, большинство авторов сборника вынуждены были цитировать поэта в подстрочниках, в которых аромат его поэзии в значительной степени утрачивается. Пришлось, например, вовсе отказаться от того, чтоб познакомиться русскому читателю с его «гююгами», так как они основаны на блестящих каламбурах и непереводимой игре слов.

Книга вышла в издательстве Узбекстанского филиала Академии Наук СССР.

«РЕЧИ, СТАТЬИ И ПИСЬМА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО».

— Нельзя не почувствовать признательности к издательству «Молодая гвардия», издавшему в одном сборнике речи, статьи и письма Николая Островского. Это документы большого обаяния — в них сказались мужественное и благородное сердце коммунистического бойца.

Николай Островский, прикованный к постели, ослепший, любил жизнь и труд, как

никто. «Я спешу жить», — пишет он в письме к товарищу М. Финкельштейну в апреле 1935 года, — помните это, и, как хорошая боевая лошадь, спешу доскакать к финишу скорей, чем из меня выйдет дух. Я счастливый парень, — дожить до такого времени, когда некогда дыхнуть, когда каждая минута дорога».

Громадный успех, которым пользовался роман «Как закалялась сталь» Н. Островского, не вскружил ему голову. Он настойчиво добивался правдивой критики. В письме к Михаилу Шолохову от 28 августа 1936 года он пишет: «Знаешь, Миша, ищу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучились говорить по душам, а друзья боются «обидеть»».

А сколько проявлений редчайшей человеческой доброты, внимания, любви рассыпано в его письмах к родным, матери, отцу, брату, жене.

Поистине, это книга кристальной чистоты, безмерной любви к жизни, к родине, коммунизму.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА». — Гослитиздатом в Ленинграде выпущен в свет большой том статей А. Н. Веселовского. Произведения Веселовского стали классическими в нашей филологии и литературоведении, сохраняя свое значение и сейчас.

Интерес этого тома тем больший, что все включенные в него работы объединены одной темой: происхождение и первоначальное развитие мировой поэзии.

Сюда вошли не только произведения, опубликованные самим А. Н. Веселовским, но и его ранние статьи, дневники и записи лекций, не предназначавшиеся автором к печати.

Вступительная статья к сборнику — «Историческая поэтика А. Н. Веселовского» — написана В. Жирмунским. В ней дана яркая характеристика Веселовского, как ученого, эрудита, новатора.

«В эпоху общего упадка буржуазно-исторической мысли, — пишет В. Жирмунский, — когда академическая наука окончательно замкнулась в узкой специализации и бесперспективной фактографии... великий русский ученый создает грандиозный замысел «Исторической поэтики», представляющей, несмотря на свои противоречия и незавершенность, последнюю попытку большого исторического синтеза на базе домарксистского литературоведения, попытку, единственную в своем роде не только в русской, но и в мировой науке...»

Все статьи, помещенные в однотомник, прокомментированы в примечаниях В. Жирмунского. Для того, чтобы облегчить книге дорогу к широкому читателю, в приложениях даны также переводы иностранных выражений и цитат.

«ЧТО РАССКАЗЫВАЛИ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ О СВОИХ БОГАХ И ГЕРОЯХ».

— Под этим заглавием Учпедгиз выпустил в серии «Библиотека учителя» сборник древнегрече-

ских мифов и героических поэм, составленный Н. А. Куном.

Бесспорно, название серии в данном случае отнюдь не исчерпывает круга потребителей книги. Нужду в таком справочнике испытывают миллионы культурных читателей нашей страны. Герои античной мифологии и эпоса давно уже переселились с Олимпа в мировую литературу, науку и язык культурных народов.

Сборник Н. А. Куна состоит из двух основных частей. В первой части напечатаны мифы о древнегреческих богах и героях; во второй части мы находим изложение дошедших до нас эпических поэм «Илиады» и «Одиссеи», входивших в троянский цикл, а также отрывков из других поэм, входивших как в троянский, так и в фиванский циклы.

Книга хорошо издана и обильно иллюстрирована.

«БАРСОВА». — В. В. Барсова занимает почетное место среди знатных женщин нашей страны. Она не только прославленная певица, народная артистка СССР, но и педагог, один из шефов художественной самодеятельности, активная общественница, депутат Верховного Совета РСФСР. Хорошо поэтому сделало издательство «Искусство», выпустив в свет очерк Г. Поляновского, рассказывающий о жизни Барсовой, ее творческой работе и общественной деятельности. Поучительность этой биографии заключается прежде всего в том, что она свидетельствует, как исключительно труден путь искусства, требующий непрерывной работы даже при условии блестящей природной одаренности.

Лучшими своими достижениями, реализмом своих сценических образов Барсова много обязана учебе у Станиславского и Немировича-Данченко.

Слабее книжка в той части, где автор пытается дать нечто в роде художественной монографии о сценических образах, созданных артисткой.

«ЗАВОЕВАНИЕ АБИССИНИИ В 1935—1936 гг.». — В связи с происходящей сейчас между Англией и Италией борьбой за Абиссинию, злободневный интерес приобретает выпущенный Воениздатом НКО СССР перевод книги Р. Ксиландера «Завоевание Абиссинии в 1935—1936 гг.». Автор этой книги — немецкий полковник, который в качестве военного обозревателя внимательно следил за событиями итало-абиссинской войны. После окончания войны Р. Ксиландер, пользуясь официальными и неофициальными итальянскими источниками, написал свою брошюру, в которой воссоздает ход войны и подводит ее итоги. В отличие от других историков итало-абиссинской войны Р. Ксиландер описывает в своем труде не только действия

итальянцев, но и замыслы, маневры и бои, предпринятые абиссинскими военачальниками.

Книга Р. Ксиландера была издана еще до начала второй империалистической войны и имела своей задачей изучить опыт и извлечь уроки из первой современной войны в колониальных условиях.

«МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНИЯ О БИСМАРКЕ». — Первым выпуском недавно объявленной Соцэкгизом новой серии — «Библиотеки внешней политики» — вышли в свет мемуары Бисмарка. Советский читатель в настоящее время располагает всеми тремя томами этих обширных воспоминаний, охватывающих полувековой период европейской борьбы за территориальный раздел мира, предшествовавший эпохе империалистических войн и пролетарских революций.

Редактор русского издания мемуаров Бисмарка проф. А. С. Ерусалимский в обширной вводной статье дает исчерпывающую характеристику Бисмарка как политика, государственного деятеля и дипломата. Главное дело Бисмарка, его историческую миссию он определяет ленинскими словами: «Бисмарк сделал своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело». «Объединение Германии было необходимо... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контр-революционно, по-юнкерски».

Сам Бисмарк смотрел на свои мемуары, как на политическое завещание, посвящая их «сынам и внукам для понимания прошлого и в псучение на будущее». Одним из основных заветов его в области внешней политики было сохранение мира с Россией.

В мемуарах Бисмарка рассыпано очень много наблюдений и замечаний, относящихся к современной ему России и ее государственным деятелям. В главе «Петербург», в первом томе мемуаров, Бисмарк сообщает следующий любопытный исторический факт. Ему рассказывал Фридрих-Вильгельм IV, что император Николай I попросил его прислать двух унтер-офицеров прусской гвардии для предписанного врачами массажа спины, во время которого пациенту надлежало лежать на животе. При этом он сказал: «С моими русскими я всегда справлюсь, лишь бы я мог смотреть им в лицо, но со спины, где глаз нет, я предпочел бы все же не подпускать их». Это не мешает Бисмарку считать, что по природе Николай «был идеалистом».

Редакция русского издания мемуаров все сделано для того, чтобы облегчить советскому читателю чтение их, — каждая глава сопровождается примечаниями, а в конце каждого тома помещен алфавитный указатель важнейших примечаний. В конце третьего тома напечатаны указатели имен литературных и мифологических героев и предметный и географический указатель ко всем трем томам.

У НАС В РЕДАКЦИИ

Два-три раза в месяц в редакции «Нового мира» собираются писатели, поэты, критики, сотрудничающие в журнале.

В марте авторский актив «Нового мира» обсуждал поэмы: А. Коваленкова — «Свои люди» и Н. Незлобина — «Звериною тропой».

Тема поэмы Незлобина — воспитание человеческого характера, сложный путь героя, постепенно освобождающегося от вековых собственных традиций. Поэма написана яркими, образными стихами. Однако автору, как отмечалось на совещании, еще не удалось убедительно показать характеры своих героев, и замысел его остался невыполненным.

Живой обмен мнений вызвала работа Коваленкова, который с большим чувством и темпераментом рисует становление героического характера советского человека, молодого летчика. Поэма «Свои люди» автором еще не закончена.

В марте же обсуждалась в «Новом мире» пьеса о Чкалове, написанная коллективно Г. Байдуковым, А. Тарасовым и Л. Хватом. Герой Советского Союза Г. Байдуков настойчиво, с большой любовью работает над образом своего товарища, своего командира во многих выдающихся перелетах: он написал книгу о Чкалове, создал вместе с соавторами сценарий фильма и теперь хочет помочь театру показать на сцене любимого героя советских людей.

С большим интересом обсуждали литераторы достоинства и недостатки первого наброска пьесы. Много ценных замечаний сделала жена Валерия Павловича Ольга Эразмовна Чкалова. Авторы обещали учесть все то, что было сказано об их пьесе. Работу они будут продолжать.

В апреле в «Новом мире» состоялся большой творческий разговор о критике. В центре внимания была напечатанная в журнале (№ 2 за 1941 г.) статья С. Трегуба «Надо бы другаться».

С. Трегуб в своей статье подверг критическому разбору целый ряд произведений советской поэзии, анализируя их с точки зрения традиций Маяковского.

Лучший и талантливейший поэт советской эпохи дал народу незабываемые произведения, и вполне естественно, что к нему обращаются взоры каждого, кто пытается осмыслить пути советской литературы.

Но можно по-разному рассматривать традиции Маяковского.

Интересные мысли высказал на совещании Илья Эренбург. Одну из задач критики он формулирует так: помочь поэту найти себя. «Поэт не универсал, он производит не все. В общей социальной теме у него есть еще и тема своя, личная». И. Эренбург находит, что С. Трегуб не всегда считается с этим, разговаривая с поэтами. В результате объявляется слабым и неудачным стихотворение Степана Щипачева «Снежинка». По мнению самого Эренбурга, это одно из удачных произведений Щипачева. Несправедливой считает оратор и резкую критику стихов Маргариты Алигер, стихов неравноценных, но часто интересных.

Илья Эренбург обращает внимание на то, что новые поэты в большинстве своем тяготеют к классической форме стиха. Идет ли это вразрез с традициями Маяковского? По видимому, нет. Нельзя также сказать, что ямбами пишут любители легкой работы. Плохие подражательные стихи можно писать и «под Маяковского». Большая почетная задача критики — раскрыть новые явления в нашей поэзии.

И. Эренбургу возражал С. Кирсанов, для которого традиции Маяковского неразрывно связаны с формой его поэтического творчества.

Кирсанов вспоминает один проект памятника Маяковскому, представленный на недавно закончившийся конкурс. Поэт-трибун был изображен с лирой в руке, на лире — серп и молот.

«Я не зря сделал сравнение с выставкой, — говорит С. Кирсанов по поводу произведений многих поэтов. — «Классицизм» этих произведений третьесортный. Это было ново во времена Пушкина, а вы хотите сделать это новым сейчас».

Кирсанов говорит, что продолжатели поэтической школы Маяковского и его традиций в литературе встречают непонимание и противодействие в среде людей искусства.

Статья С. Трегуба, по мнению С. Кирсанова, — первое развернутое выступление на тему о том, кем был и остается Маяковский для советской поэзии и для советского искусства вообще.

О типе и характере критических статей интересно говорил О. Черный. Критические статьи-обзоры — новый у нас жанр, жанр необходимый. Но иные обзоры похожи на пу-

тиводители по музеям: то, что в них говорится, имеет значение до тех пор, пока не заменена картина. Между тем статья по вопросам литературы должна иметь самостоятельную ценность для всех читателей, хотя бы даже и не знакомых с произведениями, о которых говорится в статье. Обзор С. Трегуба тем именно и хорош, что он проникнут темпераментом, что видно собственное отношение критика к тем явлениям, о которых он судит.

В споре принял участие и автор статьи. Традиции Маяковского и поэта Маяковского, конечно, не одно и то же, говорит С. Трегуб. Поэзию нашу должны создавать, сотрудничая, приверженцы различных направлений и школ. Важно одно, — чтобы поэзия была живая, чтобы страсти были настоящие, чтобы ощущалось в строчках напряжение, способное заражать и увлекать других. Самые худшие стихи — это стихи «со вставными зубами». У Маяковского надо учиться правильно, ново, свежо ощущать мир, нашу действительность. Но и поэтическая школа Маяковского, само собою разумеется, не изжила себя, как об этом некоторые думают. Напротив, у Маяковского очень и очень многие должны научиться мастерству.

На совещании обсуждалась и статья В. Гоффеншера «Заметки о прозе 1940 года» (статья эта также была напечатана в февральской книжке нашего журнала). В частности, интересно говорил И. Мартынов о романах

сорокового года, посвященных деревне, об установившемся общественном быте колхозного крестьянства. Этот установившийся быт позволил молодым авторам по-новому подойти к теме. Не соглашаясь с Гоффеншером в оценке некоторых произведений, Мартынов подчеркивает значение оценки, которая включает и всесторонний разбор произведения. Это — важнейший элемент литературной критики.

Константин Федин говорил о сотрудничестве мастеров литературы и писательской молодежи и о своем романе «Санаторий «Арктур»».

В совещании приняли участие также писатели и критики: Алексей Толстой, Араимов, Алигер, Коваленков, Фиш, Гоффеншер, Замошкин, Б. Гроссман и другие.

В заключение председательствующий В. Щербина указал, что надо повышать критерии оценки произведений искусства. Нельзя терпимо относиться к браку, не надо захваливать средние вещи, все то, что быстро забывается. «Поднимать на щит» следует лишь те романы, стихи, которые могут иметь всенародное значение и останутся надолго.

В статьях С. Трегуба и В. Гоффеншера литературные произведения рассматриваются с точки зрения высоких требований. В этом достоинство статей, их законная острота. И другое важное требование предъявляют они литераторам — писать так, чтобы в каждой строчке бился пульс нашей эпохи.

Исправления к четвертой книге

В романе А. Толстого «Хмурое утро», на стр. 88, слева, строка 15 снизу — напечатано: «Захватили мы танк голыми руками». Следует читать: «Захватили мы танк голыми руками... Ведь это же варварство...».

Стр. 101, строка 18, слева, снизу — напечатано: «...говорил он с улыбкой». Следует читать: «...говорил он с фанатической улыбкой».

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А37320. 16 печ. листов. Тираж 80 000. Зак. 857. Подписано к печати 25/IV—10V 1941 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва, Пушкинская площадь, 5.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

В «ВЕДОМОСТЯХ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР» ПЕЧАТАЮТСЯ:

ЗАКОНЫ,
принятые
Верховным
Советом СССР,

УКАЗЫ
Президиума
Верховного
Совета СССР

и информационный материал
с работе

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР, СОВЕТА СОЮЗА,
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
ИХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И
СЕКРЕТАРИАТА ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

«ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР»

издаются на языках союзных
республик:

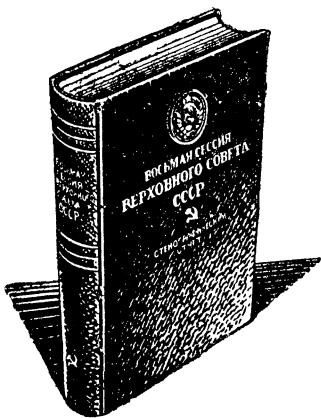
русском,
украинском,
белорусском,
азербайджанском,
грузинском,
армянском,
туркменском,
узбекском,

таджикском,
казахском,
киргизском,
финском,
молдавском,
литовском,
латышском,
эстонском.

При подписке необходимо указать, **НА КАКОМ ЯЗЫКЕ** подписчик
желает получить «ВЕДОМОСТИ».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 м-цев—15 руб., на 6 м-цев—7 р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: «Союзпечатью», на почте и
уполномоченными жел.-дор. издательств на транспорте.



ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(25 февраля—1 марта 1941 г.).

Стенографический отчет
на русском языке.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Цена книги в переплете—12 руб.

ПЕЧАТАЕТСЯ И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ VIII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

НА ЯЗЫКАХ: украинском, белорусском, азербайджанском, грузинском,
армянском, туркменском, узбекском, таджикском, казахском, киргизском,
финском, молдавском, литовском, латышском, эстонском, татарском,
башкирском и кумыкском.

Цена книги в переплете—10 руб.

ПРОДАЖА В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ КОПИЯ, ВОЕНТОРГОВ,
РАЙКУЛЬТМАГАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ».

Цена 4 руб.

СКОРО

Артисты-орденоносцы лауреаты Сталинской премии
Зоя Федорова и А. Абрикосов
в новом художественном фильме

ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ

(О славных боевых подвигах доблестных бойцов Красной
Армии — участниках борьбы с белофиннами)



Авторы сценария —
орденоносцы
С. МИХАЛКОВ,
М. РОЗЕНБЕРГ.

Оператор — орденоносец
В. РАЙТБОРТ.
Композитор —
В. ШЕБАЛИН.

Режиссер —
В. ЭЙСМОНТ.

Художник —
Ф. ВЕРНШТАМ.



Производство Ленинградского Ордена Ленина киностудии
«ЛЕНФИЛЬМ».

Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ».

НАРКОМПРОС РОФОР

ГОС. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

„ИН-ЯЗ“

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ НА I, II и III КУРСЫ

**английского, немецкого
и французского языков
и на переводческое отделение
(IV курс) английского и немецкого языков.**

Окончившим выдается соответствующее свидетельство. Обучение **ПЛАТНОЕ.**

Учебная плата от 25 руб. до 200 руб. за курс, в зависимости от получае-
мой зарплаты. УСЛОВИЯ приема высылаются по получении 60 коп. почто-
выми марками.

Адрес курсов: Москва, Кузнецкий мост, 3. Тел. К 3-90-42. Ленинградское
отделение курсов: Ленинград, Апраксин пер., 2.